ISSN 0130–6545

12.1990

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Альвар Кавен. Девушка в шляпе, 1917

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Олаф Руде. Натюрморт с газетой, 1919
Жан Хейберг. Мальчик из Норланда, 1910

Цветные иллюстрации номера — скандинавская живопись 1910 — 1920 гг.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

**Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная
коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель
главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного
редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного
редактора
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

12 декабрь 1990

СОДЕРЖАНИЕ

БРУНО ШУЛЬЦ — Коричные лавки *(Вступление и перевод с польского Асара Эппеля)* 5

Из классики XX века

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — Стихи *(Перевод с испанского и послесловие Бориса Дубина)* 50

СОЛ БЕЛЛОУ — Герцог. *(Роман. Окончание. Перевод с английского В. Харитонова)* 60

Критика

А. ЗВЕРЕВ — «Владеть собственной душой» *(К публикации «Герцога»)* 211

Публицистика

ВЛАДИСЛАВ АНДЕРС — Без последней главы *(Окончание. Перевод с польского Т. Уманской. Послесловие Н. Лебедевой)* 219

К нашим иллюстрациям

Нора Киямова — К северу от французских парков 251

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1990 год (№ 1—12) 253

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1990

Главный художник **С. И. Мухин**

Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая, д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 12.10.1990. Подписано в печать 15.01.91. Формат $70\times108^{1}/_{16}$. Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл.-печ. л. 22,4. Усл.-кр.-отт.23,8. Уч.изд.- л. 26,82.

Тираж 328700 экз. Зак. 0292. Цена 1 р. 80 к.

Типография ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна». 252006, Киев-6, ул. Анри Барбюса, 51/2.

Портрет Б. Шульца. Работа С. Виткевича.

БРУНО ШУЛЬЦ

Коричные лавки

Вступление и перевод с польского
АСАРА ЭППЕЛЯ

Грезы и демоны европейского захолустья

Лет двадцать пять назад — то есть считай уже четверть века — я предлагал журналу «Иностранная литература» прозу странного и поразительного польского писателя Бруно Шульца. Странность и поразительность тогда не поощрялись, и попытка моя кончилась ничем.

Осторожничали в те времена, зачастую руководствуясь советами «наших друзей». Была такая категория — «наши друзья». К их рекомендациям прислушивались сотрудники советских посольств, и в случае с Шульцем тоже, очевидно, были наложены надлежащие запреты, ибо с польской литературой, как известно, хлопот не оберешься.

«Наши друзья» пресекали и все мои дальнейшие попытки познакомить наконец отечественных читателей с великой прозой, давно переведенной на все европейские языки, и даже монументальный Ярослав Ивашкевич не мог развеять опаски ответственных за литературу (я был свидетелем тому на встрече с Ивашкевичем в редакции «ИЛ»), а уж он-то был настоящим нашим другом.

Бруно Шульц, о котором речь, написал всего две книжки, обе вместе листов на четырнадцать: «Коричные лавки» и «Санатория под клепсидрой» (второе название содержит игру слов и не очень-то переводимо). Обе книжки относятся теперь к шедеврам мировой литературы.

«Коричные лавки» появились в 1934 году. Это как бы сборник рассказов — уникальных нарративных единиц, воплощений Большой Метафоры, настолько необычных и пластичных, настолько сплавивших воедино рефлексию, пейзаж, образ, эмоцию, что затруднительно найти в мировой литературе что-либо на них похожее, хотя развитие мировой и польской литератур было явно обогащено манерой и дарованием Бруно Шульца. (Появись произведения Шульца на русском языке вовремя, они наверняка послужили бы мощным ферментом для нашей литературы. Теперь же — могут и затеряться в потоке литературного изобилия и великолепия, какое на нас свалилось.)

Родился Бруно Шульц в захолустном австро-венгерском городишке Дрогобыче в 1892 году. О феномене австро-венгерской социально-творческой атмосферы следовало бы сказать особо — разве не удивительно, что в одном из самых благополучных и легкомысленных государств истории — венская оперетта, кофе по-венски и по-венски же шницель! — зарождались невнятные пророки будущего тлена и распада Европы: Захер Мазох, Кафка и вот теперь Шульц? Плоть от плоти прекрасной эпохи, о которой до сих пор не забыли в глухих уголках Польши или Чехословакии, где в деревенских домах частенько можно видеть на стене портрет благословенного императора Франца-Иосифа, Бруно Шульц был писателем, графиком, рисовальщиком. По окончании гимназии обучался художеству в Вене и архитектуре во Львове. Несмотря на эту — кратковременную, правда,— экспансию в столицы, он так и остался человеком галицийского захолустья, большую часть жизни прожив в том же самом Дрогобыче, где с 1924 по 1941 год служил учителем рисования в школе. В 1938 году Польская академия литературы увенчала его «Золотыми лаврами». В 1942 году

его застрелил на улице — уже советского, оккупированного немцами Дрогобыча — эсэсовец. Остались две тоненькие книжки, несколько критических статей, незаконченные обрывки прозы и около двух сотен замечательных рисунков.

Человек захолустья, он и воспел это захолустье в петушиный для своей округи час, ибо недалеко, под Бориславом, была обнаружена нефть, и старорежимная купеческо-мещанская провинция обратилась в авантюристический Клондайк. С самого начала провинциальный учитель был замечен и поддержан, а вскоре дружбой и перепиской с ним гордились ведущие писатели межвоенной Польши: Тувим, Налковская, Виткевич, Гомбрович и другие.

Шульц-писатель и Шульц-рисовальщик совпадают поразительно; их зрение, намерения и профессиональные возможности уникальны и самодостаточны, а такое присуще только незаурядным творцам. Если в европейской традиции художник обычно останавливает мгновение, ибо оно прекрасно (ближе к нашему времени художников станут привлекать мгновения непрекрасные), то Шульц обладает даром различить и умеет увековечить частицы подсознания. Невиданные и нечитаные реляции из подсознания он и оставляет нам на страницах прозы и на листах графики. Как он делает это? Каких демонов выкликает? Как совершается осознание бессознательного? Об этом художники или умалчивают, или не успевают рассказать: критики же, напротив, говорят многословно и бессвязно, но это уже бессвязность заурядности.

Сокрушенно вынужден признать, что несовпадение русской и польской традиций создали в одном весьма важном случае непреодолимую ситуацию для переводчика. В русской традиции библейскому имени Иаков соответствует бытовой Яков. В польской — имя праотца и бытовое имя звучат одинаково: Jakub. Имена отца и сына в «Коричных лавках» — Jakub и Józef — естественны и каждодневны, при том что библейские ассоциации, когда это необходимо автору, возникают в тексте сами собой. В переводе достичь подобной естественности, увы, не удается.

И еще: сохранению наследия Бруно Шульца, поискам его рукописей, редких публикаций, рисунков, изданию и пропаганде творчества много сил и самозабвенного труда отдали польские писатели Артур Сандауэр и Ежи Фицовский. Честь и слава их деятельности.

Август

1

В июле отец мой уезжал на воды, оставляя меня, мать и старшего брата на произвол белых от солнца, ошеломительных летних дней. Замороченные светом, листали мы огромную книгу каникул, все страницы которой полыхали сверканьем и на дне хранили сладостную до обморока мякоть золотых груш.

Словно Помона из пламени дня распаленного, возвращалась в сияющие утра Аделя, вываливая корзинку цветастых красот солнца — лоснящиеся, полные влаги под тоненькой кожицей черешни, таинственные черные вишни, чей аромат далеко превосходил познаваемое на вкус; абрикосы, в золотой плоти которых была сокрыта долгая послеполуденная суть, а заодно с чистой этой поэзией плодов она выгружала налитые силой и питательностью пласты мяса с клавиатурой телячьих ребер, водоросли овощей, схожие с убитыми головоногими и медузами — сырьевое вещество обеда, где вкус еще пребывал несостоявшимся и бесплодным, вегетативные и теллурические ингредиенты еды, пахнувшие диким и полевым.

Сквозь сумрачную квартиру второго этажа в доме на городской площади каждодневно проходило все огромное лето: тихость дрожащих сосудов воздуха, квадраты ослепительности, сновидевшие на полу свои жаркие сны; мелодия шарманки, извлекаемая из глубинной золотой жилы дня, два-три такта рефрена, снова и снова наигрываемые на неведомой рояли, заблудившиеся в огне дня бездонного и сомлевавшие в солнце на белых тротуарах. После уборки Аделя, задернув шторы, напускала тень в комнаты. Тогда цвета снижались на октаву, комната наполнялась тенью, словно погружалась в свет морской глуби, еще мутней отраженная в зеркалах, а вся дневная духота дышала на шторах, слегка колеблемых грезами полуденного часа.

В субботнюю послеобеденную пору мы с матерью шли гулять и из коридорных потемок сразу окунались в солнечную купель дня. Прохожие, слоняясь в золоте, жмурились от зноя, словно глаза им залепило медом, а вздернутая верхняя губа открывала их десны и зубы. И на всех, мыкавшихся в златоблещущем дне, была одна и та же гримаса жары, как если бы солнце наделило своих адептов одинаковыми масками — золотыми масками солнечного братства, и все сегодняшние прохожие, встречаясь ли, минуя ли один другого, старики и молодые, дети и женщины, походя приветствовали

друг друга личиною этой, наложенной мазками толстой золотой краски на лица, осклабясь друг на дружку своей вакхической гримасой — варварской личиною языческого культа.

Городская площадь от зноя была пуста, желта и точно библейская пустыня до пылинки выметена горячими ветрами. Тернистые акации, выросшие из желтой этой пустоты, кипели над площадью светлой листвой, букетами тонко исполненной зеленой филиграни, точь-в-точь дерева на старых гобеленах. Казалось, они аффектируют ветер, театрально взвихривая свои кроны, дабы в патетических изгибах явить элегантность лиственых вееров с серебристою подпушкою, какая бывает у шкурок благородных лисиц. Старые дома, многодневно полируемые ветрами, подкрашивались рефлексами огромной атмосферы, отголосками-воспоминаниями колеров, рассеянными в безднах цветастой погоды. Казалось, целые поколения дней летних (словно терпеливые штукатурщики, оббивающие фасады от плесени штукатурки) скалывали лживую глазурь, ото дня ко дню отчетливее выявляя подлинное обличье домов, физиономию судьбы и жизни, изнутри формировавшую строения. Сейчас окна, ослепленные сверканием пустой площади, спали: балконы исповедовали небу свою пустоту; отворенные парадные благоухали прохладой и вином.

В уголку площади кучка оборвышей, упасшаяся от огненной метлы зноя, обступала стенной фрагментик, сноза и снова испытуя его швырками монет и пуговиц, будто из гороскопа металлических кружков этих возможно было узнать сокровенную тайну стены, исштрихованной письменами царапин и трещин. Вообще же площадь была пуста. Казалось, к сводчатому парадному с бочками виноторговца подойдет в тени колеблемых акаций ведомый за узду ослик самаритянина и два прислужника заботливо совлекут дряхлого мужа с жаркого седла, дабы осторожно внести его по прохладной лестнице на благоухающий субботой второй этаж.

Так шли мы с матерью вдоль обеих солнечных сторон площади, ведя изломанные тени свои по домам, точно по клавишам. Плиты мостовой неспешно сменялись под мягкими и заурядными нашими шагами — одни бледно-розовые, словно человечья кожа, другие — золотые и синие, но все плоские, теплые, бархатистые на свету, словно бы некие лики солнцеподобные, зашарканные подошвами до неузнаваемости, до блаженного несуществования.

На углу Стрыйской, наконец, вступили мы в тень аптеки. Большой шар с малиновой влагой в широкой аптечной витрине олицетворял прохладу бальзамов, которыми всякое страдание могло здесь успокоиться. А еще через каких-то два дома улица больше не решалась быть обличьем города, словно крестьянин, который, возвращаясь в родные места, освобождается по дороге от городского своего щегольства, постепенно — чем ближе деревня,— превращаясь в сельского оборванца.

Домишки предместья вместе с окнами своими утонули и запропастились в буйном и путаном цветении небольших садов. Позабытые огромным днем, буйно и тихо разрастались всякие растения, цветы и сорная трава, радуясь передышке, которую могли прогрезить за пределом времени на пограничьях нескончаемого дня. Громадный подсолнух, воздвигнувшись на могучем стебле и больной слоновой болезнью, доживал в желтом трауре последние печальные дни жизни, сгибаясь от переизбытка чудовищной корпуленции. Однако наивные слободские колокольчики и перкалевые невзыскательные цветки беспомощно стояли в своих накрахмаленных розовых и белых рубашечках, безучастные к великой трагедии подсолнуха.

2

Спутанные дебри трав, бурьяна, зелени и репейника за полдень полыхают в пламени. Звенит сонмами мух послеполуденная дрема сада. Золотое жнивье кричит на солнце, как рыжая саранча. В ливневой огненной гуще трещат кузнечики; стручки семян тихо взрываются, точно сиганувшие кобылки.

К изгороди шуба травы воздымается выпуклым горбом-пригорком, словно бы сад перевернулся во сне на живот и тяжкие его мужицкие плечи дышат земляной немотой. На этой спинище сада буйная бабья расхристанность августа учудовищнилась глухими провалами громадных лопухов, разметалась поверхностями косматой жести листьев, наглыми языками мясистой зелени. Вылупленные пролеточные верха лопухов таращились тут, как широко рассевшиеся бабы, полупожранные ошалелыми своими юбками. Тут палисадник отдавал задарма дешевейшую крупу дикой сирени, смердящую мылом

крупную ядрицу подорожника, дикую сивуху мяты и разную распоследнюю базарную чушь августа. А по другую сторону забора, за чащобой лета, где разрослась дурь недоумочного бурьяна, была мусорная куча, дико заросшая бодяком. И никто не знал, что именно там август лета этого правил великую свою языческую оргию. На помойке, припертое к забору и заросшее дикой сиренью, обреталось ложе дурочки Тлуи. Так мы все ее называли. На куче мусора и всякой дребедени, старых кастрюль, обутки, розвали и праха стояла крашенная в зеленый цвет кровать, подпертая вместо отсутствующей ножки двумя старыми кирпичами.

Воздух над этим свалочным местом, одичавший от зноя, пересекаемый молниями блестящих конских мух, разъяренных солнцем, трещал как бы от незримых гремушек, возбуждая до обморока.

Тлуя сидит на корточках в ворохе желтой постели и тряпок. Большая голова ее топорщится щеткой черных волос. Лицо стягивается, как мехи гармоники. То и дело гримаса плача стискивает эту гармонику в тысячи поперечных складок, затем удивление растягивает ее, разглаживает складки, отворяет щелки маленьких глаз и влажные десны с желтыми зубами под рыбообразной мясистой губой. Тянутся часы жары и скуки, в продолжение которых Тлуя невнятно бормочет, подремывает, тихо ворчит и хмыкает. Неподвижную, ее густым роем обсели мухи. Но вдруг вся эта куча грязной рвани, вретища и тряпья начинает шевелиться, словно бы вызванная к жизни возней гнездившихся в ней крыс. Испуганные мухи пробуждаются и вздымаются большим жужжащим множеством бешеного гуда, блесток и мельканий. И пока лохмотья обваливаются наземь, разбегаясь по мусору, словно вспугнутые крысы, выпрастывается из них, понемногу обнаруживает ядро, вылущивается корень помойки — полуголая и темная идиотка медленно воздвигается и встает, подобная языческому божку, на короткие детские ножки, а из набухшей приливом злости шеи, из побуревшего, темнеющего от гнева лица, на котором, словно варварская живопись, расцветают арабески вздувшихся жил, исторгается вопль звериный, вопль хриплый, добытый изо всех бронхов и дудок этой полузвериной-полубожеской груди. Бурьян, спаленный солнцем, вопит, лопухи вспухают и чванятся бесстыжим мясом, чертополох слюнявится сияющим ядом, идиотка, осипшая от крика, в диких конвульсиях с бешеной горячечностью бьет мясистым лоном о ствол дикой сирени, а та потихонечку поскрипывает от настырности распутной похоти, поощряемая всем этим нищенским хором к извращенной языческой плодовитости.

Мать дурочки Тлуи нанимается мыть полы. Это маленькая желтая, как шафран, женщина, и шафраном же подкрашивает она половицы, пихтовые столы, лавки и скрыни, которые в жилищах небогатых людей моет. Однажды Аделя ходила со мной к старой этой Марыське. Был ранний утренний час, мы оказались в небольшой комнате, беленой голубым, с убитым глиняным полом, на который падало раннее солнце, ярко-желтое в утренней тишине, отмеряемой ужасающим стуком деревенских часов на стенке. В скрыне на соломе лежала дурочка Марыська, бледная, как облатка, и тихая, как рукавица, из которой ушла ладонь. И, как бы пользуясь ее сном, балабонила тишина — желтая, яркая, злая тишина, вещала, скандалила, громко и вульгарно изрекая свой маниакальный монолог. Время Марыськи — время, заточенное в ее душе, изошло из нее, до жути ощутимое, и шло само по себе через горницу, крикливое, гулкое, дьявольское, исторгаемое в ярком безмолвии утренней рани из громкой мельницы ходиков, словно худая мука, сыпкая мука, дурацкая мука скорбных главою.

3

В одном из домишек, утонувшем в буйной зелени палисадника и окруженном штакетником коричневого цвета, жила тетка Агата. В палисаднике приходилось миновать цветные стеклянные шары, торчавшие на палках, розовые, зеленые и фиолетовые, где были целиком закляты светозарные и сияющие миры, точь-в-точь идеальные и счастливые картины, какие замкнуты в непостижимом совершенстве мыльных пузырей.

В полутемном коридоре со старыми олеографиями, траченными плесенью и слепыми от старости, обнаруживали мы ведомый нам запах. В доверительном этом старом аромате содержалась в поразительно простом синтезе жизнь этих людей, дистиллят расы, тип крови и секрет их судьбы, неприметно сокрытый в повседневной преходящести их собственного отдельного времени. Старая умная дверь, темные вздохи которой впускали и выпускали их, молчаливая свидетельница исчезновений и появлений матери, дочек и сыновей, безголосо отворилась, словно створки шкафа, и мы вошли в чужую жизнь.

А они сидели, словно бы в тени своей судьбы, и не сопротивлялись. И первыми же нескладными жестами выдали свою тайну. Разве не были мы судьбой и кровью сродственники им?

Комната была темной и бархатной от синих с золотом обоев, однако отголосок дня пламенного, хотя и процеженный сквозь густую зелень сада, и здесь подрагивал на латуни рам, на дверных ручках и золотых каемках. От стены поднялась навстречу тетка Агата, дородная и большая, округлая и дебелая телом, крапленным рыжей ржавью веснушек. Мы подсели к ним, словно бы на берег их судьбы, несколько устыженные той беззащитностью, с какою они безоговорочно сдались на нашу милость, и стали пить воду с розовым сиропом — преудивительное питье, в коем обнаружил я как бы сокровеннейшую эссенцию душной этой субботы.

Тетка сетовала. Это был ее обычный тон, голос этого мяса, белого и плодного, существующего уже как бы вне границ личности, лишь кое-как удерживаемой в сосредоточении, в узах формы индивидуальной, и даже в сосредоточении этом преизбыточном готового распасться, разветвиться, рассыпаться в семью. Это была плодовитость почти самовоспроизводящаяся, женскость безудержная и болезненно буйная.

Казалось, уже запах мужского, аромат табачного дыма, холостяций анекдот могут побудить воспаленную эту женственность к распутному деворолству. И, действительно, ее нарекания, жалобы на мужа, на прислугу, ее заботы о детях были всего лишь капризами и претензиями неутоленной этой плодовитости, как бы продолжением неприязненной, гневной и плаксивой кокетливости, которою она тщетно испытывала супруга. Дядя Марк, маленький, согбенный, с бесполым лицом, сидел в сером своем банкротстве, примирившись с судьбой, в укрытии безграничного презрения, где, похоже, обрел тихую пристань. В серых его глазах тлел далекий зной сада, развешанный в окне. Слабым жестом он пытался иногда заявить свое несогласие, протестовать, но волна самодостаточной женскости сметала пустой для нее жест, триумфально проходила мимо и широким своим половодьем заливала робкие потуги мужского его начала.

Было нечто трагическое в этой неопрятной и неумеренной плодовитости, была нищета творения, борющегося на пограничье небытия и смерти, был какой-то героизм женственности, торжествующей урожайностью даже над изъяном природы, над ущербностью мужчины. Однако потомство свидетельствовало правомерность материнской паники и безумия рожаний, каковое осуществлялось плодами неполучившимися, эфемерической генерацией фантомов, бескровных и безликих.

Вошла Луция, средняя, с чрезмерной и зрелой головой на детском пухлом теле, беломясом и нежном. Подала мне словно бы еще почковидную кукольную ручку, зацвела сразу всем лицом, точно пион, переливавшийся полной розовой луной. Несчастная по причине своих румянцев, бесстыдно выдающих секреты менструации, она опускала глаза и пуще пунцовела от прикосновения пустейшего вопроса, ибо каждый такой намек на ее сверхвпечатлительное девичество.

Эмиль, самый старший из кузенов, с белокурыми усами на лице, с которого жизнь словно бы смыла всякое выражение, прохаживался взад-вперед по комнате, сунув руки в карманы сборчатых панталон.

Элегантный и драгоценный костюм его хранил на себе отпечаток экзотических стран, откуда кузен Эмиль возвратился. Лицо же, увядшее и помутнелое, ото дня ко дню словно забывало себя, становилось пустой белой стенкой с бледной сеточкой жилок, в которых, как линии на потертой карте, переплетались воспоминания этой бурной и впустую растраченной жизни. Кузен был маэстро карточных искусств, курил длинные благородные трубки и поразительно благоухал ароматом дальних стран. Со взглядом, блуждающим в давних воспоминаниях, он рассказывал преудивительные истории, которые в какой-то момент вдруг обрывались, распадались и развеивались в небытие. Я не спускал с него тоскующих глаз, страстно ожидая, что он обратит на меня внимание и избавит от невыносимой скуки. И мне вдруг показалось, что, уходя в соседнюю комнату, он подмигнул. Я поспешил следом. Он низко сидел на маленькой козетке, с коленями, скрещенными чуть ли не на уровне головы, лысой, как бильярдный шар. Казалось, что он — всего лишь одежда, существующая отдельно. Смятая, сборчатая, брошенная на кресло. Лицо его было словно дуновение лица — след, оставленный в воздухе неведомым прохожим. Он держал в бледных, голубой эмали ладонях бумажник и что-то в нем разглядывал.

Из туманности лица не без усилий возникло выпуклое бельмо бледного глаза, подзывая меня игривым подмигиванием. Я чувствовал к кузену Эмилю непреодолимую

симпатию. Он стиснул меня коленями и, тасуя перед моими глазами в умелых руках фотографии, стал показывать изображения нагих женщин и молодых людей в странных позициях. Я стоял, привалясь к нему боком, и глядел на эти нежные тела человеческие отчужденными, невидящими глазами, как вдруг флюид неясного возбуждения, которым внезапно помутился воздух, достиг меня и прошел ознобом тревоги, волной внезапного постижения. А тем временем дымка ухмылки, обозначившаяся под мягкими и красивыми усами, завязь вожделения, напрягшегося на его виске подрагивавшей жилкой, напряжение, какой-то миг державшее его черты сосредоточенными, опять ушли в никуда, и лицо опять заотсутствовало, забыло себя, расточилось.

Наваждение

1

Уже тогда город наш все чаще оказывался в хронических тусклых сумерках, зарастал по кромке лишаями тени, пушистой плесенью и мхом цвета железа.

Едва распеленатый из коричневых дымов и туманов рассвета, день тотчас же клонился в янтарную послеполуденную пору, на какое-то время, точно темное пиво, делался прозрачным и золотым, чтобы затем сойти под многократно расчлененные фантасмагорические своды многоцветных и обширных ночей.

Мы жили на городской площади в одном из тех темных домов с пустыми и слепыми фасадами, которые трудно отличить друг от друга.

Это — причина постоянных промашек. Попавши, допустим, однажды не в то парадное и не на ту лестничную клетку, человек обычно оказывался в невероятном лабиринте чужих квартир, галерей, неожиданных проходов в неведомые дворы и забывал изначальную цель свою, дабы через много дней, возвращаясь с бездорожья удивительных и путаных приключений, в какой-то из тусклых рассветов вспомнить, угрызаясь совестью, о родном доме.

Заставленная огромными шкафами, глубокими диванами, бледными зеркалами и фальшивыми базарными пальмами, квартира наша становилась все запущеннее из-за безалаберности матери, просиживавшей в лавке, и разгильдяйства длинноногой Адели, которая, предоставленная сама себе, целые дни проводила перед зеркалами за мешкотным туалетом, повсюду оставляя его следы в виде вычесанных волос, гребешков, раскиданных туфель и корсетов.

В квартире было неопределенное число комнат, ибо никто и никогда не знал, какие отданы внаем квартирантам. Иногда случайно отворяли какое-то из этих забытых помещений и оно обнаруживалось пустым: квартирант давно уже съехал, а в месяцами нетронутых комодных ящиках совершались неожиданные открытия.

Внизу жили приказчики, и по ночам, случалось, нас будили их стоны, производимые по причине приснившегося кошмара. Зимой, когда на дворе была еще глухая ночь, отец спускался вниз в холодные и темные комнаты, вспугивая свечой впереди себя стаи теней, разбегавшиеся по полу и стенам; он шел будить тяжко храпевших в глухом каменном сне.

В свете оставленной отцом свечи они неохотя выпрастывались из грязных постелей, выставляли, садясь на кроватях, босые уродливые ноги и с носком в руке какое-то время еще с наслаждением предавались зеванию — зеванию, доходившему до сладострастия, до болезненной судороги нёба, как это бывает при неудержимой рвоте.

В углах недвижно сидели большие тараканы, непомерно увеличенные собственной тенью, которою наделяла каждого горящая свеча и которая не отъединялась, даже когда какое-нибудь из этих плоских безголовых туловищ ни с того ни с сего припускалось бежать жуткой паучиной побежкой.

В те дни мой отец начал прихварывать. Уже в первые недели той ранней зимы он, случалось, целыми днями пролеживал в постели среди пузырьков, пилюль и торговых книг, которые приносили ему из лавки. Горький запах болезни оседал на дне комнаты, обои которой все больше и больше густели темными сплетениями арабесок.

По вечерам, когда мать приходила из лавки, он бывал взбудоражен и склонен к препирательствам, пенял ей за небрежность делопроизводства, багровея лицом и распаляясь до исступления. Помню, однажды, проснувшись среди ночи, я увидел, как

Б. Шульц. Автопортрет с собакой.

Б. Шульц. Эскиз обложки к «Коричным лавкам»

отец в ночной рубахе и босиком бегает по кожаному дивану, удостоверяя таким способом свою ярость беспомощной матери.

В иные дни он бывал спокоен, сосредоточен и с головой уходил в свои книги, плутая в непролазных лабиринтах путаных подсчетов.

Я вижу в свете коптящей лампы, как он, присев на корточки среди подушек у большого резного изголовья кровати, покачивается в безмолвной медитации, с огромной тенью от головы на стене.

Иногда голова его выныривала из расчетов как бы набрать воздуху, разевала рот, неодобрительно цокала языком, который был сух и горек, и беспомощно озиралась, словно бы чего-то ища.

Тогда обычно он потихоньку убегал из постели в угол, где на стене висел заветный прибор, представлявший собой разновидность водяной клепсидры или большой стеклянной ампулы, поделенной на унции и наполненной темным флюидом. Мой отец соединялся с прибором этим, словно бы извилистой болезненной пуповиной, длинною резиновой кишкой и, соединенный таково с печальным приспособлением, сосредоточенно замирал, а глаза его темнели, хотя на побледневшем лице являлось выражение страдания или некоей преступной неги.

Потом снова бывали дни тихой сосредоточенной работы, перемежавшейся монологами одиночества. Сидя этак в свете настольной лампы, среди подушек большой кровати, меж тем как комната громадилась ввысь в абажурной тени, объединявшей ее с необъятной стихией заоконной городской ночи,— он ощущал, не глядя, что пространство обрастает его пульсирующей гущиной обоев, полной шепотов, шипений и шепелявостей. Слышал, не глядя, сговор этот, полный многозначительных подмигиваний, понимающих взглядов, распускающихся меж цветами ушных раковин, которые вслушивались, и темных уст, которые усмехались.

Тогда он как бы еще яростней погружался в работу, подсчитывал и суммировал, боясь обнаружить гнев, переполнявший его, и, подавляя искушение кинуться с внезапным криком на всю эту заспинную жизнь, похватать без разбору полные горсти кудрявых этих арабесок, этих букетов глаз и ушей, которые ночь выроила из себя и которые росли и множились, вымерещивая все новые побеги и отростки из породительного пупка потемок. И тогда лишь он успокаивался, когда с отливом ночи обои увядали, сворачивались, роняли лепестки и листву и по-осеннему прореживались, процеживая сквозь себя далекое рассветание.

Тут под гомон наобойных птиц в желтой зимней рани он забывался на час-другой густым черным сном.

Днями, неделями, когда отец, казалось, погружался в сложные контокорренты, мысли его тайком крались по лабиринтам собственного нутра. Он затаивал дыхание, прислушивался и, когда взгляд его, побелевший и мутный, возвращался из глубей этих, ободрял его улыбкой. Он покамест не верил в назойливые притязания и пропозиции и отклонял их как абсурдные.

Если днем это были как бы рассуждения и уговоры, долгие, монотонные раздумья вслух и вполголоса, исполненные иронических интерлюдий и плутовских перепалок, то ночью голоса звучали страстней. Неотложность заявляла о себе все отчетливей и громче, и мы слышали, как он разговаривал с Богом, словно бы моля о чем-то и отвергая что-то настойчиво притязавшее и домогавшееся.

И вот в некую ночь возгремел глас сей грозно и неотвратимо, требуя свидетельствовать устами и естеством своим. И вняли мы, как в него вступил дух, как восстал он с постели, высокий и вырастающий во гневе пророческом, давясь крикливыми словами, которые выбрасывал, словно митральеза. Мы слышали гул борьбы и стон отца, стон титана со сломанным бедром, но все еще хулителя.

Я никогда не лицезрел пророков Ветхого Завета, однако при виде мужа сего, коего повергнул гнев Божий, широко раскорячившегося над огромным фарфоровым урыльником, неразличимого за вихрем рук и уймой отчаянных телодвижений, над коими все громче возносился голос его, чужой и непререкаемый,— понял я гнев Господень святых мужей.

Это был диалог грозный, как разговор громов. Зигзаги отцовых рук раздирали на куски небо, а в разрывах являлся лик Иеговы, раздутый гневом и плюющий проклятия. Не глядя, зрел я его, грозного Демиурга, возлежащего на тьмах, точно на Синае; утвердив могучие руки на портьерном карнизе, прижимал он огромный лик свой к верхним стеклам окна, на коих чудовищно уплощался мясистый нос его.

Я слышал его глас в паузах пророческой тирады моего отца, слышал могучий рык раздутых губ, от которого звенели стекла, смешанный со взрывами отцовых заклятий, молений и угроз.

Временами голоса делались тише и неприметно унимались, точно бормотание ветра в печной трубе, но потом вдруг опять разражались широким шумным скандалом, бурею перемешанных всхлипов и проклятий. Внезапно темным зевком отворилось окно, и полотнище тьмы пахнуло в комнату.

При вспышке молнии увидел я отца моего в разметавшемся белье — со страшным проклятием плеснул он могучим выплеском за окно в ночь, шумную, как раковина, содержимое ночного горшка.

2

Отец потихоньку мельчал и увядал на глазах.

Сидя на корточках среди больших подушек с дико взъерошенными пучками седых волос, он вполголоса разговаривал сам с собой, полностью погруженный в какую-то путаную внутреннюю жизнь. Могло показаться, что личность в нем распалась на множество переругавшихся и взаимоисключающихся индивидов, ибо он громко ссорился сам с собой, настойчиво и страстно вел переговоры, убеждал и умолял или же становился вдруг похож на руководителя сходки множества строптивцев, которых пытался с невероятными затратами пыла и красноречия примирить. Но всякий раз шумные собрания этих пылких темпераментов в конце концов распадались среди проклятий, оскорблений и брани.

Потом наступал период относительного успокоения, внутренней умиротворенности, блаженной безмятежности.

Снова огромные фолианты бывали разложены на постели, на столе, на полу, и какое-то скрупулезное спокойствие работы воцарялось в свете лампы над белой постелью ложа, над склоненной седой головой моего отца.

А когда мать поздним вечером возвращалась из лавки, отец оживлялся, звал ее подойти и с гордостью показывал превосходные цветные переводные картинки, каковые тщательно перевел на страницы гроссбуха.

Тогда мы и приметили, что отец ото дня ко дню уменьшается, точно орех, усыхающий в скорлупе.

Атрофии этой ничуть не сопутствовал упадок сил. Наоборот, его здоровье, настроение, активность казались удовлетворительными.

Теперь он частенько смеялся, громко и щебетливо, можно даже сказать — буквально помирал со смеху, или же стучал по кровати и целыми часами, бывало, с разными интонациями сам себе отвечал «войдите». Время от времени он слезал с постели, вскарабкивался на шкаф и, присев на корточки под потолком, наводил порядок в старой рухляди, пыльной и поржавелой.

Иногда ставил он рядышком два стула и, отжавшись на подлокотниках, раскачивая ногами взад-вперед, ловил горящим взглядом в наших лицах удивление и поощрение. С Богом, похоже, он помирился окончательно. По ночам иногда в окне спальни являлся лик бородатого Демиурга, облитый темным пурпуром бенгальского света, и какое-то время мягкосердечно глядел на крепко спавшего, мелодичный храп которого блуждал, казалось, по неведомым пространствам сонных миров.

В пору долгих полутемных послеполуденных часов той поздней зимы отец мой время от времени исчезал на целые часы в тесно забитых всякой рухлядью чуланчиках, что-то упорно разыскивая.

И часто бывало во время обеда, когда все собирались за столом, отец не появлялся. Матери приходилось долго звать «Иаков» и стучать ложкой по столу, прежде чем он вылезал из какого-нибудь шкафа, облепленный лохмами пыли и паутины, со взглядом отсутствующим и погруженным в запутанные, всепоглощающие, одному ему известные дела.

Иногда влезал он на карниз и застывал в той же позе, что и большое чучело коршуна, симметрично висевшее на стене по другую сторону окна. В неподвижной этой позе, на корточках, с затуманившимся взглядом и хитрой иронической миной он оставался часами, чтобы вдруг, когда кто-то входил, замахать руками, точно крыльями, и запеть по-петушьи.

Мы перестали обращать на эти чудачества внимание, а он в них день ото дня погружался все более. Словно бы вовсе избавленный от телесных потребностей, неделями не принимая пищи, он с каждым днем все больше втягивался в хитроумные и причудливые предприятия, к которым мы не бывали снисходительны. Глухой к нашим уговорам и просьбам, он отвечал клочками своего внутреннего монолога, течения которого ничто извне не могло нарушить. Вечно хлопочущий, болезненно оживленный, с красными пятнами на сухих щеках, он не замечал нас и не видел.

Мы привыкли к его неопасному присутствию, к его тихому бормотанию, к его ребяческому, обращенному в себя щебету, трели коего звучали как бы на втором плане нашего времени. В ту пору он, случалось, исчезал уже на много дней, терялся где-то в глухих закоулках квартиры, и его невозможно было отыскать.

Постепенно исчезновения эти перестали производить на нас впечатление, мы к ним привыкли, и, когда спустя много дней он объявлялся, на пару дюймов уменьшившийся и похудевший, это ненадолго занимало наше внимание. Мы просто перестали принимать его в расчет, так сильно отдалился он ото всего, что свойственно людям и реальности. Узелок за узелком отвязывался он от нас, одну за другой обрывал нити, соединявшие его с человеческим сообществом. То немное, что от него еще оставалось,— мизерность телесной оболочки да горстка бессмысленных чудачеств — могло исчезнуть в некий день столь же незаметно, как кучка мусора, скапливавшаяся в углу, которую Аделя всякий день выносила в мусорный ящик.

Птицы

Наступили желтые нудные зимние дни. Порыжелую землю накрыла дырявая, истертая, коротковатая скатерть снега. На многие крыши его не хватило, и они стояли черные или ржавые, гонтовые стрехи и ковчеги, скрывая в себе закопченные пространства чердаков — черные обугленные соборы, ощетинившиеся ребрами стропил, обрешетин и стяжек, темные легкие зимних ветров. Всякий рассвет обнаруживал новые печные трубы и дымники, выросшие в ночи, выдутые ночным ветром черные дудки бесовского органа. Трубочисты не могли совладать с воронами, наподобие живых черных листьев обседавшими по вечерам ветви деревьев возле костела, внезапно с хлопаньем крыльев срывавшимися, чтобы снова прилипнуть каждая к своему месту на своей ветке; на рассвете же снимались они большими стаями — туманы сажи, хлопья копоти, плещущиеся и фантастические, пятная мелькающим карканьем мутно-желтые полосы рассвета. Дни отвердели от холода и скуки, как прошлогодние караваи хлеба. Их надреза́ли тупыми ножами, без аппетита, с ленивой сонливостью.

Отец уже не выходил из дому. Он топил печи, постигая глубинную сущность огня, интуитивно ощущая соленый металлический привкус и копченый запах зимнего пламени, холодную ласку саламандр, лижущих сверкающую сажу в глотке дымохода. Еще он с увлечением производил всевозможные починки в верхних пространствах комнаты. В любое время дня можно было видеть, как, присев на верхушке стремянки, он мастерил что-то под потолком, на карнизах высоких окон, возле шаров и цепей висячих ламп. По обычаю маляров он пользовался стремянкой, как огромными ходулями, и прекрасно чувствовал себя в этой птичьей перспективе вблизи нарисованного неба, арабесок и потолочных птиц. Практические житейские дела все меньше и меньше интересовали его. Когда мать, озабоченная и встревоженная его состоянием, пыталась повести разговор о торговых делах, о платежах ближайшего «ультимо», он слушал рассеянно, чем-то обеспокоенный, с дергающимся отсутствующим лицом. Ни с того ни с сего он вдруг прерывал ее заклинающим взмахом руки, чтобы отбежать в угол комнаты, прильнуть ухом к щели в полу и с поднятыми указательными пальцами обеих рук — что выражало крайнюю важность исследования — вслушиваться. Мы в то время не понимали огорчительной причины подобных причуд, подспудно зревшего печального комплекса.

Мать не имела над ним никакой власти, зато огромным почетом и вниманием он дарил Аделю. Уборка комнаты бывала для него большой и важной церемонией, и он никогда не упускал случая присутствовать, со смесью страха и сладостного трепета наблюдая за всеми действиями Адели, которым придавал какой-то глубокий символический смысл. Когда девушка молодыми и смелыми движениями шаркала длинной шваброй по полу, это было выше его сил. Из глаз отца бежали слезы, лицо заходилось

в тихом смехе, а тело потрясала упоительная судорога оргазма. Чувствительность к щекотке доводила его до умопомрачения. Аделе достаточно было протянуть палец, словно бы в намерении пощекотать, и он в дикой панике бежал через все комнаты, захлопывая за собой двери, чтобы в последней повалиться животом на кровать и заизвиваться в конвульсиях смеха под воздействием всего лишь воображаемой картины, с которой не мог совладать. По этой причине Аделя имела над отцом власть почти неограниченную.

В то время мы впервые и отметили у него страстный интерес к животным. Сперва поначалу это была страсть охотника и художника одновременно, а возможно, и более глубинная зоологическая симпатия твари к единокровным и столь отличным формам жизни, экспериментирование в неопробованных реестрах бытия. Лишь много позже дело приняло пугающий, путаный, довольно грешный и противный природе оборот, который лучше бы не обнародовать.

Началось все с высиживания птичьих яиц.

Затрачивая немало усилий и денег, отец выписывал из Гамбурга, из Голландии, с африканских зоологических станций оплодотворенные птичьи яйца и подкладывал их высиживать огромным бельгийским курам. Процедура эта — проклевывание птенцов, видом и окраской сущих кикимор,— была чрезвычайно занимательна и для меня. В этих монстрах с огромными фантасмагорическими клювами, тотчас же после появления на свет широко разевавшимися, с алчно шипящими безднами глоток, в этих ящерах с хилыми, нагими телами горбунов невозможно было угадать будущих павлинов, глухарей и кондоров. Помещенное в корзинки, в вату, горынычево это отродье возносило на тонких шеях слепые, заросшие беловатой плевой головы, беззвучно квакая немыми гортанями. Мой отец расхаживал вдоль полок в зеленом фартуке, точно садовник вдоль парников с кактусами, и вызволял из небытия слепые эти, пульсирующие жизнью пузыри, неуклюжие эти утробы, приемлющие внешний мир только в форме пищи, эти наросты жизни, на ощупь прорывающиеся к свету. Через недели две после того, как эти слепые почки жизни лопались ради света, комнаты наполнялись цветастым гомоном, мерцающим щебетом новых жильцов. Они обседали карнизы штор, навершия шкафов, гнездились в гущине оловянных ответвлений и завитушек многоветвистых висячих ламп.

Когда отец штудировал большие орнитологические атласы и листал цветные таблицы, казалось, из них и вылетали пернатые мороки, наполняя жилье цветным порханием, лоскутьями пурпура, клочьями лазури, медной зелени и серебра. В пору кормежки они создавали на полу цветную шевелящуюся грядку, живой ковер, который, стоило кому-либо появиться, распадался, чтобы снова расположиться в подпотолочных сферах комнаты. Мне особенно запомнился кондор, громадная голошеяя птица, с морщинистым в обильных наростах ликом. Это был худой аскет, лама буддийский, исполненный невозмутимого достоинства, манерой и поведением следующий железному церемониалу великого своего рода. Сидя против отца, недвижимый в своей монументальной позе вековечного египетского божества, с глазом, затянутым белесоватым бельмом, которое надвигал он сбоку на зрачок, дабы совершенно замкнуться в созерцании своего достойного одиночества,— кондор со своим каменным профилем казался старшим братом отца. То же самое вещество плоти, сухожилий и сморщенной грубой кожи, тот же лик, высохший и костистый, те же ороговевшие глубокие глазницы. Даже сильные руки в узлах, длинные худые кисти отца с выпуклыми ногтями, имели аналог в когтистой лапе кондора. Когда я глядел на уснувшую птицу, меня не покидало ощущение, что передо мной мумия — усохшая, а потому уменьшенная мумия моего отца. Полагаю, что и от внимания матери не ускользнуло столь поразительное сходство, хотя мы никогда этой темы не касались. Примечательно, что кондор пользовался тем же, что и отец, ночным сосудом.

Не ограничиваясь выведением из яиц все новых и новый особей, мой отец устраивал на чердаке птичьи свадьбы, рассылал сватов, привязывал в чердачных дырах и прозорах стосковавшихся соблазнительных невест и добился в конце концов того, что кровля нашего дома, огромная двускатная гонтовая кровля, сделалась воистину птичьим постоялым двором, Ноевым ковчегом, к которому слетались всякого рода летуны из далеких сторон. Даже годы спустя после ликвидации пернатого хозяйства сохранялась в птичьем мире традиция нашего дома, и в период весенних перелетов опускались, бывало, к нам на крышу целые тучи журавлей, пеликанов, павлинов и всяческого птичьего народа.

Увы, после недолгого великолепия довольно скоро дела приняли печальный оборот. Довольно скоро, ибо пришлось переселить отца в мансарду, в две комнаты, служившие нам кладовками для старья. Уже спозаранку там раздавалось смешанное курлыканье птичьих голосов. Деревянные короба чердачных комнат, усиленные резонансом подкровельного пространства, буквально звенели гомоном, хлопаньем крыльев, пением, токованием и бульканьем. На несколько недель мы потеряли отца из виду. Лишь изредка спускался он в квартиру, и тогда бросалось в глаза, что отец словно бы уменьшился, похудел и сжался. За столом он, забывшись, срывался со стула и, маша руками, точно крыльями, издавал протяжное пение, а глаза его заволакивались мутью бельма. Потом, сконфуженный, он смеялся вместе с нами и старался выходку свою представить шуткой.

Однажды в дни генеральной уборки в птичье царство отца неожиданно заявилась Аделя. Остановившись в дверях, она принялась всплескивать руками по причине стоявшего в воздухе смрада и помета, завалившего полы, столы и мебель. Затем, не долго думая, она распахнула окно и с помощью длинной швабры водоворотом завертела все птичье множество. Взметнулась адская туча перьев, крыльев и крика, в которой Аделя, подобная ополоумевшей Менаде, скрытой за мельницей своего тирса, плясала танец уничтожения. Отец мой, махая руками, в ужасе пытался подняться в воздух вместе с птичьей стаей. Крылатый туман меж тем медленно прореживался, и в конце концов на поле боя осталась одна Аделя, обессиленная, запыхавшаяся, а еще мой отец с горестной и устыженной миной, готовый на любую капитуляцию.

Спустя малое время отец спустился со ступенек своего доминиона — сломанный человек, король-изгнанник, потерявший трон и власть.

Манекены

Птичье предприятие отца было последней вспышкой разноцветности, последней и помпезной контратакой, которую неисправимый этот импровизатор, этот фехтмейстер воображения повел на шанцы и редуты выхолощенной и пустой зимы. Лишь теперь мне понятно одинокое геройство, с каким, один как перст, объявил он войну безбрежной стихии скуки, окостенившей город. Лишенный всякой поддержки, не видя с нашей стороны одобрения, защищал сей преудивительный муж проигранное дело поэзии. Он был волшебной мельницей, в ковши которой сыпались отруби пустых часов, чтобы в валках зацвести всеми цветами и ароматами пряностей Востока. Но мы привыкли к великолепному шарлатанству метафизического этого престидижитора, мы предпочитали недооценивать его суверенную магию, упасавшую нас от летаргии пустых дней и ночей. Аделе даже не выговорили за ее бессмысленный и тупой вандализм. Напротив, мы ощущали некое низменное удовлетворение, позорную сатисфакцию по поводу пресечения роскошеств, от которых алчно вкусили досыта, чтобы вероломно уйти от ответственности за них. Быть может, была в измене нашей скрытая благодарность в адрес победительной Адели, действия которой мы безотчетно трактовали как некую миссию и вмешательство сил высшего порядка. Преданный всеми отец покинул без борьбы позицию недавней славы. Не скрестив шпаг, дал врагу попрать былое свое великолепие. Добровольный изгнанник, удалился он в пустовавшую в коридорном конце комнату и окопался там одиночеством.

Мы о нем забыли.

Снова обложила нас со всех сторон печальная серость города, зацветавшая в окнах темным лишаем рассветов, паразитирующим грибом сумерек, разрастающимся в густой мех долгих зимних ночей. Комнатные обои, еще недавно блаженно безмятежные и открытые многоцветным полетам крылатой оравы, опять замкнулись в себе, сгустились и стали перепутываться в монотонности горьких монологов.

Лампы увяли и почернели, как старый чертополох или репьи. Теперь они висели осовелые и брюзгливые и, если кто-нибудь на ощупь пробирался сквозь серые сумерки комнаты, тихо позванивали кристалликами висюлек. Напрасно Аделя воткнула во все рожки цветные свечи, беспомощный суррогат, бледное воспоминание пышных иллюминаций, какими цвели недавно висячие эти сады. О! куда же подевалось щебечущее почкование, плодоношение, поспешное и небывалое, в букетах ламп этих, откуда, как из взрывающихся волшебных тортов, выпархивали крылатые фантасмагории, дробя воздух талиями магических карт, осыпая их цветными аплодисментами, сыплющимися сплошными чешуями лазури, павлиньей, попугайной зелени, металлическими отблесками, про-

черчивая в воздухе линии и арабески, мерцающие следы полетов и кружений, распахивая цветные веера трепета, долго не пропадавшие в богатом и блистающем воздухе. Еще и сейчас они были сокрыты в глубинах потускневшего настроения, отголоски и возможности цветных вспышек, но никто уже не насверливал флейтой, не исследовал бурава́ми помутневших сосудов воздуха.

Долгие недели проходили в странной сонливости.

Кровати, по целым дням не застланные, заваленные постелью, скомканной и залежанной в тяжелых снах, стояли, будто глубокие лодки, готовые отплыть в мокрые и путаные лабиринты некоей черной беззвездной Венеции. В глухую пору рассвета Аделя приносила кофе. При свече, многократно отраженной в стеклах окон, мы лениво одевались в холодных комнатах. Утра были полны беспорядочной суетни, медлительных копаний во всевозможных ящиках и шкафах. По всей квартире слышно было шлепанье Аделиных туфель. Приказчики зажигали фонари, брали из рук матери большие лавочные ключи и выходили в густую коловращающуюся темень. Мать никак не могла управиться со своим туалетом. Свечи догорали в подсвечнике. Аделя пропадала в каких-то отдаленных комнатах или на чердаке, где развешивала белье. Невозможно было ее дозваться. Молодой еще, темный и грязный огонь печи лизал холодные блестящие слои сажи в дымоходной гортани. Свеча гасла, комната погружалась во тьму. Уронив головы на скатерть, мы засыпали полуодетые, среди остатков завтрака и, уткнувшись лицами в меховой живот мрака, уплывали на его волнообразном дыхании в беззвездное небытие. Будила нас шумная уборка Адели. Мать не могла совладать с туалетом. Когда она заканчивала причесываться, приказчики возвращались обедать. Тьма на площади принимала цвет золотистого дыма. Спустя малое время из этих дымных медов, из тусклых этих янтарей могли получиться краски сиятельного дня. Но счастливый миг проходил, амальгама рассвета отцветала, дрожжи дня, уже почти взошедшие, опять опадали в худосочную серость. Мы усаживались за стол, приказчики потирали красные, озябшие руки, и проза их разговоров внезапно приводила готовый день, безликий и без традиции. Но когда появлялось на столе блюдо с рыбой в стеклянном заливном — две большие рыбины, лежавшие рядом голова к хвосту, словно зодиакальная фигура,— мы опознавали в них герб проживаемого дня, календарную эмблему безымянного вторника, и торопливо делили его, с облегчением поняв, что день обрел в нем свою суть.

Приказчики поедали сей символ с благоговением, со значительностью календарной церемонии. Запах перца расточался по комнате. Когда же мы подбирали булкой остатки желе с тарелок, мысленно обдумывая геральдику грядущих дней недели, и на блюде оставались только головы с вываренными глазами — нас охватывало чувство, что день общими усилиями побежден, а все остальное не следует принимать в расчет.

И в самом деле, с остальным этим, отданным на ее милость, Аделя не очень-то церемонилась. Стуком кастрюль и плюханием холодной воды она энергически ликвидировала предсумеречные один-два часа, которые мать просыпала на софе. Меж тем в столовой уже приготовлялась декорация вечера. Польда и Паулина, девушки для шитья, хозяйничали там с реквизитом своего ремесла. Внесенная на руках, являлась в комнате молчаливая, неподвижная особа, дама из пакли и полотна, с черным деревянным шаром вместо головы. Установленная в углу, между дверью и печью, тихая эта дама делалась хозяйкой положения. Из своего угла, оставаясь в неподвижности, она молчаливо надзирала за работой девушек. Вся критицизм и неблагожелательность, принимала она усердие и услужливость, с какими те опускались перед ней на колени, примеряя фрагменты платья, меченные белой наметкой. Заботливо и терпеливо обслуживали девушки молчащий идол, которого ничто не могло ублажить. Молох сей был неумолим, как это бывает свойственно женским молохам, снова и снова веля на себя работать, а Польда и Паулина, веретеноподобные и стройные, словно деревянные шпули, с которых сматывались нитки, и столь же, как те, подвижные, производили над этой кучей шелка и сукна умелые движения, вклинивались щелкающими ножницами в ее цветную массу, стрекотали машинкой, топча педаль обутой в лаковую туфельку пошловатой ножкою, а вокруг росла куча отходов, разноцветных лоскутьев и тряпиц, точь-в-точь выплюнутые скорлупки и чешуйки вокруг пары привередливых и расточительных попугаев. Кривые челюсти ножниц со скрипом расходились, словно клювы цветных этих птиц.

Девушки небрежно топтали цветные обрезки, бездумно ступая как бы по мусору некоего воображаемого карнавала, по хламу грандиозного несостоявшегося маскарада. С первическим смехом стряхивали они с себя лоскутки и щекотали взглядами зеркала.

Души их, ловкое чародейство их рук пребывали не в скучных платьях, оставшихся на столе, но в сотнях обрезков, в этих стружках, легкомысленных и суетных, которыми, словно цветной фантастической метелью, они способны были засыпать весь город. Ни с того ни с сего им становилось жарко, и они отворяли окно, дабы в нетерпеливости своего затворничества, в голоде чужих лиц увидеть хотя бы безымянный лик ночи, к окну прильнувший. Исполненные взаимной ненависти и соперничества, готовые начать борьбу за того Пьеро, какого темный вздох ночи принесет к окошку, они обмахивали свои распаленные щеки перед вспухающей занавесками зимней ночью и обнажали пылающие декольте. Ах! Как мало нужно было им от действительности. Все было в них, чрезмерность всего была в них. О, их бы устроил Пьеро, набитый даже опилками, однодва словца, которых они давно ждали, дабы суметь угадать в роль свою, давно приготавливаемую, давно уже вертящуюся на языке, полную сладкой и страшной горечи, страшно увлекающую, как страницы романа, проглатываемые ночью вместе со слезами, стекающими на горячечный румянец.

В одно из вечерних скитаний по квартире, предпринятое в отсутствие Адели, отец мой наткнулся на тихий этот вечерний сеанс. Какое-то мгновение он стоял в темных дверях соседней комнаты, с лампой в руке, завороженный сценой, исполненной пылкости и горячки, сущей идиллией из пудры, цветной папиросной бумаги и атропина, которой, словно многозначительным фоном, была загрунтована зимняя ночь, дышавшая меж вздувшихся оконных гардин. Нацепив очки и сделавши два шага вперед, он обошел девушек, освещая их воздетой в руке лампой. Сквозняк из открытых дверей поднял занавески окна, девушки не воспротивились разглядыванию, шевеля бедрами, блестя эмалью глаз, лаком скрипучих туфелек, застежками подвязок под вздутым от ветра платьем; лоскутки, словно крысы, стали убегать по полу к приотворенным дверям темной комнаты, а мой отец внимательно глядел на прыскающих жеманниц, шепча вполголоса: — Genus avium... если не ошибаюсь, scansores или pistacci... в высшей степени достойные внимания.

Случайная встреча эта положила начало целой серии сеансов, в продолжение которых отцу моему быстро удалось очаровать обеих девушек обаянием своей преудивительной личности. В благодарность за исполненный галантности и живости разговор, который скрашивал им пустоту вечеров, девушки позволяли страстному исследователю изучать структуру своих щуплых и пошлых тел. Совершалось это во время беседы, изысканно и достойно, что снимало двусмысленность с рискованнейших моментов собственно исследования. Сдвигая чулочек с коленки Паулины и постигая обожающими глазами компактное и благородное строение сустава, отец говорил: — Сколь же полна очарования и сколь счастлива форма бытия, избранная вами. Сколь проста и прекрасна теза, каковую дано вам явить своим существованием. С каким мастерством, с какой утонченностью справляетесь вы с этой задачей. Если бы я, отбросив пиетет к Создателю, пожелал сделать своим занятием критику творения, я б восклицал: меньше содержания, больше формы! Ах, какую пользу миру принесло бы убытие содержания. Больше скромности в намерениях, больше воздержанности в претензиях, господа демиурги, и мир станет совершенней! — восклицал мой отец, меж тем как рука его вылущивала белую лодыжку Паулины из узилища чулочка. Но тут, неся поднос с полдником, в дверях столовой возникла Аделя. Это была первая со времен великой расправы встреча обеих враждебных сил. Мы, невольные свидетели, пережили минуты ужасной тревоги. Нам было в высшей степени неприятно присутствовать при новом унижении и без того сурово исказненного мужа. Невероятно сконфуженный отец встал с колен, к щекам его волна за волной все темнее и гуще приливал стыд. Аделя, однако, неожиданно оказалась на высоте положения. Она, усмехаясь, подошла к отцу и щелкнула его по носу. Это послужило как бы сигналом, Польда с Паулиной радостно хлопнули в ладоши, затопотали ножками, повисли с обеих сторон на отце и обошли с ним в танце вокруг стола. Так, благодаря добросердечию девушек, зародыш неприятного конфликта ликвидировался во всеобщем веселье.

Таково было начало преинтересных и преудивительных лекций, которые отец мой, вдохновленный очарованием маленькой этой и невинной аудитории, устроил в последующие недели ранней той зимы.

Любопытно будет отметить, что в столкновении с этим необычным человеком все вещи словно бы возвращались вспять, к корню своего бытия, восстанавливали свой феномен до самого метафизического ядра, пятились как бы к изначальной идее, чтобы в пункте том от нее отступиться и переметнуться в сомнительные, рискованные и дву-

смысленные области, которые для удобства наречем областями великой ереси. Наш ересиарх продвигался среди вещей, как магнетизер, заражая их и обольщая своим небезопасным чарованием. Следует ли мне и Паулину счесть его жертвой? В те дни она сделалась его ученицей, адепткой его теорий, моделью экспериментов.

Избегая искушения и с надлежащей осторожностью я попытаюсь изложить чересчур еретическую доктрину эту, на долгие месяцы опутавшую тогда моего отца и определившую поступки его.

Трактат о манекенах, или Вторая книга рода

— У демиурга,— говорил отец,— не было монополии на творение. Оно привилегия всех духов. Материи свойственна нескончаемая жизненная сила и прельстительная власть искушения, соблазняющая на формотворчество. В глубинах ее обозначаются неотчетливые улыбки, створаживаются напряжения, сгущаются попытки образов. Материя шевелится бесконечными возможностями, которые пронизывают ее неясными содроганиями. Ожидая животворного дуновения духа, она бесконечно перетекает сама в себе, искушает тысячами округлостей и мягкостей, каковые вымерещивает из себя в слепоглазых грезах.

Лишенная собственной инициативы, сладострастно податливая, по-женски пластичная, отзывчивая ко всякого рода побуждениям, она являет собой сферу деятельности, свободную от закона, доступную для всяческого шарлатанства и дилетантизма, поле для всевозможных злоупотреблений и сомнительных демиургических манипуляций. Материя — пассивнейшее и беззащитнейшее существо в космосе. Всякому позволительно ее мять, формовать, всякому она послушна. Любые структуры ее нестойки, хрупки и легко поддаются регрессу и распадению. Нет никакого зла в редукции жизни к формам иным и иовым. Убийство не есть грех. Оно иногда бывает неизбежным насилием над строптивыми и окостенелыми формами бытия, которые перестают быть привлекательны. Ради любопытного и солидного эксперимента убийство даже можно поставить в заслугу. В этом — исходная посылка новой апологии садизма.

Мой отец был неисчерпаем в глорификации столь удивительного первоэлемента, каким является материя.— Не бывает материи мертвой,— учил он,— мертвость — впечатление чисто внешнее, скрывающее неведомые формы жизни. Диапазон подобных форм бесконечен, а оттенки и нюансы неисчерпаемы. Демиург располагал важными и любопытными творческими рецептами. Благодаря им сотворил он множество видов, самостоятельно возобновляющихся. Неизвестно, будут ли эти рецепты когда-нибудь воссозданы. Но оно и не нужно, ибо, даже если классические эти приемы творения раз и навсегда оказались бы недостижимы, остаются определенные иллегальные приемы, вся необъятность методов еретических и безнравственных.

По мере того как отец от общих этих принципов космогонии переходил к области своих непосредственных интересов, голос его снижался до проникновенного шепота, изложение делалось все непостижимей и сложней, а выводы терялись во все более сомнительных и рискованных регионах. Жестикуляция при этом обретала эзотерическую торжественность. Отец щурил один глаз, прикладывал два пальца ко лбу, хитрость взгляда его делалась просто неправдоподобна. Хитростью этой он ввинчивался в своих собеседниц, насилуя цинизмом взгляда наистыдливейшие, наиинтимнейшие их скрытности, настигая ускользающее в глубочайшем закуточке, припирал к стенке, щекотал, карябал ироническим пальцем, пока не дощекочется до вспышки постижения и смеха, смеха примирительного и на все согласного, которым в конце концов приходилось капитулировать.

Девушки сидели замерев, лампа коптила, сукно под иглой машинки давно съехало, и машинка стучала впустую, строча черное беззвездное сукно, отматывающееся от штуки заоконной зимней ночи.

— Слишком долго терроризировало нас недостижимое совершенство демиурга,— говорил мой отец,— слишком долго совершенность его творения парализовала наше собственное творчество. Мы не намерены с ним конкурировать. У нас нет амбиций достигнуть его уровня. Мы желаем быть создателями в собственной — заштатной сфере, взыскуем творчества для себя, взыскуем творческого восторга, одним словом, жаждем демиургии.

Не знаю, от чьего имени провозглашал отец свои постулаты, какая группировка, какая корпорация, секта или солидарный орден придавали его словам пафос. Что касается нас — то мы были далеки от любых демиургических покусительств.

Меж тем отец изложил программу теневой этой демиургии, начертал образ второго поколения творений, каковые были призваны оказаться в открытой оппозиции к господствующей эпохе.— Нас не интересуют,— говорил он,— создания с долгим дыханием, существа долгосрочные. Наши креатуры не станут героями многотомных романов. Роли их будут коротки, лапидарны, характерны — без ставки на будущность порой ради единственного жеста, ради единственного слова мы приложим усилия, дабы вызвать их к жизни на краткое мгновение. Признаемся открыто, что не станем делать упор на долговечность и добротность исполнения, наши создания будут как бы временны, как бы выполнены для разового пользования. Если это будут люди, мы наделим их всего лишь одной стороной лица, одной рукой, одной ногой, разумеется тою, какая окажется необходима для предназначенной роли. Будет педантизмом озаботиться другою, не входящей в условия игры ногой. С тыльной стороны они могут просто быть зашиты полотном или побелены. Амбиции наши мы сформулируем в следующем гордом девизе: всякому жесту — свой актер. Для обслуживания каждого слова, каждого поступка мы вызовем к жизни нового человека. Так нам нравится, и таким он будет, мир по нашему вкусу. Демиург возлюбил изощренные, совершенные и сложные материалы — мы отдаем предпочтение дешевке. Нас попросту захватывает и восхищает базарность, убожество, расхожесть материала. Понимаете ли вы,— вопрошал мой отец,— глубокий смысл этой слабости, этой страсти к папье-маше, пестрой бумажке, лаковой краске, к пакле и опилкам? Это же,— продолжал он с горькой усмешкой,— наша любовь к материи как таковой, к ее пушистости и пористости, к ее единственной мистической консистенции. Демиургос — великий мастер и художник — делает ее неприметной, повелевает стушеваться на игрище жизни. Мы же, напротив, любим ее диссонанс, ее неподатливость, ее чучельную неповоротливость. Любим в каждом жесте, в каждом движении видеть ее грузное усилие, ее апатию, ее сладостную медвежеватость.

Девушки сидели неподвижно со стеклянными взглядами. Лица их были вытянуты и оглуплены поглощенностью, на щеках выступили красные пятна, и понять в этот момент, относятся они к первой или ко второй генерациям творения, было непросто.

— Словом,— заключал отец,— мы намерены сотворить человека повторно, по образу и подобию манекена.

Тут для верности изложения нам следует описать некий мелкий и незначительный инцидент, какой случился в этот момент лекции и какому мы не придаем ни малейшего значения. Инцидент этот, совершенно непостижимый и бессмысленный в конкретном том ряду событий, позволит, вероятно, истолковать себя как определенного рода рудиментарный автоматизм без предваряющих событий и продолжения, как своего рода злорадство объекта, отнесенное к психической сфере. Советуем читателю проигнорировать его с той же легкостью, с какой это делаем мы. Вот как все происходило.

В момент, когда отец проговорил слово «манекен», Аделя взглянула на ручные часики, а затем многозначительно переглянулась с Польдой. Потом она несколько выдвинулась вместе со стулом, подтянула по ноге подол, медленно выставила стопу, обтянутую черным шелком, и напрягла ее, словно головку змеи.

Совершенно неподвижная, с большими трепещущими очами, углубленными лазурью атропина, она сидела так между Польдой и Паулиной в продолжение всей сцены. Все три взирали широко раскрытыми глазами на отца. А он кашлянул, замолк, наклонился и сделался багровый. В одно мгновение графика его лица, только что столь сумбурная и вибрирующая, замкнулась в сделавшихся покорными чертах.

Он — ересиарх вдохновенный, чуть ли не исторгнутый только что из вихрей воспарения,— вдруг съежился, сник и свернулся. Возможно даже, его подменили кем-то другим. Этот другой сидел напряженный, красный, опустив глаза. Польда подошла и склонилась над ним. Легонько касаясь его спины, она заговорила тоном ласкового поощрения: «Иаков будет умницей, Иаков будет послушный, Иаков не станет упрямиться. Ну, пожалуйста... Иаков, Иаков...»

Выпружиненный туфелек Адели слегка подрагивал и поблескивал, словно змеиный язычок. Отец мой, не поднимая глаз, медленно и автоматически поднялся, сделал шаг вперед, а затем опустился на колени. В тишине шипела лампа, в чащобе обоев метались взад-вперед красноречивые переглядывания, летели шепоты ядовитых языков, зигзаги мыслей...

Трактат о манекенах

Продолжение

На следующий вечер отец с обновленным ораторским пылом продолжил темную и путаную свою тему. Рисунок его морщин скручивался и раскручивался с изощренным хитроумием. В каждой спирали таился заряд иронии. Порой вдохновение раздвигало круги его морщин, и тогда они расходились огромным коловращающимся кошмаром, уходившим молчаливыми волютами в провалы зимней ночи.— Фигуры паноптикума, сударыни,— начал он,— суть голгофианские пародии манекенов, но даже в таковом облике остерегайтесь трактовать их не всерьез. Материя шуток не понимает. Она всегда исполнена трагического достоинства. Кто решится помыслить, что можно играть с материей, что позволительно формообразовывать ее шутки ради, что шутка не врастает в нее, не въедается тотчас, как судьба, как предопределение? Чувствуете ли вы боль, глухое страдание, неосвобожденное, закованное в материю страдание сего чучела, которое не ведает, почему является ею, почему вынуждено существовать в данной, силой навязанной форме, каковая сама по себе уже пародия? Понимаете ли вы мощь выразительности, формы, видимости, тиранское своеволие, с каким набрасывается он на беззащитную деревянную болванку и овладевает ею, как своекорыстная, тиранствующая, самовластная душа? Вы придаете некоей голове из пакли и полотна выражение гнева и оставляете ее с гневом этим, с конвульсией, в напряжении, навсегда обреченную слепой неизбывной злости. Толпа смеется над таковой пародией. Плачьте, сударыни, над собственной судьбой, видя убожество материи плененной, материи помыкаемой, не ведающей, что́ она и зачем она и куда ввергает ее жест, который раз и навсегда ей придан.

Толпа смеется. Постигаете ли вы ужасающий садизм, упоительное демиургическое зверство этого смеха? Ибо плакать нам, сударыни, надо над собственной судьбою при виде такового упадка материи, материи насилуемой, над коей дозволено было совершить ужасающее беззаконие. Отсюда проистекает, мои сударыни, удручающая печаль всяческих шутовских големов, всех чучел, трагически раздумывающих над потешной своей гримасой.

Вот он — анархист Луккени, убийца императрицы Елизаветы, вот она, Драга, демоническая и злосчастная королева Сербии, вот гениальный молодой человек, надежда и гордость рода, которого погубила дурная привычка к онании. О, ирония этих наречений, этих видимостей!

Есть ли в чучеле том и вправду что-то от королевы Драги, ее двойник, хотя бы продленная тень ее натуры? Сходство это, видимость эта, наречение это примиряют нас и не дозволяют спросить, кем является для самого себя злосчастное создание. А меж тем это может быть некто, сударыни, некто неназванный, некто грозный и злосчастный, некто, никогда не слыхавший в своей глупой жизни о королеве Драге...

Долетало ли до вас по ночам страшное вытье восковых этих чучел, запертых в ярмарочных балаганах, горестный хор истуканов из дерева и фарфора, колотящих кулаками в стены темниц?

На лице отца моего, взбаламученном ужасом проблем, которые вызвал он из мрака, образовался водоворот морщин, воронка, уходящая вглубь, на дне которой пылало грозное пророческое око. Борода его страшно встопорщилась, пучки и кисточки волос, выскочившие из бородавок, родимых пятен и ноздрей, ощетинились на своих корешках. Так стоял он, оцепенелый, с пылающим взглядом, содрогаясь от внутреннего возмущения, точно автомат, который заело и который застрял в мертвой точке.

Аделя встала со стула и попросила нас закрыть глаза на то, что через минуту воспоследует. Затем она подошла к отцу и, уперев руки в бедра, с видом нарочитой решительности, весьма настоятельно потребовала...

. . . . . .

. . . . . .

Барышни каменно сидели, глядя вниз, в странном оцепенении.

Трактат о манекенах

Завершение

В какой-то из последующих вечеров мой отец продолжил свою проповедь такими словами:

— Не об этих воплощенных недоразумениях, не о печальных этих пародиях, сударыни, плодах грубой и вульгарной неумеренности, намеревался я сказать, поведя речь о манекенах. Я имел в виду совершенно другое.

Тут отец мой стал разворачивать перед нашим взором образ той, вымечтанной им «generatio aequivoca», некоего поколения существ, лишь наполовину органических, некой псевдовегетации и псевдофауны, результатов фантастического брожения материи.

Твари эти разве что с виду казались бы подобны живым существам: позвоночным, ракообразным, членистоногим, но видимость была бы обманчива. По сути своей они оказались бы существами аморфными, без внутренней структуры, плодами имитативных тенденций материи, которая, коль скоро наделена памятью, привычно повторяет принятые однажды формы. Шкала морфологии, которой располагает материя, вообще ограничена, и определенный ассортимент форм неизбежно повторяется на различных ярусах бытия.

Существа эти — подвижные, реагирующие на раздражители, но все же далекие от жизни как таковой, можно было изготовить, поместив взвеси определенных сложных коллоидов в раствор поваренной соли. Коллоиды эти через несколько дней обретали подобие формы, организовывались в некие сгустки субстанции, схожие с низшими формами фауны.

У существ, таким образом возникших, наблюдались дыхательные процессы, изменения материи, однако химический анализ не обнаруживал в них и следа белковых соединений, равно как и соединений углерода вообще.

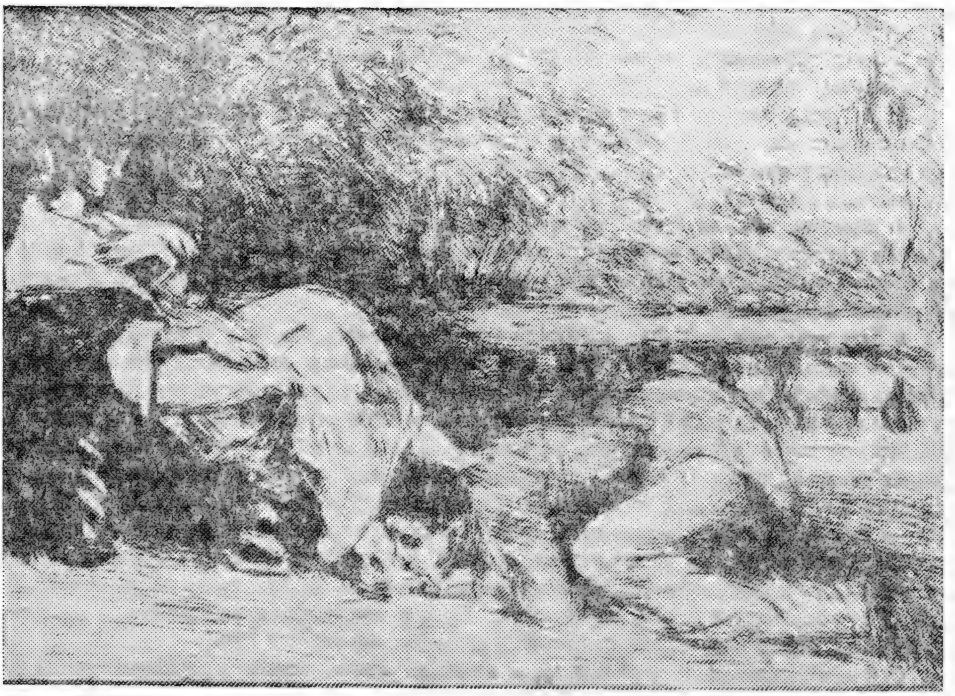
В любом случае примитивные эти формы были ничем по сравнению с обилием обликов и великолепием псевдофауны и флоры, возникающих порой в неких строго определенных средах. Такими средами оказываются старые жилища, пропитанные эманациями множества жизней и событий — утилизованная обстановка, богатая специфическими компонентами человеческих устремлений; развалины, обильные перегноем воспоминаний, тосковаций, безнадежной скуки. На таковой почве подобная псевдовегетация прорастала наскоро и наспех, паразитировала обильно и эфемерически, выгоняла мимолетные генерации, которые порывисто и пышно расцветали, дабы сразу же угаснуть и увянуть.

Обои в названных жилищах должны быть весьма обветшалыми и усталыми от непрестанных блужданий по всем каденциям ритмов, и неудивительно, что они оболь-щаются привадами далеких сомнительных миражей. Корень мебели, ее субстанция должны быть изначально развязаны, дегенерированы и податливы преступным искусам; тогда на больной этой, усталой и заброшенной почве процветет, словно прекрасная сыпь, налет фантастический, буйная цветная плесень.

— Вам известно, сударыни,— говорил мой отец,— что в старых квартирах бывают комнаты, о которых забыли. Не посещаемые месяцами, они прозябают в забвении меж старых своих стен, случается даже, самозамуровываются, зарастают кирпичами и, раз навсегда утраченные для нашей памяти, теряют заодно понемногу и свою экзистенцию. Двери, ведущие в них с какой-нибудь лестничной площадки черного хода, могут быть столь долго незамечаемы домашними, что врастают, уходят в стену, каковая затирает следы их фантастическим рисунком царапин и трещин.

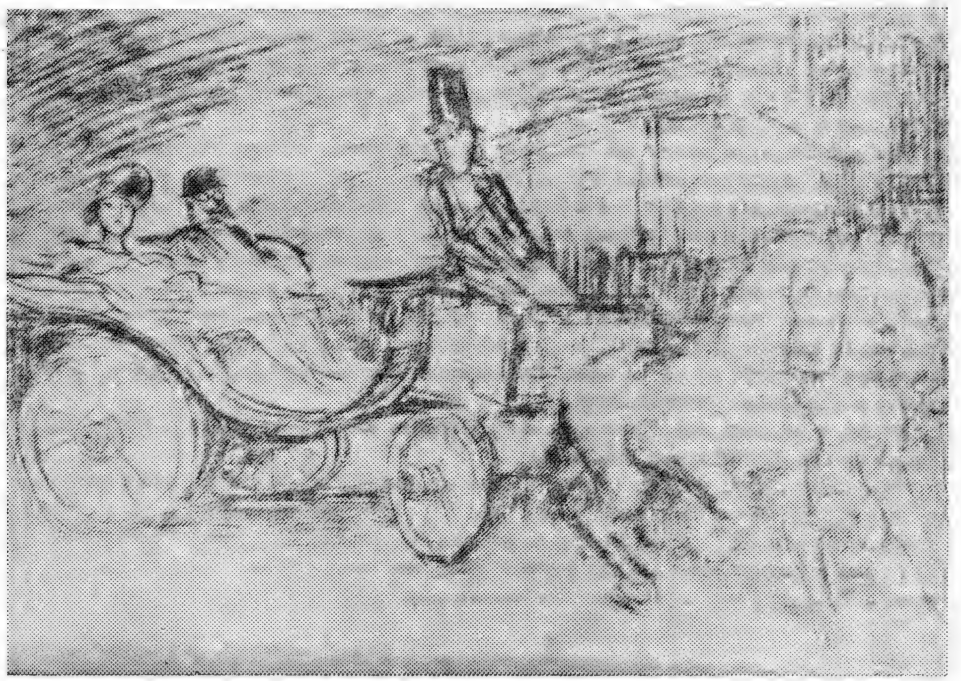
— Как-то на исходе зимы,— говорил мой отец,— через многие месяцы я попал ранним утром в такую полузабытую анфиладу и был потрясен увиденным.

Изо всех щелей пола, от всех карнизов и проемов тянулись тонкие побеги и заполняли серый воздух мерцающим кружевом филигранной листвы, ажурной чащобой некоей теплицы, полной шепотов, бликов, колышимостей какой-то ненастоящей, но блаженной весны. У кровати, под многолапой люстрой, возле шкафов колыхались купы хрупких деревьев, разбрызгиваясь кверху светозарными кронами, фонтанами кружевной листвы, бьющими в намалеванные потолочные небеса распыленным хлорофиллом. В спешном процессе цветения завязывались в листве громадные белые и розовые цветы, на глазах вспухали бутонами, выворачивались изнутри розовой мякотью и переливались за края, теряя лепестки и распадаясь в торопливом увядании.



Б. Шульц. Рисунок из цикла «Идолопоклонственные книги».

Б. Шульц. Эскиз иллюстрации к новелле «Весна».



— Я был счастлив,— продолжал отец,— внезапным этим цветением, которое наполняло воздух мерцающим шелестом, мягким шумом, сыплющимся, словно цветное конфетти, сквозь тонкие розги веточек.

Я лицезрел, как из трепетания воздуха, из ферментации куда как щедрой атмосферы выделяется и материализуется торопливое это цветение, переливание и распад фантастических олеандров, наполнявших комнату мешкотным редким снегопадом огромных розовых соцветий.

— Прежде чем наступил вечер,— завершал он,— не осталось и следа от столь пышного цветения. Иллюзорная фата-моргана была всего-навсего мистификацией, казусом преудивительной симуляции, предпринятой материей, подделавшейся под реальный жизненный антураж.

В день этот отец мой был невероятно оживлен, глаза его, хитрые ироничные глаза, сверкали задором и юмором. Но вот, внезапно посерьезнев, он снова принялся анализировать бесконечный диапазон форм и оттенков, какие принимала многоликая материя. Он тяготел к формам рубежным, сомнительным и проблематичным, таким, как эктоплазма сомнамбуликов, псевдоматерия, каталептическая эманация мозга, в определенных случаях распространявшаяся изо рта уснувшего и преполнявшая комнату как бы колышимой прореженной тканью, астральным телом на пограничье плоти и духа.

— Кому ведомо,— говорил отец,— сколько существует страдающих, покалеченных, фрагментарных состояний бытия, таких, скажем, как искусственно склеенная, насильно сколоченная гвоздями жизнь шкафов и столов, распятого дерева, немых мучеников беспощадной человеческой изобретательности. Жуткие трансплантации чуждых и взаимоненавидящих пород дерева, соединение их в одно несчастное естество.

Сколько старинной мудрой муки в мореных слоях, жилах и прожилках наших старых добрых шкафов. Кто разглядит в них старые, заструганные, заполированные до неузнаваемости черты, улыбки, взгляды!

Лицо моего отца, говорившего это, переиначилось в задумчивую штриховку морщин, сделалось похоже на слои и сучки старой доски, с которой сострогали воспоминания. Какое-то мгновение мы думали, что отец погрузится в состояние оцепенения, иногда на него находившее, но он вдруг очнулся, опомнился и продолжил:

— Древние, мистически настроенные племена бальзамировали своих покойников. В стены тамошних жилищ были вделаны, вмурованы тела, лица; в гостиной в виде чучела стоял отец, выдубленная покойница-жена служила подстольным ковриком. Я знавал одного капитана, в каюте которого висела лампа-мелюзина, сделанная малайскими бальзамистами из тела его убитой любовницы. На голове у нее были огромные оленьи рога.

В тиши каюты голова эта, распяленная меж ветвями рогов под потолком, неторопливо распахивала ресницы, а на приоткрытых ее губах поблескивала пленка слюны, лопавшаяся от тихого шепота. Головоногие, черепахи и огромные крабы, подвешенные к балкам потолка в качестве канделябров и люстр, непрерывно перебирали в тишине ногами, шли и шли на месте....

Лицо моего отца тотчас же сделалось озабоченным и печальным, меж тем как на путях невесть каких ассоциаций мысли обратились к новым примерам:

— Следует ли умолчать,— сообщал он приглушенным голосом,— что мой брат в результате долгой и неизлечимой болезни постепенно превратился в клубки резиновых кишок, что бедная моя кузина день и ночь носила его в подушках, напевая злосчастному созданию бесконечные колыбельные зимних ночей? Может ли быть что-либо огорчительнее человека, превратившегося в хегарову кишку? Какое разочарование для родителей, какая дезориентация их чувств, какой крах всяческих надежд, связанных с многообещающим юношей! И тем не менее самоотверженная любовь бедной кузины не покинула его и в таковом преображении.

— Ах, я не могу уже больше, не могу слушать этого! — простонала Польда, откинувшись на стуле.— Уйми его, Аделя...

Девушки встали, Аделя подошла к отцу и шевельнула протянутым пальцем, намекая на щекотку. Отец смешался, умолк и, совершенно потрясенный, стал пятиться от грозящего пальца Адели. Та следовала за ним неотступно, язвительно грозя пальцем своим и шаг за шагом тесня отца из комнаты. Паулина, потянувшись, зевнула, прижалась плечом к Польде, и обе с усмешкой поглядели друг дружке в глаза.

Нимрод

Весь август того года я провел с маленьким замечательным щенком, который обнаружился однажды на полу нашей кухни, неуклюжий и попискивающий, пахнувший молоком и младенчеством, с нескладной, еще кругловатой, дрожащей головой, с раскоряченными, точно у крота, лапками и тончайшей мягонькой шерсткой.

С первого взгляда эта крупица жизни завоевала все восхищение и всю пылкость мальчишечьей души.

С какого неба столь нежданно свалился сей любимец богов, любезнейший сердцу, чем самые распрекрасные игрушки? Придет же в голову старым и чрезвычайно малопривлекательным судомойкам чудесная идея принести из предместья в совершенно ранний — трансцендентально ранний час — такого вот щенка в нашу кухню!

Увы. Я был еще отсутствующим, не родившимся из темного лона сна, а счастье уже состоялось, уже ожидало нас, косолапо лежа на холодном полу кухни, неоцененное Аделей и домашними. Зачем не разбудили меня раньше! Блюдечко молока в углу свидетельствовало о материнских побуждениях Адели, но свидетельствовало, к сожалению, и об ушедших мгновениях, для меня навсегда утраченных, о радостях воспринятого материнства, в которых я не принимал участия.

Однако предстояло мне целое будущее. Простор для опытов, экспериментов, открытий ждал меня! Секрет жизни, главная ее тайна, сведенная к простейшей этой, удобнейшей и игрушечной форме, открывались неудовлетворенному любопытству. Было страшно интересно заполучить в собственность эту крупинку жизни, эту частичку вековечной тайны в облике столь забавном и невиданном, вызывающем бесконечный интерес и потаенное уважение своей инородностью, неожиданной транспозицией мотива, бывшего в нас, в форму зверьковую и отличную от нашей.

Животные! Экземплификации того, что зовется загадкой жизни, предмет неутоленного любопытства, словно бы созданные затем, чтобы указать человеку человека, расчленив его богатство и сложность на тысячи калейдоскопных вариантов, из которых каждый на грани некоего парадоксального рубежа, некоей чрезмерности, переходящей в крайность. Сердце распахивалось, не отягощенное хитросплетением эгоистических интересов, коверкающих человеческие отношения, исполненное симпатии к чужеродным эманациям вековечной жизни и любовного сопричастного любопытства, каковое всего лишь — замаскированный голод самопознания.

А щенок был бархатный, теплый и пульсирующий маленьким торопливым сердцем. У него имелись два мягких лоскутка ушей, голубоватые мутные глазки, розовая пасть, в которую, абсолютно не опасаясь, можно было сунуть палец, лапки нежные и невинные, с трогательной розовой бородавочкой позади над стопами на передних. Он залезал лапами в миску с молоком, прожорливый и нетерпеливый, лакающий питье розовым язычком, чтобы, насытившись, жалобно поднять маленькую мордочку с каплею молока на шерстке и неуклюже попятиться из млечной купели.

Передвигаясь, он словно бы нескладно, боком и наискось катился в неопределенном направлении, по линии несколько пьяной и неотчетливой. Доминантой настроения его была некая тоже неотчетливая и принципиальная печаль, сиротство, беспомощность и неспособность заполнить пустоту жизни между сенсациями еды. Это обнаруживалось в беспланости и нерешительности движений, в иррациональных приступах ностальгии с жалобным скулением и невозможностью найти себе место. Даже в глубинах сна, в котором он удовлетворял потребность опереться и притулиться, пользуясь для этого собственной персоной, свернувшейся дрожащим клубком, его не покидало чувство одиночества и бездомности. Ах, жизнь, молодая и слабая жизнь, исторгнутая из уютного тепла материнского лона в огромный и чужой светлый свет, как же съеживается она и пятится, как опасается согласиться на действо, ей предложенное, вся антипатия и нерасположение!

Но потихоньку маленький Нимрод (он был наречен этим гордым и воинственным именем) начинает обретать вкус к жизни. Исключительное овладение образом родового праединства сменяется очарованием веселости.

Мир принимается расставлять ему ловушки: неведомый и замечательный вкус разной еды, прямоугольник утреннего солнца на полу, в котором так приятно полежать, движения разных частей тела, собственные лапки, хвостик, озорно раззадоривающий

поиграть с собой, ласка человеческой руки, от которой медленно зреет безотчетная проказливость, радость, распирающая тело и возбуждающая потребность в совершенно новых, внезапных и рискованных движениях,— все это располагает, убеждает и увлекает принять эксперимент жизни и примириться с ним.

И еще одно. Нимрод начинает постигать, что все, с чем он сталкивается, несмотря на видимость новизны, является по сути чем-то, что уже было — причем многократно, бесконечно многократно. Тело его узнает ситуации, впечатления и предметы. В сущности, все это не слишком его удивляет. Оказавшись в новой незнакомой ситуации, он ныряет в собственную память, в глубинную память естества, и на ощупь ищет, ищет лихорадочно, и, случается, обнаруживает соответствующую реакцию в готовом виде: мудрость поколений, сосредоточенную в его плазме и нервах. Он обнаруживает некие поступки, решения, о которых знать не знал, что они уже созрели и ожидали повода объявиться в нем.

Обстановка жизни — кухня с пахучими лоханями, с интригующе сложно пахнущими тряпками, со шлепаньем туфель Адели, с ее шумной возней — больше его не страшит. Он привык считать кухню своим владением, освоился и стал по отношению к ней развивать в себе неотчетливое ощущение причастности, отечества.

Разве что внезапно обрушивался катаклизм в виде мытья полов — ниспровержение законов природы, выплески теплого щелока, подтекающие под мебель, и грозное шварканье Аделиных щеток.

Опасность, однако, минуется, щетка, успокоенная и неподвижная, тихо стоит в углу, сохнущий пол славно пахнет мокрым деревом. Нимрод, снова обретший положенные права и свободу на собственной территории, чувствует непреодолимое желание хватать зубами старое одеяло и что есть силы и так и этак трепать его по полу. Укрощение стихий переполняет его несказанной радостью.

Вдруг он замирает как вкопанный: впереди, в каких-то трех щенячьих шагах, движется черное страшилище, чудище, быстро спешащее на прутиках многих неразборчивых ног. Потрясенный Нимрод следит взглядом за косым курсом поблескивающего насекомого, неотрывно глядя на это плоское, безголовое и слепое тулово, несомое невероятной расторопностью паучьих ног.

Что-то в нем при виде всего этого возникает, что-то зреет, набухает что-то, чего он и сам не поймет, словно бы некий гнев или страх, но какой-то приятный и связанный с судорогой силы, самоощущением, агрессивностью.

И он внезапно припадает на передние лапки и исторгает из себя голос, самому ему еще неведомый, чужой, совершенно непохожий на всегдашнее попискивание.

Он исторгает его еще раз, и еще, и еще — тонким дискантом, который всякий раз срывается.

Но напрасно он честит насекомое на этом новом, во внезапном вдохновении рожденном языке. В категориях тараканьего сознания нет места для таковой тирады, и насекомое продолжает свой косой бег в угол комнаты движениями, освященными вековечным тараканьим ритуалом.

Однако чувство ненависти пока что непостоянно и несильно в душе щенка, при том что пробужденная радость жизни обращает всякое чувство в веселость. Нимрод продолжает тявкать, но суть лая незаметно изменилась, он стал самопародией и действительно пытается выразить неизъяснимую удачу столь отменного события в жизни, в которой столько неожиданной жути и потрясающих приключений.

Пан

В углу меж тыльных сарайных стен и пристроек был дворовый заулок, отдаленное последнее его ответвление, замкнутое между кладовкой, нужником и заднею стеной курятника — глухой залив, за которым уже не было выхода.

Это был самый дальний мыс, Гибралтар двора, в отчаянии бившийся головою в тупиковый забор из горизонтальных досок — замыкающую и распоследнюю стену мира сего.

Из-под замшелых заборных досок тянулась нитка черной, вонючей воды, никогда не просыхающая жила гниющей жирной грязи — единственная дорога, уходившая в зазаборный мир. Однако отчаяние смрадного заулка так долго колотилось головой в свою огорожу, что расшатало одну из горизонтальных могучих досок. Мы, мальчиш-

ки, довершили остальное и вывернули, выдвинули тяжкую замшелую доску из пазов. Так проделали мы брешь, отворили окно к солнцу. Утвердив ногу на доске, переброшенной мостком через лужу, узник двора мог в горизонтальной позиции протиснуться в щель, допускавшую его в новый, продутый ветерками и обширный мир. Там был большой одичавший старый сад. Высокие груши, развесистые яблони росли редкими мощными группами, осыпанные серебряным шелестом, кипящей сеткой белесых бликов. Буйная и разная некошеная трава пушистою шубой покрывала волнистую землю. Тут были обыкновенные травяные луговые стебли с перистыми кисточками колосьев; была тончайшая филигрань дикой петрушки и моркови; сморщенные и шершавые листики будры и глухой крапивы, пахнувшие мятой; волокнистый глянцевый подорожник, крапленный ржавью, выбросивший кисти грубой багровой крупы. Все это, спутанное и пушистое, было напоено тихим воздухом, подбито голубым ветром и насыщено небом. Лежащего на траве накрывала вся голубая география облаков и плывущих континентов, а дышал он целой широкою картою небес. От общения с воздухом листы и побеги покрывались хрупкими волосками, мягким налетом пуха, шерсткой щетиной крючочков, служивших как бы для цепляния и удержания струений кислорода. Налет этот, нежный и белесый, роднил листья с атмосферой, придавал им серебристый, серый лоск воздушных волн, теневых задумчивостей меж двух проблесков солнца. Одно же из растений, желтое и полное млечного сока в бледных стеблях, надутое воздухом, гнало из своих полых побегов уже и сам воздух, сам пух в виде перистых осотовых шаров, рассыпаемых дуновением ветра и беззвучно вбираемых лазурным безмолвием.

Сад был обширен, расходился несколькими рукавами и мог быть поделен на климатические зоны. С одной стороны был он открыт, переполнен молоком небес и воздухом и небесам этим подстилал наимягчайшую, наинежнейшую, наипышнейшую зелень. Однако по мере того, как уходил в глубь долгого рукава и погружался в тень между тыльной стеной заброшенной фабрики содовых вод и длинной заваливающейся стеной сарая, он заметно мрачнел, делался нелюбезен, резок и небрежен, дико и неряшливо продлевался, свирепствовал крапивою, ощетинивался чертополохами, шелудивел всякой сорной травой, чтобы в самом конце своем, между стен, в широком прямоугольном заливе, потерять всякую меру и обезуметь. Там уже был не сад, но пароксизм неистовства, взрыв бешенства, циническое бесстыдство и беспутство. Там рассвирепевшие, дававшие выход своей ярости, верховодили полые одичалые капусты лопухов — исполинские ведьмы, высвобождающиеся средь бела дня из широких своих юбок, скидывающие их, юбку за юбкой, покуда вздутые, шуршащие, драные лохмотья полоумными лоскутьями не погребали под собой склочное это, прижитое в блуде отродье. А прожорливые юбки, распухая и распихиваясь, лезли одна на другую, раздавались вширь, перекрывались одна другою и, разом вырастая вздутым множеством листовых противней, достигали даже низкой стрехи сарая.

Там это и случилось, и там я увидел его единственный раз в жизни в обмеревший от зноя полуденный час. Это была минута, когда время, ошалелое и дикое, выпрастывается из лямки событий и, словно беглый побродяга, с воплем мчится напрямик через поля. Лето же, оставшись без призора, растет повсюду без меры и удержу, в каждой точке вдвойне и втройне, дико и стремительно перерастая в другое какое-то преступное время, в неведомый масштаб, в умопомрачение.

В эту пору дня я, потеряв голову, предавался ловле бабочек, страстным преследованиям мелькающих этих пятен, этих странствующих белых лоскутов, трепыхающихся в пламенном воздухе неуклюжими метаниями. И получилось так, что одно из ярких пятен распалось в полете на два, затем на три — и поразительное это, ослепительно белое троеточие вело меня, как блуждающий огонек, сквозь неистовство чертополоха, пылавшего в солнце.

Перед лопухами я остановился, не осмеливаясь вступить в глухой их провал.

И тогда я внезапно увидел его.

Он объявился мне сидящим на корточках в чащобе лопухов, достигавших ему до подмышек.

Я видел мясистые плечи в грязной рубахе и неопрятную рвань сюртука. Притаившийся, словно для прыжка, он сидел, как будто спину его согнула великая тягота. Тело его с натугой дышало, а с медного, блестевшего на солнце лица струился пот. Неподвижный, он казался тяжко работающим, бездвижно единоборствовавшим с неким непомерным бременем.

Я стоял, пригвожденный его взглядом, взявшим меня в клещи.

Это было лицо бродяги или пропойцы. Пучок грязной пакли торчал надо лбом высоким и, словно обточенный рекой каменный валун, выпуклым. Однако чело это исполосовано было глубокими бороздами. Неизвестно, мука ли, палящий ли жар солнца, сверхчеловеческое ли напряжение ввинтились так в обличье его и напрягли черты, вот-вот готовые лопнуть. Черные глаза вперились в меня с напряжением величайшего отчаяния, а может быть, и боли. Глаза глядели и не глядели, видели меня и не видели. Это были вылупленные глазные яблоки, напряженные величайшим упоением страдания или неуемным наслаждением восторга.

И внезапно от лица этого, стянутого донельзя, отъединилась некая жуткая, искаженная страданием гримаса, и гримаса эта росла, вбирала в себя сказанные помешательство и вдохновение, набухая ими, все более выпяливаясь, покуда не прорвалась рыкающим хрипящим кашлем смеха.

Потрясенный, я видел, как, грохоча смехом могучей груди, он медленно поднялся с корточек и, сутулый, как горилла, с руками в опадающих лохмотьях штанов, побежал прочь, шлепая большими прыжками сквозь гремящие противни лопухов — Пан без флейты, всполошенный и ретирующийся в родимые свои дремучие дебри.

Пан Кароль

В субботу за полдень мой дядя Кароль, соломенный вдовец, отправлялся пешком к жене и детям, проживавшим летом на даче, расположенной в часе пути от города.

После отъезда жены квартира стояла неубранной, постель никогда не застилалась. Пан Кароль приходил домой глубокой ночью, поруганный и опустошенный ночными похождениями, которые увлекали его тогдашние дни, знойные и пустые. Скомканная, прохладная, невероятно раскиданная постель оказывалась для него в то время блаженной гаванью, спасительным островом, к которому он припадал из последних сил, словно жертва кораблекрушения, много дней и ночей носимая по бурному морю.

Ощупью в потемках валился он куда-то меж белевших горами, хребтами и завалами прохладных перин и спал, как лег, в неведомом направлении, задом наперед, головою вниз, вмявшись теменем в пушистую мякоть постели, как если бы во сне хотел провертеть, пройти насквозь эти разросшиеся к ночи могучие массивы перин. Во сне он боролся с постелью, как пловец с водой, трамбовал ее, месил телом, как огромную дежу теста, в которую провалился, и просыпался в брезжущем утре, задыхающийся, мокрый от пота, выброшенный на берег постельной этой груды, с которой так и не совладал в тяжком ночном единоборстве. Полувыброшенный из глубей сна, какое-то время он висел, не приходя в память, на кромке ночи, хватая ртом воздух, а постель росла вокруг него, вспухала и скисала — и снова заращивала его завалом тяжелого беловатого теста.

Так спал он допоздна, почти до полудня, а по белой, плоской, большой равнине подушек странствовал укрощенный сон его. По этим белым большакам он мешкотно возвращался в себя, в день, в явь — и наконец открывал глаза, словно проснувшийся пассажир, когда поезд останавливается на станции.

В комнате обретался отстоявшийся полумрак с осадком из многих дней одиночества и тишины. Только окно кипело утренним роением мух и ослепительно горели шторы. Пан Кароль вызевывал из тела своего и глубей ям телесных остатки вчерашнего дня. Зевание пронимало его, как конвульсия, как если бы выворачивало наизнанку. Так исторгал он из себя песок этот, тяжесть эту — непереваренные должки дня минувшего.

Таково себе потрафив и почувствовав себя вольготнее, он вносил в записную книжку расходы, подсчитывал, прикидывал и мечтал. Потом долго и неподвижно лежал с остекленевшими глазами цвета воды, выпуклыми и влажными. В водянистом полумраке комнаты, подсвеченном рефлексами знойного зашторного дня, глаза его, точно маленькие зеркальца, отражали все яркие объекты: белые пятна солнца в оконных щелях, золотой прямоугольник штор — и повторяли, словно капли воды, всю комнату с тишиной ковров и пустых стульев.

Между тем день за шторами все пламенней гудел жужжанием мух, одуревших от солнца. Окно не вмещало всего белого пожара, и шторы теряли сознание от собственных светлых колыханий.

Он выбирался из постели и какое-то время оставался на ней сидеть, бессмысленно мыча. Его почти сорокалетнее тело уже располагалось к полноте. В организме, заплы-

вающем жиром, измученном половыми излишествами, но все еще переполняемом буйными соками, сейчас, в тишине этой начинала, похоже, неспешно дозревать грядущая его судьба.

Меж тем как сидел он так в бессмысленном вегетативном остолбенении, весь кровообращение, респирация и подспудное пульсирование соков, из глубин его тела, потного и во многих местах волосатого, разрасталась некая неведомая, несформулированная будущность, словно бы чудовищный нарост, фантастически вырастающий до неведомых размеров. Он не поражался ему, ибо уже ощущал свою тождественность с тем неведомым и огромным, что имело наступить, и рос вместе с ним без протеста, в удивительном согласии, оцепенев в спокойном ужасе, распознавая самого себя в тех колоссальных выцветах, в тех фантастических нагромождениях, какие зрели перед его внутренним взором. Один глаз его при этом слегка сдвигался кнаружи, словно бы переходил в другое измерение.

Потом из бессмысленной этой отуманенности, из запропастившихся этих далей он снова возвращался в себя и в действительность; замечал на ковре ступни свои, дебелые и нежные, как у женщины, и потихоньку вытаскивал золотые запонки из манжет дневной рубахи. Затем отправлялся на кухню и обнаруживал там в тенистом закутке ведерко с водой — кружок тихого чуткого зеркала, которое — единственно живое и посвященное существо в пустом жилище — ожидало его. Он наливал в таз воды и пробовал кожей ее тусклую и застойную сладковатую мокроту.

Долго и тщательно занимался он туалетом, не торопясь и делая паузы между отдельными манипуляциями.

Жилище, пустое и запущенное, не признавало его, мебель и стены взирали с молчаливым неодобрением.

Он чувствовал себя, входя в их немоту, незваным гостем в подводном этом затонувшем королевстве, где проходило иное, особое время.

Коричные лавки

В самые краткие сонливые зимние дни, по обоим концам — с утра и вечера — отороченные меховою каймою сумерек, когда город все глубже уходил в лабиринты зимних ночей, надсадно призываемый недолгим рассветом одуматься и вернуться, отец мой был уже утрачен, запродан, повязан присягой тому миру.

Лицо его и борода изобильно и дико зарастали в это время седым волосом, торчащим неодинаковыми пучками, щетиной, длинными кисточками, вылезавшими из бородавок, бровей и ноздрей — что придавало ему вид старого взъерошенного лиса.

Обоняние и слух отца невероятно обострялись, а по игре немого напряженного лица было заметно, что, пользуясь чувствами этими, он пребывает в постоянном контакте с незримой жизнью темных закутков, мышьих нор, трухлявых порожних пространств под полами и дымоходов.

Все шорохи, ночные скрипы, тайная и трескучая жизнь полов находили в нем безошибочного и чуткого подстерегателя, соглядатая и пособника.

Это поглощало его настолько, что он безраздельно погружался в недоступную всем нам жизнь, о которой и не собирался свидетельствовать.

Частенько, когда штучки незримых сфер бывали уж слишком нелепы, случалось ему, ни к кому не обращаясь, отрясать пальцы и тихо посмеиваться; при этом он обменивался понимающим взглядом с нашей кошкой, которая — тоже причастная тому миру — поднимала свое циничное холодное полосатое лицо, щуря от скуки и равнодушия раскосые щелки глаз.

Во время обеда он, с повязанной под шею салфеткой, иногда откладывал нож и вилку, вставал кошачьим движением, подкрадывался на подушечках пальцев к дверям пустой соседней комнаты и с величайшими предосторожностями заглядывал в замочную скважину. Затем, растерянно улыбаясь, словно бы сконфуженный, возвращался к столу, хмыкал и что-то невнятно бормотал, что относилось уже к внутреннему монологу, целиком его поглощавшему.

Чтобы как-то отца развеять и отвлечь от болезненных наваждений, мать водила его на вечерние прогулки, и он шел молча, не сопротивляясь, но и неохотно, рассеянный и отсутствующий. Однажды мы даже отправились в театр.

В который раз оказались мы в обширной, худо освещенной и неопрятной зале, полной сонного гомона и бестолковой сутолоки. Но стоило преодолеть людскую толчею, и перед нами возник огромный бледно-голубой занавес, точь-в-точь небеса иного какого-то небосвода. Большие намалеванные розовые маски, раздувая щеки, утопали в громадном полотняном пространстве. Искусственное небо плыло вдоль и поперек и распростиралось, преполняясь грандиозным дыханием пафоса и широкого жеста, атмосферой ненастоящего блистающего мира, сотворяемого на гулких лесах сцены. Трепетание, плывущее по огромному облику этих небес, дыхание огромного полотна, которым разрастались и оживали маски, выдавало иллюзорность неба, производя то самое содрогание действительности, какое в метафизические миги ощущается нами как мерцание тайны.

Маски трепетали красными веками, цветные уста беззвучно шептали что-то, а я знал — наступит момент, когда напряжение тайны достигнет апогея, небесное половодье занавеса лопнет, вознесется и обнаружит нечто небывалое и ослепительное.

Однако дождаться этого мне было не суждено, ибо отец вдруг забеспокоился, стал хвататься за карманы и, наконец, объявил, что оставил дома бумажник с деньгами и важными документами.

После короткого совета с матерью, на котором добропорядочность Адели была подвергнута незамедлительной огульной оценке, мне было предложено отправиться домой на розыски. По мнению матери, до начала было довольно времени и при моей расторопности можно было вовремя поспеть обратно.

И я отправился в ночь, зимнюю и цветную от небесной иллюминации. Была она одною из тех ясных ночей, когда звездный небосвод столь обширен и разветвлен, словно бы распался, разъединился и разделился на лабиринты отдельных небес, каждого из которых станет одарить целый месяц ночей зимних и накрыть своими цветными серебряными абажурами все их заполночные перипетии, скандалы и карнавалы.

Непростительным легкомыслием было посылать подростка в такую ночь с поручением важным и неотложным, ибо в полусвете ее многократно множатся, перепутываются и меняются местами улицы. Можно даже сказать, что из городских недр возникают улицы-парафразы, улицы-двойники, улицы мнимые и ложные. Очарованное и сбитое с толку воображение чертит призрачные планы города, вроде бы давно известные и знакомые, где у странных этих улиц есть место и название, а ночь в неисчерпаемом плодоношении своем не находит ничего лучшего, как поставлять все новые и новые обманные конфигурации. Стоит без особого умысла сократить дорогу, воспользоваться не всегдашним, а каким-то незнакомым проходным двором, и начинаются искусы ночей зимних. Возникают соблазнительные варианты пересечения головоломного пути каким-то нехоженым поперечным проулком. Однако на этот раз все случилось по-другому.

Пройдя несколько шагов, я спохватился, что ушел без пальто, и хотел было вернуться, но решил не терять времени, поскольку ночь не была холодна, а совсем напротив — пронизана струениями странного тепла, дыханием некоей псевдовесны. Снег съежился белыми ягнятами, невинным прелестным руном, благоухавшим фиалками. В таковых же ягнят разбрелось и небо, где вездесущий месяц старался за двоих, являя в своей многократности все фазы и положения на небосводе.

Небеса, словно бы в нескольких анатомических препарациях, обнажали в тот день свое внутреннее устройство, обнаруживая спирали и слои света, сечения сияющих зеленых глыб ночи, плазму пространств, вещество ночных роений.

В такую ночь невозможно идти Подвальем или другой какой темной улицей, то есть изнанкой или, правильней сказать, подоплекой четырех сторон площади, и при этом не вспомнить, что в столь поздний час еще открыты некоторые из престранных и ужасно заманчивых магазинчиков, о которых вспоминаешь не всякий день. Я именую их коричными лавками из-за темных деревянных панелей цвета корицы, которыми обшиты стены.

К этим и в самом деле благородным торговлям, открытым допоздна, меня всегда горячо и неудержимо тянуло.

Тускло освещенные темные и торжественные помещения пахли глубоким запахом красок, благовоний, лака, ароматом неведомых стран и редкостных тканей. Тут можно было найти бенгальские огни, волшебные шкатулки, марки давно не существующих стран, китайские переводные картинки, индиго, малабарскую канифоль, живых саламандр и василисков, яйца экзотических насекомых, попугаев, туканов, корень Мандрагоры, нюрнбергские механизмы, гомункулов в цветочных горшках, микроскопы, подзор-

ные трубы и, конечно же, редкие и особенные книжки — старинные фолианты с превосходными гравюрами и преудивительными историями.

Помню старых степенных купцов, преисполненных мудрости и понимания самых сокровенных пожеланий клиента, обслуживавших гостя в тактичном молчании и при этом глядя долу. Была там еще и книжная лавка, где однажды, совлекая покровы с тайн мучительных и упоительных, я разглядывал редкие и запретные издания тайных клубов.

Бывать в этих лавках случалось редко — причем пускай с небольшой, но достаточной суммой в кармане. Так что небрегать появившейся возможностью, невзирая на важность миссии, доверенной вашему усердию, было нельзя.

Чтобы попасть на улицу с ночной торговлей, я решил свернуть в боковой переулок и миновать два-три перекрестка. От главной цели это отдаляло, но можно было наверстать время, возвращаясь дорогой на Соляные Копи.

Подгоняемый желанием посетить коричные лавки, я поворотил в известную мне улицу и скорее летел, чем шел, следя, однако, за тем, чтобы не сбиться с дороги. Я миновал уже третий или четвертый перекресток, а заветной улицы все не было. Ко всему еще я не узнавал и места. Лавок было не видать. Я оказался на тротуаре с домами сплошь без подъездов, окна которых — плотно затворенные окна — слепли отблеском месяца. Нужная мне улица, откуда эти дома доступны, вероятно, лежит по другую их сторону, решил я и, с тревогой ускоряя шаги, раздумал заходить в лавки. Только бы скорее выбраться в знакомые кварталы. Я достиг уличного завершения, не представляя, куда оно меня выведет, и оказался на широком, негусто застроенном тракте, весьма долгом и прямом. На меня тотчас пахнуло дыханием открытого пространства. Здесь, или вдоль тротуаров, или в глубине садов, стояли живописные виллы, нарядные дома состоятельных людей. Меж них виднелись парки и стены фруктовых садов. Это несколько напоминало Лешнянскую улицу в ее нижнем и редко посещаемом конце. Лунный свет, растворенный в тысячах агнцев и в серебряных небесных чешуях, был бледен и светел, словно бы стоял белый день, и в серебряном пейзаже чернелись только парки и сады.

Внимательно приглядевшись к одной из построек, я решил, что передо мною тыльный, прежде мне незнакомый фасад гимназии. Меж тем я оказался у подъезда, который, к удивлению моему, был отворен и освещен внутри. Я вошел и очутился на красной дорожке коридора. Я полагал, что исхитрюсь пройти незамеченным здание насквозь и выбраться через парадный вход, прекраснейшим образом сократив себе дорогу.

Тут вспомнил я, что в поздний этот час в классе учителя Арендта идет один из тех дополнительных уроков, устраиваемых чуть ли не за полночь, на которые мы сходились в зимнюю пору, горя благородным рвением к занятию рисунком, которое пробудил в нас отменный педагог.

Маленькая группка самых прилежных казалась затерянной в большом темном классе, на стенах которого изламывались и великанились тени наших голов, сотворяемые двумя куцыми свечками, горевшими в бутылочных горлышках.

Сказать по совести, рисовали мы в дополнительные часы не так чтобы много, да и учитель не ставил нам конкретных задач. Кое-кто приносил из дому подушки и устраивался сладко подремать на скамьях. И только усерднейшие трудились возле свечки, в золотом круге ее сияния.

Обычно мы долго ждали учителя, скучая в сонливых разговорах. Наконец, отворялись двери его комнаты, и он появлялся, маленький, с красивой бородой, исполненный эзотерических усмешек, деликатных умолчаний и ароматов таинственности. Он быстро притворял за собою двери кабинета, в которых, покуда было отворено, за его спиной толпилось множество гипсовых теней, фрагменты античных Данаид, Танталидов и скорбящих Ниобид — весь печальный бесплодный Олимп, долгие годы прозябающий в музее слепков. Сумрак помещения бывал мутен даже днем, сонливо перемежаясь гипсовыми гримасами, пустоглазыми взглядами, тусклеющими овалами и отрешенностями, уходящими в небытие. Нам, бывало, нравилось подслушивать у дверей тишину, полную вздохов и шепотов гипсового этого развала, крошившегося в паутине, этого разрушавшегося в скуке и однообразии заката богов.

Исполненный благоговения учитель с достоинством прохаживался меж пустых парт, где, разбросанные маленькими кучками, мы что-то рисовали в сером отсвете зимней ночи. Было укромно и сонно. Кое-кто из однокашников укладывался спать. Свечки тихо догорали в бутылках. Учитель копался в глубоком стеклянном шкафу, заваленном старинными фолиантами, стародавними иллюстрациями, гравюрами и редкими изда-

ниями. Сопровождая объяснения эзотерической жестикуляцией, он листал перед нами старые литографии сумеречных ландшафтов, ночные заросли, аллеи зимних парков, чернеющие на белых лунных дорогах.

В сонной беседе неприметно проходило время и, неравномерно длясь, словно бы отмечало узелками протекание часов, целиком заглатывая невесть куда пустые промежутки дления. Неприметно, без перехода, орава наша вдруг обнаруживала себя уже на обратной дороге, на белой от снега тропе шпалеры, обставленной черной и сухой каймой кустарника. Уже много за полночь шли мы вдоль лохматой этой кромки мрака, в ночь ясную и безлунную, в млечный ненастоящий день, задевая медвежью шерсть кустов, похрустывавших под нашими шагами. Рассеянная белость света, брезжившая из снега, из бледного воздуха, из млечных пространств, была подобна серой бумаге гравюры, на которой глубокой чернью перепутываются черточки и штриховки густых зарослей. Ночь, теперь уже вовсе далеко за полночь, повторяла серию ноктюрнов, ночных гравюр учителя Арендта, продолжая его фантазии.

В черной парковой чащобе, в мохнатой шерсти зарослей, в ломком хворосте попадались как бы ниши, гнезда глубочайшей пушистой тьмы, полные сбивчивостей, тайных жестов, беспорядочных объяснений знаками. Там было укромно и тепло. В ворсистых наших пальто мы устраивались на мягком нехолодном снегу, грызя орехи, которыми в ту весноподобную зиму была полна лещинная чащоба. В зарослях беззвучно скользили ласки, ихневмоны и куницы, продолговатые и на низких лапках меховые принюхивающиеся зверьки, смердящие овчиной. Мы подозревали, что меж них есть экземпляры из школьного кабинета, которые, хотя выпотрошенные и плешивые, чуяли в ту белую ночь выпотрошенным нутром своим голос давнего инстинкта, зов течки, и устремлялись в леса для недолгой обманной жизни.

Потихоньку фосфоресценция весеннего снега мутнела и погасала, надвигались густые и черные предрассветные мраки. Кто-нибудь из наших засыпал в теплом снегу, некоторые же в конце концов угадывали на ощупь в невнятице парадных свои жилища, ощупью же входили в темные нутра, в сон родителей и братьев, в непрерывный их глубокий храп, каковой и настигали на поздних своих дорогах.

Ночные сеансы были исполнены для меня таинственного очарования, потому и теперь мне захотелось, пусть мимоходом, пускай на минутку, но заглянуть в рисовальный класс. Поднимаясь по кедровым, звучно резонирующим ступеням черной лестницы, я обнаружил, однако, что нахожусь в незнакомой, до сих пор неведомой мне части здания.

Малейший шорох не нарушал величественную тишину. Коридоры, застланные плюшевой дорожкой, были в этом крыле изысканней и просторней. Небольшие, темно горевшие лампы светили на поворотах. Миновав очередной, я попал в коридор еще больший, устроенный с дворцовой роскошью. Одна стена его открывалась широкими стеклянными аркадами внутрь самоё квартиры и являла взору долгую анфиладу комнат, уходящих вдаль и обставленных с ослепительным великолепием. Шпалера шелковой обивки, золоченых зеркал, драгоценной мебели и хрустальных люстр уводила взгляд в пушистую мякоть пышных этих интерьеров, обильных цветной круговертью, мерцающими арабесками, хитросплетениями гирлянд и приготовившимися цвести бутонами. Немая тишина пустынных этих гостиных была наполнена разве что тайными взглядами, какими переглядывались зеркала, и суматохой завитушек, бегущих высоко по фризам стен и пропадающих в лепнине белых потолков.

В изумлении и почтении замер я перед этим великолепием, догадавшись, что ночная моя эскапада неожиданно привела меня к директорскому флигелю в его частную квартиру. Я стоял, пригвожденный любопытством, готовый бежать при малейшем шорохе, и сердце мое колотилось. Ну чем бы я, обнаруженный, смог объяснить ночное шпионство, дерзкое мое любопытство? В каком-то из глубоких плюшевых кресел могла, не замеченная и тихая, сидеть директорская дочка и, оторвавшись от книжки, поднять на меня глаза — черные, сибиллические, спокойные очи, взгляда которых никому из нас не удавалось выдержать. Однако отступиться на полдороге, не исполнив намеченного, я полагал для себя трусостью. К тому же ненарушимая тишина царила в пышных помещениях, освещенных притемненным светом неопределенного времени суток. Сквозь аркады коридора я различил на противоположной стороне обширного салона большие застекленные двери, ведущие на террасу. Вокруг было так тихо, что я набрался храбрости. Я не счел риском спуститься по двум ступенькам в залу, несколькими скачками пересечь

Б. Шульц. Автопортрет с женщинами.

Б. Шульц. Иллюстрация к рассказу «Ночь большого сезона».

большой дорогой ковер и оказаться на террасе, с которой без труда возможно будет попасть на знакомую мне улицу.

Так я и сделал. Ступивши на паркет салона под большие пальмы, взметавшиеся из вазонов прямо к потолочным арабескам, я увидел, что нахожусь уже на территории ничейной, ибо у салона вовсе не было передней стены. Он оказался чем-то вроде большой лоджии, переходившей посредством нескольких ступеней прямо на городскую площадь. Получался как бы рукав площади, и какая-то мебель была выдвинута на мостовую. Я сбежал по этим каменным ступенькам и очутился на улице.

Созвездия стояли уже перевернутые, все звезды переместились на противоположную сторону, однако месяцу, зарывшемуся в перины облачков, которые он подсвечивал незримым присутствием, предстояла, казалось, еще нескончаемая дорога, и, поглощенный путаным своим небесным церемониалом, он о рассвете и не помышлял.

На улице чернелись несколько пролеток, колченогих и разболтанных, схожих с увечными дремлющими крабами или тараканами. Возница склонился с высоких козел. Лицо его было небольшое, красное и добродушное.— Поехали, паныч? — спросил он. Пролетка шевельнула всеми вертлюгами и суставами членистого своего тулова и тронулась на легком ходу.

Но кто в такую ночь доверится капризам непредсказуемого извозчика? Тарахтенье спиц, громыханье кузова и поднятого верха мешало сговориться насчет дороги. Он кивал на все со снисходительной небрежностью и что-то напевал, следуя по городу кружным путем.

Возле какого-то трактира толпились извозчики, дружелюбно подававшие ему знаки. Он ответил что-то радостное, а затем, не придержав пролетки, бросил мне на колени вожжи, слез с козел и присоединился к толпе сотоварищей. Конь, старый умный извозчичий конь оглянулся на шагу и побежал дальше мерной извозчичьей рысью. Конь, кстати, доверие вызывал — он был явно сообразительней возницы. Поскольку я не умел править, оставалось положиться только на него. Мы въехали в улицу предместья, по обе стороны окаймленную садами. Сады, пока мы ехали, постепенно делались высокоствольными парками, а те — лесами.

Никогда не забуду сияющей этой поездки в светлейшую из зимних ночей. Цветная карта небес разрасталась непомерным куполом, на котором громоздились фантастические материки, океаны и моря, начертанные линиями звездных водоворотов и струений, сияющими линиями небесной географии. Воздух сделался легок для дыхания и светился, точно серебряный газ. Пахло фиалками. Из-под шерстяного, словно белый каракуль, снега глядели трепетные анемоны с искрою лунного света в изящных своих рюмочках. Лес целый, казалось, был рассвечен тысячами светилен, звездами, густо роняемыми декабрьским небосводом. Воздух дышал некоей таинственной весной, неизреченной чистотой снежного и фиалкового. Мы въехали в холмистую местность. Очертания взгорий, мохнатых нагими розгами деревьев, возносились, как блаженное воздыхание, к небу. Я увидел на этих благодатных склонах целые толпы путников, сбирающих во мху и кустарниках упавшие и мокрые от снега звезды. Дорога стала крутой, конь оскальзывался и с трудом тянул экипаж, дребезжавший всеми суставами. Я был счастлив, грудь моя вбирала блаженную весну воздуха, свежесть звезд и снега, перед конской же грудью сбивался вал снежной пены, делавшийся все выше. Конь тяжело шел сквозь чистую и свежую его массу, пока наконец не остановился. Я вышел из пролетки. Он тяжко дышал, понурив голову. Я прижал эту голову к груди — в больших черных глазах сияли слезы. Тут заметил я на его животе круглую черную рану.— Отчего ты не сказал мне? — шепнул я сквозь слезы.— Милый мой, она ради тебя,— молвил он и сделался совсем маленький, точь-в-точь деревянная лошадка. Я покинул его. Я чувствовал себя на удивление легким и счастливым. Некоторое время я раздумывал, ждать ли местную узкоколейку, проходившую здесь, или вернуться в город пешком. Я стал спускаться по крутому серпантину сквозь леса, сперва идучи шагом легким и сноровистым, затем, набирая ход, перешел на плавный радостный бег, который вскоре превратился в скольжение, подобное лыжному. Я мог по желанию менять скорость, воздействуя на движение легкими поворотами тела.

Вблизи города я свой триумфальный бег придержал, перейдя на подобающий прогулочный шаг. Месяц все еще стоял высоко. Преображения небес, метаморфозы их многократных сводов во все более искуснейшие конфигурации были бессчетны. Небо, точно серебряная астролябия, отворяло в ту колдовскую ночь механизм нутра своего

и обнаруживало в нескончаемых эволюциях золоченую математику своих шестерен и колес.

На городской площади я встретил гуляющих. Зачарованные зрелищем ночи, все шли, запрокинув лица, серебряные от магии небес. История с кошельком меня больше не волновала. Отец, погруженный в свои чудачества, наверняка забыл о потере, за мать я не беспокоился.

В такую ночь, единственную в году, в голову приходят счастливые мысли, нисходят наития, словно от вещего прикосновения перста Божия. Переполненный замыслами и наваждениями, я направился было к дому, но навстречу попались товарищи с книгами под мышкой. Слишком рано отправились они в школу, пробужденные ясностью ночи этой, которая не собиралась кончаться.

Мы всею гурьбою отправились гулять по круто спускавшейся улице, от которой веяло дуновением фиалок, и не могли взять в толк, магия ли ночи осеребрила снег, или уже светало...

Улица Крокодилов

Мой отец хранил в нижнем ящике вместительного своего стола старинный и красивый план нашего города.

Это был целый том in folio пергаментных карт, которые, когда-то соединенные полосками полотна, раскладывались в огромную стенную карту, представляющую собой панораму с птичьего полета.

Помещенная на стене, она занимала чуть ли не полкомнаты и являла обширный вид на целую долину Тысменицы, вьющейся извилистой бледно-золотой лентой; на все поозерье широко разлившихся болот и прудов, на складчатые предгорья, уходившие к югу, сперва отдельными и редкими, потом сгущавшимися вереницами, шахматной доской округлых взгорий, уменьшавшихся и бледнеющих по мере приближения к золотистым и дымным туманам горизонта. Из увядших этих далеких окрестностей выныривал город и рос на зрителя, сперва в неразличимых еще массивах, в сомкнутых кварталах и скоплениях домов, разрезаиных глубокими оврагами улиц, чтобы по мере приближения различиться отдельными строениями, гравированными с резкой отчетливостью, точно глядишь на них в подзорную трубу. На ближних этих планах гравировщик передал весь путаный и разнородный хор улиц и закоулков, четкую выразительность карнизов, архитравов, архивольтов и пилястр, отсвечивающих в позднем и темном золоте пасмурного дня, погружающего все изломы и ниши в глубокую сепию тени. Глыбы и призмы этой тени реклинивались, точно соты темного меда, в теснины улиц, утапливали в своей теплой сочащейся массе то целую уличную сторону, то прозор меж домов, драматизировали и оркестровали хмурой романтикой теней всю эту многообразную архитектоническую полифонию.

На плане, выполненном в манере барочных проспектов, окрестность Крокодильей улицы пустела белизной, так на географических картах принято обозначать полярные области и неисследованные страны, существование которых сомнительно. Разве что очертания улиц были указаны черными линиями и надписаны простым, незатейливым шрифтом в отличие от благородной антиквы прочих надписей. По-видимому, картограф не пожелал почесть район частью городского организма и возражения свои выразил нарочито подчеркнутым и небрежительным исполнением.

Чтобы понять таковую сдержаиность, нам в первую очередь следует обратить внимание на двойственный и сомнительный характер всего квартала, столь явно отличающийся от основной тональности остального города.

Это был торгово-промышленный район с недвусмысленно демонстративным стремлением к намеренной утилитарности. Дух времени, механизм экономики не пощадили и нашего города, пустив алчные корни на клочке его окрестностей, где пресуществились в паразитирующий квартал.

Меж тем как в старой части все еще господствовала иочная уютная торговля, исполнеииая торжественной церемониальности, в новых кварталах спешно расцвели новейшие безоглядные формы коммерциализма. Псевдоамериканизм, пересаженный на старообразную дряхлую почву города, взметнулся пышной, но пустой и тусклой расхожей вегетацией. Тут можно было видеть дешевые, скверно строеиные дома с карикатурными фасадами, облепленные ужасающей штукатуркой из потрескавшегося гипса. Ста-

рые, кособокие слободские постройки обзавелись наскоро сколоченными порталами, и только лицезрение вблизи демаскировало эти жалкие имитации подлинно городских строений. Дефектные, мутные и грязные стекла, искажающие в волнистых рефлексах тусклое отражение улицы; неструганое дерево порталов, серая атмосфера бессмысленных помещений с паутиной и хлопьями пыли на высоких стеллажах вдоль ободранных крошащихся стен метили здешние лавки клеймом дикого Клондайка. Так они и тянулись одна за другой — заведения портных, конфекционы, склады фарфора, аптечные лавки, парикмахерские заведения. Серые их большие витринные стекла глядели косыми или полукружьем идущими надписями из золотых витиеватых литер: CONFISERIE, MANUCURE, KING OF ENGLAND.

Коренные горожане сторонились этих мест, заселенных отбросами, простонародьем — особями бесхарактерными, тщедушными, воистину моральными ничтожествами,— тою банальнейшей разновидностью человека, какая порождается столь эфемерическими обстоятельствами. Однако в дни упадка, в годину низменного соблазна, случалось, и настоящий горожанин ненамеренно забредал в сомнительные эти стороны. Порою даже лучшие не могли противостоять искушению добровольной деградации, возможности снивелировать иерархии и границы, угодить в плоскую трясину здешнего мирка, в доступную интимность, в нечистоплотное месиво. Квартал оказывался Эльдорадо для этаких моральных дезертиров, перебежчиков из-под знамен собственного достоинства. Все тут имело вид подозрительный и двусмысленный, все склоняло доверительным подмигиванием, цинически артикулированным жестом, многозначительно прищуренным взглядом к нечистой надежде, все спускало с цепи низменную породу.

Мало кто, не будучи предварен, подмечал удивительную особенность квартала — отсутствие красок, словно в безвкусном этом, наскоро выросшем городе цвет был непозволительной роскошью. Все было серо, как на одноцветных фотографиях или в иллюстрированных проспектах. Сказанное сходство выходило за рамки обычной метафоры, ибо, когда случалось бродить в этой части города, возникало ощущение, что и впрямь листаешь некий проспект, нудные рубрики коммерческих объявлений, меж которых паразитически угнездились подозрительные оповещения, двусмысленные статейки, сомнительные иллюстрации; да и сами блуждания тоже бывали бесплодны и безрезультатны, точь-в-точь возбуждения фантазии, горячечно летящей по страницам и рубрикам порнографических изданий.

Входишь к какому-нибудь портному заказать костюм — наряд расхожего шика, столь свойственного этому кварталу. Помещение большое и пустое, непомерно высокое и тусклое. Огромные многоярусные стеллажи возносятся один над другим в неопределенную высоту залы. Ярусы пустых полок уводят взгляд под самый потолок, который запросто может сойти за скверное, бесцветное, облупленное слободское небо. Зато соседние помещения, которые видишь в открытые двери, под потолок набиты коробками и картонками, громоздящимися огромной картотекой, переходящей вверху под сложными небесами подчердачья в кубатуру пустоты, в бесплодный строительный материал тщетности. Сквозь большие серые окна, точно листы канцелярской бумаги, разграфленные в клеточку густою решеткою, не проникает свет, ибо нутро лавки уже наполнено, точно водою, безразличным серым свечением, не сотворяющим теней и ничего не подчеркивающим. Но вот, дабы угождать нашим желаниям и затопить пошлой и легковесной приказчичьей болтовней, возникает некий стройный молодой человек, на удивление услужливый, гибкий и податливый. Когда же за разговорами он раскатывает огромные штуки сукна, примеряет, присборивает, драпирует плывущий через его руки нескончаемый поток ткани, устраивая из его волн воображаемые брюки и сюртуки, вся манипуляция кажется чем-то несущественным, видимостью, комедией, завесою, иронически наброшенною на истинную суть события.

Магазинные барышни, стройные брюнетки, каждая с каким-нибудь изъянцем красоты (характерным для этого квартала выбракованных товаров), входят и выходят, стоят в дверях подсобных помещений, оценивая взглядами, дозревает ли сделка (доверенная опытным рукам приказчика) до надлежащего состояния. Приказчик искательствует и жеманничает, производя временами впечатление трансвестита. Его хочется взять под мягко очерченный подбородок либо ущипнуть в напудренную бледную щеку, когда с заговорщическим полувзглядом он как бы между прочим обращает ваше внимание на фирменную марку товара — знак с двусмысленной символикой.

Постепенно проблемы выбора одежды отходят на второй план. Мягкий до эфеминации и порченый молодой человек, идеально схватывающий интимнейшие побужде-

ния клиента, демонстрирует его взору особенные охранные знаки, целую библиотеку фирменных марок, коллекционерский кабинет изощренного собирателя. И, оказывается, что магазин конфекции служит всего лишь фасадом, за которым скрывается антиквариат — собрание в высшей степени двусмысленных публикаций и приватных изданий. Услужливый приказчик отворяет все новые склады, доверху набитые книгами, гравюрами, фотографиями. Виньетки и гравюры стократ превосходят самую смелую нашу фантазию. Таких кульминаций испорченности, таких измышлений распущенности мы и предположить не могли.

Магазинные барышни все чаще проскальзывают меж рядами книг, серые и бумажные, точно гравюры, но с преизбытком пигмента в порочных лицах, темного пигмента брюнеток, лоснящихся жирной чернотой, каковая, таившаяся до времени в очах, нет-нет и метнется из них зигзагом лоснящегося тараканьего бега. Но и в жарких румянцах, в пикантных стигматах родинок, в стыдных метинах темного пушка выдавал себя тип спекшейся черной крови. Этот чересчур интенсивной мощи краситель, этот мокко густой и ароматный, оставлял, похоже, пятна на книгах, которые брали они в оливковые руки — прикосновения их, казалось, пятная книги эти, сотворяли в воздухе темный дождь веснушек, струю нюхательного табака, прах дождевого гриба с дразнящим звериным запахом. Меж тем общее беспутство всё более спускало с тормозов внешнюю благопристойность. Приказчик, исчерпав навязчивую напористость, исподволь переходил к женственной пассивности. Вот он уже на одном из многочисленных диванов, расставленных среди полочных дебрей, лежит в шелковой пижаме, открывающей дамское декольте. Барышни демонстрируют одна другой фигуры и позиции обложечных гравюр, некоторые уже засыпают в импровизированных постелях. Нажим на клиента ослаб. Клиент выпущен из кольца назойливой заботливости и предоставлен самому себе. Продавщицы, увлеченные беседою, больше не обращают на него внимания. Повернувшись задом или боком, они замирают в арогантном контрапосте, переступают с ноги на ногу, играют кокетливою ботинкой, пускают сверху вниз по стройному своему телу змеиную игру членов, набрасываясь ею с небрежной безответственностью на взбудораженного зрителя, которого как бы игнорируют. То есть, как бы отступают, расчетливо отходят на шаг, создавая свободное пространство для активности гостя. Воспользуемся же этой паузой невнимания, дабы избегнуть неприятных последствий невинного нашего визита и выбраться на улицу.

Никто нас не удерживает. Сквозь коридоры книг, меж долгими рядами журналов и старых изданий мы выбираемся из лавки и оказываемся в том месте Крокодильей улицы, где с высокой ее точки широкий этот тракт виден почти на всем своем протяжении до самых отдаленных незавершенных строений железнодорожного вокзала. Стоит хмурый день, как оно всегда бывает в этой округе, и все вокруг видится иногда снимком из иллюстрированной газеты — столь серы, столь плоски дома, люди и экипажи. Реальность тонка, точно бумага, и изо всех щелей лезет ее имитативность. Порою никак не отделаться от впечатления, что лишь на маленьком клочке перед нами все складывается в удивительный пуантилистский образ городского бульвара, меж тем как уже по сторонам импровизированный маскарад выдыхается и не получается и, неспособный существовать в роли своей, превращается за нами в гипс и паклю, в склад рухляди некоего огромного пустого театра. Напряжение позы, напускная значительность маски, иронический пафос подрагивают на этой пленочке. Но мы далеки от желания разоблачать зримое. Вопреки всему, что нам известно, мы ощущаем себя втянутыми в низкопробное очарование квартала. К тому же в городе предостаточно и явных признаков самопародии. Вереницы маленьких одноэтажных слободских домишек перемежаются многоэтажными зданиями, которые, будучи возведены как бы из картона, суть конгломераты вывесок, слепых конторских окон, стеклянно-серых витрин, домовых номеров и реклам. Мимо домов течет река толпы. Улица широка, точно столичный бульвар, но мостовая, словно на сельских площадях, представляет собой убитую глину, вся она в лужах, выбоинах и поросла травой. Уличное движение в городе — тема городской похвальбы, жители с гордостью говорят о нем, причем глаза их при этом заговорщически горят. Серая, безликая толпа слишком увлечена своей ролью и полна желанием держаться на городской манер. Во всяком случае, несмотря на ее вовлеченность и заинтересованность, остается впечатление ложного, монотонного, бесцельного блуждания — этакого сонного хоровода марионеток. Вся картина проникнута атмосферой удивительной ненастоящести. Толпа течет однообразно, и, странное дело, видишь ее все время как бы размыто, фигуры проплывают в сбивчивом мягком гаме, не обретая окончательной от-

четливости. Порой мы лишь вылавливаем из многоголосого этого гама отдельные живые темные взгляды, какой-то глубоко насаженный черный котелок, некие пол-лица, разорванные улыбкой, со ртом, который мгновение тому назад сказал что-то, чью-то ногу, шагнувшую и таково уже навсегда замершую.

Отличительная черта квартала — пролетки без возниц, сами собой следующие по улицам. Это не значит, что извозчиков не существует; смешавшиеся с толпой и занятые тысячью дел, они просто не беспокоятся о своих пролетках. В этом квартале внешнего правдоподобия и пустых жестов, как правило, не придают значения конкретной цели поездки, и пассажиры доверяются блуждающим экипажам с легкомыслием, какое свойственно тут всему. Часто на небезопасных поворотах можно видеть, как, далеко высунувшись из сломанного верха и натягивая вожжи, седоки с натугой производят трудный маневр разъезда.

В квартале есть и трамваи. Амбиции членов магистрата переживают по такому случаю наивысший свой триумф. Но сколь плачевен вид этих средств передвижения, сделанных из папье-маше, с выпирающими и помятыми от многолетнего употребления боками. Одной стенки в них, как правило, не наличествует, так что можно лицезреть едущих пассажиров, сидящих неподвижно, прямо и с величайшим достоинством. Трамваи эти подталкиваемы городскими грузчиками. Однако самое удивительное на улице Крокодильей — железнодорожное сообщение.

Скажем, к концу недели, в любую пору дня случается заметить толпу людей, ожидающих поезд на повороте улицы. Заранее никогда неизвестно, придет ли он вообще и где остановится, так что люди, бывает, ждут в двух местах, не умея согласить мнений касательно местонахождения остановки. Ждут долго и стоят черной немой толпою возле едва различимой железнодорожной колеи, лицами в профиль, этакой чередой бледных масок из бумаги, обозначившей фантастическую линию высматривания. И он наконец внезапно прибывает, уже появился из боковой улочки, откуда и не ждали,— стелющийся, как змея, миниатюрный, с маленьким сопящим приземистым паровозом. Вот он въехал в черную людскую шпалеру, и улица делается темна от вереницы вагончиков, сеющих угольную пыль. Темное сопенье паровоза в быстро наступающих зимних сумерках и веянье странной печальной значительности, сдерживаемая спешка и нервозность на какой-то миг преображают улицу в перрон железнодорожного вокзала.

Бич нашего города — ажиотаж вокруг железнодорожных билетов и лихоимство.

В последнюю минуту, когда поезд уже на остановке, ведутся нервические и горячечные переговоры с продажными служащими чугунки. Хотя переговоры далеко не завершены, поезд трогается, сопровождаемый медленной разочарованной толпою, которая долго провожает его, покуда в конце концов не рассеивается.

Улица, на мгновение стеснившаяся в импровизированный этот вокзал, исполненный сумерек и зова дальних дорог, снова проясняется, делается шире и снова пропускает по своему руслу беспечную однообразную толпу гуляющих, которая в гомоне разговоров дефилирует вдоль магазинных витрин, грязных этих и серых четвероугольников с безвкусными товарами, большими восковыми манекенами и парикмахерскими куклами.

Вызывающе одетые, в длинных кружевных платьях проходят проститутки. Впрочем, это могут быть и жены парикмахеров или капельмейстеров из кофеен. Они идут хищной, плавной поступью, имея в недобрых, испорченных лицах незначительный изъянец, каковой совершенно их зачеркивает; они или косят черным кривым косеннем, или у них разорванные рты, или даже отсутствует кончик носа.

Жители города горды миазмами развращенности, какие источает улица Крокодилов. У нас нет нужды ни в чем себе отказывать, заносчиво полагают они, мы можем себе позволить и настоящий разврат большого города. Еще они считают, что каждая женщина в этом квартале кокотка. И в самом деле, стоит обратить на какую-нибудь внимание — сразу встречаешь тот пристальный, липкий, щекочущий взгляд, который замораживает нас в сладостной уверенности. Даже здешние школьницы носят банты каким-то особенным образом, ставят своеобразным манером стройные ноги, и в глазах их нечистая порча, в коей заложен преформический грядущий порок.

И все же... и все же следует ли нам открывать последний секрет квартала, тщательно скрываемую тайну улицы Крокодилов?

Неоднократно в продолжение нашей реляции подавали мы определенные остерегающие знаки, по возможности деликатно высказывая свои оговорки. Так что внимательный читатель не окажется неподготовленным к последнему повороту событий. Мы поминали имитативный и иллюзорный характер квартала, но у подобных определений

слишком окончательный и решительный смысл, чтобы обозначить половинчатый и нерешительный характер действительности.

В языке нашем нет определений, которые хоть как-то различили бы степень реальности, определили бы ее насыщенность. Скажем не обинуясь: фатально для квартала, что в нем ничто не довершается, ничто не доходит до своего дефинитивума, все реализуемые намерения повисают в воздухе, все жесты исчерпываются до поры и не могут сойти с некоей мертвой точки. Мы уже могли заметить обильность и расточительность упований, проектов и предвосхищений, какие свойственны кварталу. Они не что иное, как ферментация устремлений, до времени неуемная, а потому бессильная и пустая. В атмосфере небывалой доступности прорастает тут всякая малейшая прихоть, мимолетное напряжение набухает и разрастается в пустой раздутый нарост, восходит серая и легкая вегетация пушистых чертополохов, бесцветных мохнатых маков, сотканная из невесомой пелены бреда и гашиша. Надо всем кварталом витает ленивый и непристойный флюид греха, и дома, магазины, люди порою кажутся спазмой на его горячечном теле, гусиной кожей на его фебрильных грезах. Нигде, как здесь, не ощущаем мы угрозу возможностей, потрясенные близостью свершения, побледневшие и бессильные упоительной робостью осуществимости. Но на этом все и кончается.

Превысив некий уровень напряжения, прилив останавливается и отступает, настроение отцветает и гаснет, возможности увядают, чтобы кануть в небытие, обеспамятевшие серые маки эксцитации рассыпаются в прах.

И мы вечно будем сожалеть, что на минутку вышли тогда из конфекциона сомнительной репутации. Нам уже никогда туда не вернуться. Мы станем плутать от вывески к вывеске и сто раз ошибемся. Мы заглянем в десятки лавок, попадем в абсолютно схожие, станем странствовать сквозь шпалеры книг, листать альбомы и журналы, долго и хитро совещаться с барышнями, чья пигментация чрезмерна, а красота с порчей, но им будет не понять наших пожеланий.

Мы станем ввязываться не в свое дело, и наши распаленность и возбуждение улетучатся в тщетном усилии, в напрасно затеянной погоне.

Надежды наши были недоразуменьем, двусмысленный антураж заведения и персонала — видимостью, конфекция — настоящей конфекцией, а у приказчика не наблюдалось ни малейших тайных намерений. Дамы Крокодильей улицы отличаются вполне умеренной испорченностью, подавленной могучими слоями моральных предрассудков и банальной заурядности. В этом городе дешевого человеческого материала нету в помине и одержимости инстинкта, и необычных и темных страстей.

Улица Крокодилов была концессией нашего города по части современности и столичной распущенности. Видно, не стать нас было на что-то большее, чем картонная имитация, чем фотомонтаж, составленный из вырезок лежалых прошлогодних газет.

Тараканы

Случилось это в пору серых дней, потянувшихся после замечательного многоцветья гениальной эпохи моего отца. Это были долгие, тягостные недели депрессии, недели без воскресений и праздников под замкнувшимся небом и в обнищалом пейзаже. Отца в то время уже не было. В верхних комнатах прибрали и сдали их какой-то телефонистке. Из всего птичьего хозяйства осталась единственная особь — чучело кондора, стоявшее на полке в гостиной. В холодном полумраке задернутых гардин он, как и при жизни, стоял на одной ноге в позе буддийского мудреца, и горестное его, иссохшее лицо аскета окаменело в выражении крайнего безразличия и отрешенности. Глаза выпали, а сквозь проплаканные, слезящиеся орбиты сыпались опилки. Лишь роговые египетские наросты на могучем голом клюве и лысой шее, бугры и наросты линялоголубого цвета сообщали старообразной этой голове нечто достойно иератическое.

Пернатая ряса его, в разных местах уже траченная молью, теряла мягкое серое перо, которое Аделя каждую пятницу выметала вместе с безымянной пылью комнаты. В проплешинах виднелось мешковинное грубое полотно, из которого лезла конопляная пакля. Про себя я таил обиду на мать за легкость, с какою вернулась она после утраты отца к нормальной жизни. Никогда она его не любила, думал я, а поскольку отец не пустил корней в сердце никакой женщины, ему и не удалось врасти ни в какую действительность, и он витал всегда на периферии жизни в несуществующих регионах,

на пограничье реального. Даже приличной гражданской смерти он не удостоился, думал я, все у него выходило чудным и сомнительным. Я решил улучить минуту и откровенным разговором захватить мать врасплох. В тот день (был несносный зимний день, и с утра уже сыпался мягкий пух сумерек) у матери была мигрень, и она в одиночестве лежала на софе в гостиной.

В этой редко посещаемой парадной комнате с момента исчезновения отца соблюдался образцовый порядок, наводимый Аделей с помощью воска и щеток. Мебель была покрыта чехлами; все предметы домашнего обихода подчинились железной дисциплине, какую завела Аделя. Только пучок павлиньих перьев, стоявших в вазе на комоде, не давал себя обуздать. Это был элемент своевольный, опасный, чем-то неуловимо революционный, точно разбушевавшийся класс гимназисток, как бы исполненных набожности во взглядах, а под спудом — развратного своеволия. Перья эти по целым дням сверлили и буравили дыры в стенах, моргали, наседали друг на дружку, трепеща ресницами и приложив палец к губам, хихикающие и шаловливые. Они наполняли комнату щебетом и шепотом, рассыпались бабочками возле разлапой люстры, тыкались цветною толпой в матовые постаревшие зеркала, отвыкшие от движения и веселья, заглядывали в замочные скважины. Даже в присутствии матери, лежавшей с обвязанной головой на софе, они не знали удержу, строили глазки, подавали друг другу знаки, переговаривались немым цветным алфавитом, исполненным секретных смыслов. Меня выводила из себя эта издевательская солидарность, этот мельтешащий за моей спиной сговор. Прижав колени к софе, на которой лежала мать, исследуя двумя пальцами, словно бы в задумчивости, приятную на ощупь материю ее шлафрока, я как бы невзначай сказал: — Мне давно хочется тебя спросить: правда ли, что это он? — И, хотя я даже не глянул на кондора, мать сразу догадалась, совершенно смешалась и опустила глаза. Я намеренно помедлил какое-то время, чтобы погурманствовать ее замешательством, а затем, сдерживая нарастающий гнев, совершенно спокойно спросил: — Какой смысл тогда имеют все эти сплетни и ложь, которые ты распространяешь об отце?

Однако черты ее, в первый момент как бы в панике распавшиеся, снова стали приходить в порядок.— Какая ложь? — спросила она, моргая, причем глаза ее были пусты и налиты темною голубизной без белка.— Я слышал ее от Адели,— продолжил я,— но знаю, что исходит она от тебя; я хочу знать правду.

Губы ее слегка дрожали, зрачки, уходя от моего взгляда, сместились к уголкам глаз.— Я не лгала,— сказала она, а губы ее набухли и сделались заодно маленькими. Я понял, что она кокетничает со мною, как женщина с мужчиной.— Насчет тараканов это правда, сам помнишь...— Я смешался. Я действительно помнил нашествие тараканов, половодье черного копошенья, наполнявшее ночную темноту паучиной беготней. Все щели были полны вздрагивающих усов, каждый паз готов был внезапно выстрелить тараканом, всякая трещина между половиц могла породить черную молнию, метнувшуюся безумным зигзагом по полу. Ах, это дикое безумие паники, прочерченное блестящей черной линией на классной доске пола. Ах, отчаянные крики отца, прыгающего со стула на стул с дротиком в руке. Не принимая ни еды, ни питья, с горячечными пятнами на лице, с конвульсией омерзения, врезанной у рта, отец мой сделался совершенно дик. Было ясно, что никакой организм не сможет долго выдержать накал подобной ненависти. Жуткое отвращение сделало отцово лицо застывшей трагической маской, и только зрачки, упрятанные за нижним веком, затаились в дозоре, напряженные в вечной настороженности, точно тетивы. С диким воплем срывался он вдруг со стула, кидался вслепую в угол комнаты и вот уже возносил дротик, на котором насаженный огромный таракан отчаянно перебирал путаницей своих ножек. Но тут отцу, бледному от ужаса, приходила на помощь Аделя и отнимала пику с наколотым трофеем, дабы утопить оный в лохани. Уже в то время я не мог бы сказать, запечатлелись во мне эти картины рассказами Адели или я сам был их свидетелем. Мой отец уже тогда утерял защитную реакцию, какая упасает людей здоровых от последствий омерзения. Нет, чтобы противостоять влечению страшной силы пагубного обаяния — отец мой, отданный на произвол безумия, все более в него погружался. Печальные результаты не заставили себя ждать. Незамедлительно появились первые подозрительные симптомы, ужаснувшие нас и опечалившие. Поведение отца изменилось. Исступление его и эйфория умерились. В движениях и мимике сделались заметны признаки нечистой совести. Он стал избегать нас, целыми днями прячась по углам, в шкафах, под периной. Часто наблюдал я, как задумчиво разглядывает он свои руки, изучает

плотность кожи, ногти, на которых стали проступать черные пятна, блестящие черные пятна, точь-в-точь тараканья скорлупа.

Днем он еще как-то сопротивлялся, боролся, но по ночам наваждение накидывалось неодолимой напастью. Я наблюдал отца глубокой ночью, в свете свечи, стоявшей на полу. Он тоже находился на полу, обнаженный и меченный черными точками тотема, перечеркнутый линиями ребер, фантастическим рисунком просвечивающей наружу анатомии; он стоял на четвереньках, одержимый фасцинацией отвращения, которое заманивало его в лабиринты путаных своих ходов. Отец шевелился сложным многочленистым движением странного ритуала, в котором я с ужасом узнал подражание тараканьей повадке.

С той поры мы от него отреклись. Сходство с тараканом делалось с каждым днем заметнее — отец превратился в таракана.

Мы начали привыкать к этому, все реже встречая его; целыми неделями пропадал он где-то на своих тараканьих дорогах. Мы перестали его распознавать, ибо он совершенно смешался с черным этим зловещим пламенем. Откуда было знать, ютится ли он в какой-то щели пола, бегает ли ночами по комнатам, поглощенный тараканьей деятельностью, или, быть может, оказался среди мертвых насекомых, которых Аделя всякое утро, обнаружив лежащими брюшком кверху и ощетинившихся ногами, с отвращением сметала на совок и выбрасывала?

— И все-таки,— сказал я, сбитый с толку,— кондор — это он, я уверен.— Мать взглянула на меня из-под ресниц: — Не мучай меня, дитя мое, я же тебе говорила, что отец стал коммивояжером и он в непрестанных разъездах, ты знаешь, что по ночам иногда он заезжает домой, чтобы спозаранку уехать еще дальше.

Страшный ветер

В ту долгую и пустую зиму мрак в городе нашем уродился огромным и стократным урожаем. Слишком долго, как видно, не прибирались на чердаках и в чуланах, сваливали горшки на горшки и пузырьки на пузырьки, слишком долго давали расти батареям пустых бутылок.

Там, в обугленных этих, многобалочных лесах чердаков и кровель заквасилась и стала подходить бродильня мрака. Оттуда берут начало черные сеймы горшков, митингования болтливые и пустые, невразумительные пузырькования, бульканья бутылей и бидонов. И вот в некую ночь вздулись наконец половодьем под гонтовыми пространствами фаланги горшков и бутылок и поплыли бессчетным скученным скопом на город.

Чердаки, обесчердаченные от чердачности, возникали одни из других и выбрасывались черными шпалерами, а сквозь просторные их эха пробегали кавалькады бревен и балок, лансады деревянных козел, упадающих на пихтовые колена, чтобы, вырвавшись на свободу, наполнить пространства ночи галопом стропил, шумом обрешетин и стропильных связок.

Тогда изверглись они черными потоками, странствия бочек и бидонов и потекли сквозь ночи. Черные их, поблескивающие, говорливые скопища обложили город. Ночами шевелился темный этот гул утвари и напирал, словно полчища говорливых рыб, неудержимый набег бранчливых чердаков и несущих околесицу лоханей.

Диндоня доньями, громоздились ведра, бочки, бидоны, гундосили заглиненные кадки печников, старые шляпищи и цилиндры щеголей карабкались друг на друга, воздвигаясь колоннами до неба, а затем обрушиваясь.

И все бестолково стучали шпеньками деревянных языков, неумело смалывали в деревянных ртах невнятицу проклятий и поношений, глумились грязью по всем пределам ночи. И докощунствовались, допроклинались.

Выкликнутые кваканьем сосудов, рассудачившихся от края и до края, подошли наконец караваны, подтянулись могучие таборы ветра и встали над ночью. Огромный обозище, черный подвижный амфитеатр стал подступать могучими кольцами к городу. И воцарилась тьма необъятная, взъяренная ветром небывалым, и безумела три дня и три ночи...

* * *

— В школу сегодня не ходи,— сказала мать утром,— на дворе страшный ветер.

По комнате разносился тонкий креп дыма, пахнущий живицей. Печь завывала и свистела, словно бы в ней сидела на цепи целая свора псов или демонов. Большая мазня, намалеванная на ее выпяченном брюхе, строила разноцветные рожи и фантастилась надутыми щеками.

Я подбежал босиком к окну. Небо во всю ширь было раздуто ветрами. Серебристо-белое и просторное, исчерченное силовыми линиями, стянутое жесткими бороздами, словно бы застывшими жилами олова и свинца, и оттого готовое лопнуть, поделенное на энергетические поля и подрагивающее от напряжений, оно было исполнено подспудной динамики. В нем начертались диаграммы бури, а та, сама незримая и неуловимая, заряжала округу могуществом.

Ее было не увидать. Она узнавалась по домам, по кровлям, в которые врывалась своей яростью. Чердаки, казалось, разрастались один за другим и взрывались безумием, едва вступала в них ее сила.

Она оголяла стогны, оставляя после себя на улицах белую пустоту, подметая дочиста пространство площади. Разве что кое-где гнулся под нею и трепыхался, вцепившись в угол дома, одинокий прохожий. Вся рыночная площадь, казалось, выпучивалась и лоснилась пустой лысиной под ее могучими пролетаниями.

На небе ветер выдул холодные и мертвые цвета, медно-зеленые, желтые и лиловые полосы, далекие своды и аркады своего лабиринта. Крыши под небесами, черные и кривые, стояли в нетерпении и ожидании. Те, в которые вступил вихорь, восставали во вдохновении, перерастали соседние домы и пророчествовали под взвихренным небом. Затем они опадали и унимались, не умея долее удержать могучее дыхание, летевшее дальше и наполнявшее все пространство шумом и ужасанием. И другие еще восставали, вопия в пароксизме ясновидения, и благовествовали.

Огромные буки у костела стояли с вознесенными руками, словно свидетели невероятных откровений, и кричали, кричали.

А в отдаленье, за крышами площади, видел я брандмауэры — нагие торцовые стены предместья. Они карабкались один на другой и росли изумленные и оцепеневшие от ужаса. Далекий стылый красноватый отблеск красил их поздними красками.

Мы в тот день не обедали, потому что огонь на кухне возвращался клубами дыма внутрь. В комнатах было холодно и пахло ветром. Около двух часов ночи в предместье вспыхнул пожар и внезапно распространился. Мать с Аделей стали увязывать постель, шубы и ценности.

Пришла ночь. Вихрь укрепился в силе и стремительности, непомерно разросся и охватил все пространство. Теперь он уже не заглядывал в дома и на чердаки, но строил над городом многоэтажный многократный простор, черный лабиринт, растущий нескончаемыми ярусами. Из лабиринта этого он выбрасывал многие галереи помещений, выводил громом флигели и переходы, с гулом раскатывал долгие анфилады, а затем давал выдуманным этим этажам, сводам и казематам обрушиться и взметывался еще выше, вдохновенно творя бесформенную беспредельность.

Комната слегка подрагивала, картины на стенах дребезжали. Стекла лоснились жирным отсветом лампы. Гардины на окне пребывали вздутыми и полными дыхания бурной ночи. Мы вдруг вспомнили, что отца с утра никто не видел. Вероятно, поутру, сообразили мы, он ушел в лавку, где его и застала буря, отрезав дорогу домой.

— Он целый день не ел,— сокрушалась мать. Старший приказчик Теодор вызвался отправиться в ночь и бурю, дабы отнести отцу поесть. Брат мой к этой экспедиции присоединился.

Укутанные в большие медвежьи шубы, они отяготили карманы утюгами и ступками — балластом, каковой должен был не дать ветру сбить их с ног или унести.

Двери, ведущие в ночь, отворили осторожно. Едва приказчик и брат мой во вздувшихся пальто сделали шаг в темноту, ночь тотчас поглотила их тут же на пороге. Страшный ветер в момент уничтожил все следы. В окно не видать было даже маленького прихваченного ими фонаря.

Поглотивши ушедших, ветер на какое-то мгновение унялся. Аделя с матерью пытались снова растопить плиту. Спички гасли, дверка выдыхала тепло и сажу. Мы стояли у дверей и вслушивались. В причитаниях ветра можно было расслышать все голоса, мольбу, оклики и человечью речь.

То нам казалось, будто мы слышим крики о помощи заблудившегося в буре отца, то — беззаботную болтовню брата с Теодором за дверьми. Впечатление было столь очевидно, что Аделя отворила двери и на самом деле увидела Теодора и брата моего, с трудом выбиравшихся из ветра, в котором оба увязли по самые подмышки.

Они вошли в прихожую, тяжело дыша и с трудом затворяя за собой дверь. Какое-то время им пришлось подпирать ее створки, так сильно ветер штурмовал вход. Наконец они задвинули засов, и вихорь помчал дальше.

Оба сбивчиво рассказывали о ночи и о буре. Их шубы, набухшие ветром, пахли теперь воздухом. Оба моргали на свету, очи их, еще полные ночи, источали тьму при каждом смыкании век. Им не удалось достичь лавки. Они сбились с дороги и едва исхитрились вернуться. Они не узнавали города. Все улицы были словно переставлены местами.

Мать подозревала, что оба врут. Да и вид их наводил на мысль, что эти четверть часа они простояли в темноте под окном, вообще не сходя с места. Ну а если и правда не было уже города и площади, а только вихорь и ночь окружали дом наш темными кулисами, полными воя, свиста и стенаний? Может, и правда не было этих темных и отчаянных пространств, которые ветер нам просто внушил, не было огорчительных лабиринтов, многооконных ходов и коридоров, на которых играл вихорь, точно на длинных черных флейтах. В нас почему-то крепло убеждение, что целая буря эта — всего лишь ночное донкихотство, имитирующее в тесных кулисах трагедийные безбрежности, космическую бездомность и сиротство непогоды.

Все чаще отворялась теперь входная дверь и впускала закутанного в епанчу и шаль гостя. Тяжело отдувавшийся сосед или знакомый медленно раскутывался из платков и выкрикивал запыхавшимся голосом реляции, бестолково обрываемые слова, фантасмагорически усугублявшие или сильно перевиравшие беспредельность ночи. Мы сидели на ярко освещенной кухне. За очагом и черным широким колпаком вытяжки несколько ступенек вели ко входу на чердак.

На этих ступеньках сидел старший приказчик Теодор и вслушивался, как чердак гудит от ветра, как в паузы бури мехи чердачных ребер сжимаются в гармонику, а крыша делается дряблой и провисает, точно огромные легкие, из которых ушло дыхание, но затем опять набирает воздуху, возносится палисадами стропил, разрастается готическими сводами, множится лесом балок, полных стократного эха, и гудит, как резонатор огромного контрабаса. Вскоре, однако, мы о ветре забыли, Аделя толкла корицу в звонкой ступке. Тетка Перазия пришла нас проведать. Крохотная, подвижная и преисполненная рачительности, с кружевом черной шали на голове, она засновала по кухне, помогая Аделе. Аделя ощипывала петуха. Тетка Перазия разожгла под колпаком вытяжки охапку бумажек, и широкие лоскуты огня полетели с них в черную бездну. Аделя, держа петуха за шею, подняла его над пламенем, дабы опалить остатки пера. Петух вдруг замахал в огне крыльями, закукарекал и сгорел. Тогда тетка Перазия принялась ругаться, клясть и браниться. Трясясь от злости, жестами угрожала она Аделе и матери. Я не понимал, в чем дело, а она все больше распалялась в гневе своем и сделалась сплошным пучком жестикуляции и проклятий. Казалось, в пароксизме злости она изжестикулируется, развалится на части, рассыплется, разбежится сотнею пауков, разветвится по полу переменчивым траурным пучком паннческих тараканьих побежек. Однако тетка стала вдруг уменьшаться, сжиматься, все еще трясясь и сыпля проклятьями. Затем она пошлепала, сгорбленная и маленькая, в угол кухни, где лежали дрова, и, кляня и кашляя, принялась лихорадочно копаться в звучных поленьях, пока не нашла две тонкие желтые щепки. Она схватила их летающими от возбуждения руками, примерила по ногам, после чего оперлась на них, как на костыли, и принялась на этих желтых костылях ходить, колотя в доски пола и все быстрее бегая взад-вперед по диагонали, затем взбежала на пихтовую лавку, снова ковыляя по гулкой доске, а оттуда на полку с тарелками, идущую вокруг по стенам кухни, и забегала по ней, коленопреклоняясь на ходульных костылях, дабы, наконец, где-то в углу, вовсе уменьшившись, потемнеть, свернуться, точно увядшая сгоревшая бумага, истлеть, как лепесток пепла, рассыпаться в прах и в небытие.

Мы стояли совершенно беспомощные перед неистовствующей этой злобной яростью, которая сама себя уничтожала и пожирала. Огорченно взирали мы на печальное течение пароксизма и с явным облегчением вернулись к нашим занятиям, когда прискорбный процесс пришел к своему естественному концу.

Аделя снова зазвенела ступкой, толча корицу, мать продолжила прерванный разговор, а приказчик Теодор, вслушиваясь в чердачные пророчества, строил смешные гримасы, высоко поднимал брови и улыбался своим мыслям.

Ночь большого сезона

Всем известно, что иногда в череде обыкновенных нормальных лет чудаковатое время порождает из лона своего годá необычные, годá особые, годá-выродки, у которых, словно шестой недоразвитый палец на руке, вырастает невесть откуда тринадцатый ненастоящий месяц.

Мы говорим «ненастоящий», поскольку он редко достигает полного развития. Как дети, зачатые в старости, он отстает в росте, горбатенький этот месяц, отрасль не к сроку увядшая и скорее поддельная, чем подлинная.

Виной тому старческая невоздержанность лета, его распутная и поздняя жизнеспособность. Случается, уже август минул, а старый толстый ствол лета продолжает машинально расти, выгоняя из трухи своей эти самые дни-дички, дни-сорняки, идиотические и выхолощенные, задарма подкладывая с походом дни-кочерыжки, пустые и несъедобные — белые, удивленные и ненужные.

Они вырастают, случайные и неодинаковые, недоразвитые и сросшиеся друг с другом, точно пальцы уродливой руки, почковидные и сложенные кукишем.

Иные сравнивают эти дни с апокрифами, тайно вплетенными меж разделов великой книги года, с палимпсестами, скрытно включенными в ее страницы, либо с теми белыми незапечатанными листами, на которые начитавшиеся досыта и переполненные прочитанным глаза способны источать постепенно бледнеющие картинки или ронять цвета на пустые эти листы, дабы отдохнуть на их несуществовании, прежде чем снова оказаться вовлеченными в лабиринты новых приключений и глав.

Ах, старый этот пожелтелый роман года, большая разваливающаяся книга календаря! Она лежит, позабытая где-то в архивах времени, а содержание ее неостановимо длится меж обложек, неустанно разбухает от словоохотливости месяцев, от поспешного самовоспроизведения блажи, от бахвальства и бреда, которые приумножаются внутри нее. Ах, и записывая эти наши рассказы, располагая истории о моем отце на траченных временем полях ее текста, не уповаем ли мы тайно, что они когда-нибудь незаметно врастут меж пожелтелых листов великолепнейшей этой и рассыпающейся книги, что войдут в великий шелест ее страниц, который их же и поглотит?

То, о чем нам предстоит рассказать, происходило в тринадцатом этом, превышающем положенное количество и как бы фиктивном месяце года, на тех десяти — пятнадцати пустых листках великой хроники календаря.

Утра были тогда удивительно терпкие и освежающие. По успокоенному и более прохладному темпу времени, по совершенно новому запаху воздуха, по иному составу света выходило, что совершилось вступление в иную вереницу дней, в новые окрестности Лета Господня.

Голос звучал под новыми этими небесами звонко и свежо, как в новом еще и пустом жилье, где пахнет лаком, красками, то есть чем-то початым, но неопробованным. Удивительно трогательной была проба нового эха, оно отведывалось с любопытством, как в канун путешествия холодным и трезвым утром куличик к кофе.

Отец мой снова сидел в заднем помещении лавки, в маленькой сводчатой конторе, расклеточенной, точно улей, многоячейными регистратурами и без конца слущивавшейся слоями бумаг, писем и фактур. Из шелеста страниц, из нескончаемого листания документов вырастала разграфленная и пустая экзистенция этого помещения, из неустанного перекладывания стопок бумаги возобновлялся в воздухе бессчетными фирменными грифами апофеоз в виде зримого с птичьего полета фабричного города, ощетинившегося фабричными трубами, окаймленного рядами медалей и взятого в виньетки и завитушки помпезных et и Comp.

Отец сидел там, словно в птичнике, на высоком табурете, и голубятни регистратур шуршали стопками бумаги, а все гнезда и дупла полны были щебетом цифр.

Глубины большого магазина ото дня ко дню помрачались и обогащались запасами сукон, шевиотов, бархатов и драпов. На темных полках — этих амбарах и кладовых прохладной фетровой красочности — давала стократный процент темная отстоявшаяся разноцветность вещей, приумножался и насыщался могучий капитал осени. Капитал

этот возрастал там, и темнел, и все вольготней рассаживался по полкам, словно на галереях некоего поместительного театра, всякий день пополняясь и приумножаясь еще и новыми поступлениями товара, каковой в ящиках и тюках вместе с утренним холодом вносили на медвежьих спинах крякающие бородатые носильщики в испарениях осенней свежести и водки. Приказчики выгружали новые эти запасы добавочных шелковых колеров и заполняли ими, старательно конопатили все щели и пустоты высоких полок. Это был гигантский реестр всевозможных красок осени, устроенный послойно, рассортированный по оттенкам, идущий в верха и низы, словно по звучащим ступеням, по гаммам всех цветовых октав. Он начинался снизу, стенающе и робко касался альтовых полинялостей и полутонов, затем переходил к поблеклым пеплам дали, к гобеленовым зеленостям и голубизнам и, разрастаясь к верхам ширящимися аккордами, достигал темной синевы, индиго далеких лесов и плюша многошумных парков, дабы затем через все охры, сангвины, рыжины и сепии перейти в шелестящую ткань увядающих садов и достичь потемочного грибного запаха, дыхания трухлявости в глубинах осенней ночи и глухого аккомпанемента наитемнейших басов.

Отец мой ходил вдоль арсеналов суконной осени и успокаивал, и унимал массы эти, нарастающую их силу, спокойную мощь Поры. Он хотел как можно дольше сохранять нетронутыми резервы складированной многоцветности. Он боялся нарушить, обменять на наличные основной этот капитал осени. Но он знал и предчувствовал — настанет час, и ветер осенний, опустошительный теплый ветер подует над шкафами, и тогда поддадутся они, и не найдется силы на свете удержать разлива потоков многоцветных, какими изольются на город целый.

Подходила пора Большого Сезона. Оживлялись улицы. В шесть часов вечера город горячечно распалялся, дома шли пятнами, а люди сновали, взбудораженные неким внутренним огнем, ярко накрашенные и расцвеченные, с глазами, сверкающими праздничной, красивой и злой лихорадкой.

На боковых улочках, в тихих закоулках, уходящих уже в вечерний квартал, город был пуст. Только дети играли на площадках под балконами, играли самозабвенно, крикливо и нелепо. Они прикладывали к губам маленькие пузырики, чтобы раздуть их и неожиданно резко напыжиться большими булькающими расплескивающимися наростами или выпетушиться в дурацкую петушью личину, красную и кукарекающую, в цветные осенние машкеры, фантастические и абсурдные. Казалось, надутые и кукарекающие, они вознесутся в воздух долгими цветными вереницами и, словно осенние ключи птиц, будут тянуть над городом фантастические флотилии из промокашек и осенней погожести. Еще они ездили, галдя, на маленьких шумных тележках, играющих цветным тарахтеньем спиц, колесиков и дышел. Тележки съезжали, груженные их криком, и скатывались к подножию улицы, к самой низко разлившейся желтой речке вечерней, где распадались в обломки колесиков, колышков и палочек.

Меж тем как игры детей становились все шумнее и путанее, кирпичные румянцы города темнели и зацветали пурпуром, мир целый внезапно начинал вянуть, чернеть и спешно источать из себя призрачные сумерки, которыми заражались все предметы. Предательски и ядовито, перекидываясь с предмета на предмет, расползалась окрест эта зараза потемок, а чего касалась, то мгновенно сгнивало, чернело и распадалось в труху. Люди в тихой суматохе от сумерек сбегали, но она как раз настигала их, проказа эта, и высыпала темною сыпью на лбу, и они теряли лица, которые отваливались большими аморфными пятнами, и двигались дальше уже безликие, безглазые, теряя по дороге маску за маской, так что сумерки изобиловали этими утраченными личинами, осыпавшимися вослед их бегству. Потом все начинало зарастать черной трухлявой корой, шелушащейся большими пластами, больными струпьями тьмы. А в то время, как внизу все разваливалось и в тихом этом замешательстве, в панике скоропалительного распада превращалось в ничто, наверху удерживалась и все выше росла молчаливая побудка зари, подрагивающей чиликаньем миллиона тихих бубенцов, возносящейся взлетом миллиона невидимых скворцов, разом летящих в одну необъятную серебряную беспредельность. И только потом вдруг являлась ночь — большая ночь, ширимая к тому же порывами ветра, делавшими ее вовсе беспредельной. В многократном лабиринте ее были выковыряны светлые гнезда — большие цветные фонари лавок, полные грудами товара и гамом покупающих. Сквозь светлые стекла этих фонарей можно было наблюдать шумный и преисполненный чудного церемониала обряд осенних закупок.

Великая эта, драпированная осенняя ночь, растущая тенями, ширимая ветрами, крыла в темных своих фалдах светлые карманы, мешочки с цветными пустяками, веселым товаром шоколадок, бисквитов, колониальной всячины. Эти будки и ларьки, сколоченные из конфетных картонок, ярко оклеенные рекламами шоколада, битком набитые всяким мылом, веселой безвкусицей золотых пустяковин, оловянной бумагой, рожками, вафлями и цветными леденцами, были средоточием легкомыслия, погремушками беззаботности, рассеянными по чащобам огромной, замысловатой, полоскаемой ветрами ночи.

Большие и темные толпы плыли во тьме, в шумливом смешении, в шарканье тысяч ног, в говорении тысяч уст — многолюдное, путаное шествие, влекущееся по артериям осеннего города. И плыла эта река, полная гама, темных взглядов, хитрых поглядываний, нарезанная на разговоры, накрошенная россказнями, преобильнейшая каша сплетен, смеха и гомона.

Можно было подумать, что двинулись толпами осенние сухие маковки, сыплющие маком — головы-погремки, люди-колотушки.

Мой отец, взвинченный и цветной от румянца, со сверкающими глазами, ходил по ярко освещенной лавке и вслушивался.

Сквозь стекла витрины и портала доносился отдаленный шум города, сдавленный гомон плывущего многолюдья. Над безмолвием лавки светло горела керосиновая лампа, свисающая с большого свода, и выживала малейшее присутствие тени из всех щелей и закутков. Освещенный светом этим пустой большой пол потрескивал в тишине и пересчитывал во всех направлениях свои вощеные квадраты, шахматную доску больших гладких поверхностей, в тиши перекидывавшихся меж собой скрипами, там и сям отвечавших друг другу гулким треском. А сукна лежали безголосые в своей фетровой пушистости, тихие и за спиной отца обменивались по стенам взглядами, подавая от шкафа к шкафу тихие многозначительные знаки.

Отец вслушивался. Казалось, что ухо его в ночной тишине удлиняется и разрастается за окно — фантастический коралл, красный полип, колеблющийся в сумбуре ночи.

Он вслушивался и слышал. С возрастающей тревогой слышал далекий прилив приближавшихся толп. С ужасом осматривался в пустой лавке. Искал приказчиков. Но эти темные и рыжие ангелы куда-то поразлетались. Остался лишь он один, опасающийся толп, которые вот-вот затопят тишину лавки грабящей, галдящей уймой и разберут меж собой, расторгуют с аукциона всю эту богатую осень, долгие годы копившуюся в большом сокровенном хранилище.

Где были приказчики? Где были пригожие эти херувимы, призванные оборонить темные суконные шанцы? Отец подозревал скорбной мыслью, что они греховодничают где-то в глубинах дома с дочерьми человеческими. Стоя недвижный и полный печали в светлом безмолвии лавки, чуял он внутренним слухом все совершаемое в глубине дома, в тыльных каморках большого цветного этого фонаря. Дом отворялся ему комната за комнатой, словно карточный домик, и он зрел гонитьбу приказчиков за Аделею по всем пустым и ярко освещенным комнатам, по лестнице вниз, по лестнице вверх, покуда, наконец, она не ускользнет от них и не вбежит в освещенную кухню, где забаррикадируется кухонным буфетом.

Она стоит там запыхавшаяся, блистающая и расшалившаяся, с улыбкой трепеща большими ресницами. Приказчики хихикают, присев за дверьми. Окно кухни распахнуто в огромную черную ночь, полную грез и путаницы. Черные отворенные стекла пылают отсветом далекой иллюминации. Поблескивающие горшки и бутыли неподвижно стоят вокруг и в безмолвии лоснятся толстой эмалью. Аделя осторожно высовывает в окно свое цветное, накрашеиное лицо с трепещущими очами. Она высматривает на темном дворе приказчиков, не сомневаясь в их засаде. И она видит, как те осторожно крадутся гуськом по узкому подоконному карнизу вдоль стены первого этажа, краснеющей отблеском далекой иллюминации, и подбираются к окну. Отец вскрикивает в гневе и отчаянии, но в момент этот гул голосов делается вовсе близок, и светлые окна лавки внезапно заполняются прильнувшими лицами, искаженными смехом болтливыми лицами, сплющившими носы о глянцевые стекла. Отец багровеет от негодования и вспрыгивает на прилавок, но пока толпа штурмом берет крепость и вступает галдящей сутолокой в лавку, отец мой одним прыжком взбирается на полки с сукном и, повиснув высоко над людьми, что есть силы принимается дуть в большой рог и трубить тревогу. Однако свод не заполняется шумом ангелов, поспешающих на помощь, зато каждому стону трубы отвечает громадный хохочущий хор толпы.

— Иаков, торгуй! Иаков, продавай! — вопят все, и призыв этот, постоянно повторяемый, ритмизуется в хоре и медленно переходит в мелодию рефрена, выпеваемую всеми глотками. Тогда мой отец признает себя побежденным, соскакивает с высокого кариза и с криком бросается на баррикады сукна. Увеличенный гневом, с головою, распухшей в пурпурный кулак, он взбегает, как борющийся пророк, на суконные шанцы и принимается там неистовствовать. Он упирается всем телом в могучие колоды и высаживает их из гнезд, подлезает под огромные суконные штуки, и воздымает их на согбенной спине, чтобы с высоты галереи сбросить с глухим гулом на прилавок. Колоды летят и, полощась, разворачиваются в воздухе в огромные знамена, многочисленные полки прорывает драпировками, водопадами сукна, точно под ударом Моисеева посоха.

Так изливались запасы шкафов, выблевывались неукротимо, плыли широкими реками. Сплывала цветная суть стеллажей, разрастаясь, множась и заливая все прилавки и столы.

Стены лавки исчезали под могучими формообразованиями этой суконной космогонии, под горными этими хребтами, громоздящимися в могучих массивах. Отворялись обширные долины меж горных склонов, и среди широкого пафоса вершин гремели контуры континентов. Пространство лавки разворачивалось в панораму осеннего ландшафта, полную озер и далей, а на фоне округи этой отец странствовал среди складок и долин фантастического Ханаана, шел большими шагами, с пророчески раскинутыми в тучах руками, творя пейзаж ударами вдохновения.

В низовьях же, у подножья Синая сего, выросшего из гнева отца, толпа жестикулировала, поносительствовала, чтила Ваала и торговала. Люди набирали полные руки мягких складок, драпировались в цветные сукна, укутывались в импровизированные домино и пальто, болтали без ладу и без меры.

Мой отец, удлиненный гневом, вдруг вырастал над этими группками торгующих, и свысока корил идолопоклонников могущественным слогом. Потом, обуреваемый отчаянием, вскарабкивался на высокие галереи шкафов, одержимо бегал по стяжкам полок, по гулким доскам оголенных лесов, преследуемый картинами бесстыжего разврата, которые угадывал за спиною в недрах дома. Приказчики как раз достигли железного балкона на высоте окна и, уцепившись за решетку, схватили Аделю поперек, а потом вытащили в окно, трепещущую очами и влекущую за собою стройные ноги в шелковых чулках.

Пока отец мой, потрясенный мерзостью греха, врастал гневом своих мановений в жуть пейзажа, в низинах беззаботный народ Ваала предавался разнузданному веселью. Какая-то пародическая пассия, какая-то зараза смеха обуяла чернь. Как же можно было требовать от них серьезности, от этого трещоточного и щелкунчикового народца! Как можно было требовать постижения великих забот отца от этих мельниц, без устали смалывающих цветную кашицу слов! Глухие к громам пророческого гнева, торговцы эти в шелковых бекешах приседали маленькими кучками вокруг складчатых гор материи, похохатывая и многословно обсуждая достоинства товара. Эта черная биржа разносила на скорых своих языках благородную субстанцию ландшафта, измельчала ее рубленым фаршем говорения и чуть ли не проглатывала.

В сторонке у высоких водопадов светлых материй стояли группы евреев в цветных халатах и больших меховых колпаках. Это были мужи Великого Собрания, достойные и преисполненные благоговения господа, гладившие длинные ухоженные бороды и ведущие сдержанные, дипломатичные беседы. Но и в церемониальной их беседе, во взглядах, какими они обменивались, проблескивала усмехающаяся ирония. Меж этих групп сновал простой народ, безличностная толпа, сброд без облика и индивидуальности. Он как бы заполнял пробелы в пейзаже, выстилал фон колокольцами и трещотками бессмысленной болтовни. Это был элемент шутовской, гульливая толпа полишинелей и арлекинов, которая — сама без серьезных коммерческих намерений — доводила до абсурда гаерскими своими штучками намечающиеся кое-где сделки.

Постепенно, однако, наскучив шутовством, веселый люд рассеялся в дальних околицах пейзажа и стал понемногу там исчезать среди скальных расщелин и долин. По всей вероятности, весельчаки эти пропадали один за другим где-то в расселинах и складках, словно дети, усталые и наигравшиеся, по углам и закуткам квартиры в бальную ночь.

Тем временем отцы города, мужи Великого Синедриона, прохаживались группами и, преисполненные серьезности и достоинства, вели тихие, глубокие диспуты. Разойдясь

по всему обширному гористому краю, они прогуливались по двое, по трое на извилистых и далеких дорогах. Маленькие и темные силуэты заселяли все пустынное плато, над которым нависло тяжкое и темное небо, складчатое, облачное, вспаханное долгими параллельными бороздами, серебряными и белыми отвалами, обнаруживающее в глубине все новые и новые отложения своих напластований.

Светом лампы в краю этом создавался искусственный день — день странный, без рассвета и вечера.

Отец мой понемногу успокаивался. Гнев его унимался и застывал в пластах и слоях пейзажа. Он сидел сейчас на галереях высоких полок и глядел в осенеющий беспредельный край. Он видел, как на далеких озерах идет лов рыбы. В маленьких скорлупках лодок сидело по два рыбака, запускавших сети в воду. По берегу мальчишки тащили на головах корзины, полные трепыхавшимся серебряным уловом.

Меж тем приметил он, что в отдаленье группки путников задирают головы к небу, на что-то указывая воздетыми руками.

И се зароилось небо некоей цветной сыпью, осыпалось колышущимися пятнами, которые росли, созревали и вдруг наполнили поднебесье странным птичьим народом, кружащимся и круговращающимся в больших пересекающихся спиралях. Целое небо наполнилось горним полетом, хлопаньем крыл, величавыми линиями тихих парений. Некоторые, точно огромные аисты, недвижно плыли на спокойно распростертых крыльях, иные, подобные цветным плюмажам, варварским трофеям, летали тяжко и неуклюже, чтобы удержаться на волнах теплого воздуха; иные, наконец, будучи бездарными конгломератами крыльев, могучих ног и ощипанных шей, напоминали плохо набитых сипов и кондоров, из которых сыплются опилки.

Были меж них птицы двухголовые, птицы многокрылые, были тоже и калеки, хромающие в воздухе однокрылым неуклюжим лётом. Небо сделалось похоже на старую фреску, полную чудищ и фантастических тварей, которые кружили, пролетали друг мимо друга и снова возвращались цветными эллипсами.

Мой отец поднялся на полочных стяжках, залитый внезапным светом, протянул руки, призывая птиц старым заклятьем. Преисполненный волнения, он узнал их. Это было далекое, позабытое потомство птичьей генерации, которую Аделя некогда разогнала на все стороны неба. Теперь оно возвращалось, выродившееся и пышное это искусственное потомство, дегенеративное птичье племя, исподволь захиревшее.

Ставшее по-дурацки долговязым, нелепо учудовищненное, оно было изнутри пустотело и безжизненно. Вся жизнеспособность птиц этих ушла в перо, буйно пресуществилась в фантасмагорию. Это был словно музей изъятых видов, чулан птичьего Рая.

Некоторые летали как бы на спине, имея тяжкие неловкие клювы, похожие на засовы и щеколды, отягощенные цветными наростами, и были слепые.

Как же растрогало отца неожиданное их возвращение, как же он подивился птичьему инстинкту и привязанности к мастеру, которую сей род изгнанный пестовал в душе, как легенду, дабы наконец, через много поколений, в последний день перед исчезновением племени потянуть обратно в прадавнее отечество.

Но бумажные птицы не могли уже узнать отца. Напрасно он взывал к ним давним заклятием, забытой птичьей речью, они не слышали его и не видели.

Вдруг в воздухе засвистели камни. Это забавники, дурацкий и бездумный народ, стали целить снарядами в фантастическое птичье небо.

Напрасно отец остерегал, напрасно грозил заклинательскими жестами, не услышан был он, не замечен. И птицы падали. Настигнутые камнем, они тяжко обвисали и вяли прямо в воздухе. Прежде чем достичь земли, они становились уже бесформенной кучей перьев.

В мгновение ока плато покрылось странной этой убоиной. Не успел отец добежать до места избиения, как весь великолепный птичий род уже лежал мертвый и распростертый на скалах.

Теперь только, вблизи, отец мог разглядеть все убожество оскудевшей генерации, всю смехотворность базарной анатомии.

Это были огромные охапки перьев, кое-как торчавшие из старой падали. У многих невозможно было разглядеть головы, поскольку палковидная эта часть тела не носила никаких признаков души. Некоторые покрыты были лохматой сбившейся шерстью, точно зубры, и омерзительно смердели, иные напоминали горбатых лысых дохлых верблюдов. Наконец, иные, судя по всему, были из определенного сорта бумаги, полые

внутри и отменно цветные снаружи, а некоторые оказывались вблизи не чем иным, как большими павлиньими хвостами, красочными опахалами, в которые непонятным образом было вдохнуто некое подобие жизни.

Я видел печальное возвращение моего отца. Искусственный день уже окрашивался понемногу красками обыкновенного утра. В опустелой лавке самые верхние полки вбирали оттенки раннего неба. Среди небосклонов погасшего пейзажа, среди разрушенных кулис ночной декорации отец увидел пробуждавшихся от сна приказчиков. Они вставали между суконных колод и зевали, оборотясь к солнцу. В кухне на втором этаже Аделя, теплая от сна и со спутанными волосами, смалывала в мельнице кофе, прижимая ее к белой груди, от которой зерна набирали лоск и горячели. Кот умывался на солнце.

■

Из классики XX века

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Перевод с испанского и послесловие БОРИСА ДУБИНА

The Thing I am *[1]

Не помню имени, но я не Борхес
(Он в схватке под Ла Верде был убит),
Не Асеведо, грезящий атакой,
Не мой отец, клонящийся над книгой
И на рассвете находящий смерть,
Не Хейзлем, разбирающий Писанье,
Покинув свой родной Нортумберленд,
И не Суарес [2] перед строем копий.
Я мимолетней и смутнее тени
От этих милых спутанных теней.
Я память их, но и другой, который
Бывал, как Данте и любой из нас,
В единственном немыслимом Раю
И стольких неизбежных Преисподних.
Я плоть и кровь, невидимые мне.
Я тот, кто примиряется с судьбою,
Чтоб на закате снова расставлять
На свой манер испанские реченья
В побасенках, расходующих то,
Что называется литературой.
Я старый почитатель словарей,
Я запоздалый школьник, поседевший
И посеревший, вечный пленник стен,
Заставленных слепой библиотекой,
Скандирующий робкий полустих,
Заученный когда-то возле Роны,
И замышляющий спасти планету
От судного потопа и огня
Цитатой из Вергилия и Федра.
Пережитое гонится за мной.
Я — неожиданное воскрешенье
Двух Магдебургских полушарий, рун

* © Emecé Editores, 1977

[1] Каков я есть (*англ.*) — реплика из комедии Шекспира «Конец — делу венец», акт IV, сцена 3 (*перев. П. А. Каншина*), которую Борхес в специальном примечании сопоставляет еще и с библейскими словами Бога о себе: «Я есмь Сущий» (Исход, 3, 14). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Асеведо, Хейзлем, Суарес — предки поэта.

И строчки Шефлеровых изречений [1].
Я тот, кто утешается одним:
Воспоминаньем о счастливом миге.
Я тот, кто был не по заслугам счастлив.
Я тот, кто знает: он всего лишь отзвук,
И кто хотел бы умереть совсем.
Я тот, кто лишь во сне бывал собою.
Я это я, как говорил Шекспир.
Я тот, кто пережил комедиантов
И трусов, именующихся мной.

Буэнос-Айрес

Когда-то я искал тебя, отрада,
Там, где сходились вечер и равнина
И холодок от кедров и жасмина
Дремал в саду за кованой оградой.
Ты был в Палермо [2] — родине поверий
О днях клинка и карточной колоды
И в отсветах пожухлой позолоты
На рукояти молотка у двери
С кольцом на пальце. След твоей печати
Лежал в дворах, спускающихся к югу,
В растущей тени, ползавшей по кругу
И медленно густевшей на закате.
Теперь во мне ты, ставший потайною
Моей судьбой — всем, что уйдет со мною.

Воспоминание о смерти полковника Франсиско Борхеса (1833–1874)

Он видится мне конным той заветной
Порой, когда искал своей кончины:
Из всех часов, соткавших жизнь мужчины,
Пребудет этот — горький и победный.
Плывут, отсвечивая белизною,
Скакун и пончо. Залегла в засаде
Погибель. Движется с тоской во взгляде
Франсиско Борхес пустошью ночною.
Вокруг — винтовочное грохотанье,
Перед глазами — пампа без предела,—
Все, что сошлось и стало жизнью целой:
Он на своем привычном поле брани.
Тень высится в эпическом покое,
Уже не досягаема строкою.

---

[1] Иоганнес Шефлер (1624—1677) — немецкий поэт-мистик, известный под именем Ангелус Силезиус, автор книги стихотворных изречений «Херувимский странник».

[2] Предместье Буэнос-Айреса, квартал картежников и бандитов.

Музыкальная шкатулка *

Японская мелодия. Скупая
Клепсидра, одаряющая слух
Незримым золотом, тягучим медом
Бессчетных капель с общею судьбой —
Мгновенной, вечной, тайной и прозрачной.
Боишься за любую: вдруг конец?
Но звуки длятся, возвращая время.
Чей храм и палисадник на холме,
Чьи бденья у неведомого моря,
Какая целомудренная грусть,
Какой умерший и воскресший вечер
Их в смутное грядущее мне шлют?
Не знаю. Все равно. Я в каждой ноте.
Лишь ей живу. И умираю с ней.

Восток **

Рука Вергилия минуту медлит
Над покрывалом с ключевой струей
И лабиринтом образов и красок,
Которые далекий караван
Довез до Рима сквозь песок и время.
Шитье войдет в строку его «Георгик».
Я не видал, но помню этот шелк.
С закатом умирает иудей,
К кресту прибитый черными гвоздями
По воле претора, но род за родом
Несчетные династии земли
Не позабудут ни мольбы, ни крови,
Ни трех мужчин, распятых на холме.
Еще я помню книгу гексаграмм [1]
И шестьдесят четыре их дороги
Для судеб, ткущих бдения и сны.
Каким богатством искупают праздность!
И реки золотых песков и рыбок,
Которыми Пресвитер Иоанн [2]
Приплыл в края за Гангом и рассветом [3],
И хайку, уместивший в три стиха
Звук, отголосок и самозабвенье,
И джинна, обращенного дымком
И заключенного в кувшин из меди,
И обещанье, данное в ночи.
Какие чудеса таит сознанье!

---

* © Emecé Editores, 1977
** © Alianza Editorial, 1975

[1] «Ицзин», гадательная книга Древнего Китая.
[2] Персонаж средневековых легенд, основатель мифического царства на Востоке.
[3] За Гангом и рассветом — измененная цитата из X сатиры Ювенала, ранее мелькавшая в рассказе Борхеса «Человек на пороге».

Халдея, открывательница звезд;
Фрегаты древних лузов, взморье Гоа [1].
Клайв [2], после всех побед зовущий смерть,
Ким [3] рядом с ламой в рыжем одеянье,
Торящий путь, который их спасет.
Туманный запах чая и сандала.
Мечети Кóрдовы, священный Аксум [4]
И тигр, который зыбится как нард.

Вот мой Восток — мой сад, где я скрываюсь
От неотступных мыслей о тебе.

Олав Магнус (1490~1558) * [5]

Создатель этой книги — Олав Магнус,
Священник, верный Риму в грозный век,
Когда весь Север обратился к Гусу,
Уиклифу [6] и Лютеру. Расставшись
С Большой Медведицей, по вечерам,
В Италии, он находил отраду,
Творя историю своих краев
И дополняя россказнями даты.
Однажды — лишь однажды! — я держал
В руках ту книжицу. Года не стерли
Пергаментный старинный переплет,
Курсив, неотразимые гравюры
На меди и добротные столбцы
Латыни. Помню то прикосновенье.
О непрочтенный и бесценный том,
Твоя недосягаемая вечность
Тем вечером ступила в гераклитов
Поток, опять смывающий меня.

Луису де Камоэнсу

Года без сожаления и мести
Сломили сталь героев. Жалкий нищий,
Пришел ты на родное пепелище,
Чтобы проститься с ним и жизнью вместе,
О капитан мой. В колдовской пустыне
Цвет Португалии полег, спаленный,
И вот испанец, в битвах посрамленный,
Крушит ее приморские твердыни.

---

* © Alianza Editorial, 1976

[1] Область на западном побережье Индии, центр португальских владений на Востоке в эпоху Возрождения.

[2] Роберт Клайв (1725—1774) — английский военачальник, заложивший основу британского господства в Индии, первый колониальный губернатор Бенгалии.

[3] Герой одноименного романа Редьярда Киплинга.

[4] Древнее царство на территории нынешней Эфиопии.

[5] Шведский церковный деятель, католический священник, после 1523 г., в связи с победой Реформации,— в изгнании в Риме, где среди прочего написал «Историю народов Севера» (1555).

[6] Джон Уиклиф (1324—1384) — английский богослов, предшественник Реформации, переводчик Библии.

О, знать бы, что у той кромешной влаги,
Где завершаются людские сроки,
Ты понял: все, кто пали на Востоке
И Западе земли, клинки и флаги
Пребудут вечно в неизменном виде
В твоей вновь сотворенной «Энеиде».

К немецкой речи

Кастильское наречье — мой удел,
Колокола Франсиско де Кеведо,
Но в нескончаемой моей ночи
Есть голоса утешней и роднее.
Один из них достался мне в наследство —
Библейский и шекспировский язык,
А на другие не скупился случай,
Но вас, сокровища немецкой речи,
Я выбрал сам и много лет искал.
Сквозь лабиринт бессонниц и грамматик,
Непроходимой чащею склонений
И словарей, не твердых ни в одном
Оттенке, я прокладывал дорогу.
Писал я прежде, что в ночи со мной
Вергилий, а теперь могу добавить:
И Гёльдерлин, и «Херувимский странник».
Мне Гейне шлет нездешних соловьев
И Гёте — смуту старческого сердца,
Его самозабвенье и корысть,
А Келлер [1] — розу, вложенную в руку
Умершего, который их любил,
Но цвета этой больше не увидит.
Язык, ты главный труд своей отчизны
С ее любовью к сросшимся корням,
Зияньем гласных, звукописью, полной
Прилежными гекзаметрами греков
И ропотом родных ночей и пущ.
Ты рядом был не раз. И нынче, с кромки
Бессильных лет, мне видишься опять,
Далекий, словно алгебра и месяц.

Джону Китсу (1795–1821)

Жестокой красотою до могилы
Ты жил: она, тебя подстерегая
Повсюду, как других — судьба, благая
Или худая, поутру сквозила
В столичной дымке, на полях изданья
Античных мифов, в неизменной раме
Дней с их общедоступными дарами,
В словах, во встречных, в поцелуях Фанни [2]

---

[1] Готфрид Келлер (1819—1890) — швейцарский немецкоязычный писатель, автор романа «Зеленый Генрих».

[2] Фанни Брон — невеста Китса.

Невозвратимых. О недолговечный
Китс, нас оставивший на полуфразе —
В бессонном соловье и стройной вазе [1]
Твое бессмертье, гость наш скоротечный.
Ты был огнем. И в памяти по праву
Не пеплом станешь, а самою славой.

Малому поэту 1899 года

Найти строку для тягостной минуты,
Когда томит нас день, клонясь к закату,
Чтоб с именем твоим связали дату
Той тьмы и позолоты,— вот к чему ты
Стремился. С этой страстью потайною
Склонялся ты по вечерам над гранью
Стиха, что до кончины мирозданья
Лучиться должен той голубизною.
Чем кончил да и жил ли ты, не знаю,
Мой смутный брат, но пусть хоть на мгновенье,
Когда мне одиноко, из забвенья
Восстанет и мелькнет твоя сквозная
Тень посреди усталой вереницы
Слов, к чьим сплетеньям мой черед клониться.

Море

Морская вечно юная стихия,
Где Одиссей скитается без срока
И тот Улисс, кого народ пророка
Зовет Синдбадом. Серые морские
Валы, что мерят взглядом Эйрик Рыжий [2]
И человек, создавший труд всей жизни —
Элегию и эпос об отчизне,
В далеком Гоа утопая в жиже [3].
Вал Трафальгара. Вал, что стал судьбою
Британцев с их историей кровавой.
Вал, за столетья обагренный славой
В давно привычном исступленье боя.
Стихия, вновь катящая все те же
Валы вдоль бесконечных побережий.

Суббота *

Слепой старик в пустующих покоях
Трудит все тот же замкнутый маршрут
И трогает безвыходные стены,
Резные стекла раздвижных дверей,

---

* © Emecé Editores, 1977

[1] «Ода соловью», «Ода греческой вазе» — шедевры Китса.

[2] Норманнский мореплаватель, живший в X в.

[3] Имеется в виду португальский поэт Луис де Камоэнс, в 1553—1570 гг. служивший в Индии солдатом и работавший там над эпической поэмой «Лузиады».

Шершавые тома, для книгочея
Закрытые, дошедшее от предков,
Потухшее с годами серебро,
Водопроводный кран, лепной орнамент,
Туманные монеты и ключи.
Нет ни души ни в зеркале, ни в доме.
Туда-обратно. Достает рукой
До ближней полки. Для чего, не зная,
Ложится вдруг на узкую кровать
И чувствует: любое из движений,
Опять сплетающихся в полумраке,
Подчинено таинственной игре
Какого-то неведомого бога.
По памяти скандирует отрывки
Из классиков, прилежно выбирает
Из множества эпитет и глагол
И кое-как выводит эти строки.

Ключ в Ист-Лансинге *[1]

Кусочек стали с выточенным краем,
Завороженный смутною дремотой,
Вишу я у безвестного комода,
На связке до поры незамечаем.
Но есть на свете скважина в стеклянной
Двери с железной кованою рамой —
Единственная. А за ней — тот самый
Дом, и неведомый, и долгожданный.
Там зеркала сизеют в пыльной дымке,
И чуть маячат за всегдашней мглою
Ушедших смеркшиеся фотоснимки
И фотоснимков тусклое былое.
Рука однажды той двери коснется,
И наконец бородка повернется.

Причины **

Былые вечера и поколенья.
Начала не имеющие дни.
Глоток воды, коснувшийся гортани
Адама. Безмятежный райский строй.
Зрачок, пронизывающий потемки.
Клубленье волчьей свадьбы на заре.
Слова. Гекзаметры. Зеркальный отсвет.
Высокомерье Вавилонской башни.
Любимая халдеями Луна.
Неисчислимые песчинки Ганга.
Сон мотылька о яви Чжуан-цзы [2].
Заветный сад на острове блаженных.
Загадочный бродячий лабиринт.

---

* © Alianza Editorial, 1976
** © Emecé Editores, 1977

[1] Городок в США, где расположен университет штата Мичиган, в котором Борхес читал курс лекций.

[2] Любимая Борхесом притча старинного китайского философа о бабочке, которой снится, что она философ Чжуан-цзы, которому снится, что он бабочка и т. д.

Бессрочная тканина Пенелопы.
Зенонов [1] круг сомкнувшихся времен.
Монета, вложенная в рот умершим.
Геройский меч на роковых весах [2].
Любая капля греческой клепсидры.
Штандарты. Летописи. Легионы.
Палатка Цезаря фарсальским утром [3].
Тень трех крестов на меркнущем холме.
Восток, отчизна алгебры и шахмат.
Следы бесчисленных переселений.
Державы, покоренные клинком.
Бессменный компас. Грозная стихия.
Часы, отстукивающие память.
Король под занесенным топором.
Несчетный прах давно погибших воинств.
Трель соловья над датскою землей.
Самоубийца в зеркале. Колода
Картежника [4]. Несытый блеск монет.
Преображенья облака над степью.
Причудливый узор калейдоскопа.
Любая мука. Каждая слезинка.
...Как все с необходимостью сошлось,
Чтоб в этот миг скрестились наши руки.

Читатели

Я думаю о желтом человеке,
Худом идальго с колдовской судьбою,
Который в вечном ожиданье боя
Так и не вышел из библиотеки.
Вся хроника геройских похождений
С хитросплетеньем правды и обмана
Не автору приснилась, а Кихано,
Оставшись хроникою сновидений.
Таков и мой удел. Я знаю: что-то
Погребено частицей заповедной
В библиотеке давней и бесследной,
Где в детстве я прочел про Дон Кихота.
Листает мальчик долгие страницы,
И явь ему неведомая снится.

---

[1] Стоики, и среди них — Зенон, учили о циклической природе мироздания.

[2] Речь о Брене, предводителе галльских воинств, окруживших Рим: когда осажденным не хватило золота, чтобы выкупить город, он швырнул на весы свой меч со словами: «Горе побежденным!»

[3] Утром боя под Фарсалом, где Цезарь победил Помпея.

[4] «Колода картежника» — так называлась неопубликованная книга юношеских рассказов Борхеса.

«В моем конце мое начало...»

(Послесловие переводчика)

...Когда мы умираем.
Оказывается, что ни полслова
Не написали о себе самих...
Арсений Тарковский

Когда, вернувшись ко временам своей молодости, в Женеву, восьмидесятисемилетний Борхес в июне 1986 года умер, круг его жизни завершился с безупречностью сонета. Что в этом было от намерения, а что — от случая, не скажет никто. Но о самой подобной цельности патриарх испаноязычной литературы задумывался не раз. Снискав мировую славу и едва ли не все мыслимые земные почести, он мерил сделанное масштабом культуры и с непрестанным недоумением взирал на себя в роли знаменитого писателя. Наедине с собою — прежде всего в стихах — он по-прежнему задавался все тем же юношеским вопросом: «Кто я?», то в одной, то в другой строке предвосхищая «канун» (это один из ключевых Борхесовых символов наряду с «зеркалом» и «лабиринтом», «шахматами» и «компасом», «розой» и «морем»), когда всего лишь на миг жизнь обретет наконец полноту осуществленности, став нерасторжимым и неизменным единством.

Только в рамках этого целого и приоткрывается искомый ответ, предстает, как далекому герою «Воображаемой поэмы» Борхеса,

...буква,
которой не хватало, образец,
назначенный нам Богом изначально.

И следом, а вернее сказать — тут же, увиденное и понятое вновь становится иным: для него начинается другой отсчет времени. Целиком осуществившийся удел набирает этим силу — преодолеть заданное пространство и время, раздвинуть рамки простого отбывания отпущенного живым срока и вырасти до надвременной эмблемы человеческой участи, символа человека. Став собою, живущий — и это единственное подтверждение того, что он впрямь был! — может надеяться превзойти себя и дать образец другому — перевоплотиться, став другим, и тем самым все-таки пребыть собою. «Цель», «целостность» и «исцеление» — как будто бы в неслучайном языковом родстве.

Может быть, мысль об этом предугадываемом и неотвратимом преображении — завещанном еще евангельской притчей о пшеничном зерне, предназначенном смерти, чтобы дать плод,— и была первом всего сделанного Борхесом, его подспудным двигателем, основным сюжетом и корневым, повторяющимся образом стихов, рассказов и эссе. Не случайно персонажи его произведений, кочующие со страницы на страницу и из книги в книгу,— так часто первогерои древних мифов и сказаний, ставшие на века прообразами человеческих судеб: пахарь, жрец, мореход, воин, сказитель, по чьему сверхличному уделу Борхес не уставал тосковать. Вся его биография — поиск мысленных вех иного, нездешнего пути, непрожитой, «эпической» участи.

В драматическом отчуждении от собственной эпохи и окружающей повседневности сплелось многое. Скажем, комнатное детство болезненного ребенка и юность в чужих краях. Но различимы тут и другие силы, а среди них — тяга к разрыву с бездарным временем, когда (как вспоминал Борхес в стихотворении «Тысяча девятьсот двадцатые»)

...ничего не происходило,
а мир, трагический мир, был далеко отсюда,
и нам предстояло искать его в прошлом.

Окончательно отсекла его от общей жизни слепота, начавшая развиваться еще в конце тридцатых годов, после несчастного случая. Слепота тем более тягостная, что судьбой писателя всегда были (и до конца остались) книги. Сначала — те, которые он с первых лет жизни, еще в отцовской библиотеке, листал. Позже — те, которые написал сам, в чем признавался с сомнением и растерянностью, всегда видя в себе лишь читателя и с некоторой грустью отмечая, что лучшее в нем — из книг

других и от самого языка. Наконец — те, которые он, ослепнув, хранил и вспоминал, став с середины пятидесятых директором Национальной библиотеки Аргентины.

Мир Борхеса — это человечество в его истории. Есть тут свои излюбленные места, эпохи, имена: Скандинавия, иудейский и арабский Восток, дальневосточный регион (Индия, Китай, а в последние годы — Япония, где он побывал), Северная Америка, чью литературу переводил и преподавал в тамошних университетах. Причем одни любимцы как бы знакомят нас с другими, связывая круговой порукой посвящения: английские прерафаэлиты дарят европейское Средневековье, Киплинг — Индию, переводчик Хайяма Фицджеральд — Ближний Восток. Особенно занимают Борхеса «книги книг», вобравшие в себя целые миры и ставшие «всем для всех» — своего рода формулами человечества на его жизненных путях. Это Библия и «Тысяча и одна ночь», германский эпос и исландские саги, Данте и Шекспир, Сервантес и Уитмен. Но это и анонимный «первый поэт Венгрии», и безымянный же «малый поэт 1899 года» (то есть эпохи накануне рождения Борхеса), и автор японских хайку, и создатель первого итальянского сонета. Мандельштамовский скальд, который «чужую песню сложит // И как свою ее произнесет»,— ключевой образ и Борхесовой музы, поскольку неотменим закон существования культуры, где мелочные тяжбы о доле своего и чужого невозможны и нелепы. Недаром самыми интимно-биографическими, лично пережитыми книгами в европейской литературе Борхес считал такие своды цитат и примеров, как «Опыты» Монтеня и «Анатомия меланхолии» Бертона.

Но странное дело! Этот человек, ни в стихах, ни в прозе не занимавшийся собой, столь необычно объективный даже в лирике, имеющей просто-таки портретных героев, оказывается, населил свои страницы не только книжными любимцами и далекими предками — португальскими евреями, итальянцами и англичанами, сражавшимися в войнах за независимость Латинской Америки и ее гражданских междоусобицах. Здесь и образы матери и отца, детские игры с сестрой, ставшие потом сюжетами его фантастических рассказов; сама топография родительского дома, которую можно восстановить комната за комнатой; юность в дремотной Швейцарии бок о бок с полями первой мировой, странствия по послевоенной Европе и возвращение на окраину мира, в захолустный Буэнос-Айрес, становящийся от десятилетия к десятилетию совсем другим, уже неузнаваемым; долгая эпоха безвременья в придушенной диктатором стране, растерявшей достоинство высокого прошлого, и сентябрьские дожди 1955 года, смывшие следы национального позора, положив конец перонистскому режиму изоляции и самовосхваления; долгие дни одинокой старости после потери матери, нечаянное счастье поздней любви и столько всего еще!.. Лишь по особенной, чуть взволнованной интонации да еще, пожалуй, нескольким повторяющимся деталям и выражениям, переходящим из книги в книгу, можно различить в такой, казалось бы, бесстрастной поэзии и прозе Борхеса эти островки собственного прошлого, уже все более вечного. Не понимавший слова «я», находивший и терявший себя в тысячах зеркал и двойников, видевший венец жизни в том, чтобы умереть совсем и никогда больше не быть кем слыл, Борхес, «буэнос-айресский Эдип», с редкой отчетливостью осуществил собственный и — теперь уже можно об этом судить — далеко вышедший за пределы времени, места и обстоятельств удел, воплотивший старинную мудрость, известную по тютчевской формуле: «Все во мне, и я во всем!..»

СОЛ БЕЛЛОУ

Герцог

РОМАН

Перевод с английского В. ХАРИТОНОВА

Письмо Джералдин Портной всегда лежало у него на ночном столике, и сейчас он перечел его перед сном. Он пытался вспомнить свое первое впечатление от него, когда, потянув немного, прочел его в Чикаго.

Уважаемый господин Герцог, Вам пишет Джералдин Портной, приятельница Лукаса Асфалтера. Вы можете вспомнить... Спасибо за разрешение. Мозес забегал глазами по строчкам (женский почерк, от школьных прописей разогнавшийся до скорописи, какие забавные кружочки над «i»), стремясь залпом прочесть письмо, зашуршал страницами, выискивая важную обмолвку. *Я посещала Ваш курс «Романтики как социальные философы». Мы спорили о Руссо и Карле Марксе. Я склоняюсь к Вашей мысли о том, что Маркс выразил метафизические чаяния относительно будущего. Его мысли о материализме я воспринимала слишком буквально.* Моя мысль! Это общее место, и вообще — что́ она тянет волынку, не переходит к делу? Он снова попытался выхватить главное, но все эти кружочки снежной пылью застлали ему взор и утаили важную весть. *Возможно, Вы даже не замечали меня, но Вы мне нравились, и поэтому от Лукаса Асфалтера, который Вас совершенно обожает и говорит, что Вы торжество всех мыслимых добродетелей, я узнала про Вас очень много — как вы росли вместе в добром старом Чикаго, как играли в баскетбол за Республиканское братство мальчишек на Раздельной улице. Мой дядя по мужу, Жюль Ханкин, был тренером.* По-моему, я припоминаю Ханкина. Он носил синий джемпер и расчесывал волосы на пробор. *Я не хочу, чтобы Вы меня неправильно поняли. Я не хочу вмешиваться в Ваши дела. Кроме того, я не враг Маделин. Я к ней тоже хорошо отношусь. Она такая живая, умная, в ней столько обаяния и со мной держалась исключительно тепло и открыто. Некоторое время я просто восхищалась ею, и, поскольку я моложе, мне льстила ее откровенность.* Герцог покраснел. В эти откровения войдет и его супружеская опала. *Конечно, мне, Вашей бывшей студентке, было страшно интересно узнать Вашу личную жизнь, но меня при этом удивляло, как легко и охотно она говорит об этом, и вскоре я поняла, что она для чего-то хочет перетянуть меня на свою сторону. Лукас велел остерегаться какой-нибудь гадости, но ведь когда представители одного пола тянутся друг к другу, их часто подозревают бог знает в чем, а это несправедливо. Моя научная подготовка научила меня не спешить с обобщениями, и я не признаю этот вынюхивающий психоанализ нормальных вещей. Тем не менее она таки хотела завоевать мое доверие, но делала это очень хитро, не давила, что называется. Говорила, что Вы замечательный человек и умница, хотя нервного склада и страшно вспыльчивый, чего она особенно боялась. Еще она говорила, что Вам многое дано и, может, после двух неудачных постылых браков Вы все же посвятите себя работе, которую от Вас все ждали. Эмоциональная сфера будто бы Вам*

Окончание. Начало см. в № 11.

недоступна. Она скоро поняла, что напрасно связала себя с мужчиной, не выделяющимся ни умом, ни сердцем. Маделин сказала, что впервые в жизни отчетливо сознает, что́ она делает. Прежде была совершенная неразбериха, иногда она действовала даже бессознательно. Когда она выходила за Вас замуж, на нее как раз нашло такое затмение, но рано или поздно это проходит. Говорить с ней чрезвычайно увлекательно, это как встреча с чем-то значительным — с самой жизнью, она красивый, яркий человек со своей собственной судьбой. Она чувствует, живет за двоих... Что такое? Герцог задумался. Не хочет ли она сказать, что Маделин ждет ребенка? Ребенок от Герсбаха! Нет! А как бы славно, вот уж повезло бы! Если у нее внебрачный ребенок, я могу возбудить дело об опеке над Джун. Он лихорадочно пробежал глазами страницу, перевернул — нет, Маделин не беременна. Она слишком умна, чтобы допустить это. Для нее думать — значило выжить. Хитрость входила в состав ее болезни. В общем, она не беременна. *Я была ее наперсницей, а не просто аспиранткой в роли приходящей няни. Ваша дочурка очень привязалась ко мне, она совершенно необыкновенный ребенок, исключительный. Все дети становятся дороги, когда ими занимаешься, но это даже сравнить нельзя с тем, как я люблю Джун. Насколько я понимаю, у итальянцев, как ни у кого на Западе, культура повернута к ребенку (вспомните младенца Христа в итальянской живописи), но и американцы совершенно явно помешаны на детях. Что только не делается ради них. Честно говоря, я не считаю, что Маделин обижает малышку Джун. Просто она не терпит ослушания. Господин Герсбах, поставивший себя в двусмысленное положение в этом доме, в целом действует на ребенка очень хорошо. Она зовет его дядей Вэлом, и я часто вижу, как он таскает ее на закорках, подбрасывает.* Здесь Герцог сжал зубы, свирепея, чуя опасность. *Однако я должна сообщить Вам одну неприятную вещь, я уже обговорила это с Лукасом. Недавно вечером я пришла на Харпер авеню и услышала, что ребенок плачет. Девочка сидела в машине Герсбаха и не могла выйти, бедная малышка дрожала и плакала. Я подумала, что она разыгралась и сама себя закрыла, но было совсем темно, и я не могла понять, почему она одна на улице, а не в постели.* В этом месте у Герцога опасно зачастило сердце. *Я, как могла, успокоила ее и заодно выяснила, что мама и дядя Вэл поругались и дядя Вэл отвел ее в машину и велел поиграть. Он запер дверь и ушел в дом.* Я вижу, как он всходит по ступеням, а Джуни там кричит от страха. Я убью его за это — не я буду, если не убью. Он дочитал конец письма. *Лук говорит, что Вы вправе знать такие вещи. Он хотел звонить, а мне кажется, что неприятные новости не для телефона. Письмо дает возможность все хорошо обдумать и принять взвешенное решение. Я в самом деле не думаю, что Маделин плохая мать.*

Утро снова было эпистолярным. Черный столик у окна тягался чернотой с пожарной лестницей; залитые варом, густым косметическим слоем черни, поручни, оставаясь параллельными, слушались законов перспективы. Его ждали письма. Он в делах, он раскручивает дела, в которых только сейчас, и то смутно, начинает разбираться. Первое сегодняшнее послание, начатое еще спросонья, предназначалось монсеньору Хилтону, священнику, который водворил Маделин в лоно церкви. Прихлебывая черный кофе, в пестрой ночной рубашке из хлопчатки, Герцог сузил глаза и прокашлялся: уже накатывала злость, набухало раздражение. Пусть монсеньор знает, что получается из людей после его халтуры. *Я — муж, вернее — бывший муж Вашей обращенной, молодой женщины Маделин Понтритгер, дочери известного импресарио. Может, вспомните: Вы были ее наставником несколько лет назад, крестили ее. Недавняя выпускница Рэдклиффа, очень красивая.* А в самом ли деле она замечательная красавица, Маделин, или потеря вынудила его преувеличивать, дабы укрупнить страдание? И утешает мысль, что бросила его красивая

женщина? И ведь бросила-то ради горластого, огнистого, лапающего собственную задницу хама. Сексуальный выбор женщины неисповедим. Древняя мудрость. То же касается мужчин. Нет, вполне объективно она была красивая женщина. И Дейзи тоже — в свое время. И я когда-то был красавец до самонадеянности, подурнел... *У нее здоровый, румяный цвет лица, прекрасные темные волосы, на затылке пучок, на лбу челка, тонкая шея, крупные голубые глаза и греческий нос. Под челкой скрыта твердыня интеллекта, сатанинской воли* — или, если угодно, обитель психического расстройства. *Она обладала колоссальным чувством стиля. Начав ходить к Вам за наставлениями, накупила себе крестиков, сердечек, четок и подходящего туалета. При этом еще совсем девочка, вчерашняя школьница. Хотя многое, уверен, понимала лучше меня. Знайте, монсеньор, у меня нет цели разоблачить Маделин или обрушиться на Вас. Просто, я думаю, Вам небезынтересно узнать, что может случиться — и таки случается,— когда люди хотят спастись от... пожалуй, нигилизм — то самое слово.*

Так что случается? И что случилось? Герцог пытался это понять, вперившись в кирпичные стены, под которые он бежал из Виньярда. Была у меня комнатушка в Филадельфии — была там работа на год,— и три-четыре раза в неделю я садился с сезонкой в пенсильванский поезд и ехал в Нью-Йорк повидать Марко. Дейзи клялась, что развода не будет. Тогда же сошелся с Соно Огуки, но она мне не подходила. *Серьезности* ей не хватало. Работой не перетруждался: в Филадельфии учат от и до. Ученики мне опротивели, и я им опротивел. Папа прослышал о моей беспутной жизни и сердился. Дейзи ему все расписала, хотя папе-то какое дело? Так что же случилось? Я вышел из укрытия размеренной, целеустремленной, законопослушной жизни, потому что она мне опротивела — такая жизнь, я считал, годится только для того, чтобы коптить небо. Соно хотела, чтобы я перебрался к ней. А я боялся совсем обабиться. И тогда я перевез в Филадельфию весь свой скарб — рукописи и книги, «ремингтон» в черном чехле, пластинки, гобой и ноты.

Мотаться на поезде взад и вперед, выматываться до последней степени — вот единственная жертва, которую он мог принести. Он ездил повидать сынишку и терпел раздражение бывшей супруги. Дейзи изо всех сил казалась бесстрастной, что самым плачевным образом подействовало на ее внешность. Скрестив руки на груди и уподобившись зеленоглазому стриженому истукану, она перехватывала Мозеса на верху лестницы, чтобы велеть вернуть Марко через два часа. Он с ужасом ждал этих встреч. Конечно, она была в курсе его дел и с кем он видится и время от времени спрашивала: — Как там Япония? — Или: — Как там папа римский? — Что тут смешного? У нее были хорошие качества, но чувство юмора туда не попало.

К прогулкам с Марко Мозес готовился. Иначе время тянулось бесконечно. В поезде он освежал в памяти эпизоды Гражданской войны — даты, имена, сражения,— и пока Марко ел гамбургер в зоологическом кафетерии, куда они обязательно заходили, можно было побеседовать. — Теперь мы подошли к генералу Борегарду,— говорил он.— С ним связаны интереснейшие события.— Герцогу было непросто сосредоточиться на генерале Борегарде, острове номер 10[1] или Андерсонвилле: он не знал, как быть с Соно Огуки, которую он бросал ради Маделин,— выходило, что именно бросал. Женщина ждала твоего звонка, это же понятно. И когда Маделин с головой уходила в церковные дела и не могла с ним видеться, его частенько подмывало зайти и поговорить — просто поговорить с Соно. Так гнусно все запутать, он презирал себя за то, что сделал это своими руками. Неужели мужчине больше нечем заняться?

Терять уважение к себе! Не иметь ясных представлений!

---

[1] Форт южан на островке в Миссисипи.

Марко, он видел, сочувствует непутевому отцу. Он подыгрывал Мозесу, подбрасывал вопросы о Гражданской войне, поскольку другой темы отец не предлагал. Мальчик не отвернется от подарка, сделанного из лучших побуждений. Вот так и проявляется любовь, думал над стынущим черным кофе завернутый в свою пеструю хлопчатку Герцог. Мы любим друг друга, я и мои дети. Только что я могу им дать? Ясными глазами глядел на него Марко, подняв бледное детское личико с чертами Герцогов,— веснушчатый, стриженный ежиком, как он сам захотел, и чуточку чужой.— Ну, сынок, мне пора возвращаться в Филадельфию,— говорил Герцог. Про себя он знал, что нет никакой необходимости возвращаться в Филадельфию. Филадельфия оказалась пустым номером. Какая нужда гнала его на этот поезд? Увидеть Элизабет и Трентон? Они что, специально ждут, чтобы он на них поглядел? Или раскладушка в Филадельфии скучает по нему? — Скоро мой поезд, Марко.— Он вытянул из кармана луковицу, двадцатилетней давности отцовский подарок.— Поосторожнее в метро. И в нашем районе тоже. Через Морнингсайд-парк не ходи. Там полно хулиганья.

Он подавлял желание позвонить Соно Огуки из ближайшей будки, спускался в метро и ехал до станции Пенна. В длинном коричневом пальто, узком в плечах, с раздувшимися от книг карманами, он шел подземным переходом мимо киосков — цветы, наборы столовых ножей, виски, пирожки и жареные сосиски, восковая стылость оранжада. Через силу он поднимался в залитый светом сводчатый зал, где громадные пыльные окна не пускали внутрь осеннее солнце, сутулое солнце платяного района. Зеркало автомата с жевательной резинкой отразило, какой он бледный, квелый, как лохматились в ярком свете пальто, шарф, шляпа, брови, компрометируя лицо, сохранностью которого как раз и был озабочен его владелец. Сейчас Герцог улыбнулся тому предварительному наброску своей судьбы — Герцогу-жертве, горе-любовнику, личности, от которой мир ждет неких духовных свершений, способной изменить ход истории, повлиять на развитие цивилизации. Привести к этому чрезвычайно важному итогу были призваны затхловато пахнущие тючки бумаги под кроватью в Филадельфии.

Потом, показывая непробитый билет, Герцог проходил в раздвижные железные ворота с малиновой дощечкой в золотых письменах и спускался к поезду. За ним тянулись развязавшиеся шнурки. Тень былых совершенств еще витала над ним. Внизу ждали дымчато-красные вагоны. Он приехал или уезжает? Иногда он сам не знал.

Книги, которыми он нагружал карманы, были краткая история Гражданской войны Пратта и несколько томиков Кьеркегора. Бросив курить, Герцог, однако, сохранил привязанность к вагонам для курящих. Ему нравился запах дыма. Опустившись на грязный плюш, он доставал книгу, читал: *«Ибо умереть — значит прекращение всего, но умереть насильственно — значит пережить смерть»* — и пытался понять, что за этим стоит. Если... Да... Нет... с другой стороны, если существование тошнотворно, то вера даст сомнительное облегчение. Или это: будь сокрушенный страданием, тогда и познаешь силу Господа, восставившего тебя. Хорошенькое чтение для человека в депрессии! Пишущий Герцог улыбнулся. Охватив голову руками, он только что не смеялся про себя. А в поезде он был сугубо серьезен, старательно вникал. Все живущее охвачено отчаянием (?). Это болезнь *пред* смертью (?). Это отказ человека быть тем, что он есть (?).

Он закрывал книгу, когда за окном начинались помойные свалки Нью-Джерси. Голова пылала. Он остужал щеки приколотым к лацкану большим жетоном, голосующим за Стивенсона. Пахло приторно, затхло, крепко. Он глубоко вдыхал эту будоражащую вонь, упивался накуренным настоем. Колеса грохотно набирали скорость, молотили по рельсам. Холодное осеннее солнце догорало над заводами Нью-Джерси. Вулканические насыпи шлака, сора, свалки, нефтеочистительные заводы, призрачные сполохи сварки — и снова поля и леса. Коренас-

тые дубы корежились, как железный лом. Поля синели. В игольном ушке радиомачты стыла капля крови. Оставался позади унылый кирпичный Элизабет. В сумерках, рдея топочным нутром, подползал Трентон. Герцог читал муниципальную вывеску: *Трентон дает — мир берет.* Уже вечером, холодно сверкая электричеством, возникала Филадельфия.

Бедняга, у него было худо со здоровьем.

Герцог с улыбкой вспомнил таблетки, молоко, которое он пил по ночам. У его постели в Филадельфии нередко стояла дюжина бутылок. Молоком он унимал желудок.

Жить в мире высоких идей и представлений, в самой незначительной степени отвечающих нынешним, каждодневным американским условиям. Понимаете, монсеньор, добейтесь Вы для себя телевидения в римско-католических древних стихарях, то и тогда немалое, во всяком случае, число ирландцев, поляков и хорватов, смотрящих передачи в кабаках, Вас поймут, воздевшего красивые руки к небу и поводящего очами на манер звезды немого кино, Ричарда Бартелмеса или Конвея Тирла; им чрезвычайно гордится пролетарий-католик. *А каково мне, специалисту по истории мысли, запутавшемуся в самом себе... Не приемлющему того убеждения, что научное знание сбивает все духовные ориентиры... Верящему в то, что размеры вселенной не упраздняют ценности человека, что мир данности и ценностный мир разъяты не на вечные времена. И забавнейшая мысль пришла в мою (еврейскую) голову: это еще как сказать! Моя жизнь представит совершенно другие выводы. Набил оскомину современный историзм, видящий в нашей цивилизации крах заветных упований западной религии и философии, второе грехопадение человека, по слову Хайдеггера — заброшенность в каждодневное, в обыденное. Что такое обыденное — не знает ни один философ, ибо не погружался в него достаточно глубоко. Вопрос обыденности человеческого существования есть главный вопрос новейшей истории, что ясно понимали Монтень и Паскаль, несхожие во всем остальном. Надежность нравственности, духовная наполненность человека определяется его обыденной жизнью. Так или иначе, но бесспорно сумасшедшая мысль внедрилась в мое сознание: что мои поступки имеют историческое значение и в свете этого (каприза?) мешавшие мне срывали важный эксперимент.*

Филадельфийский Герцог, трагически прихлебывающий молоко, обнадеживший себя доходяга и псих, порошками унимающий живот и остужающий разгоряченную голову, заискивающий перед бессонницей. Он думал о Марко, Дейзи, Соно Огуки, Маделин, Понтриттерах, возвращался мыслями к отличию древней трагедии от новой, по Гегелю, к заповедному опыту сердца и усугублению индивидуальности в новейшее время. Собственная его индивидуальность порою отключалась от данностей и ценностей одновременно. А современный человек изменчив, разорван, неоснователен, он не знает монолитной определенности архаического человека и равно лишен твердых представлений семнадцатого столетия, не знает этих четких, жестких теорем.

Мозес желал, по мере сил, облегчить удел человеческий и в конце концов принимал снотворное — дабы сохранить себя. Когда же утром он приходил в класс, он с трудом разбирал свои записи. Глаза опухли, в голове каша, зато тревожное сердце поспешало с небывалой силой.

Сильная личность, редкий умница, хотя, как театральный человек, ломака и дикарь, отец Маделин говорил, что я могу принести ей много пользы. Он сказал: — Хватит ей тереться среди невесть кого. Она типичный синий чулок — у нее все друзья гомосексуалисты. Погорит не хуже Жанны д'Арк. Это хороший знак, что она заинтересовалась вами.— Что не помешало старику увидеть в нем размазню, и это психологическое открытие не осталось в тайне. Знакомиться с Понтриттером он пошел к нему в студию — Маделин сказала: — Отец настаивает на беседе. Зайди к нему.— Он застал Понтриттера та-

цующим самбу или ча-ча-ча (Герцог не различал их) со своим педагогом, средних лет филиппинкой,— был такой известный дуэт в свое время: Рамон и Аделина. Сейчас Аделина раздалась в талии, но длинные ноги остались сухими. Косметика не очень высветлила ее темный лик. Не густо выложив серебристые нити на загорелый череп (зимой он пользовался кварцем), дородный Понтриттер мелко переступал парусиновыми, на плетеной подошве домашними туфлями. На вихляющих бедрах елозили обвислые на заду штаны. Голубые глаза глядели свирепо. Играла музыка, забористая и оглушительная, простенькая, с постуками и ритмическим хлестом. Когда она кончилась, Понтриттер спросил с прохладным интересом: — Вы — Мозес Герцог?

— Совершенно верно.

— Который любит мою дочь?

— Да.

— Я вижу, это плохо отражается на вашем здоровье.

— Я тут приболел, мистер Понтриттер.

— Все меня зовут — Фиц. Это Аделина. Аделина, это Мозес. Топчет мою дочь. Я уж не чаял дождаться такого дня. Ну, поздравляю... Надеюсь, Спящая Красавица теперь проснется.

— Привет, guapo [1],— сказала Аделина. Ни малейшего чувства не было в этом приветствии. Глазами Аделина косила на сигарету, которую раскуривала, взяв огонек из рук Понтриттера. Сейчас Герцог вспомнил ощущение студийной показушности этой игры с огнем. Негреющее тепло.

Позже в тот же день состоялся разговор и с Тинни Понтриттер. Как только Тинни заговорила о дочери, из глаз у нее заструились слезы. У нее гладкое кроткое лицо, плаксивое даже при улыбке, а врасплох так совсем скорбное, каким его довелось увидеть Мозесу на Бродвее, когда оно плыло ему навстречу (у Тинни рост выше среднего) — большое, гладкое, мягкое, с горестными складками у рта. Она пригласила его посидеть в Верди-сквер, на этот огороженный лоскут вытоптанной травы, всегда обсетый умирающими стариками и старухами, облюбованный попрошайками, лесбиянками с грацией грузовой шоферни и ломкими педерастами-неграми с крашеными волосами и серьгами в ушах.

— Я не очень-то влияю на свою дочь,— сказала Тинни.— Конечно, я ее нежно люблю. Все так непросто. Надо было поддерживать Фица. Он столько лет был в черных списках. Не могла же я его предать. В конце концов, он великий художник...

— Безусловно...— пробормотал Герцог. Она выждала, когда он сделает это признание.

— Он гигант,— сказала Тинни. Она приучила себя говорить такие вещи с глубоким убеждением. Чтобы вот так пожертвовать собой ради великого художника, нужно быть еврейкой из хорошей, уважающей культуру среды,— ее отец был портным, членом «Арбайтер-ринг» [2], идишистом.— В массовом обществе! — сказала она, глядя тем же кротким, просящим взглядом.— В денежном обществе! — Вот это его удивило. Не давая родителям спуску, Маделин говорила, что старик обходится себе в пятьдесят тысяч годовых — и он таки имеет эти деньги, старый Свенгали [3], со своих баб и малахольных театралов.— Поэтому Мади думает, что я ее забросила. Не желает понять, ненавидит отца. Вам я могу сказать, Мозес, вы как-то располагаете к доверию. И Мади, смотрю, вам доверяет, а она ох какая недоверчивая девочка. Значит, я думаю, она в вас влюблена.

— Это я в нее влюблен,— проникновенно сказал Мозес.

---

[1] Красавец (*исп.*).

[2] Светская еврейская организация в США, ставящая своей целью сохранение культуры на идише.

[3] Музыкант и злой гений героини романа «Трильби» Дж. Дюморье (1834—1896).

— Вам надо ее любить — да вы уже любите... Как сложно все.

— То есть — что я старше? Женат? Вы это имеете в виду?

— Вы ведь не обидите ее, правда? Не важно, что она думает: я все-таки мать. И сердце у меня материнское, что бы она там ни думала.— Она снова тихо заплакала.— Ах, мистер Герцог... Я всегда между двумя огнями. Конечно, родители мы были неважные. Она считает, что я бросила ее на произвол судьбы. А что я могу? Только на вас надежда. Дайте девочке то единственное, что ей поможет.— Тинни сняла свои замысловатые очки: уже не надо скрывать слезы. Раскраснелись лицо и нос, невидяще потемнели вымокшие глаза, уже разрезом своим, отметил Мозес, предназначенные для вымогательства. В тактике Тинни были и лицемерие, и расчет, но за ними, конечно, стояла тревога за дочь и мужа, а уже за этой тревогой — что-нибудь поважнее и потревожнее. Мозесу ли не знать, как укрывается реальность: колупаешь мерзость, чванство, обман, но вот — Бог помочь! — истина среди прочего. Герцог понимал, что тревожащаяся мать Маделин обрабатывает его. Ни тридцать лет богемной жизни, ни пошлость выдохшейся идеологии, на которой цинично выезжал старый Понтриттер, не вытравили из Тинни верности *своим,* она была прикована к ним хотя бы этой, тусклого серебра, «абстрактной» цепью на шее.

Ничего подобного с ее дочерью не должно случиться — уж она постарается. А Маделин — та постарается тем более. Вот тут и появляется Мозес, и вот он уже на скамейке в Верди-сквер. Он выбрит, в свежей сорочке, с чистыми ногтями, положивший нога на ногу,— он слушал Тинни очень внимательно для человека, у которого отключилась голова. В ней роилось столько великих замыслов, что соображала она с трудом. Конечно, он понимал, что Тинни берет его в оборот и что на эту удочку он всегда попадается. Он расположен творить добрые дела — и она льстила этой его склонности, просила спасти ее упрямое, заблудшее дитя. Терпение, чуткая любовь и мужская рука сделают свое дело. И еще тоньше льстила Тинни: своей выдержанностью, говорила она, Мозес выровнит жизнь нервного ребенка, даст исцеление. Смешанные чувства, которые вызывала у него мольба Тинни о помощи, обострились от соседства старых, умирающих и убогих и подступили к горлу рвотой. Заныло сердце.

— Я обожаю Маделин, Тинни,— сказал он.— Вам не о чем тревожиться. Я сделаю все возможное.

Нетерпеливый, опрометчивый, замкнувшийся на себе, комический персонаж.

У Маделин была квартира в старом доме, и когда Герцог был в городе, он оставался у нее. Они спали на сафьяновом раскладном диване. Всю ночь Мозес азартно, восторженно мял ее тело. У нее не было того же азарта, но, в конце концов, она была прозелитка. К тому же в любви кто-то всегда забегает вперед. Случалось, она пускала злую, страдальческую слезу, оплакивала свою грешность. А вообще ей тоже нравилось.

В семь часов, на долю секунды опережая будильник, она напрягалась и, когда он поднимал трезвон, выдохнув яростное «Чтоб ты!», уже неслась в ванную.

Арматура там была старая. В 1890-е годы это были роскошные меблированные комнаты. Разззявые краны водометно извергали холодную воду. Сбросив пижамную куртку, голая по пояс, она с ожесточением, до покраснения глаз терлась тряпочной губкой, розовея грудью. Тихий, босой, прикрывшись пальто, входил Мозес и заинтересованно садился на край ванны.

Изразцы были линялого вишневого цвета, полочка и прочие устройства вычурные, никелированные. Из крана хлестала вода, Маделин на глазах старела. Она работала в Фордемском университете и первейшую свою обязанность полагала в том, чтобы смотреться выдержанной, зрелой, заслуженной католичкой. Ее бесило, что он глазеет на нее, припер-

ся в ванную, что на нем ничего нет, кроме пальто, что его бледная утренняя физиономия компрометирует и без того сдавшую викторианскую роскошь. Занимаясь собою, она не глядела на него. Надев лифчик и комбинацию, она натягивала свитер с высоким воротом и накрывала плечи пластиковой пелеринкой, чтобы не заляпать шерсть. Вот и дошло до косметики, до этих флакончиков и пудрениц, забивших туалетные полки. Все, что она делала, было споро и сноровисто — вслепую и наверняка. Так работают граверы, кондитеры и акробаты на трапеции. Его пугала ее рисковость — зарвется, сорвется, но этого никогда не случалось. Сначала она наносила слой крема на щеки, втирала его в свой прямой нос, в детский подбородок, в мягкую шею. Серая, жемчужно-подсиненная масса. Это основа. Помахав перед лицом полотенцем, начинала накладывать грим. Ватные тампоны трудились на лбу, вокруг глаз, на скулах, на шее. Несмотря на мягкие женские складочки, в этой прямостоящей шее ощущалась повелительная сила. Она не позволяла Герцогу гладить ее лицо сверху вниз: вредно для лицевых мышц. Примостившись на краю роскошной ванны и не спуская с Маделин глаз, он надевал штаны, заправлял рубашку. Она не замечала его; в каком-то смысле она старалась избавиться от него, начиная дневную жизнь.

Она пудрилась, снуя пуховкой, все с той же заваливающейся в отчаяние быстротой. Потом, вопрошая зеркало, подставлялась левым профилем, правым, взлетом рук к груди наметив поддерживающий жест. К пудре претензий не было. Теперь смазать веки вазелином. Подкрасить ресницы какой-то проволочкой. Молчаливый Мозес внимательно все примечал. Сразу же, без запинки, тронуть черным карандашом внешние углы глаз, спрямить линию бровей. Ухватив большие портновские ножницы, она тянулась к челке. Похоже, и примериваться не надо: свой образ она знала наизусть. Лезвия клацали по-ружейному, производя в Герцоге испуг, короткое замыкание. Ее собранность восхищала его, и, восхищаясь, он сознавал свою детскость. Здоровый мужик, усевшийся на помпезное корыто с волокнисто потрескавшейся эмалью, он был захвачен преображением Маделин. Напитав губы бесцветной мазью, она красила их грязновато-красной помадой, сразу прибавляя себе еще несколько лет. Навощенным ртом обыкновенно все кончалось. Лизнув палец, она наносила последние штрихи. Теперь хорошо. Прямизной бровей усугубляя серьезность выражения, она смотрелась в зеркало и оставалась довольна. Теперь все на месте. Она надевала тяжеленную твидовую юбку до пят. Из-за высоких каблуков ее ноги чуть кривились в лодыжках. И наконец шляпа. Серая, с низкой тульей, широкополая. Накрыв ею гладко забранные волосы, она превращалась в сорокалетнюю женщину — такие вот бледнолицые меланхолические истерички попирают коленями церковные плиты. Упрятанная встревоженная голова, эта ее детская истовость, страхи, религиозный пыл — плакать с этого хотелось! У него сердце разрывалось, у помятого, небритого греховодника-еврея, ставшего на ее пути к спасению. Впрочем, она его не замечала. Надевала жакет с беличьим воротником, поправляла, просунув руку, плечики. Но шляпа! Наподобие плетенки, она была свита из одного куска серой тесьмы шириной в полдюйма и походила на шляпу той христианки, что читала ему Библию в монреальском изоляторе. *«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь...»* [1]. Даже шляпная заколка имелась. Ею и венчался труд. У нее гладкое лицо женщины средних лет. Только глазные белки остались нетронутыми, и там вскипали слезы. Потому что она была вне себя от ярости. Ночью он был нужен. Подавляя раздражение, она могла даже взять его руку и положить себе на грудь, когда они засыпали. Но утром ее бы устроило, чтобы он растворился. А он к такому не привык: он привык быть любимцем. Это новая женская генерация, объяснял он себе. В ее глазах я — годящийся в отцы, с сединой в голове, кропотливый соблазнитель (невероятно!). Роли рас-

[1] Евангелие от Иоанна, 3, 8.

пределены. Она в гриме новообращенной — и Герцогу только и остается играть совратителя.

— Тебе надо позавтракать,— сказал он.

— Нет. Я опаздываю.

Маска на лице высохла. Она надела большой нагрудный крест. Она всего три месяца католичка и уже — из-за Герцога — не может исповедоваться — во всяком случае у монсеньора.

Для Маделин обращение было театральным действом. Театр — искусство выскочек, оппортунистов, липовых аристократов. Монсеньор сам актер — на одну роль, но зато какую выигрышную. *Очевидно, ей было ведомо религиозное чувство, но важнее оказались внешний блеск и общественное признание. Вы известны обращением знаменитостей, и поэтому она пошла к Вам.* Для нашей Мади все только первого сорта. *В истории общественного театра еврейская интерпретация благородной христианки или христианина составит любопытнейшую страницу.* Лица высокого звания всегда пополнялись снизу. Откуда восходит человек к знатности, как не из народа? Пылая праведным огнем высокого негодования? *Не буду отрицать, что и для меня это было не без пользы. Я показал себя в этом деле отнюдь не с худшей стороны.*

— Тебе будет плохо, если ты не поешь перед работой. Позавтракай со мной, а я тебе дам на такси до университета.

Она окончательно, хотя и мешкотно, путаясь в этой своей кошмарной юбке, покидала ванную. Ей бы воспарить, только не очень разлетишься с этаким колесом на голове, в твидовой хламиде, с крестом на груди и тяжеленным камнем на сердце.

Он шел за ней, отражаясь в настенных зеркалах, мимо окантованных гравюр с фламандскими запрестольными образами — позолота, зелень, пурпур. Под множеством слоев краски ручки и запоры заклинились. Маделин нетерпеливо дергала белую входную дверь. Подоспевший Герцог рывком открыл ее. В коридоре на когда-то роскошном ковре под ноги им лезли мешки с тряпьем, выставленные из комнат, разбитый лифт спустил их вниз, и из спертой темной шахты они ступили в загаженный порфировый вестибюль и вышли на людную улицу.

— Ты идешь? Что ты делаешь? — сказала Маделин.

А он, может, еще не вполне проснулся. Он замешкался у рыбного магазина, привлеченный запахом. Худой мускулистый негр расставлял в глубокой витрине бадьи с донным льдом. Рыба лежала плотным строем, она словно плыла, выгнув спины, по крошеву дымящегося льда — кроваво-бронзовая, осклизло-малахитовая, дымчато-золотая, к стеклу же сгрудились омары, повесив усики. Утро было теплое, серое, влажное, свежее, пахнущее рекой. Тормозя ногой уходящую ступеньку пешеходного эскалатора, Герцог ощутил сквозь тонкую подошву поднявшееся стальное ребро — как азбука Брайля. Но этого знака он не расшифровал. В белом пенящемся льду томилась, как живая, плененная рыба. На завешенной облаками улице тепло, серенько, душевно, грязновато, пахнет нечистой рекой, тянет солоноватым приливным запашком, не к месту возбуждая.

— Я не могу тебя ждать, Мозес,— бросила через плечо Маделин.

Они вошли в ресторан и сели за желтый пластиковый столик.

— Что ты там торчал?

— Да понимаешь, мать родилась в Прибалтике. Она любила рыб.

Но Маделин нет дела до мамы Герцог, двадцать лет лежащей в в земле, при том даже, что от мамы никак не отлепится этот сентиментальный господин. Герцог подумал и перестроился. Он сам ей чуть не вместо отца — как же требовать внимания к *его* матери? Она мертвее мертвого, не протягивается к новому поколению.

На желтой пленке стола пылал красный цветок. Яркие крапинки соцветия по горло в стакане — в удавке, правильнее сказать. Любопытствуя — не искусственный ли, Герцог тронул цветок и быстро отдернул

пальцы: настоящий. Маделин молча наблюдала за ним.

— Ведь ты *знаешь,* что я спешу,— сказала она.

Она любила английские сдобы. Он заказал. Отходившему официанту она уточнила: — Мою только надрежьте. Резать на куски не надо.— Потом подалась к нему подбородком и сказала: — Грим хорошо лежит, Мозес, на шее особенно?

— С твоим цветом лица тебе вообще не нужен грим.

— Не крошится, я спрашиваю?

— Нет. Я еще увижу тебя сегодня?

— Не уверена. Меня зовут на коктейль в университете — в честь одного миссионера.

— А после? Я могу уехать в Филли поздним поездом.

— Я обещала маме... У нее снова проблемы со стариком.

— Мне казалось, дело решенное: развод.

— Да она же мокрая курица! — сказала Маделин.— Сама уйти не может, а он не даст. Ему только выгодно. Она ведь по вечерам таскается в его сраную студию и ведет всю бухгалтерию. Он же великое приобретение ее жизни: второй Станиславский. Она пожертвовала ради него всем, и если он не великий гений, то зачем были эти жертвы? *И поэтому* он великий гений...

— Я слышал, он был замечательным режиссером.

— *Что-то* в нем есть,— сказала Маделин.— Почти женская интуиция. Охмуряет людей, причем самым гнусным образом. Тинни говорит, что он на одного себя тратит пятьдесят тысяч в год. Весь свой гений употребляет на то, чтобы профукать эти деньги.

— У меня такое впечатление, что она ради тебя ведет его бухгалтерию — старается сберечь что можно.

— Он оставит после себя судебные кляузы и долги...— Девичьими мелкими зубами она куснула булочку. Дальше есть не стала. Положила на тарелку, и тут же пугающе набухли ее глаза.

— Что случилось? Ешь.

Она совсем отсунула тарелку.— Я ведь просила тебя не звонить мне в университет. Это выбивает меня из колеи. Я не желаю мешать одно с другим.

— Прости. Не буду.

— Я была вне себя. Мне стыдно идти к монсеньору на исповедь.

— А к другому нельзя?

Она брякнула аляповатой чашкой о стол. На ободке ресторанного фарфора остался бледный след помады.

— Последний раз священник кричал на меня благим матом в твою честь. Спрашивал, сколько времени я христианка. Зачем крестилась, если намерена поступать таким образом уже в первые месяцы.— Громадные глаза женщины средних лет, в какую она себя превратила, обвиняли его. Поперек белого лица протянулись рукотворные прямые брови. Ему казалось, он угадывает под ними оригинал.

— Ах ты, Господи! Прости,— сказал Мозес. Он был весь раскаяние.— Я не хочу создавать затруднения.— Что, конечно, чушь: именно затруднения он намерен был создавать. В трудности, он полагал, и заключалась вся соль. Ей нужно, чтобы Мозес и монсеньор поборолись за нее. Так интереснее в постели. В постели Мозес выколачивал ее отступничество. А монсеньор — тот обращал пламенным взором.

— Я чувствую себя дрянью, просто дрянью,— сказала она.— Скоро великий пост, а я без исповеди не могу причаститься.

— Нескладно получилось...— Мозес искренне сочувствовал ей, но ведь смириться не посоветуешь.

— И что с браком? Как мы повенчаемся?

— Как-нибудь все устроится — церковь мудрый старый институт.

— На работе говорят о Джо Димэджо — как он собирался жениться на Мерилин Монро. Еще один случай: Тайрон Пауэр — в последний раз его венчал князь церкви. На днях у Леонарда Лайонса опять

писали о католических разводах.— Маделин читала всю светскую хронику. Вырезки из «Пост» и «Миррор» служили ей закладками в святом Августине и молитвеннике.

— В благоприятном смысле? — спросил Мозес, складывая булочку и выдавливая лишнее масло.

Крупные голубые глаза Маделин набухали в орбитах: ее голова пухла от всех этих думаных-передуманных проблем.— Я договорилась о встрече со священником-итальянцем из Общества в пользу распространения веры. Он специалист по каноническому праву. Я звонила ему вчера.

Каких-то двенадцать недель христианка, она уже была в курсе всего.

— Все было бы проще, дай Дейзи развод,— сказал Герцог.

— Она *обязана* дать.— Ее голос резко взмыл. Он взглянул на это лицо, которого заждались иезуиты в центре города. Что-то случилось, сжалась какая-то пружина у нее в груди, и тело напряглось. Побелели кончики пальцев, сжимающих край стола, полыхнул взгляд, поджались губы, и под чахоточной белизной грима зачернел румянец.— Почему ты, собственно, думаешь, что я намерена вечно тянуть эту связь? Мне нужны поступки.

— Но, Мади, ты же знаешь мои чувства...

— Чувства? Избавь меня от пошлостей. Я в это не верю. Бог, грех, смерть — в это я верю, и не надо потчевать меня сентиментальной бурдой.

— Нет, послушай.— Он надел федору, словно это могло укрепить его позиции.

— Я хочу выйти замуж,— сказала она.— Все остальное чушь собачья. Моя мать хлебнула богемной жизни. Она работала, а Понтриттер бесился с жиру. Он откупался от меня денежкой, когда я видела его с какой-нибудь девкой. Ты хоть знаешь, что было моим букварем? «Государство и революция» Ленина. Они все безумцы.

Может, и так, мысленно соглашался Герцог. Зато теперь ей подавай светлое Рождество и кролика на Пасху, а то, глядишь, и половину кирпичной домушки в своем приходе, где-нибудь в тихом ужасе Куинса, с хлопотами о платье к причастию, с положительным мужем-ирландцем, подметающим крошки на кондитерской фабрике.

— Может, я стала ярой обывательницей,— сказала Маделин,— но по-другому мне ничего не надо. Мы будем венчаться в церкви — или я прекращаю все это. Наши дети будут креститься и получат церковное воспитание.— Молчаливый Мозес чуть заметно кивнул. По сравнению с ней он чувствовал себя размазней, человеком без хребта. Благоухание ее пудреного лица волновало его (спасибо искусству, размышлял он сейчас, всякому искусству).— Мое детство было диким кошмаром,— продолжала она.— Меня запугали, сломили, сов-сов...— Она стала заикаться.

— Совратили?

Она кивнула. Он уже слышал это. Выведать поподробнее ее сексуальный секрет ему не удавалось.

— Это был взрослый мужчина,— сказала она.— Он платил мне, чтобы я молчала.

— Кто это был?

Ее глаза непроницаемо заволоклись слезами, красивые губы мстительно поджались, не обронив ни звука.

— Это случается со многими, очень многими,— сказал он.— Не надо жить с этим. Не стоит оно того.

— Целый год потери памяти — не стоит того?! Вместо четырнадцати лет у меня вымаранный год.

Терпимость Герцога ее не устраивала. Возможно, она видела в этом равнодушие.— Родители только что не погубили меня вконец. Ладно, теперь это не имеет значения,— сказала она.— У меня есть Христос,

мой Спаситель. Я уже не боюсь с-смерти, Мозес. Пон говорил: мы умираем и догниваем в могиле. Сказать такое девочке шести-семи лет! Он еще ответит за это. А теперь я хочу жить, хочу родить детей, потому что мне есть что сказать, когда они спросят про смерть и могилу. И не рассчитывай, что я буду и дальше жить как попало — без всякого порядка. Ни в коем случае! Либо наводим порядок — либо расстаемся.

Мозес видел ее как бы из-под воды, в оптическом преломлении.

— Ты слышишь меня?

— Конечно,— сказал он.— Конечно, слышу.

— Мне надо идти. Отец Франсис ни на минуту не опаздывает.— Она взяла сумку и быстро ушла, от дробного шага подрагивая щеками. Она ходила на очень высоких каблуках.

Однажды утром, сбегая в метро, она прихватила каблуком край юбки и, упав, зашибла спину. Хромая, поднялась на улицу, взяла такси до работы, но отец Франсис погнал ее к врачу, а тот, туго перебинтовав, велел ехать домой. Там она застала полуодетого Мозеса, раздумывавшего над чашкой кофе (думал он постоянно, хотя ни до чего определенного не додумывался).

— Помоги мне! — сказала Маделин.

— Что случилось?

— Упала в метро. Мне очень больно.— Она срывалась в крик.

— Тебе лучше лечь,— сказал он. Он отшпилил шляпу, осторожно расстегнул жакет, снял свитер, юбку и комбинацию. Ниже линии грима на основании шеи чисто розовело ее тело. Он снял крест.

— Дай пижаму.— Она дрожала. Широкие бинты издавали терпкий медицинский запах. Он отвел ее в постель и сам прилег рядом — согреть и успокоить, как она просила. Был март со снегом, день был грязный. Он остался, не поехал в Филадельфию.— Это мне наказание за грехи,— повторяла Маделин.

Я полагал, монсеньор, что Вас может заинтересовать правдивая история одной из Ваших обращенных. Церковные куклы в златотканых рясочках, органный скулеж. Реальный мир, не говоря уж о мире предвечном, требовал руки потверже, настоящей мужской руки.

Это какой же? — подумал Герцог. Не моей ли? И, не кончив письма к монсеньору, он выписал для себя один из любимейших стишков своей Джун:

Теплая шубка у любимой киски,
Поглажу по шерстке — она и не пискнет,
Дам молочка — и на всем белом свете
Нет лучше людей, чем хорошие дети.

Вот это почти в яблочко, думал он. Не траться только на других, цельсь в себя.

В конечном счете Маделин не венчалась в церкви и не крестила дочь. Католицизм прошел тем же порядком, что цитры и игральные карты, хлебопечение и русская цивилизация. Как кончилась и деревенская жизнь.

С Маделин он вторично отведал деревенской жизни. Для городского еврея он испытывал странную тягу к ней. Когда он писал «Романтизм и христианство», он вынудил Дейзи перезимовать с ним в восточном Коннектикуте — в коттедже, где трубы приходилось отогревать свечами, а ветер пронизывал щелистую дранку, остужая мысли о Руссо и игру на гобое. Гобой достался ему после смерти Алека Хиршбейна, соседа по комнате в Чикаго, и из чувства своеобразного пиетета (любить он умел основательно, горе переживал продолжительно) Герцог выучился на нем играть, и, если задуматься, Дейзи больше натерпелась от грустной музыки, чем от промозглых туманов. Может, и характер Марко складывался не без ее участия: в мальчике нет-нет проглядывал меланхолик.

С Маделин все обещало быть по-другому. Она выпала из церкви, и, поборовшись с Дейзи, подключив сюда ее и своих адвокатов, претер-

пев давление Тинни и Маделин, Герцог получил развод и женился заново. Свадебный ужин приготовила Феба Герсбах. Подняв глаза от столика на кудрявые облака (непривычно это — такое чистое небо над Нью-Йорком), Герцог вспомнил йоркширский пирог и домашний торт. Феба напекла бесподобных банановых пирожков — легких, сочных, с глазурью. Куколка-невеста и жених. И Герсбах, не закрывающий громогласного рта, разливает виски, вино, молотит кулаком по столу, вихляво танцует с невестой. На нем любимая спортивная рубашка навыпуск, свободная, открывающая молодецкую грудь. Мужское декольте. Больше гостей не было.

Людевилльский дом купили, когда Маделин забеременела. Казалось, идеальное место, чтобы разобраться с проблемами, в которые его вовлекла «Феноменология духа», а именно: место и роль «закона сердца» в западной традиции, корни сентименталистской этики — вообще этот круг вопросов, по которым у Герцога были свои, не совпадающие с другими соображения. Он намеревался — сейчас даже улыбнуться неловко, вспоминая об этом,— исчерпать и закрыть тему, выдернуть ковер из-под ученых коллег, показать им, что чего стоит, повергнуть их в изумление, раз и навсегда заклеймить их пошлость. Причем тут не одно самолюбие: главным побудителем было чувство ответственности. Таковое он имел. Он принадлежал к категории bien pensants [1]. Он разделял убеждение Генриха Гейне в том, что слова Руссо обернулись кровавой машиной Робеспьера, что Кант и Фихте будут пострашнее армий. Научная субсидия была невелика, и за усадебку пошло наследство папы Герцога — двадцать тысяч долларов.

Он превратился в сторожа при этом доме. Двадцать тысяч — а это только начало — пошли бы прахом, не впрягись он в работу,— все, что папа сберег за сорок лет прозябания в Америке. Не представляю, как это могло случиться. Я был не в себе, когда выписывал чек. Я толком ничего не видел.

Когда бумаги были уже подписаны, он, можно сказать, впервые обошел дом. Некрашеный, мрачный, с ветшающей викторианской отделкой. Вместо пола на нижнем этаже просто яма вроде воронки. Штукатурка отбилась, из обшивки лезла плесенная, волосатая дрянь. Допотопную узловатую проводку было опасно тронуть. Из фундамента вываливались кирпичи. Окна протекали.

Герцог учился класть кирпич, вставлять стекла, паять трубы. Ночами он засиживался над энциклопедией «Сделай сам» и как одержимый красил, шпаклевал, смолил, штукатурил. Старое обнажившееся дерево не прокрашивалось и в два слоя. В ванной стены не держали гвоздей, шляпки пробивали виниловые плитки, опадавшие, как игральные карты. Газовая колонка смердела. Электрообогреватель жег пробки. Ванна была реликтовая: покоилась на четырех металлических лапах, словно игрушечная. И мыться в ней приходилось скрючившись. Между тем Маделин везла из сантехники «Слоуна» роскошную арматуру, серебряные раковистые мыльницы и целыми блоками экюссоновское мыло, густые махровые полотенца. А Мозес ковырялся в ржавой жиже туалетного бачка, пытаясь наладить спусковую хреновину. Ночью он слышал течь, истощавшую цистерну.

Год работы спас дом от разрушения.

В подвале был еще один туалет — с толстыми, бункерными стенами. Летом это было излюбленное место сверчков, да и самого Герцога. Здесь он утешался десятицентовой удачей — Драйденом и Попом. Сквозь щель ему виделись полыхавшее утро разгарного лета, злая колкость зеленых сплетений и тугие, точеные головки шиповника, огромный обособленный вяз, умирающий у него на глазах, иволгино гнездо — серенькое, в форме сердца. Он читал: «Мой хозяин — первейший в Англии пэр».

---

[1] Благонамеренные (*франц.*).

Вдруг напомнил о себе шейный артрит. В каменном подвале стало сыро. Герцог снял с бачка верезжащий наполнитель и протянул для слива резиновый шланг. Насадки ржавые, тугие.

Мой хозяин — первейший в Англии пэр,
А вы чья собака, сэр? [1]

Утро он старался оставить для умственной работы. Он завел переписку с Уайднеровской библиотекой [2], пытаясь вытянуть из них «Abhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaft» [3]. Стол был завален неоплаченными счетами, неотвеченными письмами. Он взял халтуру для денег. Университетские издательства слали ему рукописи на отзыв. Так и лежали эти бандероли нераспечатанными. Солнце начинало припекать, земля была влажная и черная, и Герцог с тоской смотрел на пышное цветение растительного мира. Надо, надо разгрести этот бумажный завал, но когда? Его ждал дом — огромный, пустой, неотложный. «Quos vult perdere dementat» [4],—чертил он на пыльном столе. Боги им занимались, но они еще не совсем лишили его ума.

Когда он усаживал себя за отзыв, рука отказывалась ему служить. Пять минут поводив пером, он получал писчий спазм. У него деревенел взгляд. Он истощился в придумывании оправданий. *Сожалею о задержке. Сильно обжегся соком сумаха и не мог работать за столом.* Поставив локти на бумаги, Мозес уводил взгляд на недокрашенные стены, выцветший потолок, заляпанные окна. Что-то нашло на него. Обычно он умел держать рабочую форму, а тут не выкладывался и на пару процентов, за каждую бумажку хватался и пять, и десять раз и все терял. Куда это годится! Он опускался.

Он доставал гобой. В темном кабинете, куда лезли, цепляясь за провисшую сетку, лозы, Герцог играл Генделя и Перселла — жиги, бурре, контрдансы: щеки надуты, пальцы бегают по клапанам, музыка вспархивает и припадает, отвлеченная и грустная. Внизу работала стиральная машина: два шага по часовой стрелке, один отступя назад. Грязища на кухне была такая, что впору завестись крысам. На тарелках усыхали яичные желтки, в чашках зеленела кофейная гуща, вымокали на пластиковом столе гренки, кукурузные хлопья, червоточные мозговые кости, плодожорки, комнатные мухи, долларовые бумажки, почтовые марки, премиальные купоны.

Спасаясь от музыки, Маделин хлопала входной дверью, потом дверцей машины. С ревом заводился мотор. У «студебекера» треснул глушитель. Она съезжала по склону. Если, забывшись, не взять вправо, выхлопная труба царапнет по камням. Прислушиваясь, Герцог играл тише. Не сегодня-завтра глушитель совсем полетит, но он зарекся предупреждать ее. Таких запретных тем накопилось уже множество. Она сатанела, когда он их касался. Прячась за жимолостью, пихавшей сетку в окно, он ждал, когда она будет разворачиваться. Беременность уплотнила ее черты, но красивой она оставалась. Такие красавицы делают из мужчин безостановочных отцов, жеребцов или слуг. Во время езды ее нос непроизвольно дергался под мешавшей обзору челкой — тоже помощник в управлении. Крепко сжимали агатовый руль пальцы — какие холеные, а какие с изгрызенными ногтями. Он решительно заявлял ей, что беременным небезопасно водить машину. Или пусть хотя бы получит водительские права. Если ее остановит полицейский, говорила она, она сумеет заговорить ему зубы.

Когда она уезжала, он протирал гобой, проверял тросточки, закрывал грязноватый плюшевый футляр. На шее у него висел полевой бинокль. Порой тянуло поближе рассмотреть птичку. Обычно та улетала, пока он ловил фокус. Покинутый, он сидел за столом, то бишь за дверью,

[1] Стихотворение А. Попа.
[2] Библиотека Гарвардского университета.
[3] Труды «Королевского саксонского научного общества» (*нем.*).
[4] Сокращенный вариант изречения: «Кого Юпитер хочет погубить, того он прежде всего лишает разума» (*лат.*).

положенной на кованые железные ножки. Лампу оплетал филодендрон. Бумажными катышками он расстреливал из рогатки слепней на заляпанных краской окнах. Маляр он был скверный. Сначала он попробовал красить пульверизатором, приспособив его к выдувному отверстию пылесоса,— очень эффективный ветрогон. Обмотав голову тряпьем, чтобы не надышаться, Мозес опрыскивал краской потолок, но капли сеялись и на окна, и на перила, и пришлось по-старому взяться за кисть. Стремянка, ведра, тряпье, разбавители — все таскать за собой, скрести шпателем, шпаклевать, красить и с левой руки, и с правой, и над головой, и еще тот кусок, и подальше — достать бы, к самому углу, к карнизу, стараясь выдержать прямую линию одеревеневшей рукой, то кладя широкие мазки, то прикипев к пятачку, добиваясь совершенства. Когда рабочий азарт истощался, он шел, залитый краской и потом, в сад. Раздевшись догола, валился в гамак.

Тем временем Маделин объезжала с Фебой Герсбах антикварные магазины либо везла домой горы продуктов из питсфилдских супермаркетов. И Мозес обязательно вязался к ней из-за денег. Он сначала выдержанно выкладывал свои претензии. Поводом всегда был какой-нибудь пустяк: возвращенный банком чек, сгнивший в леднике куренок, порванная на тряпки новая рубашка. Постепенно чувства его накалялись:

— Когда ты перестанешь тащить в дом весь этот хлам, Маделин,— разбитые комоды, прялки?

— Нужно обставить дом. Я не могу видеть эти пустые комнаты.

— Куда уходят деньги? Я работаю до одурения.— Его душил гнев.

— Оплачиваю счета — куда им еще идти, по-твоему?

— Ты говорила, что тебе нужно научиться обращению с деньгами. Раньше тебе не доверяли. Теперь — пожалуйста! — доверяют — и рекой пошли обратно чеки. Только что звонили из магазина тканей, от Милли Крозьер. Пятьсот долларов за детский конверт. Кого мы рожаем — Людовика Четырнадцатого?!

— Знаю, слышала: твоя мамочка ходила в мешковине.

— И акушер с Парк авеню тебе не нужен. Феба Герсбах обошлась питсфилдской больницей. Как, интересно, я вытащу тебя в Нью-Йорк? Это три с половиной часа дороги.

— Мы уедем отсюда за десять дней.

— Бросить здесь всю работу?

— Гегеля ты можешь взять с собой. Ты за эти месяцы не удосужился в него заглянуть. Вообще тут самый настоящий дурдом. Эти тюки с записями. Страшно подумать, как ты неорганизован. Ты не лучше наркомана — тоже объелся своими химерами. В общем, кляни своего Гегеля и эту развалюху. Тут нужны четыре работника, а ты хочешь, чтобы я управлялась одна.

Герцог тупел, повторяя очевидные вещи. И при этом буквально сходил с ума. Он сознавал это. Ему казалось, он досконально знает, как всему надлежит быть (то есть, на уровне «свободного конкретного мышления», превратное толкование общего развивающимся самосознанием: действительность противостоит «закону сердца», чуждая необходимость безжалостно подавляет индивидуальность, und so weiter[1]). Герцог охотно допускал, что ошибается. Он, думалось ему, просит об одном: помочь, в общих интересах, сделать жизнь осмысленной. Гегель чертовски глубок, но односторонен. Несомненно. В этом все дело. Куда проще, без этого путаного метафизического вздора, теорема XXXVII Спинозы: человек желает другому того же блага, к которому стремится сам,— он совсем не желает, чтобы другие жили по его разумению — ex ipsius ingenio[2].

---

[1] Und so weiter — и так далее (*нем.*).
[2] По его собственному разумению (*лат.*).

Перебирая в голове эти мысли, Герцог в одиночестве красил людевилльские стены, строя Версаль и одновременно Иерусалим в зеленом пекле беркширского лета. Но то и дело приходилось спускаться со стремянки и идти к телефону. Банк возвращал чеки Маделин.

— Господи боже! — кричал он.— Да что же это, Мади!

Та уже шла наготове, в бутылочного цвета свободной блузе и гольфах. Она уже очень раздалась. Врач запретил ей сладкое. Она тайком объедалась шоколадками величиной с тридцатицентовик каждая.

— Ты не умеешь складывать? Какого черта выписывать чеки, если они вернутся? — Он свирепо глядел на нее.

— А-а, опять начинается крохоборство.

— Это не крохоборство. Это чертовски серьезно...

— Понятно: речь пойдет о моем воспитании, о богемных родителях, захребетниках и проходимцах. И что ты дал мне свое славное имя. Я знаю эту муру наизусть.

— То есть я повторяюсь? Тогда и ты повторяешься — с этими чеками.

— Тратятся деньги покойного папочки. Вот ты чего не можешь переварить. Но это *твой* отец, в конце концов. *Своего* кошмарного отца я на тебя не вешаю. И ты своего старика не суй мне в глотку.

— Нам нужен хоть какой-то порядок в нашем быту.

На это Маделин ответила быстро, твердо и четко:

— Такого быта, какого *ты* хочешь, у тебя не будет. Это ищи где-нибудь в двенадцатом веке. И хватит поминать родные пенаты, кухню с клеенкой и латинскую книжку. А хочешь — ладно, давай свою грустную повесть. Про папу. Про маму. Про квартиранта-пьяницу. Про старую синагогу, про контрабанду самогона, про тетю Ципору... А-а, бред!

— Как будто у тебя нет своего прошлого.

— Значит, разговор будет все-таки о том, как ты меня СПАС. Ладно, давай. Какая я была дрожащая сопливка. Как боялась взглянуть жизни в лицо. А ты от всего сердца — такого большого — дал мне ЛЮБОВЬ и спас от попов. Да, еще от менструальных судорог избавил своим чутким обращением. Ты СПАС меня. ПОЖЕРТВОВАЛ своей свободой. Я увела тебя от Дейзи, от сына, от этой японской жмотки. Сколько отняла драгоценного времени, денег, внимания.— Ее дико разгоревшийся голубой взор застыл до такой степени, что глаза казались косыми.

— Маделин!

— А-а, дерьмо!

— Подумай хоть немного.

— Подумать? Что ты в этом понимаешь?

— Может, я женился на тебе, чтобы поумнеть,— сказал Герцог. — И я учусь.

— Так я тебя научу, будь спокоен,— сказала сквозь зубы красивая беременная Маделин.

Из любимого источника Герцог выписал: *«Настоящая дружба не поддакивает. Свой дом, свое дитя, да-да — все, что имеет человек, да отдаст он за мудрость»*.

Муж — прекрасной души человек,— исключительная жена, ангелический ребенок и редкостные друзья жили-поживали в Беркширах. Ученый профессор корпел за своим столом... Нет, он действительно сам напросился на неприятности. Ведь так заигрался в простодушного, что у самого обмирало сердце: зисе нешамеле — сладкая душенька, это о нем Тинни так отозвалась. В сорок лет ходить с этаким ярлыком — это как? У него взмок лоб. Таких дураков еще учить и учить — болезнью, тюремным сроком. А он остался «везунчиком» (Рамона, кормежка и выпивка, приглашение отдохнуть на побережье). Впрочем, чрезмерное самобичевание не входило сейчас в его расчеты. Сейчас это не самое нужное дело. Могло случиться, что *не быть* дураком не составило бы громадного труда. Собственно говоря, не дурак — он кто? Возлюбивший власть,

подчинивший народ своей воле высокоученый интеллектуал, распоряжающийся миллиардным бюджетом? Реалист-организатор с ясным взглядом, как нужно соображающей головой и политическим нюхом? Ну плохо ли стать таким? Однако перед Герцогом иные задачи поставлены: он, верилось ему, работал на будущее. Революции двадцатого столетия, освобождение людей благодаря возросшей производительности создали частную жизнь, не дав ей наполнения. Вот тут и нужны такие, как он. Прогресс цивилизации — больше того: выживание цивилизации зависело от того, насколько успешно работает Мозес Е. Герцог. И, поступив с ним известным образом, Маделин нанесла урон колоссальному начинанию. В этом, по мнению Мозеса Е. Герцога, и заключалась дикость и беда случившегося с Мозесом Е. Герцогом.

Вполне определенный разряд безумцев тщится навязать свои принципы. Сандор Химмельштайн, Валентайн Герсбах, Маделин П. Герцог, сам Мозес. *Наставники по реальности. Хотят преподать вам уроки реальности — казнить вас ими.*

У Мозеса, хранившего фотографии, была карточка двенадцатилетней Маделин в амазонке. Она стоит рядом с лошадью, крепенькая длинноволосая девочка с пухлыми запястьями и мрачными кругами под глазами — первоцветом страданий и жажды мщения. В бриджах, сапогах и котелке она смотрится заносчивой барышней, знающей, что не за горами брачный срок и право причинять боль. Все решено и подписано. Власть есть сила творить зло. В двенадцать она знала больше, чем я в сорок.

А Дейзи — та совсем в другом роде: выдержаннее, ровнее — обычная еврейская женщина. В рундучке под кроватью у Мозеса имелась ее фотография тоже, но сравнивать карточки не было нужды, он легко вызывал ее образ мысленно: косящие зеленые глаза — крупные глаза, мелкая курчавость тускло-золотых волос, чистая кожа. Она держалась застенчиво, хотя была не из покладистых. Без усилия Герцог вспомнил то летнее утро, когда впервые увидел ее под НЖД [1] на 51-й улице в Чикаго с замусоленным студенческим скарбом — Парк и Берджесс, Огберн и Нимкофф. На ней было простое, в зеленую и белую полоску платье с вырезом каре. Из-под него, свежевыстиранного, выглядывали голые ноги в белых туфельках, на макушке сидела беретка. Красный трамвай шел из трущоб в западную часть города. Он лязгал железом, дергался, мотался, с токоснимателя сыпались зеленые искры, порхали клочья бумаги следом. На провонявшей карболкой площадке Мозес стоял сразу за ней, когда она подавала кондуктору пересадочный билет. От голой шеи и плеч веяло запахом летних яблок. Дейзи была провинциалочка из Каштанового штата [2], из-под Зейнсвилла. У нее была совершенно детская привычка всему найти свое место. Мозес иногда с улыбкой вспоминал ее грязно напечатанные карточки с рекомендациями на разные случаи жизни. В ее дубоватой организованности было свое обаяние. Когда они поженились, она завела для его карманных денег отдельный конверт, который ставила в зеленый каталожный ящик, купленный для хранения их бюджета. На специальной доске прикнопливались ежедневные напоминания себе, счета, билеты на концерт. Заблаговременно размечался календарь. Равновесие, симметрия, порядок, размеренность составляли сильную сторону Дейзи.

Дорогая Дейзи, мне нужно кое-что сказать тебе. Это я своей беспорядочностью и невыдержанным характером выявил худшее в Дейзи. Я был причиной того, что у нее всегда пряменько стояли стрелки чулок, а все пуговицы были аккуратнейше застегнуты. Через меня суровыми складками ложились гардины и ровненько лежали половики. И каждое воскресенье жареная телячья грудинка с мучной клейкой подливой была воздаянием за мои расстройства, за полную путаность в истории мыс-

[1] Надземная железная дорога.
[2] Шутливое название штата Огайо.

ли — при моей полной же запутанности в ней. Она поверила ему на слово, что он занят важным делом. Понятно, долг жены терпеть непредсказуемого и часто непереносимого Герцога. Что она и делала с суровой выдержкой, не упуская всякий раз — и только раз! — выразить неодобрение. Дальнейшее — молчание, тягостное, вроде того, что повисало в Коннектикуте, когда он завершал «Романтизм и христианство».

Глава «Романтики и энтузиасты» только что не прикончила его — она их обоих едва не угробила. (Энтузиастическое неприятие научного способа прекращения веры, нетерпимого для изъявительной потребности иных натур.) Тут Дейзи собралась и оставила его одного в Коннектикуте: пришлось ехать в Огайо. Там умирал ее отец. У маленькой кухонной никелированной плиты Мозес читал энтузиастов. Закутавшись по-индейски в одеяло, слушал радио, сам с собою перебирал «за» и «против» Энтузиазма.

В ту зиму вода заледенела, как камень. Монолитом каменной соли лежал пруд — зеленый, белый, звонкий лед, хрусткий под ногами. Струистая мельничная запруда оцепенела на жгутовых опорах. Скрипели гигантские арфы вязов. Дозорный цивилизации на этой ледяной заставе, по случаю остывшей плиты залегший в постель в авиаторском шлеме, Герцог подгонял Бекона и Локка к методизму и Уильяму Блейку. Ближайшим его соседом был священник, мистер Идвал. Машина Идвала, форд модели «А», была на ходу, когда «Гончая» Герцога намертво замерзла. На рынок они ездили вместе. Миссис Идвал пекла слоеные пирожки с шоколадной пропиткой и по-соседски приносила Мозесу. Набродившись в одиночестве по пруду и лесам, Герцог обнаруживал их в больших огнеупорных блюдах, о которые отогревал онемевшие щеки и кончики пальцев. По утрам, завтракая шоколадным пирожком, он видел, как у себя в спальне, нацепив очки в стальной оправе, румяный крепыш Идвал машет булавами и в длинной ночной рубашке делает приседания. В гостиной, сложив на груди руки, сидела его жена, сквозь кружевные занавески солнце отбрасывало на ее лицо паутинный узор. В воскресные вечера его приглашали с гобоем поаккомпанировать миссис Идвал, игравшей на мелодионе, и распевавшим гимны фермерам. Собственно, какие они фермеры? Обыкновенная деревенская голь, бравшаяся за любую работу. В маленькой гостиной было душно, воздух стоял спертый, гимны, благодаря Мозесу и его язычковому инструменту, выплакивали еврейскую печаль.

Отношения с Преподобным и его супругой оставались превосходными, покуда священнослужитель не стал снабжать его исповедями ортодоксальных раввинов, перешедших в христианскую веру. К пирожкам прилагались фотографии этих раввинов в меховых шапках, бородатых. Громадные очеса этих людей и в особенности их губы, лезущие из вспененных бород, словно источали безумие, и Герцог решил, что пора выбираться из занесенного снегом коттеджа. При такой жизни он не ручался и за собственный рассудок, тем более после смерти тестя. Тот чудился ему постоянно, встречался в лесу, поджидал его дома, за столом или в туалете, совсем как живой.

Игнорируя раввинов, Герцог сделал ошибку. Священник тем паче вознамерился выкрестить его и каждый божий день заводил теологический диспут, пока не вернулась Дейзи. Печальная, с ясными глазами, в основном уходившая в молчание, в глухую оборону. Но какая-никакая — жена. Но главное — сын! Пришла оттепель, самое милое время для снежных баб. Они с Марко обставили ими всю подъездную дорожку. Антрацитовые глазки сверкали даже при звездах. В весенней ночной темени пронзительно кричали тетерева. И вместе с окружением стало отогреваться и его сердце. Ушли налитые кровью и одиночеством зимние закаты. И не так уж они плохи теперь, когда он их пережил. *Выживание!* — писал он. *Потом разбираться, что к чему. Потом вносить положительный смысл.* (Личная ответственность за историю как свойство западной культуры, возрастающее от Старого и Нового Заветов, мысль

о постоянном совершенствовании человеческой жизни на земле. Что, как не это, объяснит смешную одержимость Герцога?) *Господи, я спешил ратоборствовать за Твое святое дело, но сбивался с пути и на поле брани не поспел.*

Через все это он тоже прошел. И если не почему-либо еще, то из-за множества осадивших его болезней приведенный отрывок не удовлетворял его. Поглядывая с умеренной для Нью-Йорка высоты на обедненное многолюдье, муравьями облепившее его дымчатое стекло, закутанный в помятую рубашку, прихлебывая остывший кофе, отставленный от ежедневного труда во имя великих свершений, хотя и не было у него сейчас уверенности в своем призвании, Герцог снова и снова тянул себя обратно в работу. *Уважаемый д-р Моссбах, мне досадно, что Вы не разделяете моего отношения к Т. Э. Хьюму и его определению романтизма как «расколотой религии». Кое-что в его позиции заслуживает поддержки. Он хочет, чтобы вещь была четкая, сухая, простая, чистая, прохладная и крепкая. С этим, я полагаю, мы все согласимся. Меня тоже отталкивает «сырость», по его слову, и роение романтических чувств. Я знаю, каким негодяем был Руссо и вырожденцем (речь не о его неджентльменском поведении — не мне его осуждать). Однако я не представляю нашего ответа на его слова: «Je sens mon coeur et je connais les hommes».*

Консервативно разлитая в бутылки религия — она что, по-Вашему, лишит сердце эдакой силы? Последователи Хьюма возвели стерильность в истину, расписываясь в собственном бессилии. Это у них вместо страсти.

Все еще он побеждал, все еще разящей была его полемика. Его учтивые формулировки часто были напитаны ядом. Сговорчивый, скромный, он не заблуждался на свой счет. Сознание правоты, крепнущей силы шли из нутра, начинали зудеть ноги. Странные они, роскошные победы гнева! В Герцоге пропадал заядлый сатирик. Но он понимал, что *не этим* истребляется заблуждение. Он начал страшиться побеждать, страшиться побед неограниченной суверенности. *Человеческая природа — а что это такое? Уверенно писавшие о ней, раскрывшие нам глаза на то, какие мы «внутри», Гоббс, Фрейд и прочие к большим нашим доброжелателям не принадлежат. Это же справедливо в отношении Руссо. Когда Хьюм ополчается на романтиков за то, что они приплели Совершенство к человеческим делам, я на его стороне, однако мне претит его сугубо карательный подход. Меньше всего озабоченная определением человеческой природы, памятуя лишь о дееспособности исследования, современная наука приходит к глубочайшим выводам, не касаясь имен вообще, признавая лишь блестящую работу интеллекта. Обретенная тут истина может оказаться нам вовсе ненужной в жизни, но, может статься, самое лучшее сегодня — это объявить мораторий на определения человеческой природы.*

И Герцог характерным рывком оборвал тему.

Дорогой Нахман, писал он. *Ведь это тебя я видел в понедельник на 8-й улице. Ты убегал от меня.* Герцог помрачнел лицом. *Это был ты. Мой сорокалетней давности дружок с Наполеон-стрит. Тоже трущобный монреалец.* И вдруг этот приятель, напялив битниковскую кепку, толчется на плешке среди гомосексуалистов с львиными бородками и зеленой краской под глазами. У него тяжелый нос, белая голова, толстые захватанные очки. Сгорбленный поэт только бросил взгляд на Мозеса и сразу побежал. Как на пожар понесли его через улицу сухопарые ноги. Подняв воротник, он уставился на витрину сырного магазина. *Нахман! Ты подумал, что я спрошу долг? Так я его давно списал. В послевоенном Париже я и не почувствовал этих денег. Они у меня были.*

Нахман приехал в Европу писать стихи. Он жил в арабском логове

---

[1] «Я слышу свое сердце, и я знаю людей» (*франц.*).

на рю Сен-Жак. Мозес с комфортом устроился на рю Марбеф. Однажды утром на его пороге и появился мятый и грязный Нахман с красным от рева носом на предсмертно скуксившемся лице.

— Что такое!

— Отобрали жену, Мозес, Лорочку.

— Погоди, что произошло? — Возможно, Герцог был тогда суховат с ним — ему претила невыдержанность.

— Ее отец. У которого паркетный бизнес. Выкрал, старый колдун. Она умрет без меня. Крошка не выдержит без меня. И мне без нее не жизнь. Надо возвращаться в Нью-Йорк.

— Заходи. Какой разговор в коридоре?

Нахман прошел в гостиную. Комната была обставлена в стиле двадцатых годов — со злопамятной дотошливостью. Сесть Нахман из-за грязных брюк не решился.

— Я уже обегал все рейсы. Назавтра есть место на «Голландии». Дай мне взаймы — иначе я погиб. Кроме тебя у меня никого в Париже.

Честно говоря, я думал, что в Америке ты встанешь на ноги.

Нахман и Лора исходили всю Европу, ночуя где попало в стране Рембо, читая друг другу письма Ван Гога, стихи Рильке. С головой у Лоры тоже было не очень благополучно. Худенькая, со смазанными чертами лица, с опущенными углами бледных губ. В Бельгии она заболела гриппом.

— Я верну тебе все до цента.— Нахман ломал пальцы. Они у него стали узловатые, ревматические. Лицо огрубело, спало от болезни, страданий и бессмысленности.

Я понял, что отослать тебя в Нью-Йорк в конечном счете выйдет дешевле. В Париже ты был мне обузой. Как видишь, я не выдаю себя за альтруиста. А может, подумал Герцог, он испугался *моего* вида. Неужто я изменился еще больше, чем он? И Нахман ужаснулся, встретив Мозеса? *Но мы таки росли и играли на одной улице. Я учил алефбейс*[1] *у твоего отца, у ребе Шики.*

Нахманы жили в желтом доме прямо против них. В пять лет Мозес пересек Наполеон-стрит. Поднялся по кривым, зашмыганным деревянным ступеням. По углам жались кошки или легко прядали вверх по лестнице. В темноте пронзительно пахли их растертые сухие какашки. Реб Шика, худой красивый мужчина, был желт, как монгол. Черная атласная ермолка на голове, бородка как у Ленина. Узкую грудь укрывала теплая нижняя рубашка — пенманской шерсти. На столе, на грубой скатерти, лежала раскрытая Библия. Мозесу ясно увиделись слова на иврите: ДМЕЙ ОХИХО — крови брата твоего. Да, это были именно эти слова. Бог говорит с Каином: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли».

В восемь лет Мозес и Нахман сидели на одной лавке в подвале синагоги. Пятикнижие пахло плесенью, свитера на мальчиках были сырые. Раввин с коротко стриженной бородой и большим мягким носом, усеянным черными точками, жучил ребят: — Отвечай, Розавич, бездельник эдакий, что тут говорится о жене Потифара: Ветиспесайу бевигди...

— И она схватила его за...

— За что схватила? Бегед.

— Бегед? За пиджак.

— За одежду, мошенник. Мамзер![2] Несчастный твой отец. Такого наследничка он имеет! Такого каддиша![3] Свинину будешь есть, не дав отцу умереть спокойно. Теперь ты, Герцог, бегемотские твои глаза,— Вейаазов бигдо бейодо.

— И он оставил ее в ее руках.

— Что оставил?

— Бигдо. Свою одежду.

[1] Алфавит (*идиш*).
[2] Ублюдок (*иврит*).
[3] Поминальщик (*иврит*).

— Смотри мне, Герцог, смотри, Мозес. Мать надеется, что ты станешь великим ламденом [1]— раввином. Но я-то знаю, какой ты бездельник. Такие вот мамзейрим [2] и разбивают материнское сердце. Эх-хе! Скажешь, я тебя не знаю? Вдоль и поперек.

Единственным спасением была уборная, где в зеленых лотках писсуаров истаивали дезинфицирующие нафталиновые шарики и куда сходили из шула [3] бельмастые, полуслепые старцы, вздыхая и пробормотывая молитвы в ожидании действия пузыря. Зеленая от мочевой ржавчины латунь. В открытой кабинке, спустив брюки, сидел Нахман и играл на губной гармонике. «Долог, долог путь до Типперери». «Любовь посылает подарок из роз». Козырек картуза у него весь переломан. В жестяных ячейках хлюпала слюна, когда он втягивал и выдувал воздух. Старшие в котелках мыли руки, оправляли пальцами бороду. Мозес все примечал.

Скорее всего, Нахмана спугнула памятливость его старого друга. Герцог досаждал ею решительно всем. Страшный механизм, в сущности.

Последний раз мы виделись — сколько же лет назад? — когда вместе навещали Лору. Лора лежала тогда в психиатрической больнице. Герцог с Нахманом сделали шесть или семь пересадок и где-то на тысячной остановке, уже в Лонг-Айленде, вышли из автобуса. По коридорам в мягкой обуви, что-то бормоча, слонялись женщины в бязевых халатах. У Лоры были перебинтованы кисти рук. На его памяти это была ее третья попытка самоубийства. Поддерживая руками грудь, она сидела в углу и желала говорить исключительно о французской литературе. Выражение лица у нее было апатичное, хотя губы двигались очень живо. Мозес вынужденно соглашался с тем, в чем ничего не смыслил: образность у Валери с точки зрения формы.

Уходили они с Нахманом вместе с заходом солнца. Цементный дворик вымочил осенний дождь. Из окон кучками глядели вслед уходящим посетителям призраки в зеленых халатах. Лора подняла за решеткой перебинтованную руку, слабенько махнула: До свидания. Ее тонкие растянутые губы беззвучно сказали: До свидания, до свидания. Прямо спадающие волосы, нескладная детская фигурка с женскими припухлостями. Нахман говорил севшим голосом: — Голубка моя невинная. Невеста моя. Упрятали-таки ее звери, махеры, хозяева жизни. Заточили. Как будто любить меня — значит быть сумасшедшей. Но я найду силы защитить нашу любовь,— сказал костлявый, изрытый морщинами Нахман. У него ввалились щеки, под глазами желтизна.

— Почему она пытается покончить с собой? — сказал Мозес.

— Домашние травят. А ты что думал? Буржуазный мир Вестчестера [4]. Ее родителям чего хотелось: брачные извещения, белье, счета из магазинов. А она чистая душа и понимает только чистое. Она там чужая. У ее родни одна забота: разлучить нас. В Нью-Йорке мы ведь тоже бродяжничали. Когда я вернулся — спасибо тебе, я расплачусь, я заработаю,— нам не на что было снять комнату. И на работу — как определиться? Кто за ней присмотрит? Друзья дали крышу над головой. Кусок хлеба. Койку — прилечь, полюбить друг друга.

Как ни разбирало Герцога любопытство, сказал он только: — Даже так?

— Тебе одному скажу, ты старый друг. Мы осторожничали. Заклинали друг друга быть сдержаннее. Это было как священнодействие, а вызывать у богов зависть нельзя...— Нахман говорил стучащим, монотонным голосом.— До свидания, блаженная моя душенька, до свидания, милая.— И с тягостным умилением посылал окну воздушные поцелуи. По дороге к автобусу он продолжал свое горячечно-нудное, нежизненное говорение: — Изнанка всему этому — буржуазная Америка.

---

[1] Ученый (*иврит*).
[2] Ублюдки (*иврит*).
[3] Синагога (*идиш*).
[4] Фешенебельный пригород Нью-Йорка.

Грубый мир роскоши и дерьма. Гордая, ленивая цивилизация, боготворящая свою неотесанность. Мы с тобой выросли по старинке — в бедности. Я не знаю, насколько ты стал американцем с тех канадских времен — все-таки давно здесь живешь. А я никогда не буду поклоняться тучным богам. Не дождутся. Ты не думай, я не марксист. Мое сердце отдано Уильяму Блейку и Рильке. Теперь возьми Лориного отца. Лас Вегас, Майами-бич — ты же понимаешь! Они хотели, чтобы в Фонтенбло Лора подцепила себе мужа, богатого мужа. Накануне судного дня, у последней могилы они и то будут пересчитывать свои деньги. Будут молиться на свой баланс...— Нахман говорил, не сбавляя занудного напора. Из-за потерянных зубов подбородок у него подобрался, серые щеки колюче щетинились. Но Герцог еще мог вспомнить его шестилетнего. Больше того, он не мог освободиться от ощущения, что видит обоих Нахманов сразу. И тот мальчуган со свежим лицом, с улыбчивой дыркой вместо переднего зуба, в застегнутой курточке и коротких штанишках — он-то и был настоящий Нахман, а не этот страхолюдный призрак зудящего безумца.— Возможно,— говорил он дальше,— люди желают, чтобы жизнь прекратилась. Они ее опоганили. Мужество, честь, честность, дружба, долг — все загажено. Замарано. И уже кусок хлеба не лезет в горло, потому что он продлевает эту маету. Было время — люди рождались, жили, умирали. А нынешних ты назовешь людьми? Мы просто-напросто твари. От нас даже смерть должна устать. Я так и вижу, как она приходит к Господу и говорит: — Что мне делать? Ничего великого в смерти уже нет. Избавь меня, Господи, от моего убожества.

— Все не так плохо, как ты представляешь, Нахман,— вспомнил Мозес свои слова.— В большинстве своем люди не поэты, а ты видишь в этом предательство.

— Да, друг детства, ты примирился с этой нескладицей вместо жизни. А мне были твердые указания. В моих глазах они все — упорствующие уроды. Мы не любим самих себя, мы упорствуем. Каждый человек сам себе упор. У каждой этой твари что-нибудь да есть за душой, и ради этого она на что-то способна. Но она поставит мир вверх тормашками, только бы не отдать свое задушевное другому. Пусть лучше весь мир пойдет прахом. Про это все мои стихи. Ты не очень высокого мнения о моих Новых Псалмах. Ты слеп, мой старый друг.

— Возможно.

— Но ты хороший человек, Мозес. Слишком цепляешься за себя, но сердце у тебя доброе. Как у твоей матушки. Благородная была душа. Ты в нее пошел. Я взалкал, и она накормила. Вымыла мне руки, посадила за стол. Это я всегда помню. И она единственная жалела моего дядю Равича, горького пьяницу. Я молюсь за нее иногда.

Йизкор элохим эс нишмас ими...[1] душу моей матери.

— Она давно умерла.

— И за тебя молюсь, Мозес.

Широченными шинами автобус форсировал закатно окрашенные лужи, топя кленовые прутья и листья. Бесконечен был его путь через приземистую, кирпичную, пригородную, обитаемую даль.

А пятнадцать лет спустя на 8-й улице Нахман убежал. Улепетнул к сырному магазину — по виду совсем старик, отверженный, сгорбленный. Где его жена? Он, должно быть, просто сбежал от вопросов. Его безумная деликатность велела ему избежать этой встречи. А может, он все забыл? Или хочет забыть? Другое дело я и *моя* память: все мертвецы и безумцы на моем попечении, я есмь возмездие желающему забыться. Я связываю людей своими чувствами и подавляю их.

А Равич в самом деле был твой дядя или только ландсман[2]? Я так и не знаю.

---

[1] Да вспомнит Бог душу матери моей (*иврит*).
[2] Земляк (*идиш*).

Равич квартировал у Герцогов на Наполеон-стрит. Обличием трагик из пьесы на идише — с откровенным носом пьяницы, в котелке, перекрывшем вены на лбу, в фартуке, Равич в 1922 году работал на фруктовой базе неподалеку от Рэйчел-стрит. В нулевую погоду он выметал с рынка месиво из опилок и снега. К стеклам в папоротниковом ледяном узоре грудами льнули кровавые апельсины и желтовато-коричневые яблоки. И тут же мыкался печальный Равич, красный от пьянства и холода. Целью его жизни было вызвать из России семью — жену и двоих детей. Но сначала их надо было отыскать — в революцию они потерялись. На трезвую голову и почистившись, он изредка наведывался в Общество помощи евреям-иммигрантам. Никакого результата. Он пропивал получку — шикер [1]. Выйдя из салуна, он, качаясь, вставал посреди улицы, командовал движением, валился в грязь под копыта лошадей и колеса грузовиков. Полиции надоело забирать его к себе. Они отвозили его домой, к Герцогам, и пихали в коридор. Глубокой ночью, на выстуженной лестнице Равич пел рыдающим голосом:

Алейн, алейн, алейн, алейн
Эленд ви а штейн
Мит дн цен фингер — алейн.

Джона Герцог выбирался из постели, включал свет на кухне, прислушивался. На нем была полотняная спальная рубаха с плиссированной грудью — остатки петербургской роскоши. Газ в плите не горел, спавшие в одной постели Мозес, Уилли и Шура садились под комковатым байковым одеялом и смотрели на отца. Он стоял под лампой, шишковатой, как германский шлем. Ярко пылала провисшая широкой петлей вольфрамовая нить. Круглоголовый, с бурыми усами, папа Герцог тревожно и сочувственно поглядывал на потолок. Между бровями складывалась и разглаживалась морщина. Он кивал головой, приборматывая что-то.

Один, один, один, один,
Одинокий, как камень,
При десяти пальцах — один.

Из другой комнаты мама Герцог говорила: — Иона, помоги ему войти.

— Ладно-ладно,— говорил папа Герцог, оставаясь на месте.

— Иона... Жалко ведь.

— А нас не жалко? — говорил папа Герцог.— Ты спи, тебе когда еще отдохнуть, а он будит. Еврей-пьяница! Даже *этого* он не сделает по-хорошему. Если выпил, почему не быть фрейлех — веселым? Нет, он будет плакать и надрывать тебе сердце. Чтоб ему неладно было.— Полусмехом папа Герцог корил и свое отзывчивое сердце.— Как будто мало, что я сдаю комнату жалкому шикеру.

Ал тастир понехо мимени [2]
В моих карманах ни пенни
Не скрывай лица Твоего от нас
От него же не отречемся.

Уже не стараясь петь, без всякой мелодии Равич просто кричал на темной холодящей лестнице:

О'Брайен
Ломир тринкен а глезеле вайн [3]
Ал тастир понехо мимени
В моих карманах ни пенни
От него же не отречемся.

---

[1] Пьяница (*иврит*).
[2] Не скрывай лица Твоего от меня (*иврит*).
[3] Давайте выпьем стаканчик вина (*идиш*).

Согнувшись пополам, папа Герцог тихо умирал от смеха.

— Иона, я тебя прошу: генуг шойн [1].

— Да пусть его. Что я буду шлеп [2] себе кишки?

— Он перебудит всю улицу.

— Он весь в блевотине, и штаны полные.

Все-таки он шел. Тоже жалел Равича, хотя тот был живым свидетельством его переменившейся судьбы. В Петербурге он бы послал лакея. В России папа Герцог был барином. С поддельными бумагами купца первой гильдии. Тогда многие господа жили по чужим документам.

А ребята все таращат глаза на пустую кухню. У стены стоит черная остывшая плита; резиновая трубка соединяет газовый двойник со счетчиком. Кусок стены за плитой защищает от брызг японская камышовая плетенка.

Смех было слушать, как отец уговаривал пьяного Равича подняться на ноги. Прямо домашний спектакль.— Ну, ландсман, можешь идти? Ведь замерзнешь. Так, ставь лапу на эту ступеньку — шнеллер, шнеллер [3].— Он еще смеялся, переводя дыхание: — Давай-ка оставим здесь твои дрекише [4] штаны. Фу! — Греясь друг об друга, мальчишки улыбались.

Поддерживая, папа вел через кухню Равича в грязных подштанниках, красномордого, уронившего руки, в котелке, с пьяной тоской в неразлипающихся глазах.

Что касается моего незадачливого покойного отца, Дж. Герцога, то он не был крупным мужчиной, он был из малорослых Герцогов, отличного сложения, круглоголовый, живой, нервный, красивый. Частенько срываясь с сыновьями, он небольно раздавал им пощечины с обеих рук. Он все делал быстро, четко, с восточноевропейской сноровкой в движениях — причесывался, застегивал сорочку, правил свою бритву с костяной ручкой, затачивал карандаши на подушечке большого пальца, резал ножом к себе буханку хлеба, прижав ее к груди, завязывал свертки тугими узелками, артистически заполнял счетоводную книгу. Утратившие значение страницы аккуратнейше перекрещивались знаком Х. Единицы и семерки имели полагающиеся перекладинки — словно вымпелы к непогоде. Первая неудача постигла папу Герцога в Петербурге, когда на него свалились два состояния в один год. Он ввозил лук из Египта. При Победоносцеве полиция раскопала его незаконное проживание. Его признали виновным и вынесли приговор. Отчет о процессе появился в русском журнале на толстой зеленой бумаге. Иногда на семейном сборе папа Герцог раскрывал журнал и зачитывал, сопровождая переводом, дело по обвинению Ионы Исаковича Герцога. Он так и не отбыл наказание: сбежал. Человек он был нервозный, вспыльчивый, с норовом — бунтарь. Он перебрался в Канаду, где жила его сестра Ципора Яффе.

В 1913 году он купил клочок земли близ Вэлифилда, Квебек, стал фермерствовать — прогорел. Перебрался в город, завел пекарню — прогорел; прогорел на мануфактуре и маклерстве; на поставках мешковины в войну, когда никто не прогорал. Со сбором железного лома он тоже прогорел. Стал брачным агентом и, конечно, прогорел из-за своей невыдержанности и резкости. Теперь, на побегушках у Комиссии по алкогольным напиткам провинции Квебек, он прогорал и на бутлегерстве. Едва сводил концы с концами.

Всегда наспех и напоказ, с ясным напряженным лицом, с походкой горемыки и щеголя, грузновато припадающий на пятку, в пальто, чей лисий подбой пожух и облысел и красная кожа потрескалась. В развевающемся своем пальто он совершал еврейский марш в одиночку, пропитанный и окутанный махорочным дымом, обходил свой Монреаль: Па-

---

[1] Довольно (*идиш*).

[2] Мотать, надрывать (*идиш*).

[3] Живее, живее (*идиш*).

[4] Обгаженные (*идиш*).

пино, Майл-энд, Верден, Лашин, Пойнт Сент-Чарльз. Он высматривал, не наклюнется ли что — банкротство, дешевая распродажа, ликвидация, пожарные торги, продукты — и не удастся ли уже покончить с нелегальным бизнесом. Он с невероятной быстротой производил в уме расчет процентных отчислений, а прохиндейской жилки, необходимой удачливому дельцу, у него не было. И потому он держал перегонный куб на Майл-энд, где козы грызли голую землю. И колесил на трамвае. И от случая к случаю толкал бутылку, выжидая главного случая. На границе американские спиртные нелегалы купят сколько хочешь и деньги в руки, но туда поди доберись. Так что смоли сигареты и зябни на трамвайной площадке. Фининспектор тянулся прижать его. Банковские кляузники наступали на пятки. На дорогах к границе крепко пошаливали. На Наполеон-стрит сидело пять проголодавшихся ртов. Уилли и Мозес были хворые. Хелен училась игре на пианино. Толстый прожорливый Шура был неслух и хулиган. За квартиру плати задним числом и вперед, подоспели векселя, счета от врачей, а он не знает английского, друзей нет, авторитета нет, специальности нет, имущества нет — разве что перегонный куб — и помощи ждать неоткуда. Сестра Ципора в Сент-Энн была богата — даже очень, но ему с того было только хуже.

Еще был жив дедушка Герцог. Выказывая вкус Герцогов к большой игре, он в 1918 году нашел пристанище в Зимнем дворце (некоторое время большевики не возражали). Старик писал длинные письма на иврите. Во время переворота пропали его ценнейшие книги. Да и какие теперь занятия. В Зимнем дворце за весь день хождений он едва набирал миньен [1]. Ну и, конечно, голодал. Позже он предрек крах революции и стал собирать царские деньги, чтобы после восстановления Романовых на троне объявиться миллионером. Герцоги получали пачки бросовых рублей, Уилли и Мозес, играя, держали в руках огромные суммы. Берешь роскошную купюру, смотришь на свет, и на радужной бумаге проступают Петр Великий и Екатерина. Дедушке Герцогу было за восемьдесят, но он держался молодцом. Голову сохранял ясную, древнееврейские буквы выставлял твердо. В Монреале папа Герцог вслух зачитывал письма, а там какие вести: холод, вши, голод, мор. «Увижу ли я еще лица моих детей? — писал старик.— И кто закроет мои глаза?» Последнюю фразу папа Герцог прочитывал со второго, если не третьего раза — осекался голос, и в конце концов слова выговаривались шепотом. У него навертывались слезы, и, закрыв ладонью усатый рот, он быстро уходил. Выпучившая глаза мама Герцог оставалась с детьми в немудрящей кухне, куда не заглядывало солнце. Пещера и пещера, древняя черная плита, железный рукомойник, зеленые шкафчики, газовое кольцо.

К жизни мама Герцог была обращена как бы одной половиной лица. Она вникала, повернувшись левой щекой, а правой, случалось, не воспринимала происходящее. На этой самоуправной стороне часто гостило мечтательное, грустное выражение, словно ей привиделся Старый Свет — папа, известный миснагид, трагическая мама, братья — живые и мертвые, сестра, белье и прислуга в Петербурге, дача в Финляндии (все благодаря египетскому луку). А в этой дыре на Наполеон-стрит она себе и кухарка, и прачка, и швея. У нее поседела голова, выпали зубы, потрескались ногти. И руки всегда пахли раковиной.

Однако же находила она силы еще баловать нас, думал Герцог. Меня она определенно избаловала. Как-то в сумерки она везла меня на салазках по льдистому, посверкивающему снегу — было часа четыре, дни в январе короткие. У бакалейной лавки встретилась нам старая баба [2] в шали и говорит: — Что ж ты его возишь, дочка! — У мамы круги под глазами. Худенькое лицо застыло от холода. Дышит через силу.

---

[1] Десять лиц мужского пола не младше тринадцати лет — минимальный кворум для моления «обществом».

[2] В оригинале — русское слово.

На ней потертая котиковая шубка, красная шерстяная шапочка и тонкие ботинки на пуговках. В лавке висели связки вяленой рыбы, из открывавшейся двери тошнотворно несло съестным — прогорклый сахар, сыр; едкое мыло. На проволочном кольце дергался, звенел колокольчик.— Нельзя же себя всю на детей изводить, дочка,— сказала на стылой улице карга в платке. А я и не думал слезать с санок. Притворился непонимающим. Труднейшее это дело: быстро схватив, не торопиться понять. По-моему, думал Герцог, я это хорошо освоил.

Мамин брат, Михаил, умер в Москве от тифа. Я взял у почтальона письмо и понес в дом — длинная веревочка от внутренней щеколды в верхней двери спускалась на петельках вдоль всей лестницы. В тот день была стирка. Мама полоскала и выжимала над корытом. Прочитав, она вскрикнула и упала в обморок. У нее побелели губы. Рука лежала в воде, платье мокло. И никого в доме, кроме нас. Я страх как перепугался, что она так лежит — ноги врозь, волоса разметались, веки потемнели, губы белые — как мертвая. Потом она встала и пошла прилечь. И проплакала весь день. А утром, как всегда, сварила овсянку. Мы рано вставали.

Моя древняя история. Египет ближе. Безрассветные утра, мглистые зимы. Еще темно, зажигаем лампочку. Плита холодная. Папа трясет решетки, пылит золой. Решетки гремят и верезжат. Совок скрипуче скребет испод. С махорки папа тяжко кашлял. В дымоходах гулял ветер. Приезжал на санях молочник. Снег превратился в месиво навоза и мусора с догнивающими крысами и собаками. Молочник в овчине крутил звонок. Он был бронзовый, вроде заводного ключа у часов. Хелен поднимала щеколду и с кувшином спускалась вниз. Тут выходил из своей комнаты Равич с похмельной головой — в тяжелом свитере, сверху прижатом подтяжками для тепла, в котелке, красный с лица и виноватый. Без приглашения он не садился.

Утро не могло стряхнуть с себя унылое и зябкое оцепенение. Вдоль улицы провально чернели окна-бойницы, и школьницы в черных юбках парами тянулись к монастырю. Повозки, сани, телеги, всхрапывающие лошади, свинцовой зеленью налитый воздух, занавоженный лед, просыпавшийся хвост золы. Мозес с братьями покрывали головы и хором молились:

Ма тову охалеха йааков...—
Как прекрасны шатры твои, Израиль...

Поганая, ненастоящая, шальная, мерзкая, потаенная, забитая непогодой Наполеон-стрит,— а дети бутлегера распевают древние молитвы. К этой сцене навечно прикипело его сердце. Нигде еще он не найдет такой протяженности чувства. Ведь всегда чудо, что из века в век дети этого народа видели каждый раз новый чужой мир, и они каждый раз творили все ту же молитву, горячо возлюбив это новое. Чем была плоха Наполеон-стрит? — думал Герцог. Там было все что нужно. Стирала и оплакивала близких мама. Отчаивался и паниковал отец, не складывавший оружия. Пялил свои жуликоватые глаза брат Шура, замышлявший прибрать мир к рукам, стать миллионером. Боролся с приступами астмы брат Уилли. Задыхаясь, он хватался за край стола и тянулся на цыпочках по-петушьи — сейчас кукарекнет. У сестры Хелен были белые перчатки, которые она стирала в густой пене. Она надевала их, отправляясь в консерваторию с кожаной трубкой для нот. В рамке висел диплом: Mlle. Hélène Herzog... avec distinction.[1] Его ласковая сестрица, аккуратистка-пианистка.

В летний вечер она садилась за широкоплечее пианино и чистые звуки уносились через окно на улицу. На клавишах лежала мшистая, зеленого плюша прокладка, словно под каминную крышку. Мозес стоял за спиной Хелен, смотрел, как мелькают страницы Гайдна и Моцарта, и ему хотелось подвыть по-собачьи. Ах, музыка! — думал Герцог.

[1] Мадемуазель Элен Герцог... с отличием (*франц.*).

В Нью-Йорке он боролся с предательской заразой ностальгии, с приливами размягчающих, подтачивающих сердце чувств, с плывущими перед глазами нотными точками, от которых так сладостно сейчас — и так горестно потом на душе. Итак, она играла. На ней средней длины плиссированная юбка, остроносые туфельки давят на педали — старательная, недалекая девочка. За игрой она хмурилась, между бровей намечалась отцовская морщина. Она так хмурилась, словно делала опасную работу. Музыка выплескивалась на улицу.

Тетя Ципора порицала эту затею с музыкой. Настоящей музыкантшей ведь Хелен не стала. Так, потешить домашних. Может, подманить мужа. Тетю Ципору не устраивали честолюбивые мамины планы в отношении детей, которых та видела адвокатами, господами, раввинами или, вот, музыкантами. Все семейные ветви имели кастовый пункт помешательства на йихусе [1]. Даже в самой убогой и подневольной жизни следует уповать на признание, почет, продвижение.

Ципора хотела осадить маму, заключал Герцог, в белых перчатках и музыкальных уроках видя причину папиных неудач в Америке. Характер у Ципоры был крутой. Умная, недобрая, она никому не спускала. Кирпичное худое лицо, аккуратный носик, узкий и строгий. Говорила она бранчливо, зловредно и в нос. Бедра широкие, походка тяжелая. На спину свисала тугая блестящая коса.

Дядя Яффе, муж Ципоры, был, наоборот, человек тихий, с юмором. Мелковатый, но крепкий мужчина, широкоплечий, с черной бородкой, как у короля Георга V. Она плотно кудрявилась на его смуглом лице. У него была перебита переносица. Зубы широкие, на одном золотая коронка. Он зловонно дышал на Мозеса, играя с ним в шашки. Склоненная над доской крупная голова дяди Яффе с редеющей черной курчавостью слегка подрагивала. У него был слабый нервный тремор. В эту минуту дядя Яффе словно высмотрел племянника из своего далека и глянул карими глазами умного, понимающего и ехидного зверя. Его взгляд проницательно сверкнул, и он с сокрушенным удовлетворением ухмыльнулся ошибкам пострела Мозеса. Поучил меня по-родственному.

На дядином складе утиля в Сент-Энн ржаво кровоточили зубчатые утесы металлолома. Иногда у ворот собиралась целая очередь старьевщиков. Шли с тачками и тележками дети, великовозрастные новички, старухи-ирландки, приходили украинцы и индейцы из Конавагской резервации, везли бутылки, тряпье, водопроводную и электрическую арматуру, скобяную мелочь, бумагу, автомобильные покрышки, кости. Одетый в бурый джемпер старик наклонялся и сильными, подрагивающими руками разбирал свой улов. И в этом согнутом положении расшвыривал металл на свои места: железо сюда, цинк туда, медь налево, свинец направо, а баббит под навес. В войну он с сыновьями разбогател. Тетя Ципора приобрела недвижимость. Собирала квартплату. Мозес знал, что в лифчике у нее охапка денег. Он сам видел.

— Ну ты-то ничего не потеряла, переехав в Америку,— сказал ей папа.

Сначала она ответила взглядом — колючим и остерегающим. Потом сказала словами: — Никакого секрета нет, с чего мы начинали: работали. Яффе махал киркой и лопатой на КТЖД [2], потом немного скопили. Но это же не для вас! Вы же родились в шелковых рубашках.— Мельком глянув на маму, она продолжала: — Привыкли задирать нос у себя в Петербурге, с прислугой да кучерами. Я как сейчас вижу вас на вокзале в Галифаксе [3], все иммигранты как иммигранты, а вы расфуфыренные. Гот майнер! [4]. Страусовые перья, тафтяные юбки! Только вы-

---

[1] Происхождение, родословная (*иврит*).
[2] Канадская тихоокеанская железная дорога.
[3] Город в Канаде.
[4] Боже мой! (*идиш*).

лупились, а уже мит штраус федерн [1]. Не до перьев теперь, не до перчаток. Теперь...

— Как тысяча лет прошло,— сказала мама.— Я уж забыла, какая прислуга-то бывает. Сама себе прислуга — ди динст бин их.

— Каждый должен работать. Нечего, упавши, всю жизнь потирать бока. Зачем вашим ребятам учиться в консерватории, в школе барона де Хирша, зачем эти рюшечки-оборочки? Пусть работают, как мои.

— Иона не хочет, чтобы наши были как все.

— Мои мальчики не как все. Страницу-другую из Гемары [2] они тоже знают. Не забывай, что мы происходим от величайших хасидских ребе. Реб Зуся! Гершеле Дубровнер! Ты вспомни.

— Кто ж говорит...— сказала мама.

Так болеть прошлым! Так любить мертвых. Мозес остерегал себя не поддаваться чрезмерно искушению, не потакать своей слабости. Он депрессивный тип, а такие не отрекаются от детства, даже болью его дорожат. Он понимал, что тут есть свои правила гигиены. Но как-то вышло, что на этой странице жизни его сердце раскрылось и замкнуть его не было сил. Поэтому опять зимний день 1923 года и кухня тетя Ципоры в Сент-Энн. На Ципоре малиновый крепдешиновый капот. Под ним легко угадываются просторные шаровары и мужская рубаха. Она сидит у печи, ее лицо пылает. Гнусавый голос то и дело покусывает иронией, притворной тревогой, насмешничеством.

Потом она вспомнила о смерти маминого брата Михаила и сказала: — Так с братом-то что?

— Не знаем,— сказал папа.— Откуда знать, какие черные дела творятся дома? (Герцог напомнил себе: он всегда говорил — ин дер хейм [3].) Ворвались в дом. Все порубили — искали валюту. Потом заразился тифом или уж как там — не знаю.

Мама прикрыла рукой глаза, как от света. Она ничего и не сказала.

— Я помню: замечательный был человек,— сказал дядя Яффе.— Пусть ему будет лихтикн Ган-Эйдн [4].

Верящая в силу проклятия тетя Ципора сказала:— Будь они прокляты, эти большевики! Весь мир хотят превратить в хорев [5]. Пусть у них руки-ноги отсохнут. А Михаиловы жена и дети где?

— Неизвестно. Письмо писал кузен, Шперлинг, он ходил к Михаилу в больницу.

Сказав еще несколько жалостливых слов, Ципора продолжала в прежнем тоне: — Да, деловой был парень. Какие деньги имел в свое время. Кого бы спросить, сколько он привез тогда из Южной Африки.

— Он поделился с нами,— сказала мама.— У брата была щедрая рука.

— Так легко же достались,— сказала Ципора.— Он же не ломал за них спину.

— Откуда ты знаешь? — сказал папа Герцог.— Что у тебя язык-то наперегонки с умом бегает, сестра?

Но Ципору уже было не удержать.— Он разбогател на несчастных черных кафрах! Вопрос — как! А вам — дача в Шевалово. Яффе служил аж на Кавказе. У меня самой больной ребенок на руках. А ты, Иона, катал по Петербургу, проматывал оба состояния. Да-да! Первые десять тысяч ты спустил за один месяц. Он дал тебе другие десять. И уж страх сказать, что он сам вытворял — татары, цыгане, шлюхи, конина и еще Бог знает какие пакости.

— Да что ж в тебе столько злобы! — вскипел папа Герцог.

— Я ничего не имею против Михаила. Я от него ничего плохого

---

[1] В страусиных перьях (*идиш*).
[2] Талмуд.
[3] Дома (*идиш*).
[4] Светлый Рай (*идиш*).
[5] Развалины, руины (*идиш*).

не видела,— сказала Ципора.— Просто он был добрый брат, а я жадная сестра.

— Этого никто не говорил,— сказал папа Герцог.— Но считай, как тебе хочется.

Сосредоточенно замерев на стуле, Герцог вслушивался в мертвые распри мертвых.

— А ты как себе думаешь? — сказала Ципора.— Если б я с четырьмя детьми стала давать вам деньги и поощрила ваше мотовство, этому бы конца не стало. Не моя вина, что ты здесь бедняк.

— В Америке я бедняк, это верно. Посмотри, мне не на что прикрыть наготу как полагается. Мне за собственный саван нечем будет расплатиться.

— Твоя слабохарактерность виновата,— сказала Ципора.— Аз ду хост а швахн натур, вер из дир шульдиг? [1] В одиночку ты пропадешь. Сначала на Сариного брата надеялся, теперь на меня. Вон Яффе на Кавказе служил. А финстерниш! [2] Там от холода даже собаки не выли. Один приехал в Америку, послал за мной. А ты? Тебе подавай але зибн гликн [3]. Ты разъезжаешь с помпой в страусовых перьях. Ты эдельменш [4]. Чтобы ручки запачкать? Только не мы.

— Все правильно. Ин дер хейм я не разгребал навоз. Мне предложили это на земле Колумба. И я это делал. Научился запрягать лошадь. В три часа уже на ногах — двадцать лошадей было на мне.

Ципора только отмахнулась.— А перегонный аппарат — это как? Тебе уже приходилось бегать от жандармов. Теперь от фининспектора? При этом имеешь в напарниках гонефа [5].

— Воплонский честный человек.

— Это германец-то? — Кузнец Воплонский был поляк. Германцем она звала его за бравые усы и немецкого покроя шинель до пят.— Что у тебя общего с кузнецом? У потомка Гершеля Дубровнера! И этот полишер шмид [6] с рыжими усиками! Крыса, точно: крыса — усатый, зубастый и еще палеными копытами воняет. Фу! Такой напарник. Погоди, он тебе еще покажет.

— Меня непросто обмануть.

— Правда? А Лазанский тебя не надул? Да как ловко. И кто тебе бока, интересно, намял?

Лазанский был здоровенный возница из пекарни, выходец из Украины. Темный мужик, амхорец [7], не знавший, как по-еврейски благословить хлеб; с трудом поместившись на зеленом хлебном фургончике, он рычал на свою конягу «трогай» и замахивался кнутом. Его густой голос рокотал, как мяч, бегущий к кегле. И лошадка трусила по берегу канала Лашин. На фургоне было написано:

Лазанский — Pattisseries de choix [8].

— Он, конечно, и намял,— сказал папа Герцог.

Он пришел к Ципоре и Яффе занять денег. Совсем лишнее ввязываться в ссору. Она, безусловно, разгадала, зачем они пришли, и старалась вывести его из себя, чтобы легче было отказать.

— Ай! — сказала Ципора. Удивительно проницательная женщина, какие таланты пропадали в этой канадской дыре.— Ты думаешь разбогатеть за компанию с жуликами, мошенниками и бандитами. Это ты-то! Ты же белая кость. Не могу понять, чего ты не остался в йешиве [9]. Хотел ведь стать позолоченным барчуком. А я знаю этих хулиганов и разбой-

---

[1] Если у тебя слабая жила, кто тебе в этом виноват? (*идиш*).
[2] Ужас! (*идиш*).
[3] Все семь удовольствий (*идиш*).
[4] Благородный человек (*идиш*).
[5] Жулик, вор (*идиш*).
[6] Поляк-кузнец (*идиш*).
[7] Невежда (*иврит*).
[8] Бесподобные пирожные (*франц.*).
[9] Религиозное училище (*иврит*).

ников. У них не как у тебя кожа, зубы и ногти: у них шкура, клыки и когти. Тебе никогда не сравняться с возницами и мясниками. Можешь ты застрелить человека?

Папа Герцог молчал.

— Это если, избави Бог, придется стрелять,— кричала Ципора.— А хоть по голове-то можешь ударить? Подумай хорошенько. И ответь, газлан [1]: можешь ты человека треснуть по голове?

Тут и мама Герцог усомнилась.

— Я не слабак,— сказал папа Герцог — и в самом деле: решительное лицо, каштановые усы. Но весь свой боевой дух, Герцог-то знал, папа перевел на бурную свою жизнь, на семейные распри, на переживания.

— Эти лайт [2] будут иметь с тебя все, что им нужно,— сказала Ципора.— Так, может, самое время вспомнить про голову? Она у тебя есть — клуб бист ду [3]. Начни честно зарабатывать кусок хлеба. Пошли Хелен и Шуру работать. Продай пианино. Сократи расходы.

— Почему же детям не учиться, если есть способности, талант,— сказала мама Герцог.

— Тем лучше для брата, если они толковые,— сказала Ципора.— Он же не сдюжит поднять балованых принцев и принцесс.

Значит, ей жаль папу. Из самой бездонной глубины тот молил: помоги.

— Разве я не люблю детей,— сказала Ципора.— Иди ко мне, Мозес, сядь тетке на колени. Вот какой у нас славный малыш — йингеле.— Мозес сидит на ее шароварах, красные руки обхватили его за живот. Пугая его своей нежностью, она поцеловала его в шею.— Ведь у меня на руках родился.— Потом перевела взгляд на Шуру, стоявшего сбоку от матери. У того толстые, тумбочками ноги и все в веснушках лицо.— А ты что? — сказала ему Ципора.

— А что я? — сказал напуганный и обиженный Шура.

— Не маленький, мог бы где и заработать доллар-другой.

И папа уставился на Шуру.

— Я не помогаю? — сказал Шура.— А кто разносит бутылки? Клеит этикетки?

Этикетки у папы были обманные. Обычно он весело объявлял: — Ну, ребята, что у нас сегодня — Белая Лошадь? Джонни Уокер? — И каждый называл свою любимую. На столе стояла миска с клеем.

Когда Ципора подняла на Шуру глаза, мать незаметно, а Мозес видел, тронула его за руку. На улице визжа носился с двоюродными братьями задыхающийся в помещении Уилли — строили снежную крепость, бросались снежками. Солнце спускалось ниже, ниже. Протянувшиеся от горизонта красные полосы рябились на гребнях гололедного снега. В синей тени забора кормились козы соседа, продавца сельтерской. Ципорины куры собирались на насест. Проведывая нас в Монреале, она иногда приносила свежее яйцо. Одно. Вдруг кто из детей заболел. А в свежем яйце огромная сила. Раздраженная и порицающая, колченогая и крутобокая, всходила по лестнице на Наполеон-стрит женщина-буревестник, дщерь Судьбы. Раздраженно и по-быстрому целовала кончики пальцев и трогала мезузу. Войдя, она устраивала смотр маминому хозяйству.— Все здоровы? — спрашивала она.— Я принесла детям яйцо.— Открывалась большая сумка и доставался гостинец, завернутый в кусок газеты на идише («Дер Канадер адлер» [4]).

Посещение тетушки Ципоры действительно походило на военный смотр. Потом уже, отсмеявшись, мама даже всплакнет: — За что мне такая ненавистница? Что ей нужно? Нет у меня сил бороться с ней.—

---

[1] Разбойник (*идиш*).
[2] Люди (*идиш*).
[3] Ты умный (*идиш*).
[4] «Канадский орел» (*идиш*).

Их несхожесть, считала мама, была мистической, на уровне душ. Мамин дух питала древность, старинные предания с ангелами и демонами.

Само собой, реалистка Ципора отказала — и правильно отказала — папе Герцогу. Он затеял везти свое бутлегерское виски на границу, сорвать крупный куш. С Воплонским они назанимали денег, загрузили ящиками тележку. Но до Раузиз-пойнт они не добрались. По дороге их ограбили, избили и бросили в канаву. Папе Герцогу досталось больше, потому что он сопротивлялся. Грабители изорвали ему одежду, выбили зуб и еще потоптали ногами.

В Монреаль они вернулись на своих двоих. Он зашел к Воплонскому в кузницу привести себя в порядок, но распухший, залитый кровью глаз не спрячешь. Во рту дырка. Пальто порвано, рубашка и нижнее белье в крови.

В таком виде он предстал в темной кухне на Наполеон-стрит. Мы были все в сборе. Стоял пасмурный март, да и вообще свет не баловал это помещение. Пещера и пещера. И мы как бы пещерные люди.— Сара! — сказал он.— Дети! — Он показал порезанное лицо. Развел руки, чтобы мы увидели клочья одежды и белое тело под ними. Вывернул пустые карманы. Кончив показывать, он заплакал, и мы все заплакали вокруг него. Для меня было невыносимо, чтобы кто-то поднял злую руку на него — на отца, на святое, на короля. Для нас он, конечно, был король. У меня захолонуло сердце от такого ужаса. Любил ли я еще кого-нибудь так же?

Потом папа Герцог рассказал, как все было.

— Они поджидали нас. Перегородили дорогу. Стащили нас с повозки. Все отобрали.

— Зачем ты защищался? — сказала мама Герцог.

— Все, что у нас было... Все, что я набрал взаймы...

— Тебя же могли убить.

— Они закрыли лица платками. Мне кажется, я узнал...

Мама была не в силах поверить.— Ландслайт? [1] Не может быть. Евреи не поступят так с евреем.

— Нет? — закричал папа.— Почему — нет! Кто сказал — нет! С какой стати им не поступить так!

— Только не евреи! — сказала мама.— Никогда. Никогда! Они не решатся на это! Никогда!

— Дети, не надо плакать. Бедный Воплонский, он еле забрался в постель.

— Иона,— сказала мама,— тебе надо бросать все это.

— А чем жить? Ведь надо жить.

Он стал рассказывать свою жизнь — с детства до сегодняшнего дня. Рассказывая, он плакал. Четырех лет его отдали учиться, взяли из дому. Кормил вшей. В йешиве мальчиком жил впроголодь. Стал бриться, заделался европейцем. Юношей работал у тетки в Кременчуге. В Петербурге по подложным документам десять лет вкушал призрачное счастье. Сидел в тюрьме с уголовниками. Бежал в Америку. Голодал. Чистил конюшни. Побирался. Жил в вечном страхе. А балхов — вечный должник. Спасается от полиции. Берет в жильцы пьяницу. Жену превратил в прислугу. И теперь вот что принес домой детям. Вот что имеет им показать — клочья одежды и синяки.

Закутанный в дешевую пеструю рубаху Герцог предавался размышлениям, туманящим глаза. Под босыми ногами лежал половичок. Локти уперлись в хрупкий стол, голова понурилась. Всего несколько строк написано Нахману.

Эту историю Герцогов, думал он сейчас, я выслушивал, наверно, раз десять в год. Иногда рассказывала мама, иногда он сам. Так что науку беды мы проходили всерьез. Тот крик души для меня и сейчас не пустой звук. Он теснит грудь, перехватывает горло. Хочется открыть рот и вы-

---

[1] Земляки (*идиш*).

пустить его наружу. Но все это древнее — да-да, это еврейские древности, идущие от Библии, от библейского понимания личного опыта и судьбы. То, что принесла война, упразднило папины претензии на исключительность его страданий. Были приняты куда более жесткие критерии, в очередной раз окончательные критерии, безразличные к личностям. Усердно и даже радостно излился человеческий дух в этот параграф разрушительной программы. Стоит ли помнить эти частные истории, старые были про старые времена. Я помню. Обязан. А кто еще — кому это важно? Миллионы, сонмища людей погибают в ужасных муках. Духовное же страдание им ныне заказано. Личность хороша лишь для юмористической разрядки. А я все так же прикован к папиной боли. Как говорил о себе папа Герцог! Другой без смеха не будет слушать. Сколько достоинства было в его «я».

— Тебе нужно бросать это,— плакала мама.— Бросать.

— И что я тогда буду делать? Работать в похоронном бюро? Как семидесятилетний старик? У которого только и есть сил, что присесть к смертному одру? Это — *я*? Мыть трупы? *Я*? Или пойти на кладбище и за грош пристроиться к плакальщикам? Читать Эл малэ рахамим [1] — *я*? Да пусть земля разверзнется и поглотит меня.

— Пойдем, Иона,— ровным, увещевающим голосом говорила мама. — Я поставлю тебе компресс на глаз. Приляжешь.

— Как я прилягу?

— Тебе нужно.

— Что детям будет есть?

— Пойдем, тебе нужно прилечь. Сними рубашку.

Она молча сидела рядом. Он лежал в серой комнате на железной кровати, укрытый стареньким красным русским одеялом — красивый лоб, ровный нос, каштановые усы. И как тогда из темного коридора, так и сейчас эти люди перед его глазами.

Нахман, снова начал он и прервался. Куда он собирается писать Нахману? Лучше дать объявление в «Вестник Виллиджа». И если на то пошло, куда ему слать все остальные письма?

Он пришел к заключению, что жена Нахмана умерла. Видимо, так. Худенькая, длинноногая девушка с темными синусоидами бровей и дугообразным большим ртом покончила с собой, и Нахман потому и убежал (кто его осудит?), что пришлось бы все рассказать Мозесу. Бедняжка, бедняжка, теперь, видимо, и она на кладбище.

Зазвонил телефон — пять, восемь, десять звонков. Герцог взглянул на часы. Поразительно: около шести часов. Куда девался целый день? Телефон звонил, бил прицельно. Он не хотел брать трубку. Но брать надо — он какой-никакой отец двоих детей. Он протянул руку и услышал Рамону, нетерпеливые нью-йоркские провода донесли ее веселый голос, звавший наслаждаться жизнью. И не простое наслаждение сулилось, но метафизическое, трансцендентальное, равнозначное разгадке существования. В этом вся Рамона — не заурядная сенсуалистка, но теоретик, жрица в испанском костюме американского кроя, цветочница с прекрасными зубами, румяная, с копной густых, курчавящихся, волнующих черных волос.

— Алло, это Мозес? Какой это номер?

— Комитет помощи армянам.

— А, Мозес! Это ты!

— Из твоих знакомых я один такой старый, что помню Комитет помощи армянам.

— В прошлый раз ты назвался городским моргом. Наверно, ты повеселел. Это Рамона...

---

[1] Боже милостивый (*иврит*) — начало заупокойной молитвы.

— Узнал.— У кого еще такой очаровательно-заморский, с порхающими верхами голос? — Госпожа испанка.

— La navaja en la liga.

— Я забыл, какие бывают ноги, Рамона.

— Ты определенно в хорошем настроении.

— Намолчался за день.

— Я собиралась позвонить, но в магазине минуты свободной не было. Где ты был вчера?

— Вчера? Где я был... Надо вспомнить...

— Я думала, ты дал деру.

— Я? С какой же стати?

— То есть, ты не собираешься сбегать от меня?

Сбегать от душистой, сексуальной, великодушной Рамоны? Да никогда в жизни. Рамона прошла ад содомский и постигла серьезность наслаждения. Когда мы, цивилизованные существа, станем поистине серьезны? — говорил Кьеркегор. Только познав ад досконально. В противном случае гедонизм и легкомыслие сделают адскими все наши дни. Впрочем, Рамона не признает никаких грехов, кроме одного: грех перед телом, истинным и единственным храмом духа.

— Ты же уезжал вчера из города,— сказала Рамона.

— Откуда ты знаешь, ты приставила ко мне детектива?

— Мисс Шварц видела тебя на Большом Центральном с чемоданом в руке.

— Какая мисс Шварц — маленькая такая, из твоего магазина?

— Она самая.

— Скажите пожалуйста...— Герцог был не расположен продолжать этот разговор.

Рамона сказала: — Наверно, какая-нибудь красотка напугала тебя в поезде, и ты вернулся к своей Рамоне.

— А-а...— сказал Герцог.

Постоянный ее мотив: она в силах сделать его счастливым. Вспоминая сейчас ее пьянящие глаза, крепкую грудь и коротковатые ладные ножки, ее лукаво-обольстительные ужимки Кармен и постельную сноровку (посрамляющую невидимых соперниц), он решил, что она не преувеличивает своих возможностей. Факты подтверждают ее заявку.

— Говори: убегал? — сказала она.

— Чего ради? Ты изумительная женщина, Рамона.

— Тогда ты очень странный, Мозес.

— Да уж, таких странных поискать.

— Хорошо, я не ударяюсь в амбицию и ничего не требую. Жизнь научила меня смиряться.

Герцог закрыл глаза и поднял брови. Вот оно, начинается.

— Наверно, это образование внушает тебе чувство превосходства.

— Образование! Да я ничего не знаю...

— Твои свершения. Ты есть в «Кто есть кто». А я всего-навсего лавочница, мелкая буржуазия.

— Ты сама не веришь тому, что говоришь, Рамона.

— Тогда почему ты устраняешься и вынуждаешь меня охотиться за тобой? Я так понимаю, ты должен вести игру. После больших неприятностей я так и делала, чтобы внутренне окрепнуть.

— Спесиво мыслящая глупость, обывательщина...

— Ты о ком?

— О себе — о ком же еще?

Она продолжала: — А когда возвращается уверенность в себе, узнаешь простую силу простых желаний.

Умоляю, Рамона, хотелось сказать Мозесу, все у тебя есть: прелестная, душистая, сексуальная, шелковая. Но не надо нотаций! Ради Бога, Рамона,— прекрати! Но она все говорила. Герцог поднял глаза к потолку. Пауки серьезнейше обработали лепнину — что твои рейнские берега, только вместо гроздей винограда свисают капсулы с мухами.

Я сам навлек это на себя, поведав Рамоне свою жизнь, — как из ничтожества я восходил к полному краху. Но когда человек напорол множество ошибок, он обязан прислушиваться к замечаниям друзей. Таких, как Сандор, горбатая крыса. Или Валентайн, помешавшийся на собственном величии моралист и пророк израильский. К таким настоятельно велят прислушиваться. Лучше нахлобучка, чем ничего. Хоть не так одиноко.

Рамона прервалась, и Герцог сказал: — Это верно, мне учиться и учиться.

Но я прилежный ученик. Я стараюсь и свидетельствую о неуклонном улучшении. Полагаю, что на смертном одре я стану само совершенство. Хорошие умирают молодыми, а мне предоставлено время поработать над собой, и к своему концу я подойду ослепительно хорошим. Ветераны-покойники будут гордиться мной... Я войду в число бессмертных ХСМЛ [1]. Только бы сейчас не потерять вечность.

— Ты слушаешь? — сказала Рамона.

— Конечно.

— Что я только что сказала?

— Что я должен больше доверять своим влечениям.

— Я сказала, что зову тебя пообедать.

— А-а.

— Почему я не сука! Тогда бы ты ловил каждое мое слово.

— Но я сам хотел... позвать тебя в итальянский ресторан.— Он нескладно сочинял. Проклятая рассеянность.

— Я уже купила все,— сказала Рамона.

— Каким образом, если дотошная мисс Шварц в синих очках застукала меня на Большом Центральном?..

— То есть почему я тебя ждала? Я решила, что ты уехал на день в Нью-Хейвен — в Йельскую библиотеку или еще что... Давай приходи. Составь компанию. Не то придется есть в одиночестве.

— А где же тетка?

С Рамоной жила старшая сестра отца.

— Уехала в Хартфорд навестить родных.

— А, понятно.— Ему подумалось, что престарелая тетя Тамара, должно быть, уже привыкла быстро сниматься с места.

— Тетя у меня с понятием,— сказала Рамона.— И тебя очень любит.

Еще она видит во мне открывшийся прекрасный вариант. И потом, как не пожертвовать собой ради незамужней племянницы с трудной личной жизнью. Как раз перед Герцогом Рамона порвала с ассистентом телережиссера, неким Джорджем Хоберли, который так и не оправился от удара, оставался в жалком состоянии — на грани истерии. Тетя Тамара, объясняла Рамона, страшно ему сочувствовала — подавала советы, утешала, как это умеют пожилые женщины. И при этом не меньше Рамоны была увлечена Герцогом. Думая сейчас о тете Тамаре, Мозес, кажется, стал лучше понимать тетю Зелду. Женская страсть к секретам и двойной игре. Ибо дано нам вкусить плода из лукавой пасти змея.

При всем том Герцог отмечал в Рамоне семейственное чувство и одобрял его. Она по-настоящему любила свою тетку. Тамара была дочерью царского чиновника в Польше (невелик грех, если мы произведем его в генералы). Рамона нашла для нее прелестное определение: — Она очень jeune fille Russe [2].— Кроткая, с девичьими манерами, впечатлительная, отзывчивая тетя Тамара. Когда она заводила речь о папá и мамá, о своих учителях и консерватории, ее сухая грудка вздымалась, выпирали ключицы. Она словно все еще боялась концертировать против воли папá. И с серьезным видом слушавший Герцог так и не уяснил, дала она концерт в Зале Гаво или только собиралась. Восточноевропей-

[1] Христианский союз молодых людей.

[2] Русская барышня (*франц.*).

ские старухи с крашеными волосами и бессмысленными камеями легко находили путь к его сердцу.

— Так что, придешь или нет? — сказала Рамона.— Почему тебя надо уламывать?

— Мне бы лучше не выходить — масса дел, письма.

— Какие письма! Не человек, а сплошная тайна. Что за письма такие важные? Деловые? Так, может, раньше со мной их обсудить, раз они деловые? Или с адвокатом, если мне не доверяешь. Но питаться-то ты должен. Или ничего не ешь, когда один?

— Ем, конечно.

— Так что?

— Хорошо,— сказал Герцог.— Я скоро буду. Прихвачу бутылку вина.

— Ни-ни! Не делай этого. У меня уже охлаждается.

Он опустил трубку. Очень категорически насчет вина. Возможно, он успел дать повод заподозрить его в скупости. А может, пробудил в ней покровительницу, как это частенько бывало с ним. Временами он задумывался, не принадлежит ли он к разряду людей, втайне верящих в свой уговор с судьбой: за послушание и открытое доброжелательство полагается ограждать от житейских мерзостей. Его губы скривились добродушной усмешкой при мысли о будто бы заключенной годы назад скрытой сделке, о том своем духовном торге: душевная кротость в обмен на предпочтительное отношение. Договор совершенно в женском духе, еще дети так же договариваются с деревьями и животными. Ему не страшно выносить себе эти приговоры: пустое дело — ссориться с самим собой, каков ты ни есть. А есть вот что: совместность таинственного действия природных сил и его духа. Он распахнул пеструю гонгконгскую рубаху и обозрел свою наготу. Уж точно не ребенок. Людевилльский злополучный дом одним все-таки хорош: сохранил ему форму. Единоборство с развалом во спасение наследства развило его мускулатуру. Продлило удовольствие посмотреть на самого себя. Отнести в постель тяжеловатую женщину. Что ж, и молодым лоснящимся жеребцом случается бывать, хотя на самом деле никогда он им не был. Есть у Эроса вернее слуги, нежели Мозес Елкана Герцог.

Почему Рамона так уперлась насчет вина? Могла испугаться, что он принесет калифорнийский сотерн. Или другое: она верит в возбудительную силу только своей марки. Пожалуй, в этом причина. Или он все-таки пережал с темой денег. Или, наконец, она просто хочет устроить ему роскошную жизнь.

Деловито и озабоченно взглянув на часы, времени он, однако, не зафиксировал. Зато увидел, потянувшись к окну и заведя глаза поверх стен и крыш, что небо заливалось багрянцем. Поразительно, чтобы целый день ушел на писание нескольких писем. Смешных, злых писем. Напитанных злобой и бешенством. Зелде! Сандору! Зачем вообще им писать? Так нет: еще и монсеньору! Как Мозес видит кирпичную кладку сквозь облитые варом черные перекладины пожарной лестницы, так и монсеньор за строками его письма увидит исступленного полемиста. Пробуксовка угрожает душевному здоровью.

Допустим, я абсолютно прав, а монсеньор, к примеру, абсолютно неправ. Если я прав, значит, мне решать задачу мировой взаимосвязи — и нести за это всю ответственность. Как, интересно, это получится, если Мозес Е. Герцог идет своей дорогой? Нет, с какой же стати брать это на себя? Универсальным постижением обладает Церковь. Пагубное, на мой взгляд, прусское заблуждение. Готовность ответить на все вопросы есть вернейший признак глупости. Разве Валентайн Герсбах признал когда-нибудь свое невежество в чем бы то ни было? Он ни дать ни взять Гёте: договорит за вас, перескажет все ваши мысли, все разъяснит.

...Знайте, монсеньор, что у меня нет цели разоблачить Маделин или обрушиться на Вас. Герцог порвал письмо. Вранье! Он презирал монсеньора, хотел убить Маделин. Да-да, он был способен убить ее. Но да-

же налитый свирепой яростью, он мог бриться, одеваться и, ухоженный, надушенный, с лицом, умащенным для поцелуев, пускаться в вечерний городской загул. Он не гнал от себя уголовные помыслы. Меня удерживает неотвратимость наказания, думал Герцог.

Пора приводить себя в порядок. Он покинул стол и вечереющее окно, и, сбросив рубаху, вошел в ванную, и отвернул кран над раковиной. Напился в сумеречной кафельной прохладе. Вкуснее воды, чем в Нью-Йорке, нет ни в одной столице. Потом стал намыливать лицо. Он предвкушал хороший обед. Рамона умеет готовить, умеет накрыть стол. Будут свечи, льняные салфетки, цветы. Может, в эту минуту в вечерней толчее цветы везли домой. Снаружи на подоконнике у Рамоны ночевали голуби. В вентиляционной шахте было слышно хлопанье их крыльев. Что касается меню, то в такой летний вечер она скорее всего подаст vichyssoise [1], потом креветки Арно в новоарлеанском стиле. Белая спаржа. Холодный десерт. Спрыснутое ромом мороженое с изюмом? Сыр бри и постные лепешки? Он судил по прошедшим обедам. Кофе. Бренди. И неумолкающий в смежной комнате проигрыватель с египетской музыкой: Мохаммад аль Баккар играет «Порт-Саид» — цитры, барабаны, тамбурины. В той комнате китайский ковер, приглушенный, спокойный свет зеленой лампы. И опять свежие цветы. Случись мне днями работать в цветочном магазине, я бы не вынес их запаха ночью. На кофейном столике художественные альбомы и зарубежные журналы. Париж, Рио, Рим — не без них, разумеется. И, само собой, последние поступления от поклонников. Герцог всегда читал сопроводительные карточки. А для чего еще она оставляла их на виду? Джордж Хоберли, для которого она готовила креветки Арно прошлой весной, по-прежнему присылал перчатки, книги, театральные билеты и бинокли. По этикеткам можно было видеть, как мотала его по Нью-Йорку безутешная любовь. Рамона говорила, что он уже не отдает себе отчета в происходящем. Герцог жалел его.

Цвета морской волны ковер, мавританские безделушки и арабески, широкая покойная тахта, лампа от «Тиффани» со стеклянным колпаком вроде плюмажа, глубокие кресла у окон, вид на центр города с Бродвеем и Колумбус-серкл. Когда после обеда они перебирались сюда с кофе и бренди, Рамона обыкновенно предлагала ему разуться. А почему нет? Легкая нога в летний вечер веселит сердце. И постепенно, по заведенному порядку, она подойдет к вопросу, отчего он такой задумчивый — о детях думает? И он скажет... благодаря осязательной щетине, он брился, почти не смотрясь в зеркало... он скажет, что за Марко он уже не особо тревожится. У мальчика крепкий характер. Он из породы надежных Герцогов. Тогда Рамона что-нибудь дельное присоветует относительно дочки. Мыслимо ли, скажет Мозес, оставлять ее на этих психопатов. Или она сомневается, что они психопаты? Тогда, может, она еще раз взглянет на письмо Джеральдин — в том страшном письме сказано, как с ней обращаются. И снова разговор пойдет вокруг тех же имен: Маделин, Зелда, Валентайн Герсбах, Сандор Химмельштайн, монсеньор, доктор Эдвиг, Феба Герсбах. Словно борющийся с собою наркоман, он безвольно вовлекался в рассказ о том, как его надули, провели, обвели вокруг пальца, оставив без сбережений, кругом в долгах, разуверившимся в жене, друге и враче. Если Герцогу было дано узнать мерзость *отдельного* существования, если ему уяснилось, что только *целое* несет искупление одиночной душе, то открыли ему это те страшные пароксизмы чувства, которым он тщетно рассчитывал поделиться, рассказывая свою повесть. Уже рассказывая, он ясно сознавал, что не имеет права говорить, навязывать все это, что его мольба о поддержке, помощи, оправдании напрасна. Хуже того: неприлична. (Почему-то ему показалось более подходящим здесь французское слово, и он сказал:— Immonde! — и повторил громче:— C'est immonde! [2]) Рамона, впрочем, будет всячески

[1] Минеральная вода «виши».
[2] Низко! (...) Это низко! (*франц.*).

сочувствовать ему. Она безусловно переживала за него, хотя обиженных — по уродской логике — чураются, даже смеются над ними. Однако во времена духовного разброда человек, умеющий чувствовать, как он, может потребовать особого отношения к себе. Он приходил к мысли, что его набор качеств — недальновидность, неприспособленность, откровенное простодушие — определяет ему высокий статус. И безусловно составляет его обаяние для Рамоны. Она будет слушать его, блистая глазами и все более проникаясь сочувствием, тем паче, что он остается macho. Его страдания она претворяла в сексуальную энергию и, будем справедливы, отводила его печаль в полезное русло. Не могу согласиться с Гоббсом, что-де в отсутствие силы, держащей в страхе, люди не испытывают удовольствия (voluptas) в обществе друг друга, но, напротив, испытывают великую печаль (molestia). Всегда есть сила, держащая в страхе: собственные страхи человека. Он уже выдыхался после четырех-пяти бокалов арманьяка из венецианского графина, высоко вознесясь над пуэрто-риканскими уличными безобразиями,— пора кончать с теоретическими соображениями, и тут наступала очередь Рамоны. Ты меня уважил — и я тебя уважу.

Он добривался вслепую, на ощупь и на слух — где еще шаркала бритва.

Рамона великая мастерица ублажить мужчину. Креветки, вино, цветы, лампы, духи, обряд раздевания, скулеж и лязг египетской музыки — видна большая школа, и Герцогу было грустно, что она этим жила, но и лестно в то же время. Рамону поражало, что женщины могли привередничать с Мозесом. Он признавался ей, что с Маделин, случалось, терпел полную неудачу. Может, потому дела пошли у него лучше, что он освобождается от злого чувства к Мади. Эта догадка рассердила Рамону.

— Не знаю, может, благодаря *мне* — ты не задумывался над этим? — сказала она.— Бедный Мозес, пока женщина не испортит тебе жизнь, ты не можешь серьезно настроиться.

Полной пригоршней гамамелиса Мозес сполоснул лицо и углами рта подул на щеки. По маленькому транзистору на стеклянной полочке он поймал польскую танцевальную музыку, присыпал тальком ноги. Тут ему пришла фантазия сделать несколько па на замызганном кафельном полу, вылезшие плитки которого он пошвырял под ванну. Среди его причуд наедине с собой было запеть и выделать коленце-другое, что совершенно не вязалось с обычной его серьезностью. Он отплясал всю пьесу, пока не пошла польская реклама. В полумраке отливавшей сливочной слоновой костью ванной комнаты, по старинке называемой ватерклозетом, он передразнил диктора. Хоть и запыхавшись, он разохотился еще на одну польку, но выяснилось, что он вспотел, и, значит, потом наверняка потребуется душ. Ни времени, ни терпения на это уже не было. Непереносима была мысль, что еще надо будет вытираться,— это была пыточная, ненавистная обязанность.

Он натянул свежие трусы, носки. Ногой в носке прошелся по мыскам ботинок, добиваясь тусклого блеска. Его выбор обуви не нравился Рамоне. В витрине обувного магазина «Балли» на Мадисон авеню она показала ему пару испанских ботинок по щиколотку и сказала: — Вот что тебе нужно — эта развратная черная пара.— Улыбаясь, она подняла на него заблестевшие глаза. У нее чудесные, чуть кривенькие белые зубы. Над этими замечательными зубами смыкаются и размыкаются губы, у нее короткий, тоже с кривинкой, французский точеный нос, ореховые глаза, живая гуща черных волос. Масса лица тяготела книзу, что отчасти было недостатком, по мнению Герцога. Не самым страшным.— Ты хочешь, чтобы я оделся танцором фламенко? — сказал Герцог.

— Тебе нужно чуточку воображения в одежде — нужно кое-что расшевелить в своем характере.

Герцог широко улыбнулся: такое впечатление, что он скверно помещенный человеческий капитал. И, возможно удивляя ее, он согласился с ней. Почти радостно согласился. Силы, ум, чувство, удача ока-

зались ему без пользы. Правда, он все же не мог понять, каким образом вот такие испанские ботинки — в детстве, кстати сказать, он удавился бы за них,— как это они усовершенствуют его характер. А совершенствоваться надо. Надо!

Он надел штаны — не итальянские, в обтяжку: в них после обеда намаешься. Выбрал новую поплиновую рубашку, вынул все булавки. Поверх надел плотную хлопчатобумажную куртку. Сунулся к узкому раствору ванного окошка увидеть, если получится, гавань. Толком ничего не увидел. Осталось только ощущение воды, опоясавшей густо застроенный остров. Как прежде слепым взглядом на часы, так сейчас этим телодвижением он определялся во времени и пространстве. На очереди сугубо свое, родное, призрачно смотревшее из квадратного зеркала. Как он выглядит? Потрясающе, Мозес, высший класс! Феноменально! Сколь глубоко, в какой древности, на каком, похоже, клеточном уровне лежит простейшая привязанность к себе человеческой твари, влечение это сладостное к себе. Пока живой, он осознавал это тихое, но очень деятельное, пронизывающее его насквозь влечение, приятный зуд отдаленнейших нервов. *Уважаемый профессор Холдейн...* Нет, сейчас Герцогу нужен другой. *Уважаемый отец Тейар де Шарден, я старался понять Вашу идею о внутренней стороне элементов: что органы чувств, даже в самом зачаточном виде, не могли развиться из инертных молекул, какими их представляют механисты. Таким образом, саму материю, возможно, следует рассматривать как развивающееся сознание... и внутренняя оболочка молекулы углерода есть мысль?*

Бритое лицо в зеркале шевелило губами, под глазами залегли глубокие тени. Полный порядок, думал он, если не давать очень сильного света, ты еще шикарный мужчина. Женщины тебе пока обеспечены. Кроме этой суки Маделин, красавицы и страшилы попеременно. Ну, в путь — Рамона тебя накормит, напоит вином, разует, похвалит, приласкает, поцелует, укусит в нижнюю губу. Потом раскроет постель, погасит свет и приступит к главному.

Одевался он в равной мере франтом и оборванцем. Это вообще был его стиль. Если он аккуратно завязывал галстук, то за ботинками волочились шнурки. Брат Шура, безукоризненный в своих шитых на заказ костюмах, с маникюром и стрижкой в Палмер-хаус, говорил, что он устраивает это специально. Когда-то, может, и так — из мальчишеского гонора, но теперь это был обязательный компонент ежедневной комедии под названием Мозес Е. Герцог. Рамона часто говорила ему: — Ты не настоящий американец, не пуританской закваски. У тебя есть дар чувственности. Твой рот тебя выдает.— При этих словах Герцог невольно хватался за губы. Потом он высмеял эту чушь. Но одна забота осталась: что она не признает в нем американца. Обидно! Кто он в таком случае? Ребята в армии тоже считали его иностранцем. Чикагские земляки подозрительно выспрашивали: — Что стоит на Стейт-стрит, на Лейк-стрит? Сколько к западу до Остин авеню? — Похоже, в большинстве они были из пригородов. Мозес знал город гораздо лучше, но даже это оборачивалось против него.— А-а, ты все заучил наизусть. Ты шпион. Тогда все ясно. Вы, евреи, башковитые. Раскалывайся, Мозес: тебя сбросят на парашюте, да? — Нет, он стал начальником связи и комиссовался по астме. Задушенный туманом на маневрах в Мексиканском заливе, из-за хрипоты терявший связь. Но уж точно весь флот слышал его стон:— Потерялись! Раздолбаи!

А в 1934-м, в Чикаго, в средней школе Маккинли, он от своего класса читал Эмерсона, и тогда его голос не садился, и внимали итальянцы-механики, богемцы-бочары и евреи-портные: «Главное свершение мира, во славу его... есть строительство человека. Частная жизнь одного человека станет более славной монархией... нежели все прошедшие царства. Давайте признаем, что наша жизнь, какой мы ее делаем, заурядна и убога... Не приходится говорить, что сейчас мы

прекрасны и совершенны... Сообщество, в котором мы живем, едва ли приклонит слух к словам о том, что каждому человеку заповедан восторг, божественное озарение». Если где-то в районе Билокси он потерял судно и экипаж, это вовсе не значило, что красота и совершенство для него пустые слова. Он был уверен, что американец он законный. С досадливым смешком он вспомнил вопрос старшины из Алабамы:— Ты где научился английскому — в Берлицевой школе? [1]

Нет, Рамона сказала комплимент, имея в виду, что он живет не по правилам обыкновенного американца. Да, своеобразие характера определило его жизнь с самого начала. Видеть ли в этом великое благо или отмеченность перед другими? Да нет, просто с этим своеобразием надо было жить, и тогда почему не извлечь из него хоть какую пользу.

Разбираясь дальше с обыкновенными американцами: какая мать получится из Рамоны? Пойдет ли она ради девчушки на Мейсиз-парад? [2] Мозес попытался представить Рамону, жрицу Изиды, в твидовом костюме, глазеющей на вереницу праздничных платформ.

Уважаемый Максиггинз, я прочел Вашу монографию «Этические понятия американского делового сообщества». На ковре Максиггинз. *Интересно. Хотелось бы более глубокого анализа общего и частного лицемерия в нашей американской бухгалтерии. Ничто не мешает любому американцу вменить себе в заслугу все, что он пожелает. В популистской философии добродетель мало-помалу стала бесплатной, как воздух, или почти бесплатной, как поездка в метро. Все лучшее — всем и каждому, милости просим. И никто не возражает. Честный вид, записанный Беном Франклином в деловые качества, обеспечен предопределением, кальвинизмом. Вы не подвергаете сомнению чужой выбор. Вы вправе дать низкую оценку кредитоспособности. Избываемый страх вечного проклятья оставляет после себя отложения Надежной Видимости.*

Уважаемый генерал Эйзенхауэр. Может статься, в частной жизни у Вас есть досуг и желание поразмышлять о предметах, над которыми Вам безусловно некогда было задуматься в бытность свою президентом. Давление «холодной войны»... в которой многие ныне видят фазис политической истерии, и поездки и речи господина Даллеса, под действием смещающихся перспектив стремительно проделывающие путь от прежней видимости государственной мудрости до еще одной американской пустопорожности. Мне довелось быть с журналистами в ООН, когда Вы говорили об опасности случайного развязывания ядерной войны. В тот день на Второй авеню я вносил деньги за люстру, в сущности, за старую газовую горелку. Еще десять долларов в людевилльскую прорву. *Я был и в тот раз, когда премьер Хрущев стучал по трибуне башмаком. В такие переломные моменты, в такой обстановке, разумеется, были не ко времени те более общие проблемы, которыми я тогда занимался.* На которые, без преувеличения, положил жизнь. Но от него-то ты чего добиваешься? *Впрочем, книга господина Хьюза и Ваше письмо к нему, выражающее озабоченность «духовными ценностями», навели меня на мысль, что я не злоупотреблю Вашим временем, если привлеку Ваше внимание к докладу Вашего же Комитета по национальной стратегии, опубликованному в конце Вашего президентского срока. Мне интересно знать, самых ли подходящих людей назначили Вы туда — юрисконсультов, крупных администраторов, группу «промышленных политиков», как их сегодня называют. Господин Хьюз отметил, что Вас ограждали от острых суждений, изолировали, так сказать. Возможно, Вы сейчас задаетесь вопросом, кто Ваш коррес-*

[1] Школы с преподаванием иностранных языков методом так называемого «полного погружения». В оригинале эта фраза диалектно окрашена.

[2] Ежегодно в День благодарения (последний четверг ноября) крупнейший торговый центр «Мейсиз» устраивает карнавальное шествие на Пятой авеню.

пондент: либерал какой-нибудь, еще один умник, кровоточащее сердце или псих, каких много. Договоримся, что он думающий человек, исповедующий гражданскую полезность. Не имеющие влияния интеллигенты в известной степени презирают себя — вслед за презирающими их деятелями, у кого в руках реальная политическая и общественная власть — или им кажется, что она у них в руках. Ты не можешь пояснее и покороче? Ведь известно, что он терпеть не может длинных, запутанных документов. *Подборка лояльных, полезных утверждений с целью воодушевить нас на борьбу с коммунистическим врагом — не это нам было нужно. В старом утверждении Паскаля (1623—1662) — человек — тростник, но он мыслящий тростник — нынешний гражданин демократического государства скорее всего поменяет акценты: он мыслит, но в душе он тростник, клонящийся перед ветром из центра.* Этим Айка не проймешь. Герцог попробовал подойти с другой стороны. *Толстой (1828—1910) сказал: «Короли — рабы истории». Чем выше положение человека, тем больше обусловлены его поступки. Свобода, по Толстому, всецело личная. Тот человек свободен, кто занимает простое, соответствующее ему реальное положение. Быть свободным — значит освободиться от исторической ограниченности. Напротив, Г. В. Ф. Гегель (1770—1831) трактовал суть человеческой жизни как производное от истории. История, память — они-то и делают нас человеками, и еще — знание смерти: «Смерть через человека». Ибо знание смерти заставляет нас желать ее другим, чтобы продлилась наша собственная жизнь. В этом вся суть борьбы за власть.* Не то все это! — подумал Герцог, готовый посмеяться над своим отчаянием. Дразню я их всех — Неру, Черчилля, теперь Айка, которому я собираюсь преподать Закон божий. Хотя здравая мысль во всем этом есть. Без гражданского устройства человечество не развивается. Однако его цель — свобода. А чем человек обяжет себя перед Государством? *В этом умонастроении после доклада Вашего Комитета по национальной стратегии* меня разобрало неистовое желание докричаться, попытаться это сделать хотя бы на смешной манер. Или мне просто отшибло мозги, что я полез к ГОЭВу[1] с мыслями о Смерти и Истории, с издевательскими цветочками, произросшими из горячечного жара и неистраченного пыла. В конце концов, если мы всего-навсего живой образец минерала, бегающего по орбите вокруг солнца, то с какой стати эта заносчивость, эти высокие запросы? *меня подмывает дать свой вариант известного Закона Грешема: «Общественная жизнь вытесняет частную»*[2]. *Чем больше в обществе «политики» (в самом широком смысле этого слова — то есть одержимости, давления массы), тем больше, вероятно, утрачивается индивидуальность. Я говорю: вероятно, поскольку у индивидуальности без числа скрытых возможностей. Проще говоря, национальная задача сводится сейчас к производству товаров, в которых нет никакой жизненной необходимости, однако имеющих первостепенное значение ради политического торжества. И поскольку нам всем заморочили головы совокупным общественным продуктом, мы вынужденно боготворим известного рода пугалки и обманки, чьи верховные жрецы еще так недавно торговали мелочью на улицах, были притчей во языцех: продавцы змеиного масла. С другой стороны, «частной жизни» стало больше, чем столетие назад, когда рабочий день составлял четырнадцать часов. Вопрос этот чрезвычайно важен, поскольку методика эксплуатации и господства в частной сфере (включая секс) отрабатывается здесь.*

Его трагический преемник заинтересовался бы, но Айку это все безразлично. И Линдону тоже. Их администрации не могли обойтись без интеллектуалов — без физиков, статистиков, но ими крутят как

---

[1] Главнокомандующий объединенными экспедиционными войсками.

[2] Названный по имени английского купца и финансиста Т. Грешема (1519?—1579), этот закон формулируется так: «Плохие деньги вытесняют хорошие».

хотят промышленные заправилы и миллиардеры на высоких должностях. Кеннеди тоже не собирался ломать этот порядок. Но он вроде бы признавал в частных беседах, что такой порядок завелся.

Мозесом овладела новая мысль: набросать конспект статьи для Пулвера, Харриса Пулвера, в 1939-м его университетского преподавателя, а ныне редактора «Атлантической цивилизации». Коротышка Пулвер, непоседа с застенчивым взглядом голубых правдивых глаз, с искрошенными зубами, с профилем египетской мумии из «Древней истории» Робинсона, с пятнами чахоточного румянца на стянутой коже. Этого человека Герцог любил по-герцогски неумеренно, всем переполненным сердцем. *Послушайте, Пулвер,* писал он, *есть замечательная идея для чудесного эссе о «вдохновенном состоянии». Верите ли Вы в превосходство также по нисходящей линии, как по восходящей? (Терминология идет от Жана Валя*[1].*) Или признаем невозможность превосходства в принципе? Тут не обойтись без исторического анализа. Я берусь утверждать, что мы состряпали новую утопическую историю, идиллию, сравнивая сегодняшний день с воображаемым прошлым, ибо ненавидим свой мир. Наша ненависть к настоящему не была должным образом осмыслена. Возможно, первое, чего требует нарождающееся в этой массовой цивилизации сознание,— это заявить о себе. Освободившийся от рабской немоты дух брызжет мерзостью и ревет мучительно, избывая накопившееся за долгие века. Возможно, обретая голос, добавляют к этому воплю свое долготерпение и рыба, и тритон, и скорый на ногу страховидный предок млекопитающего. В развитие мысли о том, что эволюция есть обретение природой самосознания: у сегодняшнего человека, Пулвер, самосознание сопровождается чувством утраты общих природных начал, чувством расплаты за подавленный инстинкт, пощипанную свободу, одернутый порыв (отчуждение труда и проч.). Драма этой стадии человеческого развития представляется драмой болезни, реванша у самого себя. Играется совершенно особая комедия. Мы наблюдаем не просто приведение к одному уровню, предсказанное Токвилем: мы видим плебейскую стадию эволюционного самосознания. Реванш подавляющей массы, человеческого рода над нашей склонностью к самолюбованию (но также и над тягой к свободе), может статься, неизбежен. В этом новом царстве множеств самосознание имеет тенденцию представлять нас самим себе чудовищами. Это, вне всякого сомнения, политический феномен, противодействие личной склонности или потребности в достаточном пространстве и пределах. Человек вынужден, приневолен определять «силу» в политических дефинициях — и делать выводы лично для себя. Так его провоцируют брать реванш над самим собою, а именно: высмеивать, презирать, отрицать превосходство. Последнее, то есть отрицание, имеет своей основой прежние концепции существования либо требования к человеческой должности, в настоящее время неисполнимые. Для меня, однако, тут не столько проблема дефиниции, сколько проблема полного пересмотра человеческих свойств. А возможно, и обнаружения новых. Я убежден в наличии таких свойств, еще не обнаруженных. И этому обнаружению только мешают дефиниции, которые оставляют человека с гордыней (или мазохизмом), на многое претендующим, а потом закономерно страдающим от презрения к себе.*

Вы, впрочем, недоумеваете, куда подевалось «вдохновенное состояние». Полагают, что оно достижимо лишь с отрицательным значением, и его упорно домогаются в философии и литературе, в сексуальном опыте, а также с помощью наркотиков, или совершая «философское», «немотивированное» преступление, или еще каким ужасным способом. (Похоже, таким «преступникам» не приходит в голову, что добропорядочное обращение с человеком также может быть «немоти-

[1] Жан Валь — французский философ, занимался вопросами истории философии и современной философией, профессор Сорбонны.

вированным».) Знающие наблюдатели отмечают, что «духовный» почет, уважение, некогда приберегаемые для справедливого, смелого, терпимого, милосердного, теперь можно снискать тем же отрицательным образом, сделав какую-нибудь дикость. Я часто задумываюсь, не связан ли этот сдвиг с тем обстоятельством, что техника подобрала под себя значительное число «ценностей». Это «доброе дело» — электрифицировать неразвитый район. Цивилизация, даже мораль безусловно отзываются в технологическом преобразовании. Разве не доброе дело — накормить голодного, одеть нагого? И не заветы ли Христа мы исполняем, отправляя машины в Чили или на Суматру? Производственные и транспортные средства легко творят добро. Способна добродетель конкурировать с ними? Новая техника сама по себе bien pensant и являет собой не только разумность, но и человеколюбие. И как следствие этого толпа, стадо bien pensants, совращается в нигилизм, а он, как теперь хорошо известно, имеет корни в христианстве и морали и дичайшим своим эскападам дает «конструктивное» обоснование (см. Полиани, Герцог et al.[1]*).*

Романтические личности (их сейчас множество) винят массовую цивилизацию в помехах на их пути к красоте, величию, цельности, полноте. Я не хочу смеяться над словом «романтик». Романтизм защитил «вдохновенное состояние», сохранил поэтические, философские и религиозные доктрины, теории и свидетельства превосходства и благороднейшие мысли человечества — и сохранил их в период величайших и стремительных преобразований, в напряженнейший момент научно-технического перелома.

И наконец, знать в жизни «вдохновенное состояние», то есть видеть истину, быть свободным, любить не похожего на тебя, совершить назначенное, ожидать смерти с ясным сознанием,— не сознавая же смерти, играя с нею в прятки, дух цепенеет и уповает на бессмертие, поскольку он неживой,— пережить, стало быть, «вдохновенное состояние», Пулвер, не такой уж избраннический удел. Как машины воплотили в себе идеи добра, так технология уничтожения обрела метафизический характер. Практические вопросы стали одновременно конечными вопросами. Полное уничтожение уже давно не метафора. Добро и Зло реальны. И «вдохновенное состояние» не химера. Оно не достояние богов, королей, поэтов, пастырей и святых могил: оно принадлежит человечеству и всему сущему. А поэтому...

Поэтому мысли Герцога, как неутомимо, неутолимо вращаемые электричеством, обвалами грохотавшие швейные машинки в верхних этажах платяного района, где застряло вчера их такси, строчили с неистощимой энергией материю. Снова присев, уже в полосатой куртке, стиснувший зубы, в больно давившем канотье, он обжимал расставленными коленями ножки стола. И писал: *Разум существует! Разум...* слуха его достигли мягкий, плотный гул рушащейся кирпичной кладки, треск и звон дерева и стекла. *И вера, основанная на разуме. Без этого только организационными мерами развала жизни не остановить. Эйзенхауэровский доклад о национальной стратегии, имей я к нему касательство, во главу угла должен бы ставить частную и внутреннюю жизнь американцев... Я достаточно дал понять, что моя статья была бы рецензией на этот доклад?* Он сосредоточился, вник в себя и записал: *Каждому переделать свою жизнь. Переделать!*

Мне хочется, чтобы вы знали, как переделываюсь я, Мозес Е. Герцог. Приглашаю подивиться его преображенному сердцу: слыша шумы соседнего квартала, где сносили дом, и наблюдая белую взвесь штукатурки в прозрачном воздухе метаморфического Нью-Йорка, он собеседует с сильными мира сего либо высказывает дельные мысли и пророчествует, обеспечив себе в то же время приятный, интересный вечер — ужин, музыку, вино, разговор и половой акт. Нисходящее,

[1] И другие (*лат.*).

восходящее превосходства этого не касаются. Работа без отвлечений плохой врач. Айк ловил форель и играл в гольф; у меня другие потребности. (Вот это уже Мозес, точащий яд.) В свободном обществе, осознавшем связь сексуального подавления с болезнями, войнами, собственностью, деньгами и тоталитарностью, эротике, наконец, должно быть отведено законное место. Действительно, с точки зрения общественной лечь к мужчине в постель — это конструктивно и полезно, это гражданский акт. И вот я сижу в собирающихся сумерках, в полосатой куртке, обидно потея после душа, выбритый, присыпанный тальком, нервно покусывая губу, как бы разминая ее для Рамоны,— бессильный отринуть гедонистическую насмешку громадно сущей индустриальной цивилизации над духовными порывами, стремящими ввысь любого Герцога, над его душевным страданием, жаждой истины, добра. Все время у него *жалко* болит сердце. Он не прочь дать ему хорошую встряску, а то и вовсе вырвать из груди. Выставить за дверь. Мозес ненавидел унизительную комедию больного сердца. Но способна ли мысль пробудить вас от сна жизни? Нет, если он переходит в какую-то другую запутанность, в еще более трудный сон — в сон разума, в иллюзию всеобъемлющих *объяснений.*

В свое время, когда он увлекся японкой Соно, он получил характерное предостережение от нагрянувшей к нему Полины, матери Дейзи, старорежимной русской суфражистки из евреек, уже пятьдесят лет как современной дамы из Зейнсвилла (там с 1905 по 1935-й отец Дейзи возил тележку с шипучкой и сельтерской). Тогда еще ни Полина, ни Дейзи не знали про Соно. (Сколько романов! — подумал Герцог. Один за другим. Неужели в них все дело моей жизни?) Тем не менее... Прилетела на самолете, решительная особа, подтянутая, седовласая и широкобедрая, с сумкой, в которой было вязанье. В коробке же был гостинец для Герцога — яблочный рулет; он по сей день горестно переживал его потерю, и было из-за чего. Но не побаловать же сластену явилась она: будут решаться, понимал он, взрослые проблемы. В Полине была та особая жесткость, нетерпимость, какой отмечены эмансипантки ее призыва. В свое время красотка, сейчас она усохла, в углах старушечьего рта вылезли редкие седые волосы, на носу золотые восьмиугольные очки.

Они говорили на идише: — Кем ты собираешься стать? — сказала Полина.— Айн аусвурф — аусгелассен? Бездомным, распутником? — Старуха была толстовкой, пуританкой. Она, правда, ела мясо и тиранила окружающих. Прижимистая, пресная, опрятная, видная собой, властная. Зато ничто не могло сравниться кислотой, вкуснотой, нежностью с ее духовитым рулетом из коричневого сахара и зеленых яблок. Поразительно, сколько чувственности передавалось ее выпечке. Причем она так и не дала Дейзи рецепта.— Ты сам-то что думаешь? — спросила Полина.— Сначала одна женщина, потом другая, там еще. Где этому конец? Ты не можешь оставить жену, сына ради этих женщин — ради шлюх.

Не надо было с ней никаких «объяснений», подумал Герцог. Или для меня дело чести объясняться перед каждым? И что я мог объяснить? Я сам ничего не понимал, ходил в потемках.

Он сбросил оцепенение. Надо бы уже идти. Припозднился. В городе его заждались. Но он еще не был готов уходить. Он взял чистый лист бумаги и написал: *Дорогая Соно.*

Она давно вернулась к себе в Японию. Когда же это? Он завел глаза, высчитывая, сколько прошло времени, и увидел клубящиеся над Уолл-стрит и гаванью белые облака. *Я не порицаю тебя за то, что ты вернулась домой.* Она была богатенькая. У нее тоже был загородный дом. Герцог видел цветные фотографии: восточный сельский вид с кроликами, курами, поросятами и собственным горячим источником, в котором она купалась. У нее была фотография деревенского слепца,

делавшего ей массаж. Она любила массаж, верила в него и часто массировала Герцога, а он массировал ее.

Ты была права насчет Маделин, Соно. Мне не надо было жениться на ней. Мне надо было жениться на тебе.

Соно так и не выучилась толком английскому языку. На протяжении двух лет они говорили друг с другом по-французски — petit nègre [1]. И сейчас он писал: *Ma chère, Ma vie est devenue un cauchemar affreux. Si tu savais!* [2] Французскому он выучился в средней школе Маккинли у девицы Милорадович, старой ведьмы. Самый полезный предмет оказался.

Соно только раз видела Маделин, но этого ей было достаточно. Когда я сидел у нее в сломанном моррисовском кресле, она меня предупредила: Moso, méfie toi. Prend garde. Moso [3].

У нее доброе сердце, и напиши он ей, какая у него грустная жизнь, она, он знал, наверняка расплачется. Сразу вымокнет от слез. Они у нее шли без обычной на Западе подготовки. Ее черные глаза так же выступали из щек, как выступала грудь на теле. Нет, решил он, никаких грустных вестей он писать не будет. Вместо этого он побаловал себя, представив, как в эту минуту (в Японии сейчас утро) она купается в своем струистом источнике, открыв поющий маленький рот. Она мылась постоянно и всегда пела при этом, заведя глаза и подрагивая лакомыми губами. Мелодичные и странные были эти песни — узкие, крутые, иногда с кошачьим призвуком.

В то тягостное время, когда он разводился с Дейзи и навещал Соно в ее вест-сайдской квартире, она немедленно напускала воду в маленькую ванну, растворяла ароматические соли. Она расстегивала его рубашку, раздевала его и, усадив в бурливую, пенистую, душистую воду («Спокойно, будет горячо»), сбрасывала юбочку и забиралась ему за спину, распевая свою вертикальную музыку.

Chin — chin
Je te lave le dos
Mon Mo-so [4].

Девушкой она приехала жить в Париж, и там ее застала война. Она лежала с пневмонией, когда в город вошли американцы, и еще больную ее репатриировали по Транссибирской железной дороге. Япония, говорила она, стала ей безразлична; после Запада она уже не смогла жить в Токио, и богатый отец отпустил ее учиться живописи в Нью-Йорк.

Она говорила Герцогу, что не убеждена в своей религиозности, но если он верит в Бога, она тоже постарается. С другой стороны, если он коммунист, она готова стать коммунисткой, потому что «les Japonaises sont très fidèles. Elles ne sont pas comme les Américaines [5]. Не хватало еще!» При этом ей было интересно с американками. Она часто принимала у себя баптисток, приставленных Службой иммиграции опекать ее: готовила для них креветок или сырую рыбу, удостаивала чайной церемонии. На ступеньках крыльца напротив ее дома Мозесу случалось пережидать ее засидевшихся гостей. Распираемая восторгом, записная интриганка (кромешны потемки женской души!), Соно подходила к окну и подавала ему остерегающий знак, якобы поливая цветы. В пакетах из-под йогурта у нее росли гинкго и кактусы.

В Вест-сайде она занимала три комнаты с высокими потолками;

---

[1] Неправильный («колониальный») французский.

[2] Дорогая, моя жизнь превратилась в ужасный кошмар. Если бы ты только знала! (*франц.*).

[3] Мозо, берегись. Будь осторожен, Мозо (*франц.*).

[4] Чин-чин,
Я тебе мою спину,
Мой Мо-зо (*франц.*).

[5] Японки очень вредные. Это не американки (*франц.*).

во дворе рос айлант, в одном из окон, смотревших на улицу, помещался громоздкий кондиционер — наверно, он весил тонну. Квартира была забита вещами, скупленными по дешевке на 14-й улице: словно набитый камнями диван-честерфилд, бронзовые экраны, лампа, нейлоновые портьеры, охапки восковых цветов, поделки из кованого железа, витой проволоки и стекла. Среди всего этого деловито расхаживала босоногая Соно, крепко ступая на пятки. Ее прелестную фигурку нелепо скрывал халатик до колен, тоже с какой-нибудь распродажи в районе Седьмой авеню. За каждую покупку ей приходилось драться с такими же любителями дешевизны. В волнении хватаясь за горло, срываясь в крик, она рассказывала Герцогу перипетии этих баталий:

— Chéri! J'avais déjà choisi mon tablier. Cette femme s'est foncée sur moi. Woo! Elle était noire! Moooan dieu! Et grande! Derrière immense. Immense poitrine. Et sans soutien gorge. Tout à fait comme Niagara Fall. En chair noire[1].— Соно раздувала щеки и топырила руки, словно задыхаясь от тучности, выпячивала живот, потом то же проделывала с попкой.— Je disais:— Не-е-ет, ледди. Я первая.— Elle avait les bras comme ça — enflés. Et quelle gorge! Il y avait du monde au balcon[2]. — Нет! — Je disais,— не-е-ет, лед-ди! — Соно гордо раздувала ноздри, глядела тяжело и грозно. Клала руку на бедро. Сидевший в сломанном моррисовском кресле Герцог говорил: — Так их, Соно! Пусть знают на 14-й улице, как забегать вперед самурая.

В постели он заинтересованно трогал веки улыбающейся Соно. На них, замысловатых, мягких и бледных, долго оставался отпечаток пальца. *По правде говоря, мне никогда не было так хорошо,* писал он. *Но мне не хватило характера вытерпеть такую радость.* Вряд ли он шутил. Когда из грудной клетки вылетают черные птицы, человек освобождается, светлеет. И хочет, чтобы ястребы вернулись обратно. Он уже не может без привычных борений, без стертых, пустых занятий, ему нужно гневаться, терзаться и грешить. Предпринимая в той гостиной, напитанной восточной негой, принципиальный поиск живительного наслаждения — *мировоззренческий* поиск, прошу заметить,— решая для Мозеса Е. Герцога загадку тела (излечиваясь от фатально занедужившего житиябытия, запретившего себе земные радости, исцеляя себя от этой западной чумы, душевной проказы), он вроде бы нашел то, что ему было нужно. А между тем он часто мрачнел и сникал в своем моррисовском кресле. Будь она проклята, эта хандра! Но даже таким он ей нравился. Она видела меня любящими глазами, она говорила: — Ah! T'es mélancolique — c'est trés beau[1]. — Может быть, виноватое, побитое выражение придает лицу восточные черты. Угрюмый, раздраженный глаз, вытянутая верхняя губа — что называется, «китайский прищур». А для нее это *beau.* Удивительно ли, что она считала меня коммунистом. Мир должен любить любовников, а не догматиков. Догматиков — ни в коем случае! Покажите им на дверь. Гоните сумрачных ублюдков, дамы! Прочь, проклятая меланхолия! Обретайся вечно в киммерийской тьме.

Все три высокие комнаты Соно, в духе киношного Дальнего Востока, были драпированы прозрачными занавесями, также с распродажи. Образовалось много интерьеров. Из них укромным была постель с мятно-зелеными, нет, линяло-хлорофилловыми простынями, никогда не убранная, все вперемешку. Из ванны Герцог выходил пунцовым. Вытерев и попудрив тальком, она облачала в кимоно свою довольную, но еще не вполне отзывчивую индоевропейскую куклу. Плотная ткань

---

[1] Дорогой! Я уже выбрала себе фартук. Тут на меня поперла эта женщина. У-у! Она была негритянка. Мо-о-ой Бог! И большая. Задница колоссальная. Грудь колоссальная. И без лифчика. Прямо Ниагарский водопад. В черном варианте (*франц.*).

[2] Я говорю: (...) У нее руки вот такие — толстенные. А грудь! Полный амфитеатр (*франц.*).

[3] А! Ты грустишь — это очень красиво (*франц.*).

жала под мышками, когда он опускался на подушки. Она приносила чай в своих лучших чашках. Он располагался слушать. Она поведает все последние скандалы из токийских газет. Одна женщина изуродовала неверного любовника, и в ее оби [1] нашли его недостающие части. Машинист проспал семафор и погубил сто пьятдесят четыре человека. Папина наложница ездит сейчас на «фольксвагене». Она оставляет машину у ворот, во двор ей не разрешают въезжать. А Герцог думал... как это стало возможным? Это что же, традиции, страсти, зароки, добродетели, перлы и шедевры еврейской выучки купно со всем прочим, где за краснобайством все же есть зерна истины,— они, что ли, привели меня на эти неопрятные зеленые простыни и скомканный матрас? Как будто кому-то важно, что он тут делает. Как будто это повлияло на судьбы мира. Это его личное дело.— Я имел право,— прошептал Герцог без всякого выражения на лице. И отлично. Евреи очень долго были чужими в мире — так теперь мир чужой для них. Соно приносила бутылку и плескала ему в чай коньяку или «Чивас ригл» [2]. После нескольких глотков она заводила игривое ворчание, потешая Герцога. Потом приносила свои свитки. Толстые купцы любили тонких девиц, потешно таращивших глаза на что-то постороннее. Мозес и Соно сидели на постели, поджав ноги. Она обращала его внимание на детали, подмигивала, вскрикивала и прижималась к его щеке круглым лицом.

И всегда что-то жарилось и парилось на кухне, в темной каморке было не продохнуть от запахов рыбы и соевой подливы, морской капусты и сопревших чайных листьев. Раковина то и дело засорялась. Она хотела, чтобы Герцог переговорил с негром-дворником, который на ее вызов только посмеется. Соно держала двух кошек, их миска никогда не мылась. Уже по дороге к ней, в метро, Герцог начинал обонять ароматы ее квартиры. Эта мрачная неизбежность надрывала ему сердце. Его жутко тянуло к Соно и так же жутко не хотелось идти. Даже сейчас его бросило в жар, он помнил те запахи, снова тянул себя через силу. Его передергивало, когда он звонил в дверь. С грохотом падала цепочка, она открывала массивную дверь и висла у него на шее. Ее исправно намазанное и напудренное лицо пахло мускусом. Кошки пытались улизнуть. Она отлавливала их и всполошенно кричала — всегда одно и то же: — Moso! Je viens de rentrer! [3]

Она не могла отдышаться. Она духом подлетала к двери и впускала его. Зачем? Зачем все впопыхах? Показать, что у нее самостоятельная, вся в делах жизнь, что она не сидит сиднем, ожидая его? — Наверно. Высокая дверь с козырьком захлопывалась за ним. Для верности Соно задвигала засов и навешивала цепочку (предосторожности одиноко живущей женщины: она рассказывала, что смотритель как-то пытался войти со своим ключом). Герцог проходил, унимая сердце и собрав лицо, с достоинством белого человека озирая драпировки (охра, малиновый цвет, зелень), камин, забитый оберткой от последних приобретений, чертежную доску — ее рабочее место и насест для кошек одновременно. Улыбнувшись взбудораженной Соно, он опускался в моррисовское кресло.

— Mauvais temps, eh chéri? [4] — говорила она и незамедлительно начинала развлекать его. Она снимала с него дрянные ботинки, отчитываясь в своих похождениях. Очаровательные дамы, исповедующие «христианскую науку», пригласили ее на концерт в Монастыре. Она видела два фильма подряд в «Талии» с Даниэль Дарье, Симоной Синьоре, Жаном Габеном et Гарри Гав-гав. Японо-американское общество пригласило ее в здание ООН, она вручала там цветы низаму Хай-

[1] Яркий шелковый широкий пояс.
[2] Марка виски.
[3] Мозо! Я только что вериулась! (*франц.*).
[4] Плохие времена — а, дорогой? (*франц.*).

дерабада. Благодаря японской торговой миссии она повидала также господина Насера и господина Сукарно и заодно государственного секретаря и президента. Сегодня вечером она идет в ночной клуб с министром иностранных дел Венесуэлы. Мозес приучил себя не брать под сомнение ее слова. Имелась фотография, на которой она, красивая и смеющаяся, сидит в ночном клубе. Имелся автограф Мендес-Франса на меню. Ей бы в голову не пришло попросить Герцога сводить ее в «Копакабану». Слишком она уважала его серьезность.

— T'es philosophe. O mon philosophe, mon professeur d'amour. T'es très important. Je le sais [1]. — Она ставила его выше королей и президентов.

Ставя чайник, она продолжала выкрикивать из кухни новости. Из-за трехногой собаки грузовик сбил тележку. Таксист хотел отдать ей попугая, но с кошками это опасно. Она не могла взять на себя такую ответственность. Старуха-нищенка — vieille mendiante — поручила купить ей «Таймс». Ничего другого бедняжке не нужно — только утренняя «Таймс». Полицейский пригрозил Соно повесткой за неосторожный переход. Мужчина эксгибиционировал за колонной в метро.— У-у-ух, c'était honteux — quelle chose! — Выносом рук она показывала величину.— Одна фута, Мозо. Très laide [2].

— Ça t'a plu [3],— улыбнувшись, говорил Мозес.

— О нет, нет, Мозо! Elle était vilaine [4].— Картинно полулежа в сломанном кресле с откинутой спинкой, Мозес ласково и недоверчиво, пожалуй, смотрел на нее. Жар, в который его бросало по пути сюда, уже не накатывал. Даже запахи оказывались терпимее, чем он ожидал. Меньше ревновали к нему кошки. Давались погладить. Он стал привыкать к их сиамским воплям, в которых дикости и оголодалости было побольше, чем в мяуканье американских кошек.

Потом она говорила: — Et cette blouse — combien j'ai payé? Dis-moi [5].

— Ты заплатила.. сейчас... ты заплатила три доллара.

— Нет, нет,— кричала она.— Шестьдесят sen. Solde! [6]

— Не может быть! Эта вещь стоит пять долларов. Ты самая везучая покупательница в Нью-Йорке.

Польщенная, она зажигала прищуренный глаз и снимала с него носки, растирала ноги. Несла ему чай, подливала двойную дозу «Чивас ригл». Для него она держала все только лучшее.— Veux-tu омлет, chéri-koko. As-tu faim? [7]. — Холодный дождь хлестал обезлюдевший Нью-Йорк суровыми зелеными розгами. *Когда я прохожу мимо агентства Северо-Запад — Восток, меня всегда подмывает узнать, сколько стоит билет до Токио.* Омлет она поливала соевым соусом. Герцог подкреплялся. Все было соленое. Он выпивал неимоверное количество чая.

— Мы купаемся,— говорила Соно и начинала расстегивать его рубашку.— Tu veux? [8]

От пара — чай, ванна — отставали обои, обнажая зеленую штукатурку. Сквозь золотистое кружево радиоприемника звучала музыка Брамса. Кошки загоняли под стулья креветочью скорлупу.

— Oui — je veux bien [9],— говорил он.

Она шла пустить воду. Он слышал, как она распевала, прыская на воду сиреневым составом и высыпая пенящийся порошок.

---

[1] Ты философ. О мой философ, мой профессор любви. Ты очень важный. Я это знаю (*франц.*).

[2] (...) стыд какой — такая штука. (...) Очень безобразная (*франц.*).

[3] Тебе понравилось (*франц.*).

[4] Она была гадкая (*франц.*).

[5] Вот эта блузочка — сколько я заплатила? Ну-ка скажи (*франц.*).

[6] (...) Центов (*испорч. англ.*). Распродажа! (*франц.*).

[7] Хочешь (...), дорогой птенчик? Ты ведь голоден? (*франц.*).

[8] Пойдем? (*франц.*).

[9] Да, конечно (*франц.*)

Интересно, кто сейчас трет ей спину.

Соно не ждала от меня особых жертв. Ей было не нужно, чтобы я работал на нее, обставлял квартиру, ставил на ноги детей, вовремя приходил к обеду или открыл ей счет в ювелирных магазинах: ей всего-то и нужно было, чтобы время от времени я приходил. Но есть уроды, которые отворачиваются от подарков судьбы, предпочитая грезить о них. Забавен и чист был наш идиш-французский диалог. Я не слышал от нее ущербной правды и грязной лжи, каких наслушался на родном языке, и ей вряд ли могли навредить мои простые повествовательные предложения. Только ради одного этого иные покидают Запад. А мне предоставили это в Нью-Йорке.

Банный час не всегда проходил гладко. Случалось, Соно производила осмотр, ища следы неверности. От любви, по ее глубокому убеждению, мужчины худеют.— А-а! — говорила она.— Tu as maigri. Tu fais amour? [1] — Он отрицал, она, все так же улыбаясь, мотала головой, сразу отяжелев и огрубев лицом. Она отказывалась верить. Но она была отходчивая. Снова повеселев, она сажала его в ванну и забиралась ему за спину. Снова она распевала или, дурачась, гортанно отдавала команды. В общем, мир восстанавливался. Они мылись. Она просовывала вперед ноги, он мылил их. Зачерпнув пластиковой миской воды, она поливала ему на голову. Спустив воду, она открывала душ, чтобы ополоснуться, и под дождиком они улыбались друг другу.— Tu seras bien propre, chéri-koko [2].

Да, она меня содержала в образцовой чистоте. Приятно и грустно было вспоминать все это.

Вытирались они махровыми полотенцами с 14-й улицы. Она облачала его в кимоно, целовала в грудь. Он целовал ее ладони. У нее были нежные, трезвые глаза, иногда вовсе без огонька; она знала, в чем ее сила и как ее усилить. Она усаживала его в постель, приносила чай. Ее сожитель. Они сидели поджав ноги, прихлебывая из чашечек, рассматривали ее рисованные свитки. Дверь на засове, телефон выключен. Соно трепетно тянулась к нему, касалась щеки припухлыми губами. Они помогали друг другу выбраться из восточных облачений.— Doucement, chéri. Oh, lentement. Oh! [3] — Она закатывала глаза так, что были видны одни белки.

Однажды она взялась толковать мне о том, что землю и планеты увлекла с солнца пролетавшая звезда. Как если бы трусивший пес стряхнул с куста целые миры. И в этих мирах завелась жизнь, а в ней подобные нам души. И даже большие чудаки, чем мы с тобой, сказала она. Мне понравилось, хотя я не все у нее понял. Из-за меня, я знал, она не возвращается в Японию. Из-за меня ослушалась отца. У нее умерла мать, но Соно помалкивала об этом. А однажды сказала:

— Je ne crains pas la mort. Mais tu me fais souffrir, Moso [4]. Я не звонил ей целый месяц. Она второй раз перенесла пневмонию. Никто к ней не приходил. Ослабевшая, бледная, она плакала и говорила: — Je souffre trop [5].— Но успокоить себя не дала: до нее дошло, что он видится с Маделин Понтриттер.

И вот что, кстати, сказала: — Elle est méchante, Moso. Je suis pas jalouse. Je ferai amour avec un autre. Tu m'as laissée. Mais elle a les yeux très, très froids [6].

Он писал: *Соно, ты была права. Я подумал, тебе будет приятно узнать. У нее очень холодные глаза.* Но уж какие есть — что она мо-

---

[1] Ты похудел. Ты занимался любовью? (*франц.*).

[2] Ты будешь очень чистый, дорогой птенчик (*франц.*).

[3] Нежнее, дорогой. Помедленнее (*франц.*).

[4] Я не боюсь смерти. Но ты заставляешь меня страдать, Мозо (*франц.*).

[5] Я слишком страдаю (*франц.*).

[6] Она очень злая, Мозо. Я не ревнивая. Я буду заниматься любовью с другим. Ты меня бросил. Но у нее очень, очень холодные глаза (*франц.*).

жеть поделать? Ей совсем ни к чему ненавидеть себя. Для этого, к счастью, Бог посылает мужа.

После такой откровенности с собой мужчине надо расслабиться. Герцог снова засобирался к Рамоне. Уже в дверях, вертя в руках длинный ключ от своего полицейского замка, он поймал себя на том, что старается вспомнить название песенки. «Еще один поцелуй?» Нет, не то. И не «На сердце тяжесть, вот беда». «Поцелуй меня снова». Вот оно. Ему стало смешно, а из-за смеха он не сразу справился с трудным замком, который стерег его земные сокровища. На свете три миллиарда людей, у каждого *какое-никакое* имущество, каждый сам по себе микрокосм, каждый бесконечно ценен, у каждого свой собственный клад. Далеко-далеко есть сад, где на ветках чего только нет, и вот там, в изумрудном сумраке, висит похожее на персик сердце Мозеса Е. Герцога.

Нужна мне эта прогулка, как дыра в голове, думал он, поворачивая ключ. Тем не менее он отправляется. Он опускает ключ в карман. Уже вызывает лифт. Он слушал гул мотора, хлопки тросов. Он спускался в одиночестве, мурлыча под нос «Поцелуй меня...», и все пытался ухватить причину, ускользавшую, как тонкая нить между пальцев,— отчего лезут в голову старые песни. Причина, лежавшая на поверхности (у него тяжело на сердце, он едет навстречу поцелуям), исключалась. Тайная же причина... надо ли ее доискиваться? Приятно было выйти на воздух, продышаться. Он вытер платком потник своей соломенной шляпы — в шахте было душно. Кто это припоминается в такой же шляпе и куртке? Ну конечно, Лу Холц, комик достопамятного варьете! Он пел: «Сорвал лимон в саду любви, где обещали только *персики*». Лицо Герцога снова оживила улыбка. Старый Восточный театр в Чикаго. За две монеты три часа удовольствия.

На углу он задержался посмотреть, как сносили дом. Огромное ядро, раскачавшись, легко пропарывало кирпичную коробку дома, вламывалось в квартиру, походя руша переборки кухонь и гостиных. Под его ударами все крошилось и осыпалось, поднимая белое облако пыли. День кончался, на ширящейся развороченной площадке развели костер, сжигая мусор. Мозес слышал воздушную тягу в огне, чувствовал жар. Рабочие несли дерево, метали, словно копья, планки и рейки. Благовонно чадили краска и лак. С благодарной готовностью сгорел старый паркет — погребальный костер отслуживших вещей. Увозимые шестиколесными грузовиками, тряслись поверх битого кирпича перегородки с розовыми, белыми, зелеными дверьми. Солнце, окружив себя слепящим атмосферным варевом, уходило в Нью-Джерси, на запад. На лицах он видел россыпи красных точек, у него самого руки и грудь были в крапинах. Он перешел Седьмую авеню и вошел в метро.

Из пекла, от пыли он сбегал по лестнице, боясь не услышать поезд, пальцем вороша мелочь в кармане, отыскивая нужный жетон. Он вдыхал запах камня, приводящий в чувство запах мочи, пахло ржавчиной и смазкой, он ощутил ток неотложности, скорости, неутолимого стремления, возможно сообщавшийся с нетерпением, разбиравшим его самого, с распиравшим его нервным возбуждением. (Страсть? Или, может, истерия? Постельный режим Рамоны, будем надеяться, принесет облегчение). Он сделал долгий вдох, вздымая грудь, он тянул и тянул в себя до боли в лопатках затхлый сырой воздух. Потом медленно, очень медленно, из самой глубины поджатого живота, выдохнул. И в другой раз так же, и в третий и почувствовал себя лучше. Он опустил свой жетон в прорезь, в коробке их было множество, подсвеченных и укрупненных выпуклым стеклом. Несметные сонмища людей отполировали боками деревянные панели турникета. Возникало чувство локтя — доступнейшая форма братства. Это

серьезно, подумал Герцог, проходя. Чем сильнее ломаются личности (а я знаю, как это делается), тем хуже им в одиночестве. И тем хуже их стремление в общность, потому что они возвращаются к людям раздраженные, распаленные своей неудачей. Уже не помнящие родства. Им вынь и положь картофельную любовь. И вторично искажается божественный образ, без того уже смутный, зыбкий, мятущийся. Существенный вопрос! Он смотрел на рельсы внизу. Весьма существенный!

Час пик прошел. Почти пустые местные поезда являли покойную и мирную картину, проводники читали газеты. В ожидании своего поезда Герцог прогулялся по платформе, разглядывая изуродованные афиши — зачерненные зубы и пририсованные усы, потешные гениталии, схожие с ракетами, курьезные совокупления, лозунги и призывы: «Мусульмане, враг — белый», «В пекло Голдуотера, евреи!», «Испашки говноеды». Вот пишет умный циник: «Если тебя будут бить, подставь чужую щеку». Распущенность, озверение, молитвы и остроумие толпы. Проделки Смерти. Высота падения — так сейчас принято говорить. Внимательно изучив все надписи, Герцог как бы провел опрос общественного мнения. Он пришел к заключению, что неизвестные художники были подросткового возраста. Дразнить старших. Незрелость — новая политическая категория. Новые проблемы в связи с растущей духовной эмансипацией неквалифицированных заведомых безработных. Лучше «Битлз». Заполняя праздное ожидание, Герцог взглянул на платные весы. Зеркало забрано металлической сеткой — разве какой искусный маньяк разобьет его теперь. Скамьи неподъемные, автоматы с леденцами замкнуты висячими замками.

Записочка Уилли-артисту, известному налетчику, бравшему банки; ныне отбывает пожизненное заключение. *Уважаемый господин Саттон! Наука замкóв...* Механизмы и гений янки... Нет, иначе: *Уступая только Гудини,* Уилли, кстати, никогда не имел при себе оружия. Был случай, например, в Куинсе, когда он работал с игрушечным пистолетом. Одевшись служащим «Уэстерн юнион» [1], он вошел в банк и управился, действуя пугачом. Соблазн был неодолим. Дело даже не в деньгах: как забраться и соответственно как уйти — в этом все дело. Узкоплечий, с впалыми щеками и франтоватыми усами, побитыми молью, с мешками под голубыми глазами, Уилли лежал и думал о банках. Не сняв шляпы и остроносых ботинок, он лежал у себя в Бруклине на встроенной кровати, жуя сигарету, и ему грезились каскады крыш, трубопроводы, канализационные сети, стальные камеры. Запоры размыкались от одного его прикосновения. Гений не может обойти мир своим участием. Добычу он сложил в консервные банки и закопал в Флашинг-медоуз [2]. Он мог спокойно завязать. А он пошел прогуляться и увидел банк — запахло творчеством. В этот раз его накрыли, и он отправился в тюрьму. Там он замыслил грандиозный побег, он составил в голове подробнейшую карту и вычертил идеальный маршрут, он полз по трубам и подрывался под стены. Дело почти выгорело — уже ему мерцали звезды. Но когда он выдрался из земли, его ждали тюремщики. И они отвели его обратно, эту ничтожную личность, которая артистически уходила из-под любого замка, уступая только Гудини, *и то незначительно. Его мотивы: крепость и совершенство исходной от человека системы надлежит испытывать, искушать, рискуя свободой и самой жизнью.* Теперь ему жизни до самой смерти хватит. Говорят, у него целая коллекция библий, он переписывается с епископом Шином...

Уважаемый доктор Шрёдингер! В книге «Что такое Жизнь?» Вы говорите, что из всех тварей только человек не решается причинить боль. Поскольку уничтожение есть регулятивный метод, каким эволю-

---

[1] Телеграфная корпорация.
[2] Парк в Куинсе.

ция производит новые виды, нежелание причинить боль представляется со стороны человека сознательным нарушением естественного права. Христианство и породившая его религия, то есть несколько быстротечных тысячелетий, создали ужасающие запасы... Поезд стоял, и уже закрывались двери, когда встряхнувшийся Герцог вдавился в вагон. Ухватил рукой ремень. Поезд летел в город. На Таймс-сквер много вышло и много вошло, но садиться он не стал. С места потом не пробиться к выходу. О чем бишь мы? *Своими замечаниями об энтропии... Каким образом организм не поддается смерти, или, как Вы выражаетесь, термодинамическому равновесию... Будучи нестойкой органической структурой, тело грозит сбежать от нас. И оно таки нас бросает. Вот что реально — тело! А не мы. Не я. Реален этот организм, покуда он в силах сохранять свою собственную форму и отсасывать из среды нужное, вбирая негативный поток энтропии, ту другую жизнь, которую он потребляет, и возвращая миру остаток в простейшей форме. Кал. Азотные шлаки. Аммиак. Но нежелание причинять боль наряду с необходимостью истреблять... получается сугубо человеческая чушь, состоящая в одновременном признании и отрицании зла. Вести жизнь человечную — и вполне бесчеловечную. То есть вести всякую жизнь, с большой выдумкой и жадно грести все к себе. Рвать зубами, глотать. При этом сочувствовать продукту. Переживать. При этом оставаться зверем. Высказывалось — и вполне естественно — предположение, что неохота причинять боль есть, в сущности, крайняя, сладостная форма чувственности и что после моральной инъекции боль делается привлекательнее. Так мы и катим по обеим сторонам улицы. Тем не менее мораль такая же реальность,* цепляясь за ремень в несущемся вагоне, уверял человечество Герцог, *как молекулы и атомы. Однако сегодня необходимо принимать в расчет и самые нелицеприятные истины. Собственно говоря, у нас нет выбора...*

Его станция, он заспешил вверх по лестнице. За спиной трещали храповики карусельных дверей. Он миновал разменную будку, где человек томился в крепком чайном настое, и одолел еще два марша. Выйдя наружу, он остановился отдышаться. Над ним в цветастых пятнах армированное серое стекло, по сумеречному времени почти тропически густел и синел Бродвей; в конце наклонно уходивших восьмидесятых улиц лежал стылой ртутью Гудзон. На пиках радиобашен в Нью-Джерси красные огни пульсировали, как маленькие сердца. На уличных скамьях старики, тронутые увяданьем лица, головы, у женщин слоновьи ноги, бельмастые глаза у мужчин, впалые рты, чернильные ноздри. В этот час летучие мыши кромсают воздух (в Людевилле), мечутся клочья бумаги (в Нью-Йорке), напомнившие Герцогу летучих мышей. В оранжевую закатную пыльцу внедрялся черный живчик упущенного воздушного шара. Он перешел улицу, сторонясь запахов жареного цыпленка и сосисок. Толпа неторопливо перемещалась по широкому тротуару. Мозеса живейшим образом интересовала публика в центре города, ее зрелищность, ее лицедейство: трансвеститы-гомосексуалы, накрашенные с большой изобретательностью, женщины в париках, лесбиянки настолько мужского вида, что только со спины можно было определить, какого они пола; крашеные волосы всевозможных оттенков. И на каждом, почитай, лице признаки уяснения судьбы — либо догадок о ней: в глазах сквозит метафизика. Не перевелись и набожные старушки, торящие дорогу к кошерному мясу.

Джорджа Хоберли, прежнего дружка Рамоны, Герцог видел несколько раз — тот провожал его взглядом из какого-нибудь подъезда. Сухощавый, высокий, помоложе Герцога, в академически строгом костюме с Мадисон авеню, в темных очках на худом, понуром лице. С ударением на слове «ничего» Рамона признавалась, что ничего не чувствует к нему, кроме жалости. Его две попытки самоубийства, вероятно, убедили ее в том, что она не дорожит им. На примере Маделин Мозес знал, что если женщина порывает с мужчиной, то это уже

окончательно. Но сегодня ему пришло в голову, что, поскольку Рамона питает слабость к модно одетому мужчине и даже ему частенько подсказывала, что выбрать, то она, скорее всего, приложила руку и к туалету Хоберли. Как ученая мышь в гибельном эксперименте, он безнадежен в своих покровах былого счастья и любви. Вставать среди ночи на звонок из полиции и нестись в Бельвю к его одру — для Рамоны это уже слишком. Рынок страстей и сенсаций лихорадило: произвести потрясение, скандал среднему человеку не по средствам. Подышать газом или раскровенить запястье оказывается недостаточно. Начать баловаться марихуаной? Вздор! Начать хипповать? Чушь! Удариться в разврат? Забытое словцо долибидозной эры. Неудержимо приближается время — Герцог берет менторский тон,— когда не имущественный или образовательный ценз, не подушный налог, а только безнадежность положения обеспечит вам право голоса. Нужно быть конченым человеком. Что было пороком — ныне оздоровительные меры. Все меняется. Общество оценит всякую глубокую рану, из-за которой прежде не поднимали бы никакой истории. Хорошая тема: история душевной выдержанности в кальвинистских общинах. Когда под страхом проклятья каждый должен был держать себя как избранный. Всем этим историческим ужасам, этой агонии духа должно наконец настать освобождение. Герцогу почти захотелось увидеть Хоберли, еще раз заглянуть в лицо, опустошенное страданием, бессонницей, снотворными и выпивкой, молящей надеждой,— заглянуть в темные очки, под его федору без полей. Любовь без взаимности. Сейчас это называют «невротическая зависимость». Случалось, Рамона с большой теплотой говорила о Хоберли. Принавалась, что плакала над его письмом или подарком. Он продолжал посылать ей кошельки и духи, а также длинные выписки из своего дневника. Он даже передал значительную сумму наличными. Она, в свою очередь, передала деньги тете Тамаре. Та положила их на его имя в сберегательный банк — хоть процент какой набежит. Хоберли был очень привязан к старухе. И Мозес ее любил.

Он позвонил в квартиру Рамоны, и домофон тотчас впустил его в подъезд. На этот счет она предупредительна. Еще одно проявление чуткости. Но любовник всегда засвечивался. Как раз из лифта выходили временно окривевший от вонючей сигары парень с тяжелым лицом; женщина с парой чихуахуа на сворке в тон ее красному маникюру. И очень могло быть, что из уличной дымки его видел сквозь двойные стеклянные двери его соперник. Мозес поднялся наверх. У себя на пятнадцатом этаже Рамона отпустила дверь на цепочку: побаивалась нежелательного гостя. Увидев Мозеса, она сняла цепочку и за руку потянула его к себе. Подалась к нему лицом. Цветущим, полыхающим. Пышущим духами. На ней была белая атласная блузка, разлученная с шалью, если судить по вырезу, открывавшему грудь. При таком румянце ей никакой косметики не надо.

— Рад тебя видеть, Рамона. Очень рад,— сказал он. Обнимая ее, он с внезапной остротой ощутил, как он изголодался по общению. Он поцеловал ее.

— Действительно рад меня видеть?

— Еще как!

Она улыбнулась и закрыла дверь, снова навесив цепочку. Потом, боевито стуча каблуками по паркету, провела его за руку в прихожую. Ее каблучная дробь действовала на него возбуждающе.— Ну,— сказала она,— посмотрим на Мозеса в полном параде.— Они стали перед зеркалом в золоченой багетной раме.— У тебя роскошное канотье. И вообще, разодет как Иосиф Прекрасный.

— Одобряешь?

— Безусловно. Отличная куртка. При твоей смуглости ты в ней вылитый индус.

— То-то я подумываю вступить в группу Баве.

— Это что такое?

— Передача состояний беднякам. Я отдаю Людевилль.

— Ты, прежде чем разбазаривать свое состояние дальше, со мной консультируйся. Выпьем чего-нибудь? Или ты сначала ополоснешься?

— Я брился перед выходом.

— Вид у тебя распаленный, словно ты бежал, и копоть на лице. Должно быть, где-то прислонился в метро. А может, сажа с того мусорного пожарища.

— Да, действительно.

— Сейчас дам тебе полотенце,— сказала Рамона.

В ванной комнате, чтобы не замочить галстук в раковине, Герцог сдвинул его на спину. Роскошное помещеньице с милосердным к изможденному лицу отраженным светом. Длинный кран блестит, вода хлещет тугой струей. Он понюхал мыло. Muguet [1]. От холодной воды заныло под ногтями. Он вспомнил старый еврейский ритуал омовения ногтей и слово из Хаггады [2]: «Рахатц» — «Омой их»! Еще в обязательном порядке следовало вымыть ногти после кладбища (Бет Олам — Дом множества). Но к чему сейчас мысли о кладбище, о похоронах? Хотя... был такой анекдот: шекспировский актер пришел в бордель. Когда он снял штаны, проститутка в постели присвистнула. «Мадам,— сказал он,— не восхвалять я Цезаря пришел, а хоронить» [3]. Как же прилипчив школьный юмор!

Закрыв глаза, он подставил лицо под струю, с наслаждением хватая ртом воздух. По глазным яблокам поплыли радужные круги. Он писал Спинозе: *Мысли, говорите Вы, казуально не связанные между собой, причиняют страдание. Я убеждаюсь, что к этому действительно все сводится. Случайные связи при бездействующем разуме — суть форма зависимости. Точнее, при таком условии становится возможной любая форма зависимости. Возможно, Вам будет интересно узнать, что в двадцатом столетии случайная ассоциация рассекречивает глубины духа, по общему убеждению.* Он прекрасно понимал, что пишет мертвому человеку. Выманить тени великих философов в сегодняшний день. И почему, собственно, не писать покойникам? Он прожил с ними столько же, сколько и с живущими, если не поболе; да и к этим живущим он писал по большей части в уме, да и, наконец, что́ есть смерть для Бессознательного? В снах она вообще отсутствует. *По тому убеждению, что разум неуклонно движется от разлада к гармонии и что покорение хаоса необязательно начинать каждый день заново.* Если бы! Если бы это было так! Как заклинал об этом Мозес!

Вообще же он относился к мертвым отрицательно. Он убежденно верил в то, что именно мертвые хоронят своих мертвых. И что жизнь лишь тогда называется жизнью, когда она отчетливо осознается как умирание. Он открыл большую домашнюю аптечку. Умели же строить в Нью-Йорке! Он завороженно разглядывал флаконы — освежитель кожи, эстрогенный лосьон для мышечной ткани, средство от потения «Красавица». Вот малинового цвета сигнатура: принимать дважды в день при расстройстве желудка. Он понюхал: похоже, что-то с белладонной. Успокаивает желудок, расширяет зрачки. Делается из смертоносной красавки. Вот таблетки от менструальных судорог. Почему-то он не думал, что Рамона им подвержена. Маделин — та кричала криком. Он хватал такси и вез ее в Сент-Винсент, где она с плачем требовала демерола [4]. Эти вроде как пинцетики он счел инструментом для завивки ресниц. Похожи на устричные щипчики во французских ресторанах. Понюхав шершавую рукавицу, признал: ровнять кожу на локтях и на пятках. Нажал спусковую педаль унитаза; поток излился с молчаливой силой; у бедняков сортиры ревут. Чуть смазал бриллиан-

---

[1] Ландыш (*франц.*).

[2] Сказание об исходе из Египта в Талмуде.

[3] Это слова Антония («Юлий Цезарь», акт III, сц. 2).

[4] Наркотик (типа морфия).

тином оставшиеся сухими волосы. Рубашка, конечно, пахнет сыростью, но ничего, ее духов хватит на них обоих. В остальном-то он как? С учетом всех обстоятельств не так уж и плох. Рано или поздно кончается красота. Пространственно-временной континуум отзывает свои элементы, разымая тебя по частям, и в конечном итоге настает пустота. Но лучше пустота, чем мучиться и томиться от неисправимой натуры, выкидывающей все те же номера, повторяющей позорные зады. Опять же, мгновения позора и боли могли казаться вечностью — вот тут бы человеку и ухватить вечное этих тягостных минут и наполнить их иным содержанием, произведя ни много ни мало революцию. Как вы на это посмотрите? По-парикмахерски обернув ладонь полотенцем, Мозес промокнул капли воды по линии волос. Потом решил взвеситься. Для объективности он сначала облегчился и, носком о пятку скинув туфли, со старческим вздохом ступил на весы. Стрелка между большими пальцами ног ушла за отметку 170. Он набирал вес, потерянный в Европе. Обминая задники, он снова вбил ноги в туфли и вернулся к Рамоне в гостиную — собственно, в гостиную и спальню одновременно. Она ждала с двумя стаканами «Кампари». Он горьковато-сладкий на вкус и шибает газом, как из конфорки. Однако весь мир пьет — и Герцог пьет тоже. Рамона охладила стаканы в морозилке.

— Salud [1].

— Твое здоровье! — сказал он.

— У тебя галстук завернут на спину.

— Правда? — Он вернул его на грудь.— Забываю. У меня был случай, когда я в мужской комнате заправил сзади пиджак в брюки и прямо так пришел в аудиторию.

Рамону поразило, что он может рассказывать о себе такие вещи.— Какой кошмар!

— Да, хорошего мало. Зато это очень раскрепостило студентов. Учитель такой же человек. Кроме того, унижение не повергло его авторитет. А это подороже курса лекций. Одна барышня мне так потом и сказала: вы такой человечный, нам так приятно это было...

— Смешно, что ты обстоятельно отвечаешь на любой мой вопрос. Смешной ты человек.— Прелестно ее обожание; улыбчиво открыты прекрасные крупные зубы, нежные темные глаза, еще подкрашенные черным.— А твое старание казаться грубияном или нахалом в чикагском стиле — это вообще умора.

— Почему умора?

— Потому что игра. Перебор. Это совсем не твое...— Она по новой наполнила стаканы и поднялась.— Пойду присмотреть за рисом. Поставлю тебе египетскую музыку для веселья.— Широкий лакированный пояс подчеркивал ее талию. Она нагнулась к проигрывателю.

— Волшебно пахнет с кухни.

Мохаммад аль-Баккар и его компания привели в действие барабаны и тамбурины, клацанье проволоки и визготню духовых инструментов. Гортанный голос слабенько запел: «Mi Port Said...» Предоставленный себе, Герцог огляделся: книги и театральные программы, журналы и фотографии. В рамке от «Тиффани» помещалась семилетняя Рамона: умненькая девочка, облокотившись на плюшевый бортик, упирала пальчик в висок. Памятная поза. Лет тридцать назад она была в ходу. Крошки Эйнштейны. Поразительно мудрые дети. Проколотые ушки, медальон, локон у виска и — что он особенно хорошо помнил — первые ростки чувственности у девушек.

У тети Тамары стали бить часы. Он прошел в ее комнату специально взглянуть на их старозаветный фарфоровый циферблат с пучком золотых лучей, похожих на кошачьи усы, послушать их чистый частый перезвон. Под часами лежал ключ. К таким часам полагается налаженный быт — постоянный дом. Из этой европейской гостиной с

[1] Салют (*исп.*).

окантованными венецианскими видами и добродушными безделушками голландского фарфора вы видели, подняв штору, Эмпайр Стейт Билдинг, Гудзон, серебристо-зеленый вечер в этой зажигающей огни половине Нью-Йорка. Он задумчиво опустил штору. Только попросись — и тут будет его убежище. Почему же он не просится? Да потому, что сегодняшнее убежище завтра может стать тюрьмой. Послушать Рамону — так все обстоит очень просто. Она говорила, что лучше его самого знает, что ему нужно, и, вполне возможно, была права. Рамона предпочитала высказываться до конца, и в некоторых ее речах была открытость почти оперная. Возвестительная. Она говорила, что у нее глубокое и зрелое чувство к нему и что она сгорает от желания помочь. Говорила, что Герцог не знает себе цену, что он основательный, красивый (тут он не удержался и подмигнул ей), но какой-то угнетенный, неспособный прислушаться к подсказке собственного сердца; что он взыскан Богом — и сам взыскует милости, но непонятно почему отказывается от спасения, которое чаще всего буквально под боком. И этот Герцог, многих даров удостоенный муж, зачем-то пустил в свою постель фригидную мещанку, кастрирующую без ножа, дал ей свое имя и определил к созиданию; она же, Маделин, брезгливо и жестоко расправилась с ним, словно в наказание за то, что он унизился и умалился, заморочив себя любовью к ней и предав обетование своей души. Ему вот что необходимо сделать, продолжала она в том самом оперном стиле, не смущаясь своей многоречивости и приводя его этим в полный восторг: ему надо расплатиться за полученные великие дары — это ум, обаяние, образование — и развязать себе руки для поиска смысла жизни, только не распадаясь на части, когда точно ничего не найдешь, а скромно и достойно продолжая свои ученые занятия. Она, со своей стороны, Рамона, хотела сделать его жизнь богаче, дать ему то, что он напрасно где-то искал. Дается это, говорила она, искусством любви — высочайшей среди прочих победой духа. То есть сокровище, которое она для него припасла,— это любовь. И пока есть время, пока он еще сильный, нерастраченный мужчина, нужно освоить духовное обновление через тело (в сем драгоценном сосуде и обретается дух). На эти проповеди Рамона — дай ей Бог здоровья! — как и на внешность, не жалела красок. Какая же она бывала сладкоголосая ораторша! О чем то бишь мы? Да, продолжить ученые занятия в обретенье смысла жизни. Ему, значит, Герцогу, обрести смысл жизни! Он рассмеялся в ладони.

Но если серьезно, то он сам, всем своим видом, провоцирует подобные разговоры. Почему крошка Соно кричала: O mon philosophe – mon professeur d'amour! — Потому что Герцог держал себя как философ, озабоченный исключительно высокими материями: творческий разум, расплата добром за зло, старая книжная мудрость. Потому что его занимала и заботила вера. (Без нее человеческая жизнь просто сырой материал, с которым мудрят техника, мода, торговля, промышленность, политика, финансы и прочее, и прочее. От этого позорного набора с радостью отделываешься, умирая.) Да, выглядел он и держался как тот философ — Соно права.

И здесь, в конце концов, он почему оказался? Потому и оказался, что Рамона тоже принимала его всерьез. Она считала, что может вернуть порядок и здоровье в его жизнь, и если это удастся, то будет логично жениться на ней. То есть, ее словами, он захочет соединиться с ней. И это будет такой союз, который действительно объединяет. В единую ткань соткутся столы, постели, гостиные, деньги, прачечная и автомобиль, культура и секс. Все наконец будет иметь смысл — так она полагала. Счастье — нелепая и даже опасная выдумка, если оно не объемлет все стороны жизни; но в нашем редкостном и удачном случае, когда мы чем только не переболели, а ведь проскочили — чудом, умением оживать и радоваться, что само по себе религиозное чувство, и я, говорила Рамона, без оглядки на христианку Марию Маг-

далину о своей жизни просто не могу говорить,— в нашем случае такое всеобъемлющее счастье возможно. В нашем случае оно — обязанность; будет трусостью, потворством злу, уступкой смерти не отстоять оклеветанное счастье (это якобы чудовищное и самолюбивое заблуждение, этот абсурд). Есть мужчина, по себе знающий, что такое — восстать из мертвых, это Герцог. Горечь смерти и опустошенности познала и она, Рамона,— да-да! И с ним она праздновала истинную Пасху. Пережила воскресение. Он может крутить своим умным носом по поводу чувственных наслаждений, однако, оставшись с нею в голой сущности, он отдаст им должное. Никакая сублимация не заменит эротическое счастье, не подменит это познание.

Не покушаясь даже на улыбку, Мозес, кивая головой, все это серьезно выслушивал. Отчасти университетская и научно-популярная болтология, отчасти брачная пропаганда, но, за вычетом этих невыгодных моментов, оставалась истина. Он одобрял Рамону, уважал ее. Все это, пожалуй, настоящее. Сердце у нее более или менее правильное.

И если наедине он посмеивался над дионисийским возрождением, то выставлял на посмешище исключительно самого себя. Герцог! Принц эротического ренессанса, подходяще одетый macho! А как с детьми? Как-то они примут очередную мачеху? И Рамона— поведет она Джуни на встречу с Санта Клаусом?

— Вот ты где,— сказала Рамона.— Тетя Тамара была бы польщена, что ты зашел в ее музей царизма.

— Старинные интерьеры...

— Правда, трогательно?

— Мы отравлены их сладостью.

— Старуха тебя обожает.

— Я сам ее люблю.

— Говорит, что при тебе в доме стало светлее.

— Чтобы *при мне*...— Он улыбнулся.

— А почему нет? У тебя мягкое, располагающее лицо. Хотя ты не любишь, когда я это говорю. Так почему нет?

— Я выгоняю старую женщину из дому, когда прихожу.

— Ничего подобного. Она любит ездить. Шляпа, пальто — все ее сборы. Для нее такая радость прийти на вокзал. Во всяком случае...— Голос ее потускнел.— Ей надо сбежать от Джорджа Хоберли. Теперь он *ее* мучает.

— Прости,— сказал Герцог.— Что-нибудь случилось в последнее время?

— Бедняга.. Мне его так жалко. Ладно. Мозес, кушать подано, и тебе еще открывать вино.— В столовой она подала ему охлажденную бутылку «Пуйи Фюиссе» и французский штопор. С покрасневшей от напряжения шеей, умело и ответственно действуя, он извлек пробку. Рамона зажгла свечи. Стол украшали остроконечные красные гладиолусы в длинном блюде. На подоконнике сварливо завозились голуби; похлопав крыльями, снова угомонились.— Дай положу тебе рису,— сказала Рамона, взяв у него фарфоровую тарелку с кобальтовым ободком (роскошь неудержимо проникает во все слои общества начиная с пятнадцатого столетия, как отмечал знаменитый Зомбарт, inter alia [1]). Герцог был голодный, обед был отменный. (Поститься он будет после.) Непонятные, двусмысленные слезы застлали ему глаза, когда он попробовал креветочный ремулад.

— Как вкусно — боже мой, как вкусно! — сказал он.

— Ты ничего не ел весь день?

— Я давненько не видал такой еды. Ветчина, персидская дыня. Что это? Кресс-салат. Боже милостивый!

Она была довольна.— Ешь, ешь,— сказала она.

После креветок Арно и салата она подала сыр и пресные лепешки,

[1] Среди прочих (*лат.*).

мороженое с ромовой поливой, сливы из Джорджии и ранний зеленый виноград. Потом перешли к бренди и кофе. В соседней комнате, под скрип возимых взад и вперед по железке проволочных вешалок, под звуки барабанов, тамбуринов, мандолин и волынок, Мохаммад аль-Баккар зыбким голосом пел в нос свои вкрадчивые песни.

— Так чем ты занимался? — сказала Рамона.

— Я-то? Да так...

— А куда уезжал? Все-таки сбегал от меня?

— Не от тебя. А что сбегал — пожалуй.

— Ты меня еще немного побаиваешься, правда?

— Я бы не сказал... Растерян — да. Осторожен.

— Ты привык иметь дело с трудными женщинами. Привык к отпору. Тебе нравится, наверно, когда они портят тебе жизнь.

— Всякий клад стерегут драконы. Иначе нам не понять, чего он стоит... Ничего, если я расстегну ворот? Боюсь артерию перехватить.

— Недалеко ты уехал. Может, из-за меня.

Мозеса так и подмывало соврать — сказать: — Конечно, из-за тебя, Рамона.— Резать в глаза правду-матку — занятие пошлое и небезопасное для нервов. Рамоне Мозес сочувствовал всей душой: женщине за тридцать, в руках хорошее дело, самостоятельная, а все еще закармливает ужинами друзей мужского пола. Но как еще пристроит женщина свое сердце — в наше-то время? В эмансипированном Нью-Йорке мужчина и женщина, одев на себя пестрые тряпки, сходятся для племенной вражды. У мужчины в мыслях обмануть и уйти целым; программа женщины — обезоружить и посадить под замок. Речь идет о Рамоне, которая в обиду себя не даст,— каково же юному существу, с мольбой возводящему горе подчерненные очи:— Господи! Отведи плохого человека от моей полноты.

Вообще же, понимал Герцог, не очень хорошо, имея в голове такие мысли, есть креветки и пить вино у Рамоны, слушать в гостиной похотливую занудь Мохаммада аль-Баккара и его порт-саидовской команды. *Какая заслуга в священническом целибате, монсеньор Хилтон? Ходить по жизни и навещать женщин, видеть, во что превратил чувственность современный мир,— не построже будет епитимья? Как далеки от жизни иные древние постулаты...*

Одна вещь по крайней мере уяснилась. Искать свое завершение в другом, во взаимоотношениях,— это женская игра. И когда мужчина, прицениваясь, ходит по женщинам, хотя его сердце кровоточит от идеализма и просит чистой любви,— такой мужчина занимается женским делом. С падением Наполеона честолюбивый юноша устремил свою энергию в будуар. А там командуют женщины. Такой была Маделин, такой легко могла стать Ванда. Как насчет Рамоны? И некогда глупый юнец, ныне глядящий в глупые старцы, Герцог, уверовав в *личную жизнь* (с санкции авторитетных имен), заделался чем-то вроде сожителя. Соно, с ее восточным подходом, окончательно подтвердила это. Он даже шутил на сей счет, объясняя ей невыгодность своих посещений:— Je bêche, je sème, mais je ne récolte point [1].—Шутка, конечно,— никаким сожителем он, разумеется, не был. А Соно — та старалась направить его, наставить нужному обращению с женщиной. Красота павлина, похоть козла и свирепость льва — слава и мудрость Божии [2].

— Куда бы ты ни направлялся со своим саквояжем, твои изначально здоровые инстинкты погнали тебя обратно. Они умнее тебя,— сказала Рамона.

— Может быть...— сказал Герцог.— Я пересматриваю свои взгляды.

— Слава Богу, ты еще не загубил свое первородство.

---

[1] Я пашу, сею, но ничего не пожинаю (*франц.*).

[2] Раскавыченные фрагменты из «Пословиц ада» У. Блейка.

— Я не был по-настоящему независимым. Выясняется, что я работал на других, на женское сословие.

— Если ты сможешь преодолеть свой еврейский пуританизм...

— И наживал себе психологию беглого раба.

— Тут твоя собственная вина. Ты выискиваешь властных женщин. Я пытаюсь доказать тебе, что я совершенно другой случай.

— Я знаю,— сказал он.— Я бесконечно дорожу тобой.

— Не знаю. По-моему, ты во мне не разобрался.— В голосе ее зазвучала обида.— С месяц назад ты записал меня в начальницы сексуального цирка. Как будто я акробатка какая-нибудь.

— Я ничего не имел в виду, Рамона.

— Подразумевалось, что у меня было много мужчин.

— Много? Я так не считаю. Да если и так, мне только прибавит уважения к себе, что я продержался столько времени.

— Ах, вот оно как: ты держишься. Очень приятно слышать.

— Я тебя понимаю. Ты хочешь вытолкнуть меня повыше, выявить во мне орфический момент. Но ведь я, по правде говоря, всегда старался быть отъявленной посредственностью. Работал, сводил концы с концами, выполнял свой долг и ожидал известного qui pro quo. А ожидал меня, само собой, носок на голове. Я считал, что у меня установилось тайное взаимопонимание с жизнью и она убережет меня от худшего. Совершенно буржуазная мысль. Заодно заигрывал с трансцендентальным.

— Да не такое уж заурядное дело — жениться на женщине вроде Маделин или обзавестись другом вроде Валентайна Герсбаха.

Он попытался остудить вскипевший гнев. Чуткая Рамона дает ему возможность выговориться, развеять хандру. Но он не за этим пришел. Вообще говоря, он устал от своей одержимости. И наконец, ей хватает своих забот. Гнев, говорит поэт, сродни радости, но прав ли был поэт? Всему свое время... время молчать, и время говорить. Что единственно интересно в этом деле — так это интимный вид обиды, ее проникновенность, сделанность по твоей мерке. Поразительно, чтобы ненависть была до такой степени личной, когда она почти неотличима от любви. Нож и рана томятся друг без друга. Многое, конечно, зависит от ранимости избранника. Одни исходят криком, другие сносят удар молча. Об этих последних можно писать потаенную историю человечества. Что перечувствовал папа, когда узнал, что Воплонский был в сговоре с бандитами? Он ничего не сказал.

Удастся ли ему сегодня удержать в себе свое, Герцог не знал. А хотелось бы. Но Рамона часто побуждала его раскрыться. Накормив ужином, она просила попеть.

— Я не нахожу, что они посредственности, эта пара,— сказала она.

— Иногда я вижу в нас комическую троицу,— сказал Герцог,— причем сам играю партнера. Говорят, Герсбах подражает моей походке, повторяет мои слова. Герцог номер два.

— Однако он сумел убедить Маделин, что превосходит оригинал,— сказала Рамона. И опустила глаза. Они глянули и ушли под веки. Хоть и при свечах, но он отметил мимолетную тревогу на ее лице. Может, она подумала, что сказала бестактность.

— Мне кажется, предел честолюбивых замыслов Маделин — влюбиться. Это самая серьезная часть ее юморески. Играет все: ее шик, ее тик. Суке не отказать в красоте. Она обожает быть в центре внимания. Она выходит в костюме с меховой оторочкой, цветущая, голубоглазая. Завладев публикой и начав ее очаровывать, она делает пассы открытой ладонью, дергает носом, как птичка хвостиком, подключает бровь, ползущую все выше и выше.

— Ты дал привлекательный портрет,— сказала Рамона.

— Мы очень возвышенно жили, все трое. Кроме Фебы. Та просто коптила небо.

— Что она собой представляет?

— У нее красивое лицо, но выражение злое. Ее амплуа — старшая медсестра.

— Тобой она не занималась?

— У нее был муж-инвалид... Он с этого снимает пенки, берет рыдающим пафосом. Она дешево купила его — бракованный экземпляр. Новенький и исправный ей был бы не по карману. Он это знал, и она знала, и мы. Нынче все такие проницательные. Любой образованный человек осведомлен в законах психологии. Но хотя он был всего-навсего диктором при одной ноге, она его ни с кем не делила. А тут явились мы с Маделин, и в Людевилле началась развеселая жизнь.

— Так ее, наверно, огорчало, когда он стал тебе подражать.

— Конечно. Но чтобы меня обмануть, нужно было действовать в моем собственном стиле. Идеальная справедливость. Преклонение перед философией лежит в основе этого стиля.

— Когда ты впервые заметил?

— Когда Мади стала отлучаться из Людевилля. Несколько раз отсиживалась в Бостоне. Говорила, что ей просто нужно побыть одной, все обдумать. Забирала с собой девочку — совсем крошку. И я просил Валентайна съездить и урезонить ее.

— Тогда он и начал читать тебе нотации?

Герцог попытался улыбкой сдержать хлещущее злопамятство — все-таки они тронули этот кран. Управляться с ним ему трудно.— Они все читали нотации. Каждый приобщился. Люди постоянно навязывают свою волю посредством беседы. У меня есть письма Маделин из Бостона. Есть письма от Герсбаха. Богатый архив. Даже есть пачка писем Маделин к ее матери. Я их получил бандеролью.

— А что писала Маделин?

— Она знатная писательница. Прямо леди Хестер Станоп [1]. Она перво-наперво объявила, что во многих отношениях я напоминаю ей отца. Будто бы в одной комнате со мной ей нечем дышать: весь воздух заглатываю я один. Что я инфантильный, сардонический деспот и психосоматический шантажист.

— Это еще что такое?

— Я обзавелся болями в животе, чтобы помыкать ею, и добивался своего, хворая. Они это в один голос говорили— все трое. У Маделин была еще одна тема: краеугольный камень брака. Брак есть нежный союз, родившийся от переизбытка чувства,— и прочее в этом роде. У нее даже были соображения, как правильно совершать супружеский акт.

— Бесподобно.

— Должно быть, осмысливала уроки Герсбаха.

— Слушай, не углубляйся,— сказала Рамона.— Воображаю, как она старалась побольнее уколоть.

— Между тем мне полагалось завершить свой ученый труд и сделаться новейшим изданием Лавджоя [2] — это академический треп, Рамона, сам я так не считал. И чем больше нотаций выслушивал я от Маделин и Герсбаха, тем убежденнее уповал на спокойную, размеренную жизнь. А для нее этот покой означал мои очередные козни. Она инкриминировала мне «овечью шкуру», сказала, что теперь я прибираю ее к рукам, изменив тактику.

— Поразительно! В чем конкретно ты подозревался?

— Она считала, что я женился на ней ради собственного «спасения», а теперь хочу ее убить, поскольку она не справляется со своей задачей. Говорила, что любит меня, но фантастических моих требова-

---

[1] Люси Хестер Станоп (1776—1839), покинув в 1810 году мужа, вторую половину жизни провела в Ливане. Интересовалась оккультизмом, оставила эпистолярное наследие.

[2] Артур Онкен Лавджой (1873—1962) — американский философ; много занимался проблемами романтизма.

ний выполнить не в силах и потому опять уезжает в Бостон все обдумать и поискать, как спасти наш брак.

— Понятно.

— Примерно через неделю пришел Герсбах за ее вещами. Она ему звонила из Бостона. Понадобилось что-то из одежды. И деньги. Мы с ним совершили большую лесную прогулку. Начало осени: солнце, пыль — дивно... и грустно. Я помогал ему пройти в трудных местах. Из-за ноги он колыхается при ходьбе...

— Ты говорил. Похоже на гондольера. А что он тебе сказал?

— Сказал, что эта херня не укладывается в его голове, он не представляет, как переживет разлад между любимейшими на свете людьми. Еще и скрепил: которые ему дороже жены и собственного ребенка. Он буквально распадается на части. Рушится его мировоззрение.

Рамона рассмеялась, Герцог ее поддержал.

— Потом что было?

— Потом? — сказал Герцог. Он вспомнил трясучку сильного кирпичного лица Герсбаха, поражавшего мясницкой грубостью, пока вам не приоткроется вся глубина его тонких чувств.— Потом вернулись домой, и Герсбах собрал ее вещи. И взял то, ради чего, собственно, приходил,— ее колпачок.

— Шутишь!

— Серьезно.

— Ты так спокойно признаешь...

— Я спокойно признаю одно: что мой идиотизм развратил и извратил их окончательно.

— Ты не спросил ее, что все это значило?

— Спросил. Она сказала, что я утратил право требовать у нее отчета. Что выказываю все то же свое качество: ограниченность. Тогда я спросил, не стал ли уже Валентайн ее любовником.

— Что же она ответила? — Рамона просто сгорала от интереса.

— Что я не оценил даров Герсбаха — как он меня любит, как относится ко мне. Я говорю:— Он же взял из аптечки эту штуку.— Взял,— говорит,— а еще он ночует у нас с Джун, когда приезжает в Бостон, но он мне вместо брата, которого у меня нет, только и всего.— Меня это не очень убедило, и тогда она говорит: — Не дури, Мозес. Ты же знаешь, какой он примитив. Абсолютно не мой тип. Между нами совершенно другого рода близость. Когда в Бостоне он пользуется туалетом, в квартирке не продохнуть. Я знаю, как пахнет его дерьмо. Неужели ты думаешь, что я могу отдаться человеку с таким вонючим дерьмом? — Вот такой она мне дала ответ.

— Как это страшно, Мозес! Неужели так и сказала? Странная женщина. Очень странное существо.

— Это только значит, как много мы знаем друг о друге, Рамона. Маделин была не просто женой: она была воспитательницей. Положительному, уравновешенному, подающему надежды, думающему, старательному недорослю вроде Герцога, с понятием о достоинстве, полагающему, что человеческая жизнь, как и все прочее, суть научная дисциплина,— такому надо преподать урок. И если для кого-то достоинство, старомодное чувство собственного достоинства, не пустой звук, то ему, конечно, достанется на орехи. Может быть, достоинство импортировали из Франции. Людовик XIV. Театр. Власть. Авторитет. Гнев. Прощение. Majesté [1]. Плебей, буржуа был обязан наследовать его. Сейчас это все музейная редкость.

— Мне казалось, сама Маделин всегда так дорожила собственным достоинством.

— Не всегда. Она могла и поступиться своими притязаниями. К тому же, не забывай, что Валентайн тоже незаурядная личность.

[1] Величие (*франц.*).

Современное сознание вообще требует встряски своих основоположений. Оно вещает истину о человеческой твари. Оно мешает с дерьмом все притязания и вымыслы. Такой человек, как Герсбах, может быть весельчаком. Простаком. Садистом. Человеком без тормозов. Без руля и без ветрил. Без сердца. Может душить друзей в объятиях. Нести околесицу. Смеяться шуткам. И может быть глубоким. Восклицать: «Я люблю тебя!» Или: «В это я верю!» И вполне расчувствовавшись, запудрить тебе мозги. Он творит непостижимую реальность. Скорее радиоастрономия скажет, что происходит в десяти миллионах световых лет от нас, чем удастся разгадать головоломки Герсбаха.

— Ты слишком заводишься на эту тему,— сказала Рамона.— Мой совет: забудь ты о них. Сколько продолжался этот идиотизм?

— Годы. Во всяком случае, несколько лет. Они распоряжались моей жизнью, кроме всего прочего. О чем я даже не подозревал. Они все за меня решили: где мне жить, где работать, сколько платить аренды. Они даже поставили передо мной духовные проблемы. Усадили делать уроки. А когда надумали избавиться от меня, то разработали все в деталях— имущественное распоряжение, алименты, обеспечение ребенка. Валентайн, я убежден, считал, что действует исключительно в моих интересах. Он наверняка сдерживал Маделин. Ведь он в своих глазах хороший человек. Он с понятием, а такие больше страдают. Они чувствуют больше ответственности — выстраданной ответственности. Я не сумел, простофиля, позаботиться о жене. Тогда он сам о ней позаботился. Я не способен воспитать собственную дочь. Тогда он вынужден сделать это вместо меня — из дружбы, из жалости, по широте душевной. Он даже соглашается со мной, что Маделин психопатка.

— Не разыгрывай меня.

— Я правду говорю. «Сучара бешеная,— его слова,— я, говорит, сердцем изболелся за эту малахольную».

— Тоже, выходит, загадочный тип. Ну и парочка! — сказала она.

— Еще бы не загадочный,— сказал Герцог.

— Мозес,— сказала Рамона,— давай кончим этот разговор, честное слово. Что-то ненужное в этом... Нам с тобой ненужное. Давай кончим...

— Ты еще не все слышала. Существует письмо Джералдин — как они обращаются с ребенком.

— Я знаю. Я читала. Хватит об этом, Мозес.

— Но ведь... Ладно, ты права,— сказал Герцог.— Умолкаю. Я помогу тебе убрать со стола.

— В этом нет необходимости.

— Помогу вымыть посуду.

— А уж посуду ты точно не будешь мыть. Ты в гостях. Я хочу составить все в мойку до завтра.

В качестве мотива, думал он, я недопонятое предпочитаю понятному вполне. Кристально ясное объяснение, по мне,— ложно. Но о Джун я должен позаботиться.

— Нет, Рамона, нет, меня каким-то образом умиротворяет мытье посуды. Случается такое.— Он заткнул водосток, высыпал мыльного порошка, пустил воду, повесил на ручку шкафчика пиджак и закатал рукава. Предложенный фартук он отверг.— Я опытный мойщик. Не забрызгаюсь.

Поскольку у Рамоны даже пальцы сексуальные, Герцогу было интересно посмотреть, как она справляется с обычными делами. Нормально она управляется с полотенцем, протирая стекло и серебро. Значит, не притворяется домоседкой, а так и есть. У него закрадывалось подозрение, не тетка ли Тамара готовит креветочный ремулад перед своим побегом. Получается, что — нет: Рамона сама готовит.

— Тебе надо подумать о будущем,— сказала Рамона.— Что ты предполагаешь делать в будущем году?

— Какую-нибудь работу найду.

— Где?

— Не могу решить: не то податься на восток, поближе к Марко, не то вернуться в Чикаго и приглядывать за Джун.

— Послушай, Мозес, практичность не порок. Или это дело чести — отказать себе в здравом рассуждении? Ты хочешь победить через самопожертвование? Так не бывает, и ты уже мог убедиться в этом. С Чикаго ты сделаешь ошибку. Ничего, кроме страданий, это тебе не даст.

— Может быть, но ведь страдание — это просто дурная привычка.

— Ты шутишь?

— Нисколько.

— В более мазохистское положение трудно себя поставить. Сейчас про тебя там знает каждая собака. Ты не будешь успевать отбиваться, оправдываться, получать плюхи. Зачем тебе такое унижение? Ты просто не уважаешь себя. Тебе хочется, чтобы тебя разодрали на куски? И в этом виде думаешь быть полезным Джун?

— Да нет, какая уж тут польза? Но как я могу доверить ребенка этой паре? Ты читала, что пишет Джералдин.— Он знал письмо наизусть, и ему не терпелось прочесть его.

— Все равно: ты не можешь забрать ребенка у матери.

— Это мой ребенок. У нее мои гены. Духовно они чужие друг другу.

Он снова стал горячиться. Рамона постаралась отвлечь его.

— А что ты мне рассказывал, как твой приятель Герсбах заделался чикагской знаменитостью?

— Ну как же. Он начинал учебными программами на радио, а теперь он везде. Он в комитетах, в газетах. Читает лекции в Хадассе... читает свои стихи. В Темплах. Вступает в Стандард-клуб. Он еще на телевидении! Фантастика! Был совсем деревенский парень, думал, что в Чикаго всего один вокзал. А теперь стал колоссальным деятелем — разъезжает по городу в «линкольн-континентале», носит твидовый пиджак рвотного розового цвета.

— Тебе вредно о нем думать,— сказала Рамона.— У тебя глаза делаются дикие.

— Я не рассказывал тебе, как Герсбах снял зал?

— Нет.

— Он распродал билеты на чтение своих стихов — мне друг рассказывал, Асфалтер: по пять долларов первые ряды, по три — задние. И когда читал стих про дедушку-дворника, не выдержал и расплакался. А люди выйти не могут. Все двери заперты.

Рамона несдержанно рассмеялась.

— Ха-ха! — Герцог спустил воду, выжал тряпку и пофукал моющим порошком. Отскреб и вымыл раковину. Рамона принесла ломтик лимона от рыбного запаха. Он выдавил сок на руки.— Герсбах!

— И все-таки,— убежденно сказала Рамона,— тебе нужно вернуться к научной работе.

— Не знаю. У меня такое ощущение, словно мне ее навязали. С другой стороны, чем мне еще заняться?

— Ты это говоришь со зла. В спокойном состоянии ты посмотришь иначе.

— Может быть.

Она прошла к себе.— Завести еще египетскую музыку? Хорошо действует.— Подошла к проигрывателю.— Ты что не разуешься, Мозес? В такую погоду, я знаю, ты не любишь обувь.

— Без нее ноги дышат. Пожалуй, сниму. Я уже шнурки развязал.

Высоко над Гудзоном стояла луна. Помятая стеклом, помятая вечерним зноем и словно обессилевшая от собственной белой силы, она же качалась на струях Гудзона. Внизу белели узкие вершины зданий, протяженно цепенели под луной. Рамона перевернула пластинку, и теперь с оркестром аль-Баккара пела женщина:

Viens, viens dans mes bras — je te donne du chocolat[1].

Опустившись рядом с ним на пуфик, Рамона взяла его за руку.— В чем они пытались тебя уверить,— сказала она,— это все неправда.

Вот это он всего больше хотел услышать от нее.— Ты о чем?

— Я немного разбираюсь в мужчинах. Я с первого взгляда на тебя поняла, до какой степени ты был невостребован. В эротическом смысле. Нетронут даже.

— Иногда я позорно не оправдывал ожиданий. Абсолютно не оправдывал.

— Некоторых мужчин надо охранять... если угодно, силой закона.

— Как рыбу и дичь?

— Я вовсе не шучу,— сказала она. Он ясно и определенно видел ее доброту. Она сочувствовала ему. Знала, что ему больно и почему, и предлагала утешение, за которым он, собственно, и пришел.— Они старались, чтобы ты почувствовал себя конченым стариком. А я тебе скажу такую вещь: старики пахнут старостью. Любая женщина подтвердит. Когда ее обнимает старик, она слышит запах затхлости и пыли, как от непроветренных вещей. Если женщина допустила обнять себя, и тут обнаружилось, какой он старый (поди знай, если он молодится), а унижать догадкой не хочется, она, может, смирится. И это самое страшное! А ты, Мозес, элементарно молод.— Она обняла его за шею.— У тебя восхитительно пахнет кожа... Что понимает Мадлин? Кукла в коробке.

Он думал о том, как чудесно вывезла его жизнь: чтобы стареющий себялюбец, законченный нарциссист, страдалец не самого достойного разбора получал от женщины умиротворение, которого ей на себя-то не хватало. Ему приходилось видеть ее усталой, убитой, без сил, с омраченным взглядом, в сбившейся юбке, с холодными руками и приоткрывшими зубы холодными губами, распростертой на диване — малорослая женщина, грузная, но не о том же речь; усталая карлица с пепельным запахом усталости изо рта. Готовая повесть борьбы и разочарований, суемудрие и суесловие, за которыми лежит простая потребность — женская. Она чувствует, что я убежденный семьянин. Я по натуре семьянин, и ей хочется создать со мной семью. И мне мила ее домашность. Она терлась губами о его губы. Уводила, если не оттаскивала, от ненависти и изуверских расправ. Откинув голову, она дышала жарко, умело, рассчитанно. Куснула его губу, от неожиданности он дернулся. Прихватив губу, все сильнее забирала ее, отчего в Герцоге резко наросло возбуждение. Она расстегивала его рубашку. Гладила его кожу. Ерзая на пуфике, завела свободную руку за спину и расстегнула блузку. Они держали друг друга в объятьях. Он поглаживал ее волосы. Духами и плотью пахло ее дыхание. Они еще целовались, когда грянул телефон.

— Господи! — сказала Рамона.— Господи ты боже мой!

— Будешь брать трубку?

— Нет, это Джордж Хоберли. Наверно, видел, как ты вошел, и хочет все испортить. Зачем помогать ему в этом?

— Я бы тоже не хотел,— сказал Герцог.

Она перевернула аппарат и выключила звонок.

— Вчера он меня опять довел до слез.

— Последнее, что я знаю,— он собирался подарить тебе спортивный автомобиль.

— Сейчас он настаивает, чтобы я повезла его в Европу. То есть он хочет, чтобы я показала ему Европу.

— Я не знал, что у него есть такие деньги.

— У него их нет. Ему придется занимать. Это обойдется в десять тысяч долларов, если жить в гранд-отелях.

— Интересно, какие слова он найдет?

---

[1] Приди, приди в мои объятья — я дам тебе шоколаду (*франц.*).

— Для чего? — Что-то в его тоне насторожило ее.

— Хотя бы для того, чтобы у тебя нашлись деньги на такое путешествие.

— Дело не в деньгах. Просто кончились отношения.

— А было им с чего начаться?

— Было, по-моему...— Ее ореховые глаза диковато глянули на него с порицанием, скорее даже с грустным вопросом, какая ему охота заводить эти странные речи.— Ты хочешь это обсуждать?

— Что он делает на улице?

— Я тут ни при чем.

— Он выложился ради тебя и погорел и теперь считает себя проклятым и ищет смерти. А куда лучше сидеть дома, потягивать пиво и смотреть Перри Мейсона.

— Ты очень суров,— сказала Рамона.— Ты, может, думаешь, что я порвала с ним ради тебя, и от этого чувствуешь неудобство. Ведь ты его вытесняешь и, значит, займешь его место.

Герцог поразмышлял и откинулся в кресле.— Может быть,— сказал он.— Но, мне кажется, дело в том, что если в Нью-Йорке у меня есть крыша над головой, то в Чикаго я такой же неприкаянный.

— Как ты можешь равнять себя с Джорджем Хоберли,— сказала Рамона так нравящимся ему музыкальным тембром. Восходя из груди, ее голос менял звучание в гортани, что бесконечно восхищало Мозеса. Другой не услышит здесь посулов чувственности, а Мозес — слышал.— Я пожалела Джорджа. Поэтому ничего, кроме временной связи, тут не могло быть. А ты... ты не тот мужчина, чтобы женщина испытывала к тебе жалость. Что угодно, но ты не слабый. В тебе есть сила...

Герцог кивнул. Опять его учат. И в общем-то он не возражал. Ясно как день, что его нужно приводить в порядок. И всех больше вправе это делать женщина, которая предоставила ему убежище, креветок, вино, музыку, цветы, сочувствие, заключила его, так сказать, в свое сердце, а потом и в объятия. Нужно помогать друг другу. Потому что в этом бессмысленном мире милосердие, сострадание, сердце (пусть даже подточенное эгоизмом), вообще все редкое, с трудом отвоеванное в многочисленных схватках редкими же единицами и сомнительное в своей победе, ибо мало в ком надежны ее плоды,— так все это редкостное зачастую развенчивается, отвергается, отклоняется сменяющимися поколениями скептиков. Самый разум, логика велят опуститься на колени и возблагодарить за малейший знак истинной доброты. Играла музыка. В окружении летних цветов и красивых, даже роскошных вещей, у нежно-зеленой лампы убежденно толковала с ним Рамона — с любовью глядел он на ее теплое, спелого цвета лицо. Снаружи дышал зноем Нью-Йорк; освещенная огнями, ночь могла обойтись без луны. Восточный ковер с его загогулинами обнадеживал выходом из тупиков. Он сжимал в пальцах мягкую прохладную руку Рамоны. Рубашка на груди была расстегнута. Он слушал ее, улыбаясь и время от времени кивая головой. В основном она совершенно права. Умная женщина, а главное — любимая. У нее доброе сердце. На ней черные кружевные трусики. Это он знал наверняка.

— Ты необыкновенно живучий,— говорила она.— И у тебя очень любящее сердце. Тебе бы избавиться от раздражительности. Она тебя изведет.

— Боюсь, что да.

— Ты, конечно, считаешь, что я слишком много теоретизирую. Но меня саму жизнь прикладывала не раз: кошмарное замужество, одна за другой дрянные связи. Слушай, у тебя есть силы восстановиться, и грех этим не воспользоваться. Воспользуйся!

— Догадываюсь, каким образом.

— Пусть это биология,— сказала Рамона.— Ты сильно действуешь. Знаешь, что я тебе скажу? Тут одна из булочной говорит вчера,

что я очень переменилась — цвет лица, говорит, глаза. «Мисс Донзел, вы, наверно, влюбились». И я поняла, что это благодаря тебе.

— Ты действительно переменилась,— сказал Мозес.

— Стала привлекательнее?

— Дальше некуда,— сказал он.

Еще больше расцвело ее лицо. Она взяла его руку себе под блузку. Благослови ее, Господи! Сколько радости от нее. Весь ее склад — ее франко-русско-аргентино-еврейский склад — был ему по сердцу.— Давай тебя тоже разуем,— сказал он.

Рамона выключила свет, оставив только зеленую лампу у постели.— Я скоро,— шепнула она.

— Может, ты плаксу египтянина выключишь? Язык бы ему вытереть насухо кухонным полотенцем.

Тронув кнопку, она остановила проигрыватель и сказала:— Я на пару минут,— неслышно прикрывая за собой дверь.

«Пара минут», конечно, метафора. Она готовилась долго. Он привык к ожиданию, видел в нем смысл и не обнаруживал нетерпения. Ее возвращение производило большой эффект— ради этого стоило потомиться. Однако же, как выяснилось, она чему-то его учила, а он, вечный прилежный ученик, это что-то пытался усвоить. В чем, он думает, выразился этот урок? Выяснилось, для начала, то, что в душе у него дикий беспорядок, что он, если угодно, дрожмя дрожит. А отчего? Оттого, что открылся миру и тот давит на него. Конкретно? Вот конкретно: что представляет собой мужчина? В городе. В этом веке. В переходный период. В общей массе. Преображенный наукой. Подвластный учреждениям. Всецело подконтрольный. Среди торжествующей механизации. После недавнего краха радикальных надежд. В обществе, которое перестало быть сообществом и обесценило личность. Ибо возобладала множественная сила большинства, не принимающая в расчет единичное. Тратящая миллиарды на борьбу с внешним врагом, оставляя без денег домашние порядки. Допустившая дикость и варварство в крупнейших своих городах. При этом добавьте давление человечьих миллионов, познавших силу согласованного образа действий и мыслей. Как мегатонны воды формуют организмы на дне морском. Как приливы шлифуют гальку. Как ветры выдувают утесы. Прекрасная сверхструктура, открывающая новые горизонты перед неисчислимым человечеством. И ты пошлешь их работать и голодать, а сам будешь лакомиться старомодными Ценностями? Да ты сам чадо этой массы и брат всем остальным. В противном случае ты неблагодарный человек, идиот и дилетант. Вот, Герцог, думал Герцог, ты просил конкретности — получай ее. Израненное сердце и спрыснутые бензином нервы венчают ее. Теперь: что говорит на этот счет Рамона? Она говорит: верни себе здоровье. Mens sana in corpore sana [1]. Органическая напряженность, откуда бы она ни бралась, требовала сексуальной разрядки. Независимо от возраста, биографии, положения, образования, культуры и развития у мужчины бывает эрекция. Это везде твердая валюта. Ее признает Английский банк. С какой стати я должен сейчас страдать от своих воспоминаний? Сильные натуры, говорил Ф. Ницше, могут забывать неподвластное им. Он, правда, говорил и другое: резорбция семени могучий питатель творческого начала. Поклонимся сифилитикам, учащим целомудрию.

Нет, меняться, меняться — кардинально меняться!

Тут себя обмануть не получится.

Рамона хотела, чтобы он ни перед чем не останавливался (pecca fortiter [2]). Почему он такой квакер в любви? Он сказал, что после былых невезений рад хоть как-то это делать — простенько, по-миссионерски. Она сказала, что для Нью-Йорка он диковина. Женщиной

---

[1] В здоровом теле здоровый дух (*лат.*).

[2] Греши смело! (*лат.*).

здесь быть непросто. У приличных с виду мужчин бывают специфические запросы. И она готова удовлетворить его любое пожелание. Он сказал, что из лежалой селедки она не сделает дельфина. Иногда она странным образом сбивалась на роль героини женского журнала. В этом случае высказывались самые возвышенные доводы. Цитировались Катулл и великие лирики всех времен — образованная женщина. Цитировались классики-психологи. Привлекалось Мистическое Тело. Вот затем она сейчас в соседней комнате — радостно готовится, раздевается, душится. От него требуется одно: остаться довольным и дать ей это понять, после чего она станет проще. С какой радостью она бы вообще переменилась! С каким облегчением она бы услышала: — Рамона, зачем все это? — Но к делу: жениться или нет?

Мысль о браке пугала, однако он обдумал ее всесторонне. У нее хорошие задатки: практичная, способная, не причинит ему зла. Женщина, проматывающая мужнины деньги, рано или поздно — по утверждению всех психиатров — кастрирует его. В житейском плане — он с увлечением отдался практическим мыслям — беспорядочность и одиночество холостой жизни были ему невмоготу. Он любил свежие сорочки, выглаженные носовые платки, своевременные набойки — все это было глубоко безразлично Маделин. Тете Тамаре хочется выдать Рамону замуж. У старушки в памяти наверняка застряло несколько слов на идише — шидах, тахлис [1]. Он заделается патриархом, как написано на роду всем Герцогам. Семьянин, отец, продолжатель жизни, посредник между прошлым и будущим, орудие таинственного творения,— сейчас это не котируется. Чтобы отцы вышли из употребления?! Разве что у мужеподобных женщин, у презренных и жалких синих чулков. (Как укрепляют практические мысли!) Он знал, что Рамона дорожит его учеными занятиями, книгами и статьями в энциклопедии, его докторской степенью, Чикагским университетом и очень не прочь стать фрау профессор Герцог. Развлекая себя, он вообразил, как они являются на фрачные приемы в отель «Пьер»: Рамона в длинных перчатках, волнующими верхами голоса она представляет его: «Мой муж, профессор Герцог». И он сам другой человек, Мозес, он излучает благополучие, до краев исполнен достоинства, приветлив со всеми без исключения. Поправляет волосы на затылке. Отменную они составляют парочку, она со своими бзиками, он — со своими! Рамона отыграется за всех, кто нагадил ей в жизни. А он? Он тоже взыщет со своих врагов. Йимах шмо! Да сотрутся их имена! Они поставили тенета на моих путях. Вырыли яму впереди меня. Сокруши, Господи, зубы в их ртах!

Темнея и напрягаясь лицом и особенно глазами, он снял штаны, расстегнул до конца рубашку. Интересно, как будет реагировать Рамона, если он попросится к ней в цветочное дело? А что? Больше соприкасаться с жизнью, общаться с покупателями. Человеку его темперамента оказалось не по силам аскетическое ученое затворничество. Он читал недавно, что заточенные в своих комнатах одинокие нью-йоркцы повадились звонить в полицию за помощью: «Ради Бога, пришлите наряд! Пришлите кого-нибудь! Посадите меня к кому-нибудь в камеру! Спасите меня. Потрогайте меня. Придите. Пожалуйста, придите кто-нибудь».

Герцог не стал бы со всей определенностью говорить, что не завершит свою работу. Глава «Романтический морализм» вышла вполне удачная, зато к следующей, «Руссо, Кант и Гегель», он охладел и застрял на ней. Что, если в самом деле податься в цветоводы? Важность этого бизнеса чертовски преувеличивают, но ему-то какое дело? Мысленно он видел себя в полосатых брюках, в замшевых туфлях. Придется свыкнуться с запахом земли и цветов. Лет тридцать с лишним назад, когда он умирал от пневмонии и перитонита, он отравился сладким

[1] Сватовство, цель (*идиш*).

духом красных роз... Их прислал брат Шура, работавший тогда у цветовода на Пил-стрит,— наверно, украл. Герцогу казалось, что сейчас он вытерпит розы. Губительная штука, пахучая красота, стройный пурпур. Надо иметь силы выдержать такие вещи, не то они, постаравшись, пронзят до нутра, и ты изойдешь кровью.

Тут появилась Рамона. Толчком открыв дверь ванной, она замерла напоказ в светлой кафельной раме. Надушенная, до бедер открытая. На бедрах черные кружевные трикотажные трусики по низу живота. Туфли на трехдюймовых гвоздиках. И весь наряд, плюс духи и губная помада. Чернота волос.

— Я тебе нравлюсь, Мозес?

— Ах, Рамона, конечно! Ты еще спрашиваешь! Я восхищен.

Опустив глаза, она глуховато рассмеялась.— Вижу, что нравлюсь.— Она отвела со лба волосы, когда наклонилась к нему проверить действие своей наготы — его реакцию на грудь и бедра женщины. Угольно чернели ее широко открытые глаза. Она взяла его запястье с набухшими венами и повела к постели. Он стал целовать ее. Понять это невозможно, думал он. Это тайна.

— Почему ты в рубашке? Она тебе не понадобится, Мозес.

Оба посмеялись — она его рубашке, он ее убранству. Безусловно, одежда много значила для Рамоны: в ней покоилось ее сокровище — нагота. Ее смех густел, стихая, уходя в глубь. Может, они полная глупость, ее черные кружевные исподнички, но они давали желаемый результат. Может, она действовала грубовато, но расчет был верен. Он смеялся, но уже был готов. Смешно голове, зато телу — жарко.

— Потрогай меня, Мозес. А тебя можно?

— Ну конечно.

— Ты рад, что не сбежал от меня?

— Рад.

— Так тебе хорошо?

— Очень. Замечательно.

— Если бы ты научился прислушиваться к себе... Свет оставить? Или хочешь темноту?

— Нет, лампа не мешает, Рамона.

— Мозес, милый. Скажи, что ты мой. Скажи!

— Я твой.

— Только мой.

— Только!

— Слава Богу, что ты есть. Поцелуй мою грудь. Любимый Мозес. О-о, слава Богу.

Оба спали крепко, Рамона не меняя положения. Только раз Герцога разбудил реактивный самолет — могучей силы верещание с жуткой вышины. Не вполне проснувшись, он выбрался из постели и рухнул в полосатое кресло, собираясь сейчас же писать письмо — может быть, Джорджу Хоберли. Но вместе с самолетным гулом ушло и это намерение. Его глаза затопила тихая, жаркая, недвижная ночь — город с его огнями.

Разглаженное любовью и сном, цвело лицо Рамоны. В руке она зажала оборчатый край пододеяльника, голова высоко, раздумчиво лежала на подушке — ему вспомнился меланхолический ребенок на карточке в соседней комнате. Одна нога раскрылась, показывая чресельную роскошь чуть волнистой шелковой кожи, возбудительно пахнущей. У нее прелестной кривизны полноватый подъем. Нос у нее тоже с кривинкой. И наконец плотно составленные по росту пухленькие пальцы. С улыбкой поглядывая, мешковатый спросонья, Герцог вернулся в постель. Погладил ее густую голову и заснул.

После завтрака он проводил Рамону до магазина. Она надела узкое красное платье, в такси они обнимались и целовались. Мозес был возбужден, много смеялся, то и дело повторяя про себя: «Как она хороша! И ведь благодаря мне». На Лексингтон авеню он вышел с нею, и они обнялись на тротуаре (где это видано, чтобы средних лет мужчины вели себя так несдержанно в общественных местах). Рамона была густо намазана, лицо пылало, горело; целуя, она прижалась к нему грудью; ожидавший таксист и помощница Рамоны, мисс Шварц, были зрителями.

Может, вот так и надо жить? — задался он вопросом. Может, достаточно он хлебнул горя, отстрадал свое и имеет право не задумываться о том, что про него думают другие? Он крепче обнял Рамону, ощутил лопающуюся тесноту ее грудной клетки, этого красного платья. Получил еще один душистый поцелуй. На тротуаре перед витриной выставлены свежеспрыснутые маргаритки, лилии, розочки, помидорная и перечная рассада в плоских плетенках. Стояла зеленая лейка с дырчатым носиком. Расплывшиеся капли пятнали цемент. И хотя автобусы наждачили воздух вонючим газом, он обонял свежий запах земли, слышал проходивших женщин, их каблучную дробь на жесткой мостовой. Развлекая таксиста, почти открыто порицаемый скрывшейся за листьями мисс Шварц, он целовал красочное, пахучее лицо Рамоны. В укрытой золотой нью-йоркской облачностью лексингтонской котловине здравствовали травимые автобусным чадом цветы — гранатового цвета розы, бледные лилии, чистейшая белизна, роскошный багрянец. По допущению своего характера и под настроение он пригубил на этой улице жизнь бесхитростно любящего существа.

Но стоило ему остаться одному, как возобновился неотменимый Мозес Елкана Герцог. Да что ж я за *создание* такое! Таксист проскочил светофор на Парк авеню, а Герцог рассмотрел положение вещей: я падаю на тернии жизни, истекаю кровью. Потом что? Падаю на тернии жизни, истекаю кровью. Дальше что? Меня укладывают в постель, я устраиваю себе недолгий праздник, но очень скоро падаю на те же самые тернии жизни, наслаждаясь болью, радостно страдая,— разберись кто может! Так что же во мне благотворного — и чтобы надолго? Неужели от рождения и до смерти я только одно могу иметь с этой патологии — благоприятное равновесие беспорядочных переживаний? И никакой свободы? Только импульсивные поступки? А как же все то благодетельное, что заключено в моем сердце,— неужели ничего не значит? Оно в насмешку, что ли, дается? Или оно фантом, манящий призрачным смыслом? Продолжай, дескать, человече, свои борения. Но нет же, данное мне во благо не фикция. Я знаю. Готов побожиться.

Он снова был необыкновенно возбужден. У него дрожали руки, когда он открывал дверь своей квартиры. Он чувствовал: что-то нужно сделать — что-то нужное, и сделать это немедленно. Ночь с Рамоной зарядила его силой, и эта сила возродила страхи, причем к прежним прибавился страх, что он надорвется, что эти сильные переживания окончательно сломят его.

Он разулся, снял куртку, ослабил ворот, открыл окна на улицу. Струи теплого воздуха с чуть гниловатым запахом гавани парусили ветхие занавески и маркизу над окном. На сквозняке он немного остыл. Нет, на добродетель сердца, видимо, не приходится рассчитывать: вот он пришел к себе, сорокасемилетний, переспав на стороне, с губой, распухшей от укусов и поцелуев,— и все те же проблемы перед ним, и в свое оправдание — что бы он еще представил? Был дважды женат; имел двоих детей; когда-то был ученым: в кладовке панцирным крокодилом пухнул его старенький саквояж с неоконченной рукописью. Пока он тянул время, с теми же мыслями подоспели другие. Два года назад его обставил некто Мермельштайн, профессор из Беркли[1], потряс-

[1] В г. Беркли (штат Калифорния) находится Калифорнийский университет.

ший, поразивший, ошеломивший цеховых собратьев, каковой судьбы домогался для себя Герцог. Мермельштайн умница и прекрасный ученый. По крайней мере от личной драмы он, очевидно, избавлен и может явить миру образец упорядоченности, с тем обретая себя в человеческом общежитии. Он же, Герцог, чем-то погрешил против собственного сердца, когда рвался к всеобщему синтезу.

Этой стране нужен добротный пятицентовый синтез [1].

Сколько заблуждений в его списке! Взять хотя бы его сексуальные турниры. Совершенное не то. Герцог покраснел, наливая в мерную чашку воду для кофе. Нужно быть истериком по натуре, чтобы сделать свою жизнь игралищем резких крайностей типа сила-слабость, потенция-импотенция, здоровье-болезнь. Такой чувствует позыв разить общественную несправедливость, а силенок мало, и он воюет с женщинами, с детьми, со своими «несчастьями». Вот и этот хлюст зареванный, Джордж Хоберли,— та же история. Герцог смыл в чашке старое кофейное кольцо. Чего ради Хоберли кидается в ювелирные лавки за подарками для Рамоны, платит ей дань? Потому что он сокрушен неудачей. Вот пример того, как мужчины ставят на кон целую жизнь и часто уродуются, даже губят себя на избранном пути. Раз политика заказана, остается только секс. И, может, Хоберли решил, что не удовлетворяет ее в постели. Но это вряд ли. Технические неполадки, даже ejaculatio praecox [2] таких, как Рамона, не обескуражат. Конфуз скорее раззадорит ее, добавит интереса, подвигнет на великодушие. Рамона добрейший человек. Просто она не хочет, чтобы этот кошмарный тип перекладывал на ее плечи *всю* свою ношу. Возможная вещь, что такие, как Хоберли, свой собственный распад намерены выдать за несостоятельность личностного существования. Он-де это свидетельствует. Он доводит любовь до абсурда, чтобы окончательно дискредитировать ее. На этом пути он поможет Левиафану системы не хуже его преданных слуг. Возможно другое: если будоражат безответные запросы, ультиматумы, жажда деятельности, братства, если уходит надежда пробиться к реальности, к Богу, у человека лопается терпение и он очертя голову кинется на все, что поманит надеждой. И Рамона казалась такой надеждой, причем *намеренно*. Герцог знал, как это бывает: ему самому случалось подать людям надежду. Передать шифровку: *Положись на меня*. Тут, видимо, все решает порыв, избыток здоровья или полнота жизни. Эта вот полнота и ведет человека от одной лжи к другой либо побуждает его обнадеживать людей. (Пустота жизни городит свою ложь, но это уже другой вопрос.) Я, видимо, вот что делаю: распаляю себя собственной драмой — высмеиваю себя, выставляю неудачником, каюсь и наговариваю на себя — и распаляю себя сладострастно, художественно, пока не выйду на сексуальную кульминацию. А в ней, в этой высшей точке, как бы разрешение, ответ на многие «духовные» проблемы. Так оно и будет, пока я доверяюсь Рамоне в роли жрицы. Она читала Маркузе, Н. О. Брауна, неофрейдистов. Она хочет уверить меня в том, что тело суть одухотворенная правда жизни, секстант души. Рамона родной человек, бесконечно трогательная, но лучше не соблазняться теоретизированием. Только забредешь глубже в высокопарные дебри.

Он смотрел, как в треснувшем куполе кофеварки клокочет лава (так же мысли его бурлят в черепе). Когда напиток как следует забурел, он налил чашку и вдохнул аромат. Он решил написать Дейзи, что сам поедет к Марко в родительский день, не надо ссылаться на нездоровье. Хватит симулировать! Еще он решил переговорить с адвокатом Симкиным. Немедленно.

---

[1] Обыгрываются слова вице-президента Маршалла в президентство В. Вильсона (1913—1921): «Этой стране нужна добротная пятицентовая сигара».

[2] Преждевременная эякуляция (*лат.*).

Зная образ жизни Симкина, надо было звонить ему раньше. Румяный, плотный холостяк макиавеллевской складки жил в западной части Центрального парка с матерью, вдовой сестрой и кучей племянников и племянниц. В роскошной, вообще говоря, квартире он занимал крошечную комнату, где спал на раскладушке. Ночной столик горбился юридическими фолиантами, здесь он работал и читал далеко за полночь. Стены от пола до потолка были увешаны безрамной абстрактно-экспрессионистской живописью. В шесть Симкин вставал с раскладушки и гнал свой «громобой» к какому-нибудь ресторанчику в Ист-сайде — китайскому, греческому, бирманскому: он выискивал самые заповедные места, самые темные подвалы в Нью-Йорке. Позавтракав луковой булкой и лососиной, он любил прилечь в конторе на кожаный диван, накрыться шалью, связанной матушкой, и под музыку Палестрины, Монтеверди посображать в голове свои юридические и деловые операции. В восемь или около того он утюжил толстые щеки электробритвой «Норелко», а в районе девяти, дав сотрудникам указания, был таков — шел в галереи, на аукционы.

Герцог набрал номер — и застал Симкина на месте. И Симкин сразу — так было заведено — начал жаловаться. Июнь! — самые свадьбы, двое помощников отсутствуют — медовый месяц. Идиоты не перевелись.— Так, профессор,— сказал он,— я вас порядочно не видел. Что скажете?

— Для начала, Харви, я должен спросить, можете ли вы давать мне советы. В конце концов, вы друг дома Маделин.

— Поддерживаю отношения — так будет правильнее. К вам у меня симпатия. Папа и дочка Понтриттеры проживут без нее, особенно эта сука Маделин.

— Порекомендуйте адвоката, если не хотите связываться.

— Адвокаты нынче кусаются. У вас, как я понимаю, с деньгами не густо.

Харви любопытен, рассуждал с собой Герцог. Ему интересно побольше узнать о моих делах. Разумно ли я поступаю? Рамона предлагает своего адвоката. Но это меня тоже свяжет. Не говоря о том, что он будет защищать интересы Рамоны.— Когда вы свободны, Харви? — сказал Герцог.

— Слушайте... я приобрел две работы одного югославского примитивиста, Пачича. Он тут проездом из Бразилии.

— Мы можем позавтракать вместе?

— Только не сегодня. Ангел Смерти к рукам нас прибрал...— Герцог уловил характерные нотки еврейского комедиантства, до которого Симкин был большой охотник, игру балаганного страха, накрут притворного смятения.— Нажил — прожил, а сил убывает...— продолжал свое Симкин.

— Мне нужно полчаса.

— А давайте пообедаем у Макарио... Держу пари, вы про такой не слышали... Наверняка. Вы же у нас деревенщина.— Он зычно крикнул секретарше: — Принесите колонку Эрла Уилсона о Макарио. Вы слышите меня, Тилли?

— Так вы весь день заняты?

— Мне надо быть в суде. Пока шмуки прохлаждаются с невестами на Бермудах, я в одиночку бьюсь с Молех-хамовес [1]. Вы хоть представляете, сколько стоит у Макарио порция spaghetti al burro [2]? Догадайтесь.

Надо продолжать, подумал Герцог. Указательным и большим пальцами он потер брови.

— Три с половиной?

— Это, по-вашему, дорого? Пять долларов пятьдесят центов!

— Господи, что же они туда кладут?

---

[1] Ангел Смерти (*иврит*).

[2] Спагетти с маслом (*итал.*).

— Посыпают золотым песком вместо сыра. Нет, серьезно, я сегодня слушаю дело. Я герой дня. Как же я ненавижу судебные заседания.

— Давайте я подъеду на такси и отвезу вас в центр. Я буду очень скоро.

— Я жду клиента. Вот что, если после суда останется пара минут... Какой-то вы возбужденный. В канцелярии окружного прокурора сидит мой кузен Ваксель. Я оставлю ему записочку для вас... А что вы не скажете, в чем дело, пока мой малый задерживается?

— Речь идет о моей дочери.

— Хотите возбудить дело об опекунстве?

— Не обязательно. Я тревожусь за нее. Не знаю, как она и что.

— Плюс желание отыграться, я думаю.

— Я регулярно посылаю деньги на содержание, постоянно интересуюсь Джун, но ни слова не получаю в ответ. Чикагский адвокат Химмельштайн сказал, что мой иск об опекунстве заранее обречен. Но ведь я не знаю, как воспитывают ребенка. Я только знаю, что, когда она им мешает, они запирают ее в машине. А что дальше будет?

— Вы считаете, что как мать Маделин не годится?

— Естественно, считаю, но я не хочу пороть горячку и вставать между матерью и ребенком.

— А с этим парнем, вашим дружком, она живет? Помните, вы в прошлом году сбегали в Польшу и писали завещание? Вы назвали его душеприказчиком и опекуном.

— В самом деле? Да... вспомнил. Похоже, что так.

Он слышал адвокатское покашливание и понимал: притворство — Симкин смеялся. И вряд ли его можно за это упрекнуть. Герцога самого только что не забавляла сентиментальная вера в «лучших друзей», и он не мог не думать, что своей доверчивостью сильно подсластил удовольствие Герсбаху. Совершенно ясно, думал Мозес, что позаботиться о себе я не сумел и каждый день подтверждал свою никчемность. Мудак!

— Я отчасти удивился, когда вы его назвали,— сказал Симкин.

— А что, вы что-нибудь знали?

— Нет, но вид, одежда, трубный голос, нахватанный идиш — это настораживало. И главное, как навязывал себя! Мне совсем не понравилось, что он вас тискал. Целовал даже, если не ошибаюсь...

— Это в нем русская душа нараспашку...

— А я и не хочу сказать, что он педераст,— сказал Симкин.— Так живет Маделин с этим бесподобным опекуном? Надо было выяснить. Почему вы не наймете частного сыщика?

— Детектива? Ну конечно!

— Эта идея вас увлекает?

— Разумеется! Как я сам не подумал?

— А деньги подходящие у вас имеются? Тут нужны солидные деньги.

— Я начну работать через несколько месяцев.

— Пусть, но что вы заработаете? — О заработках Мозеса Симкин всегда отзывался с оттенком грусти. Бедные интеллектуалы — о них ноги вытирают. Его коробило, что Герцог не возмущается. А Герцог просто мерил все кризисом 29-го года.

— Я могу занять.

— Частный сыск стоит страшных денег. Я вам все разъясню.— Он помолчал.— При нынешней налоговой системе крупные корпорации произвели на свет новую аристократию. Машины, самолеты, люксы в отеле — дополнительные льготы. Рестораны, театры et cetera [1], хорошие частные школы тоже подорожали, так что низкооплачиваемый в них не сунется. Даже проституция поднялась в цене. Закономерно медицинские расходы обогатили психиатров, почему и страдать нынче накладнее. А разные финты со страхованием, недвижимостью et cetera — про это

[1] И так далее (*лат.*).

тоже найдется что сказать. Жизнь стала мудреная. Крупные организации имеют свое ЦРУ. Дипломированные шпионы крадут промышленные секреты. В общем, детективы снимают большие гонорары с богатой публики, и когда заявляется ваш брат с малым достатком, он сталкивается с худшими из вымогателей. Сплошь и рядом частным сыщиком называет себя обычный шантажист. Я мог бы дать вам хороший совет — хотите?

— Конечно. Конечно, хочу. Но...

— Какой мне в этом интерес? — Как и рассчитывал Герцог, Симкин сам поставил этот вопрос.— Вероятно, вы единственный в Нью-Йорке не знаете, каких собак навешала на меня Маделин. А ведь я был ей вместо дядюшки. На родительских чердаках она, как щенок, путалась под ногами у театральной шушеры. Я жалел Мади. Дарил ей кукол, водил в цирк. Когда пришло время поступать в Радклифф, я ее одел и обул. А вот когда ее обратил этот хлыщ монсеньор и я решил потолковать с ней, она обозвала меня лицемером и проходимцем. И что я карьерист, использую связи ее отца и вообще еврей-недоучка. Хорош недоучка! А школьная медаль за латынь в 1917 году? Ну, это — ладно. Она ведь еще обидела мою маленькую кузину, эпилептичку, слабую, безответную мышь, которая о себе-то не умела позаботиться. Это ужас что было.

— Что она сделала?

— Долгий разговор.

— Значит, Маделин вы больше не защищаете. А я не слышал, чтобы она плохо отзывалась о вас.

— Может, просто не запомнили. Она мне хорошо попортила кровь, уж поверьте. Ничего. Пусть я алчный стяжатель — я ведь не лезу в святые, но... В конце концов, вся жизнь — грызня. Вы, может, этого не замечаете, профессор, исповедуя истину, добро и красоту, как герр Гёте.

— Я понял, Харви. Я знаю, что я не реалист. И не способен разобраться во всем, как это пристало реалисту. Какой совет вы хотели мне дать?

— Можно поразмышлять, пока мой клиент не возник. Если вы действительно хотите предъявить иск...

— Химмельштайн говорит, что, увидев мою седую голову, присяжные вынесут отрицательное решение. Может, мне покраситься?

— Возьмите адвоката из солидной конторы — какого-нибудь симпатичного иноверца. Крикливых евреев близко к суду не подпускайте. С достоинством ведите дело. Вызовите в суд главных участников — Маделин, Герсбаха, миссис Герсбах, и пусть принесут присягу. Предупредите их о лжесвидетельстве. Если правильно поставить вопросы — а я подзаймусь вашим симпатягой адвокатом и вообще возьму процесс в свои руки,— то ни один волос на голове вам не придется трогать.

Герцог промокнул рукавом сразу высыпавший на лбу пот. Вдруг стало очень жарко. Из открывшихся пор вышел запах остававшейся в нем Рамоны. Он смешался с его запахами.

— Вы тут еще?

— Да-да, я слушаю,— сказал Герцог.

— Им придется во всем признаться, и ваше дело они для вас сами выиграют. Мы спросим Герсбаха, когда началась его связь с Маделин, как он подбил вас вытащить его на Средний Запад — это же вы его вытащили?

— Я нашел ему работу. Снял для них дом. Поставил мусоропровод. Обмерил окна, чтобы Феба знала, везти или не везти из Массачусетса старые шторы.

Симкин опять притворно поразился.

— Слушайте, с кем он живет?

— Этого я не знаю. Я бы хотел очной ставки с ним — могу я вести допрос в суде?

— Не полагается. Но адвокат задаст все ваши вопросы. Вы распнете этого калеку. И Маделин заодно. Достаточно она покуражилась. Ведь

ей в голову не приходит, что все права на вашей стороне. Вот уж кто шмякнется об землю!

— Я часто думаю: умри она — и дочка будет со мной. Иногда я совершенно убежден, что могу без малейшей жалости взглянуть на труп Маделин.

— Они *вас* пытались убить,— сказал Симкин.— В известном смысле, они к этому вели дело.— Герцог чувствовал, как задели, заинтриговали Симкина его слова о смерти Маделин. Он ждет от меня заявления, что я таки способен убить их обоих. И ведь это правда. Мысленно я разделывался с ними пистолетом, ножом, не ощущая при этом ни ужаса, ни чувства вины. Ничего не ощущая. А прежде я и помыслить не мог о таком злодействе. Может, и в самом деле могу убить их. Только говорить Харви такие вещи не следует.

Симкин продолжал: — На суде надо будет доказать, что их внебрачная связь протекает на глазах у ребенка. Сами по себе интимные отношения не в счет. Иллинойский суд признал опекунство за матерью — проституткой по вызову, потому что свои художества она приберегала для гостиничных номеров. Суды не собираются вообще прикрыть сексуальную революцию. Но если блуд происходит дома и тут же ребенок, то отношение будет совсем другое. Травмирование детской психики.

Герцог слушал, тяжело глядя в окно и пытаясь унять желудочные судороги и выкрученную, узловатую сердечную боль. Телефон словно настроился на шум его крови, ровным и стремительным током заполнявшей череп. Скорее всего это была рефлекторная реакция барабанных перепонок: такое ощущение, что мембраны вибрировали.

— Учтите,— сказал Симкин,— это попадет во все чикагские газеты.

— Мне нечего терять, в Чикаго меня практически забыли. Скандал ударит по Герсбаху, а не по мне,— сказал Герцог.

— Как вы себе это представляете?

— Он всюду лезет, и у него в друзьях все городские знаменитости — церковники, газетчики, профессура, телевизионщики, федеральные судьи, дамы из Хадассы. Бог мой, он ни в чем не знает удержу. Все время тасует участников телевстреч. Вообразите, что будет, если в одной программе сойдутся Пауль Тиллих, Малколм Икс и Хедда Хоппер [1].

— Мне казалось, он поэт и диктор на радио. А тут получается — телевизионный импресарио.

— Он поэт средств массовой коммуникации.

— Однако допек он вас, а? Если, конечно, это не в крови.

— А что бы вы сами чувствовали, окажись в одно прекрасное утро, что все свои шаги вы сделали в сомнамбулическом состоянии?

— Я не пойму, сейчас-то он во что играет.

— Объясню. Он инспектор манежа, популяризатор, сводня при знаменитостях. Он отлавливает известных людей и выпускает их на публику. Причем он каждому внушает убеждение, что тот обрел в нем родную душу. С деликатным он сама деликатность, с душевным — сама теплота. Грубияну нагрубит, проходимца обведет, негодяя переплюнет. На все вкусы! Эмоциональная плазма, способная циркулировать в любой системе.

Герцог знал, что Симкин смакует его филиппику. Он еще больше знал: адвокат заводил его, подначивал. Но это его не остановило.— Я пытался определить его тип. Кто он — Иван Грозный? Без пяти минут Распутин? Калиостро для бедных? Политик, оратор, демагог, рапсод? Или какой-нибудь шаман сибирский? Среди них не редкость трансвеститы и гермафродиты...

---

[1] Здесь, наряду с протестантским теологом, названы лидер черных мусульман и журналистка, поставлявшая скандальную хронику из мира кино и театра.

— Не хотите ли вы сказать, что философы, которых вы изучали целую вечность, все погорели на одном Валентайне Герсбахе? — сказал Симкин.— И насмарку все годы под знаком Спиноза — Гегель?

— Вам смешно, Симкин.

— Простите. Неудачная шутка.

— Ничего. Попали в точку. Это было вроде уроков плавания на кухонном столе. И за философов я не отвечаю. Может, философия власти в лице Томаса Гоббса как-то его объяснит. А я не о философии думал, когда думал о Валентайне,— о книгах по французской и русской революциям, которые глотал мальчишкой. И еще о немых фильмах вроде «Mme Sans Gêne» [1] — с Глорией Свонсон. Об Эмиле Яннингсе в роли царского генерала. Во всяком случае, мне представляется, как толпы вламываются во дворцы и храмы, грабят Версаль, вымазываются в креме и льют вино себе на член, расхватывают короны, митры и кресты...

Заводя подобные речи, он отлично сознавал, что поддается эксцентрической, опасной силе, владевшей им. Сейчас она действовала, он чувствовал, как его ломает. В любую минуту мог раздаться хруст. Надо остановиться. Он слышал мягкий ровный хохоток Симкина — тот, наверно, положил сдерживающую ручонку на пухлую грудь, юмористически собрал морщины в районе кустистых глаз и волосатых ушей.— Освобождение, беременное безумием. Неограниченная свобода выбирать и играть с нутряной силой великое множество ролей.

— Ни в каком кино не видел, чтобы человек лил вино себе на член,— где это вам повезло? — сказал Симкин.— В Музее современного искусства? И потом, не станете же вы себя равнять с Версалем, Кремлем, старым режимом и чем там еще?

— Конечно, не стану. Это всего-навсего метафора — и, пожалуй, не самая удачная. Я единственно хочу сказать, что Герсбах ничего не упустит, ко всему примерится. И если, скажем, он увел от меня жену, то как же еще не пострадать за меня? Ведь у него это лучше получится. А раз он такой трагический любовник, прямо-таки полубог в собственных глазах, то как же не быть еще лучшим на свете отцом и семьянином? Его жена считает его идеальным мужем. У нее одна претензия к нему: очень любвеобильный. Он лез на нее каждую ночь. Она не поспевала за ним.

— Кому это она жаловалась?

— Своей лучшей подруге, Маделин,— кому же еще? Но при всем том Валентайн действительно семьянин. Он единственный понимал, как я переживаю за малышку, и слал мне еженедельные отчеты — подробные, согретые любовью. Пока я не узнал, что он утешает меня в горе, которое сам же причинил.

— И что вы тогда сделали?

— Искал его по всему Чикаго. Потом из аэропорта, перед отлетом, послал ему телеграмму. Хотел прямо сказать, что убью при первой же встрече. Но таких текстов «Уэстерн-юнион» не принимает. И я передал всего четыре слова: «Подлость убивает лучше яда». По первым буквам получается «пуля».

— Я думаю, он приуныл после такой угрозы.

Герцог не улыбнулся.— Не знаю. Он суеверный. Но главное, он семьянин, как я сказал. Дома он все мастерит сам. Сам покупает парнишке лыжный костюм. Идет с хозяйственной сумкой в хиллманские подвалы и приносит булочки и селедку. Вдобавок он еще спортсмен, чемпион колледжа по боксу в Онеонте [2], если не врет,— это на деревянной-то ноге. С картежниками он перекинется в картишки, с раввинами потолкует о Мартине Бубере, с Мадригальным обществом Гайд-парка споет мадригал.

---

[1] Мадам без стеснения (*франц.*).

[2] Онеонта — город в штате Нью-Йорк.

— В общем,— сказал Симкин,— он просто психопат, прущий наверх, хвастун и воображала. Не без клиники, пожалуй, но в остальном знакомый еврейский тип. Пройдоха и горлопан. Какая машина у этого благодетеля-поэта?

— «Линкольн-континенталь».

— Ого.

— Но, выбравшись из своего «континенталя», он начинает говорить как Карл Маркс. Я слышал, как он вещал в «Аудитории» [1] перед двумя тысячами людей. Это был симпозиум по десегрегации, и он крепко вложил процветающему обществу. Вот так они устраиваются. Если у тебя хорошая работа — тысяч на пятнадцать в год — и есть медицинская страховка, есть пенсионный счет и, может, кое-какие накопления, то почему не побыть радикалом? Образованная публика тащит из книг все лучшее и рядится в него вроде тех крабов, что украшают себя водорослями. И надо было видеть ту публику — благополучных бизнесменов и интеллигенцию, которые отлично управляются со своими делами, но обо всем прочем имеют самые сбивчивые представления, и потому они идут послушать оратора, который высказывается убежденно, с чувством и зажигательно, который указывает и настаивает. У него огнем пылающая голова, рокочущий кегельбаном голос, грохающий по настилу протез. Для меня он такой же курьез, как идиот-монголоид, поющий «Аиду». *А для них...*

— Боже, как вы завелись,— сказал Симкин.— Почему вы перескочили на оперу? Из ваших слов мне совершенно ясно, что этот парень — актер и Маделин актерка. Я это всегда знал. Относитесь спокойнее. Так горячиться не на пользу. Вы себя изведете.

Прикрыв глаза, Мозес помолчал. Потом сказал: — Пожалуй, да...

— Одну минуту, Мозес, по-моему, пришел мой клиент.

— Конечно-конечно, я вас не задержу. Давайте телефон вашего кузена и попозже встретимся в городе.

— А отложить нельзя?

— Нет, я должен сегодня принять решение.

— Ладно, постараюсь выкроить время. А пока приходите в норму.

— Мне нужно пятнадцать минут,— сказал Герцог.— Я подготовлю все вопросы.

Уже записывая телефон Вакселя, Мозес подумал, что, может быть, самое лучшее в его положении — перестать лезть к людям за советом и помощью. Одно это могло поправить дело. Он крупно, разборчиво переписал номер в блокнот. В трубке орал на клиента Симкин. Что-то насчет муравьеда...

Войдя в ванную, он расстегнул рубашку и стряс ее на пол. Пустил воду в раковину. Красиво отливал в полумраке массивный овал ее чаши. Он тронул пальцами ее почти безупречную белизну, вдохнул запах воды и гнильцы из сливной трубы. Красота нежданно объявляет себя. В этом вся жизнь. Он подставил голову под хлещущий кран, задохнувшись от холода и восторга. *Уважаемый мосье де Жувенель* [2], *если назначение политической философии, как Вы это определяете, состоит в том, чтобы цивилизовать силу, образумить скота в человеке, привить ему культуру и направить его энергию на созидание, то не могу не сказать,*— он переключился с Жувенеля на другое,— *что появление Джимми Хоффы в недавнем телевизионном шоу открыло мне, какую страшную силу может представлять собой злая целеустремленность. Мне было жаль отданных ему на растерзание бедных профессоров. И я бы вот что сказал Хоффе: «Почему вы думаете, что быть реалистом значит быть скотом?»* Герцог взялся за краны; завернув левый, с

---

[1] Общественно-культурный центр в Чикаго: театр, отель, конторы. В 1946 г. приобретен чикагским университетом Рузвельта.

[2] Бертран де Жувенель дез Юрсен (1903—1987) — французский экономист, социолог. Один из первых западных методологов социального прогнозирования.

горячей водой, он сильнее пустил холодную. Вода заливала голову и шею. Его колотило невероятное напряжение мысли и чувства.

Наконец он поднял мокрую голову и сунулся в полотенце, он ее тер и мотал ею, стараясь привести себя в спокойное состояние. Вытряслась мысль, что у него в обычае, оказывается, именно в ванной приходить в согласие с собой. Здесь он чувствовал себя более собранным, владеющим собой. Он вспомнил, как те несколько недель, что они прожили в Людевилле, он понуждал Маделин отдаваться ему на полу ванной комнаты. Она уступала, но, боже мой, с какой злостью она укладывалась на кафель. На что тут можно было рассчитывать? Вот так перебивается могучий человеческий интеллект, не находя себе настоящего дела. Сейчас ему представилось, как ноябрь кропил дождем его недокрашенный людевилльский дом. Сумах распушил свой лиственно-красный шелк, в трепещущем лесу охотники гнали оленя — бах! бах! — и возвращались с убоиной. Над опушками медленно развеивался пороховой дым. Мозес знал, что лежащая на полу жена мысленно проклинает его. И он старался сыграть комическую сторону вожделения, абсурдность всего этого, безусловную жалкость этого вида борьбы людской, ее рабскую сущность.

Вдруг накатило воспоминание совсем в другом роде — о случившемся примерно месяц спустя в доме Герсбахов, близ Баррингтона. Герсбах зажег ради сынишки, Эфраима, ханукальные свечи [1], безбожно переврал обряд, а потом плясал с мальчиком. Эфраим в наглухо застегнутой пижамке и Валентайн — сильный и хромой, не желающий знать о своем увечье, что особенно привлекало в нем: хандрить из-за того, что ты калека? Еще чего! Он плясал, топотал, бил в ладоши, колыхал пылающей копной волос, всегда грубо обкромсанных на шее, и с неистовой нежностью глядел на сына темными, жаркими глазами. Когда зажигался этот взгляд, его карие глаза словно отсасывали весь его румянец, и щеки делались пористыми. И по тому, как глядела Мади, как она взрывно смеялась, мне давно пора было обо всем догадаться. Взгляд глубокий. Незнакомый. Словно лопнула стальная преграда. Она любит этого актера.

Нелепое ты существо! У Герцога это вырвалось сгоряча (хоть и с горестным убеждением), и рассудок тотчас затребовал условного равновесия, цепляясь за идеи (покуда руки намыливали лицо и вставляли лезвие в безопасную бритву) последней книги профессора Хокинга [2]: *при спорности всеобщей социальной справедливости в этом мире, возрастать она должна у каждого в его собственном сердце. Субъективный вывих надо выправить, спрямить общностью, полезной обязанностью. И — правильно Вы говорите — личным страданием, поднявшимся над мазохизмом. Только все это знакомо. Знакомо до боли. Созидательное, по Вашей мысли, страдание... в этом сущность христианства.* Так, о чем то бишь я? Герцог призвал себя к большей ясности. Что у меня на уме? Пожалуй, вот что: я тяну эту парочку в суд, пытаю их, жгу пятки паяльной лампой — так? А зачем? Они имеют право друг на друга, они уже, наверно, сроднились. Ну и оставь их в покое. А как же справедливость? Ах, справедливость! Ему, изволите видеть, нужна справедливость! Чуть не все человечество прожило жизнь без всякой справедливости. Миллиарды людей, приравненных к скоту, веками истязались, обманывались, порабощались, душились, забивались насмерть и выбрасывались на свалку. А Мозес Е. Герцог, взвыв от боли и гнева, во всю мочь требует справедливости. Это его qui pro quo взамен утрат, его право Невиновной стороны. *Теплая шубка у любимой киски, поглажу по шерстке — она и не пискнет, дам молочка — и на всем белом*

[1] Праздник Ханука — еврейский праздник посвящения, обычно приходится на декабрь.

[2] Уильям Эрнест Хокинг (1873—1966) — американский философ, развивавший идеи персонализма — атеистического направления, признававшего личность первичной творческой реальностью.

свете нет лучше людей, чем хорошие дети. Стало быть, так велика и глубока его ярость, так она кровожадна и упоительна, что руки, трепеща, рвутся к их горлу. И нечего толковать о младенческой чистоте своего сердца. Общественное устройство, при всей его несуразности и порочности, куда совершеннее и добрее меня, поскольку оно хоть иногда восстанавливает справедливость. Я в долгу перед силами, сделавшими меня человеком. Но где это! Где это человеческое, ради чего только и стоит выживать! Чем мне оправдаться — вот этим?! Из заляпанного зеркала на него глядело лицо с пенной бородой. Он взглянул в свои растерянные, злые глаза и застонал. *Боже мой, кто это существо? Полагает себя человеком. Но что там человеческого? В нем одно стремление быть человеком. Некая будоражащая мечта, неотступная фантазия. Просто — желание. Откуда оно? Что в нем? И что нам с него! Это не вечное устремление. Оно смертно, но оно — человеческое.*

Надевая рубашку, он прикидывал, как поедет к сыну в родительский день. Рейсовый автобус в Катскиллские горы уходил с вестсайдской станции в семь утра и по скоростной дороге за три неполных часа приезжал на место. Он вспомнил позапрошлый год: толчея детей и родителей на пыльных площадках, бараки из грубых досок, заморенные козы и хомячки, чахлые кусты, спагетти на бумажных тарелках. К часу он вконец вымотается, и ожидание автобуса будет тягостным, но ради Марко он сделает все, что можно. И еще ради Дейзи — пусть та побудет дома. Ей хватает неприятностей: старуха-мать впала в маразм. Он слышал об этом от разных людей, и на него необычайно подействовало, что бывшая теща, по-мужески красивая и властная, до мозга костей суфражистка, «современная женщина» в пенсне и с копной седых волос, потеряла контроль над собой. Она забрала себе в голову, что Мозес развелся с Дейзи из-за того, что та проститутка, имеет желтый билет: в бредовом состоянии Полина опять стала русской. Словно не было пятидесяти лет, прожитых в Зейнсвилле, штат Огайо, когда она умоляла Дейзи перестать «путаться с мужчинами». Каждое утро, проводив парня в школу и собираясь на службу, все это выслушивала бедная Дейзи — абсолютно безупречная, надежная и до жути ответственная женщина. Она работала статистиком в Институте Гэллапа [1]. Ради Марко она старалась оживить дом, к чему совершенно не имела призвания, и попугайчики, комнатные растения, серебряный карась и яркие репродукции Брака и Клее из Музея современного искусства, пожалуй, только добавили общей унылости. Как не убавлял подавленности самой Дейзи ее подтянутый вид — прямые стрелки чулок, пудреное лицо и подрисованные выразительным карандашом брови. Вычистив клетку, задав корм всей своей живности и полив цветы, она напоследок заполучала в передней дряхлую мать, велевшую прекратить позорный образ жизни. Потом менявшую тон: — Я прошу тебя, Дейзи.— Потом уже заклинавшую, тяжело став на колени, широкобедрая старуха с белыми повисшими прядями, с такой еще женственной длиннолицей головой, в пенсне, мотающемся на шелковом снурке.— Детка, не надо этого.

Дейзи пыталась поднять ее с пола.— Хорошо, мама. Я исправлюсь. Обещаю тебе.

— Ты идешь к мужчинам.

— Да нет же, мама.

— Нет — к ним. Это — общественное зло. Ты подхватишь дурную болезнь. Умрешь страшной смертью. Надо бросить это. Тогда и Мозес вернется.

— Хорошо, хорошо. Встань, пожалуйста, я брошу.

---

[1] Официальное название: Американский институт общественного мнения.

— Ведь можно как-то иначе зарабатывать себе на жизнь. Сделай мне такую милость, Дейзи.

— Все, мама, кончено. Пойдем сядем.

С занемевшими ляжками, подгибаясь в коленях, ветхая Полина тряско и трудно вставала с пола, и Дейзи отводила ее в кресло.— Я их всех разгоню. Идем, мама. Я включу телевизор. Ты что хочешь посмотреть — кулинарную школу? Дайон Лукас? Или Клубный завтрак? — Сквозь жалюзи струилось солнце. Трескучее, мельтешащее изображение на экране окрашивалось желтым тоном. И седая благонравная Полина, принципиальная и твердокаменная старуха, целыми днями высиживала перед телевизором с вязаньем. Захаживали присмотреть соседки. Из Бронкса наезжала кузина Ася. По четвергам приходила убраться женщина. Но в конечном счете Полину на девятом десятке пришлось-таки определить в дом престарелых — где-то на Лонг-Айленде. Вот как крушатся самые стойкие натуры!

Дейзи, я так тебе сочувствую. Жалко...

Беда не приходит одна, подумал Герцог. Саднили выбритые щеки, он намазал их гамамелисом, вытер пальцы о полы рубашки. Схватив шляпу, пиджак и галстук, сбежал по сумрачной лестнице — не было времени канителиться с лифтом. На стоянке таксист-пуэрториканец охорашивал карманной расческой глянцевую черную голову.

Галстук Мозес повязал уже в машине. Шофер обернулся получше разглядеть его.

— Куда, герой?

— В центр.

— Слушай, я тебя, наверно, удивлю.— Они ехали на запад к Бродвею. Шофер все так же разглядывал его в зеркальце. Тогда и Герцог, подавшись вперед, прочел рядом со счетчиком фамилию: Теодор Вальдепенас.— Утром,— сказал Вальдепенас,— на Лексингтон авеню я видел малого в пиджаке точно такого фасона. В такой же шляпе.

— А лица не видели?

— Лица — нет.— Такси выскочило на Бродвей и погнало в сторону Уолл-стрит.

— А где — на Лексингтон авеню?

— В районе шестидесятых улиц.

— И что делал тот парень?

— Чувиху в красном сосал. Почему я и не видел лица. Но *как*, я тебе скажу! Так это ты, что ли?

— Скорее всего да.

— Смотри, что делается! — Вальдепенас шлепнул ладонью по баранке.— Обалдеть. Тут сколько миллионов народу. Я вез одного из Ла Гардиа через Триборо и Ист-Ривер-драйв и высадил на Лексингтон у Семьдесят второй. Тут ты с чувихой, а через два часа я тебя беру!

— Все равно что поймать рыбу, проглотившую королевский перстень.

Полуобернувшись, Вальдепенас через плечо посмотрел на Герцога.— А чувиха что надо. В соку. Блеск! Жена?

— Нет, я не женат. И она не замужем.

— С тобой, приятель, все в порядке. Когда состарюсь, возьму с тебя пример. Чтоб не было остановки. Я уже сейчас, если честно, от сопливок шарахаюсь. До двадцати пяти с ними нечего делать. Я на них клал. Баба только после тридцати пяти начинает понимать. Самый товар тогда... Куда тебе?

— В городской суд.

— Ты адвокат? Полицейский?

— Какой же я полицейский в этом пиджаке!

— Чудила, сейчас детективы в платьях расхаживают. Да мне все равно. Я тут — слышишь? — в прошлом месяце здорово обозлился на одну сопливку. Ложится, понимаешь, а сама резинку жует и мусолит журнал. Только еще не говорит: — Давай работай! — Я говорю: —

Слушай, с тобой Тедди. Резинка, журналы — это зачем? — Ладно,— говорит,— давай по-быстрому.— Ничего отношение?! — По-быстрому,— говорю,— я на своей тачке гоняю. А ты за такие слова получишь по зубам.— И знаешь, пихать ее без удовольствия. В восемнадцать лет они даже погадить не умеют.

Герцог рассмеялся главным образом от удивления.

— Я прав — нет? — сказал Вальдепенас.— Ты не ребенок.

— Да, не ребенок.

— Женщина за сорок — она оценит...— Они были у Хаустон-стрит.

Какая-то небритая пьянь, злобно сжав челюсти и вытянув руку за чаевыми, ловила машины — протереть стекло грязной тряпкой.

— Гляди, что этот сачок творит,— сказал Вальдепенас.— Пачкает стекло. Дурачье откупается. У кого коленки дрожат. Кто пикнуть боится. Я видел, как шваль из Бауэри просто харкает на машину. Пусть только притронутся к моей тачке. Вот она, монтировка. Как звездану гаду по башке!

Наклонный Бродвей укрывала плотная летняя тень. На тротуаре выстроились отслужившие столы и винтовые стулья, старые каталожные ящики, отливавшие зеленью аквариума, маринованного огурчика. Тяжеловесный и пасмурный, надвинулся финансовый Нью-Йорк. Совсем близко церковь Троицы. Герцог вспомнил, что обещал Марко показать могилу Александра Гамильтона. Он рассказывал ему о дуэли с Бэрром и как летним утром окровавленное тело Гамильтона привезли на дне лодки. Бледный и выдержанный Марко слушал, мало что выражая на веснушчатом фамильном лице. Похоже, его совсем не удивляло обилие (пропасть!) сведений, которыми была набита отцовская голова. В океанариуме Герцог классифицировал рыбью чешую — ктеноидная, плакоидная [1]... Он знал, где поймали латимерию [2], как устроен желудок омара. И все это он вываливал на своего сына — это надо прекратить, решил Герцог: виноватое поведение, неуравновешенный отец — какой пример мальчику? Я пережимаю с ним.

Вальдепенас что-то говорил, когда Мозес расплачивался. Он балагурил в ответ, но уже машинально. Он отключился. Словоблудие забавно в меру.

— Копи силы, доктор.

— До новой встречи, Вальдепенас.

Он повернулся лицом к серой громаде суда. На широких ступенях вихрилась пыль, камень поистерся. Поднимаясь, Герцог нашел букетик фиалок, оброненный женщиной. Может, невестой. Цветы едва пахли, но он сразу перенесся в Массачусетс — в Людевилль. Сейчас вовсю цветут пионы, благоухает жасмин. И в уборной Маделин прыскала жасминовым деодорантом. В этих фиалках ему слышался запах женских слез. Он захоронил цветы в мусорный бачок, тешась надеждой, что уронившая их не потеряла большего. Через четырехстворную вращающуюся дверь он ступил в вестибюль, выуживая из кармана сорочки сложенный клочок бумаги с телефоном Вакселя. Нет, еще рано звонить. Симкин с клиентом не могли приехать так скоро.

Имея в запасе время, Герцог слонялся на верхнем этаже по бесконечным темным коридорам, из которых ходившие взад-вперед обитые двери с овальным окошком вели в залы заседаний. Он заглянул в одно; широкие скамьи красного дерева манили покоем. Он вошел, уважительно сняв шляпу и кивнув судье, но тот даже не заметил его.

Шарообразно лысый, на всю голову распяливший лицо, с глубоким голосом, кулак опустивший на документы,— г-н Судья. Громад-

---

[1] Плакоидная — чешуя хрящевых рыб, ктеноидная — костных.

[2] Латимерия — единственный современный вид целакантообразных. Поимка первого экземпляра (в 1938 г.) у берегов Южной Африки принадлежит к числу крупнейших зоологических открытий XX века.

ный зал с лепным потолком, унылые охристые стены. Когда кто-нибудь из надзирателей открывал дверь за судейским местом, виделся стальной штакетник арестантских камер. Герцог скрестил ноги (весьма картинно, он и в растерзанном виде просился на полотно) и, темнея глазами, внимательный, приготовился слушать, слегка отвернув в сторону лицо — от матери унаследованная привычка.

Поначалу как бы ничего не происходило. Адвокаты и клиенты, сбившись в кучку, буднично переговаривались, уточняли подробности. Громогласно вступил судья.

— Потише там! Итак, вы...

— Он говорит...

— Я его сначала выслушаю. Итак, вы...

— Нет, сэр.

— Что — нет? — вопросил судья.— Защитник, что значит его «нет»?

— Мой подзащитный по-прежнему не признает себя виновным.

— Не виноват...

— Виноват он, мистер судья,— ненапористо сказал негритянский голос.

— ...увлекли его с Сент-Николас авеню в подвал дома — точный адрес имеется? — с целью ограбления,— покрыл всех бас судьи; у него был сильный нью-йоркский акцент.

С заднего ряда Герцог теперь разглядел обвиняемого. Негр в замызганных коричневых штанах. Его ноги буквально дрожали от нетерпения. Словно ему бежать на дистанцию — он даже полуприсел в своих шоколадных портках, как на старте. Но куда — в десяти футах от него стальные решетки. У истца была перевязана голова.

— Сколько у вас было денег при себе?

— Шестьдесят восемь центов, ваша честь,— сказал перевязанный.

— Он силой заставил вас спуститься в подвал?

Обвиняемый сказал: — Нет, сэр.

— Вас не спрашивают. Помолчите пока.— Судья был раздражен.

Перевязанный обернулся. Герцог увидел черное, сухое, старое лицо, воспаленные глаза.— Нет, сэр. Он сказал: я же тебя угостил.

— Вы знакомы с ним?

— Нет, сэр, он только поставил мне.

— Значит, вы пошли с незнакомым человеком в подвал дома — где адрес? Бейлиф [1], где все бумаги? — Герцог уже понял, что судья развлекал себя и досужую публику показной несдержанностью. Иначе тут умрешь со скуки.— Что произошло в подвале? — Он вникал в писанину, которую передал бейлиф.

— Он ударил меня.

— Взял и ударил? Где он стоял, сзади?

— Я не видел. Пошла кровь. Залила глаза. Я ничего не видел. Те напрягшиеся ноги рвались на свободу. Готовили побег.

— И он отобрал шестьдесят восемь центов?

— Я вцепился в него и стал кричать. Тогда он опять меня огрел.

— Чем вы били этого человека?

— Ваша честь, мой подзащитный отрицает, что ударил его,— сказал адвокат.— Они знакомы. Вместе выпивали.

Из марлевой оправы на адвоката выставилось губастое, сухое, красноглазое, черное лицо.— Я его не знаю.

— Даже один такой удар мог прикончить парня.

— Нападение с целью ограбления,— услышал Герцог. Судья добавил: — Я допускаю, что истец был пьян, с чего и следует начать.

Вот-вот, его кровь была хорошо разбавлена виски, когда пролилась в угольную пыль. На что-нибудь в этом роде обречена пьяная кровь. Осужденный пошел, тая в мешковатых, потешных штанах свой

[1] Судебный пристав.

волчий рыск. Забиравший его надзиратель с накладным полицейским жиром на щеках взирал на него почти дружелюбно. Открыв дверь, эта морда хлопком по плечу направила его в камеру.

Перед судьей выстроилась новая группа, полицейский в штатском давал показания.

— В семь тридцать восемь вечера в подвальном мужском туалете Большого Центрального вокзала... этот мужчина (называется фамилия) у соседнего писсуара схватил меня за половой орган и при этом сказал...— Детектив, специализирующийся по мужским сортирам, думал Герцог, шьется там в виде живца. Показания дает без запинки, квалифицированно — дело, видно, привычное.— Вследствие чего я арестовал его за нарушения, предусмотренные...— Судья прервал постатейный перечень и сказал: — Виновен — невиновен?

В правонарушители попал высокий молодой иностранец. Был предъявлен паспорт: немец. На нем длинное, перехваченное поясом, коричневое кожаное пальто; у него кудрявая головка, красный лоб. Выяснилось, что он стажируется в одной бруклинской больнице. Тут судья удивил Герцога, уже записавшего его в разряд раскормленных, бранчливых, темных канцелярских крыс, потешающих бездельников на скамьях(включая сюда и Герцога). А тот, теребя обеими руками ворот черной мантии и, как понимал Герцог, заклиная защитника помолчать, вдруг говорит: — Вы лучше доведите до сведения подзащитного, что в случае признания себя виновным он теряет право на практику в США.

Она таки человеческая голова, эта вспучившаяся из дырки в черной судейской хламиде плотская масса, почти безглазая (у кита — какие глаза?). И утробный, хамский голос — человеческий голос. Как можно ломать человеку жизнь только за то, что он поддался порыву в вонючем вертепе под Большим Центральным, в этой городской клоаке, где никакой разум не поручится за свою крепость, где полицейские (которые, может, сами этим грешат) провоцируют и хватают бедняг? Вот и Вальдепенас говорит, что полицейские сейчас одеваются женщинами, чтобы вылавливать насильников и просто кобелей, и если закон благословляет их переход в гомосексуалисты, то о чем другом они будут думать? Чем больше пищи дать полицейскому воображению... Он не принимал эту извращенную идею наблюдения за соблюдением. Это личное дело — как решать свои сексуальные проблемы, коль скоро не нарушается общественный порядок и не страдают дети. Дети должны быть в стороне. Категорически. Это непреложный закон для каждого.

Он продолжал заинтересованно присутствовать. Стажерское дело отправили на доследование, и перед судом предстали герои неудавшегося ограбления. Задержанный — парень; хотя он себя затейливо размалевал и некоторыми чертами определенно был женщина, в лице оставалось и кое-что мужское. Замасленная зеленая рубашка. Длинные, жесткие, грязные крашеные волосы. Круглые белесые глаза, пустая, если не сказать больше, улыбка. Отвечал он пронизывающе-звонким голосом, соответственно своим вторым половым признакам.

— Имя?

— Какое, ваша честь?

— Ваше собственное.

— Как мальчика или как девочки?

— А, ну да...— Встрепенувшись, судья обвел зал глазами, мобилизуя публику. *Прошу слушать.* Мозес подался вперед.

— Вы сами — кто: мальчик или девочка?

— Как придется. Для кого — мальчик, для кого — девочка.

— Как это выясняется?

— В постели, ваша честь.

— Хорошо, если — мальчик?

— Алек, ваша честь. А наоборот — Алиса.

— Где вы работаете?

— В барах на Третьей авеню. Сижу в них.

— Это теперь называется работой?

— Я проститутка, ваша честь.

Улыбаются бездельники, адвокаты, полицейские, сам судья упивается, и только стоящая сбоку толстуха с голыми тяжелыми руками не веселится со всеми.

— А мыться не надо на вашей работе? — сказал судья. Ах, артисты! — подумал Мозес. Сплошной театр.

— Чистыми ложатся только в гроб, судья,— как ножом резанул сопрановый голос. Судья блаженствовал. Он свел свои крупные пятерни и спросил: — В чем состоит обвинение?

— Попытка ограбления с игрушечным пистолетом «Мануфактуры и галантереи» на Четырнадцатой улице. Он потребовал у кассирши выручку, а та ударила его и обезоружила.

— Отняла игрушку! Где кассирша?

А вот — толстуха с мясистыми руками. С густой проседью голова. Мясистые плечи. Честностью ожесточенное курносое лицо.

— Это я, ваша честь. Мари Пунт.

— Мари? Вы храбрая женщина, Мари, и находчивая. Расскажите, как это было.

— Он держал в кармане руку, как будто с пистолетом, а другой дал сумку, куда переложить деньги.— Тяжелый на подъем, простой дух, заключил Герцог, мезоморфный [1], что называется, бессмертная душа в телесном склепе.— Я догадалась, что он меня дурачит.

— Что вы сделали?

— У меня под рукой бейсбольная бита, ваша честь. Мы ими торгуем. Я и врезала ему по руке.

— Молодчина! Все так и было, Алек?

— Да, сэр,— ответил тот ясным, выстуженным голосом. Герцог пытался понять секрет его бойкости. Какой видится жизнь этому Алеку? Похоже, он платит миру его монетой — комедианствует, ерничает. Эти крашеные волосы, похожие на зимнюю, сбившуюся овечью шерсть, со следами туши выпуклые глаза, тесные подстрекательские брюки и что-то овечье даже в издевательском его веселье — нет, он актер с воображением. И свое испорченное воображение он не принесет в жертву окружающей порче, он подсознательно объявляет судье: — Твои права и мой позор — одного порядка.— Скорее всего он так себе это мыслит, решил Герцог. Сандор Химмельштайн утверждал в запале, что всякий человечишка блядь. В буквальном смысле слова судья, конечно, ни под кого не ложился, но он безусловно сделал все что нужно и где нужно, добиваясь этого назначения. Достаточно посмотреть на него, чтобы не корить себя за напраслину: лицо циника, такое никого не обманет. Зато Алек претендовал на некий романтизм и даже определенную долю «духовного» кредита. Кто-то, должно быть, убедил его, что фелляция откроет ему истину и честь. Этот порченый крашеный Алек — он *тоже* имеет идею. И он чище, выше любого педераста, потому что не лжет. Не у одного Сандора такие вот дикие, куцые идеи истины, чести. Реализм. Грязь высокоосмысленная.

Всплыли наркотики. Чего и следовало ожидать. Это на них понадобились деньги, не так ли?

— Так, ваша честь,— сказал Алек.— Я почти раздумал, потому что это не женщина, а мясник. С такой страшно связываться. И все-таки решил попробовать.

Мари Пунт без спросу рта не открывала. Стояла, подав голову вперед.

Судья сказал: — Алек, если так будет дальше, земля горшечника [2] вам обеспечена. Годика через четыре, пять...

---

[1] Промежуточный, средний.

[2] Купленная на возвращенные Иудой тридцать сребреников земля «для погребения странников».

Могила! Опустевшие глазницы, сгнившая резиновая улыбка. Что, Алек? Не пора задуматься, взяться за ум? Только куда выведет Алека его ум? На что ему рассчитывать? Сейчас он возвращается в камеру, покрикивая: — Привет! Всем привет! — Улещивает, тянет время.— По-ка-а! — Его выталкивают наконец.

Судья помотал головой. Беда с педами! Он достал из черной сутаны платок, вытер шею, отразив лицом золотую россыпь ламп. Расплылся в улыбке. Мари Пунт еще стояла, он сказал: — Благодарю вас, мисс. Вы тоже можете идти.

Герцогу увиделось, как присутствует он при всем этом, картинно скрестив ноги, уперев в бедро острый овал шляпы, напряженной позой распялив застегнутый полосатый пиджак, как наблюдает за всем с понимающей выдержкой, с открытостью и сочувствием, словно вторя песенке, откуда вспомнились слова: «Мухи любят тебя и меня, мухи не любят Иисуса». Приличный, достойный человек не подвергается полицейскому судилищу, не опустится до скотского уровня мученичества и кары. Склонившись набок, Герцог с трудом лез в карман. Есть чем позвонить? Пора звонить Вакселю. Не добравшись до монет (толстеем?), он встал. И сразу почувствовал, что с ним происходит неладное. Словно в кровь впрыснули страшную, горячую горечь, отчего вспыхнули колотые иголками вены, лицо, сердце. Он знал, что бледнеет, хотя в голове бешено стучал пульс. Он видел, как судья поднял на него глаза, точно напоминая, что, уходя, вежливый человек прощается с хозяином... Повернувшись к нему спиной, Герцог выскочил в коридор, толкнув дверь от себя. Повозившись с неразмятой петлей на новой рубашке, расстегнул ворот. Лицо взмокло от пота. У высокого, до пола, широкого окна он понемногу наладил дыхание. В основании окна была металлическая решетка. Оттуда тянул сквознячок, под складками темно-зеленых штор шевелилась пыль. От сердечной недостаточности умерли некоторые его ближайшие друзья, а главное, дядя Арий, не говоря уж об отце, и временами Герцогу казалось, что он тоже умрет в одночасье. Хотя — нет, мужчина он крепкий, здоровый, и такого... Что ты городишь? Однако предложение он закончил: такого везения ему не будет. Нужно жить, исполнить свое назначение, каким бы оно там ни было.

Жжение в груди утихло. Осталось ощущение полновесного глотка яда. Тут мелькнуло подозрение, что этот самый яд поднялся из его же нутра. Больше того, он знал, что так оно и есть. Каким образом? Надо ли полагать, что нечто доброе в нем испортилось, испоганилось? Или было поганым с самого начала? И в нем самом зло? Зрелище судебной расправы возбудило его. Покрасневший лоб студента-медика, дрожащие ноги негра — он ужаснулся им. Однако доверия к своей реакции у него не было. По убеждению некоторых — Симкина, например, Химмельштайна или доктора Эдвига,— Герцог в известном смысле устроен просто, его гуманные чувствования застряли на детском уровне. Определенные переживания были ему сохранены, как сохраняют жизнь ручному гусю. Он тот же ручной гусь! Симкин вообще ставил его на одну доску со своей болезной кузиной, эпилептичкой, которую будто бы обидела Маделин. Как фортепиано и вышивка составляли воспитание викторианских леди, так еврейскую молодежь растили на моральных принципах, думал Герцог. Сюда же я пришел увидеть нечто совсем другое. Такая сейчас у меня задача.

Я сознательно перетолковал свой контракт. Я никогда не был распорядителем — был лишь временно доверен самому себе. Очевидно, я сохраняю веру в Бога. Хотя никогда не соглашусь с этим. Что еще объяснит мне мои поступки и самую жизнь? Попробую просто констатировать положение вещей, коль скоро неясно, как ко мне подступиться. Все мое поведение заставляет предположить, что я с самого начала — всю мою жизнь — бился в какую-то стену, убежденный, что биться надо, что из этого что-нибудь да выйдет. Что, может, я пробью

ее насквозь. Такая, наверно, была идея. Так что же, это — вера? Или детскость, ждущая признаний в любви за верность порученному делу? Если хотите психологических объяснений — да, это детское и клинически безысходное. Но Герцог не считал единственно правильным, как тому учит закон экономии доводов, самое строгое либо самое пресное объяснение. Нетерпение, любовь, усилие, головокружительная страсть, от которой делаешься больным,— с этим как быть? Сколько еще мне выносить это битье изнутри в мою грудную преграду? Она ведь и рухнет. Так и жизнь моя ломится через свои заборы, и сдержанные порывы аукаются жчугим ядом. Зло, зло, зло!.. Пылкая, неповторимая, исступленная любовь, обернувшаяся злом.

Ему было больно. И правильно. Поделом. Хотя бы потому, что многих, даже очень многих вынуждал лгать ему, начиная, естественно, с мамы. Матери лгут детям по обязанности. Его же мать, возможно, казнилась еще его грустным видом, узнавая в нем себя. Фамильный взгляд, глаза — не глаза даже: лампады. И хотя он умиленно вспоминал печальное мамино лицо, в глубине души он не хотел, чтобы такая печаль олицетворялась и впредь. Да, конечно: там отразился глубинный опыт их народа, его отношение к счастью и смерти. Этот грустный человеческий казус, эта мрачноватая оболочка, эти отверделые черты смирения пред судьбой человечьей, это прелестное лицо — оно выявляло отзывчивость тончайшей маминой души на величие жизни, изобильной горем, смертью. Да-да, конечно: она была красивая. Но он надеялся на перемены. Когда мы найдем общий язык со смертью, мы обретем иное выражение, человеческое. Мы переменимся внешне. *Когда же* мы найдем общий язык!

Нельзя сказать, чтобы, щадя его чувства, она всегда лгала ему. Он вспомнил, как однажды на его вопрос: каким образом библейский Адам был создан из праха земного? — она повела его к окну — уже вечерело. Мне было лет шесть-семь. Какое-то доказательство она припасла. На ней было серо-бурое, дроздового окраса платье. Густые черные волосы тронуты сединой. Что-то она собиралась показать мне у окна. За ним было уже темно, только от снега шел в комнату свет. На окнах крашеные наличники — жетлые, янтарные, красные; лучистые трещины на стылом стекле. Вдоль тротуаров стояли толстые бурые столбы, в то время еще с частой крестовиной наверху, с зелеными стеклянными изоляторами, густо облепленные бурыми воробьями, за перекладины цепляются обледенелые провисшие провода.

Сара Герцог раскрыла ладонь и сказала: — Смотри внимательно — сейчас увидишь, из чего был создан Адам.— Она терла ладонь пальцем, пока на изрезанной линиями коже не проступило темное, безусловно землистое пятнышко.— Видишь? Вот так оно и было.— И сейчас, у высокого бесцветного окна, за порогом полицейского суда легший в дрейф Герцог, взрослый человек, повторял мамин урок. Он тер ладонь и улыбался, и у него получилось — такое же темное пятнышко обозначилось на ладони. Он увел взгляд в ажурную чернь бронзовой решетки. А может, она просто разыграла меня с этим доказательством? Такие шутки возможны, когда отчетливо сознаешь, что такое смерть и чего стоит человек.

Умирала она целую неделю, и тоже зимой. Умирала в Чикаго, Герцогу было шестнадцать лет, еще немного — и молодой человек. Все это происходило в Вест-сайде. Она угасала. Проникаться сознанием этого он не стал — уже он набрался вольнодумства. Уже Дарвин, Геккель и Спенсер не годились ему. С Зелигом Конинским (что-то вышло из этого представителя золотой молодежи?) он забраковал местную библиотеку. На тридцатидевятипенсовом развале в «Уолгрине» они чего только не покупали — главное, чтобы потолще: «Мир как воля и представление», «Закат Европы». А в каких условиях жили! Герцог

свел брови, напрягая память. Папа работал ночами, днем отсыпался. Все ходили на цыпочках. Разбудишь — криков не оберешься. На двери в ванной висел его пропахший льняным маслом комбинезон. В три часа он вставал и полуодетый выходил к чаю, притихший, с гневной маской на лице. Но мало-помалу в нем просыпался делец, промышлявший на Вишневой улице перед негритянским борделем, среди товарных поездов. Он обзавелся шведским бюро. Сбрил усы. А потом мама стала умирать. Я просиживал зимние ночи на кухне, штудируя «Закат Европы». За круглым столом, покрытым клеенкой.

Это был страшный январь, улицы намертво сковал лед. Во дворах стыла луна на глазурованном снегу, помеченном корявыми тенями веранд. Под кухней была котельная, топил дворник в джутовом переднике, с припудренной угольной пылью негритянской бородкой. Совок скреб по цементу, лязгал в топке. Клацала прикрытая им дверца. В старых корзинах из-под персиков дворник выносил жуткое количество золы. Внизу же, в комнате с лоханями, я тискал, когда повезет, молоденьких прачек. А в то время, о котором идет речь, я корпел над Шпенглером, барахтался и тонул в разливанном море фантасмагорий мрачного германца. Сначала была античность, которую все оплакивают,— прекрасная Греция! После нее настала «магическая» эпоха, потом — «фаустовская». Я узнал, что по своему еврейству я прирожденный маг и что наш пик миновал, остался в прошлом. Как бы я ни старался, идея христианского и фаустовского мира мне недоступна, она никогда не станет моей. Дизраэли [1] *полагал,* что понимает англичан и может ими руководить, но он глубоко заблуждался. И лучше я покорюсь судьбе. Как ящерицы пережиток рептильного расцвета, так я — реликтовый еврей, и процветать я могу только обманным образом — за счет гоев, я рабочая скотина выдохшейся и ни к чему не годной цивилизации. Что говорить, то было время духовного оскудения: ничего заветного не оставалось. Я сатанел, полыхал, что наша топка внизу, и все читал, читал, изнемогая от злости.

Я поднимал глаза от плотного текста с его вязким буквоедством, растравляя сердце честолюбивым, мстительным чувством, и тут в кухню входила мама. От своего одра она через весь дом шла к этой двери с пробивавшимся внизу светом. Во время болезни ее подстригли — и сразу неузнаваемо изменились глаза. Нет, иначе: обнажилась правда.— *Сынок, это смерть.*

Я предпочитал не внимать ей.

— Я увидела свет,— говорила она.— Зачем ты так поздно засиживаешься? — Но умирающие перестают сознавать время. Просто она жалела меня, сироту, видела мое позерство, амбициозность, глупость и думала про себя, что в некий отчетный день мне потребуются и силы, и хорошее зрение.

И спустя несколько дней, когда уже отнялся язык, она все еще пыталась утешать Мозеса. Как тащила его когда-то в санках, в Монреале, и совсем выдохлась, а он даже не подумал слезть. С учебниками в руках он вошел в комнату умиравшей, стал что-то рассказывать. Она подняла руки и показала ногти. Они посинели. Он смотрел, а она тихо кивала вместо слов: — Вот так-то, Мозес: умираю.— Он подсел к ней, она стала гладить его руку. И все гладила, гладила одеревенелыми пальцами. Под ногтями ему уже чудился сизый могильный суглинок. Ее забирал к себе прах! Стараясь не глядеть, он слушал улицу: скрип детских салазок, скрежет тележки на бугристом льду, хриплый клич торговца яблоками, грохот его железных весов. В отдушине шелестел пар. Штора была задернута.

Сейчас, перед дверью полицейского суда, он сунул руки в карманы брюк и поднял плечи. Он надоел себе. Книжный недоросль. И ко-

---

[1] Бенджамин Дизраэли (1804—1881) — английский писатель и государственный деятель; премьер-министр в 1868 г. и 1874—1880 гг.

нечно, памятны похороны. Как Уилли плакал в молельне! Выходит, у братца Уилли сердце подобрее было. Но... Мозес тряхнул головой, прогоняя эти мысли. Чем больше он думал, тем мрачнее виделось прошлое.

Он ждал очереди позвонить. Наслушанная и надышанная до него трубка была влажной. Герцог набрал номер, который дал Симкин. Нет, сказал Ваксель, Симкин ему ничего не передавал, но пусть господин Герцог поднимется и подождет у него.— Спасибо, я перезвоню,— сказал Герцог. Он терпеть не мог ожидать в конторах. У него вообще не было терпения ждать.— Вы случайно не знаете — может, он в здании?

— Да здесь он, конечно,— сказал Ваксель.— И думается мне, у него уголовное дело. А это значит...— И с ходу назвал несколько номеров комнат.

Некоторые Герцог записал. Он сказал: — Я пока поищу, а через полчаса перезвоню вам, если не возражаете.

— Какие возражения. У нас рабочий день. А вы суньтесь-ка на восьмой этаж. У нашего Наполеончика такой голос, что вы его сквозь стены услышите.

В первом же зале, что подсказал Ваксель, шел суд присяжных. Народу на полированных деревянных скамьях было совсем мало. Через несколько минут он напрочь забыл о Симкине.

Молодую пару, женщину и мужчину, с которым она жила в скверной меблирашке в верхней части города, судили за убийство сына, трехлетнего ребенка. Мальчик у нее от другого, тот ее бросил, объяснил в своей справке защитник. Герцог отметил, что адвокаты тут как на подбор поседелые и немолодые — другое поколение и другой круг, все люди терпимые, утешительные. Обвиняемые узнавались по виду и одежде. На мужчине запачканная и заношенная куртка на молнии, на рыжей, с большим красным лицом женщине ситцевое домашнее платье коричневого цвета. Оба держались невозмутимо — ни на его лице, с низкими бачками и светлыми усами, ни на ее, с покатыми веснушчатыми скулами и заплывшими продолговатыми глазами, свидетельские показания ни в малейшей степени не отозвались.

Она родилась в Торонто и была от рождения хромой. Отец работал механиком в гараже. Кончила четыре класса, КУР [1]-94. Любимцем в доме был старший брат, а на нее махнули рукой. Невзрачная, злобная, угловатая, в бессменном ортопедическом ботинке, она с ранних лет сознавала свою отверженность. Суду представлены свидетельские показания, продолжал адвокат, выдержанный, мягкий, приятный человек. Буквально с первого класса злобная, необузданная девочка. Есть письменные характеристики учителей. Есть медицинский и психиатрический анамнезы и, главное, заключение невропатолога, которое, по мнению защитника, заслуживает особого внимания суда. Из него следует, что по результатам энцефалограммы больная страдает психическим заболеванием, способным кардинально менять поведение. У нее отмечались бурные, эпилептического характера вспышки ярости; отмечалась неадекватность эмоций вследствие мозгового нарушения. Из-за хромоты бедняжку травили, позже ее совращали подростки. Суд по делам несовершеннолетних представил ее распухшее досье. Ненавистница-мать отказалась присутствовать на суде, якобы заявив: — Она мне не дочь. Мы умываем руки.— В девятнадцать лет обвиняемая забеременела от женатого мужчины, через несколько месяцев вернувшегося в семью, к жене. Она отказалась добиваться усыновления и некоторое время жила с ребенком в Трентоне, потом обосновалась в Флашинге, жила в людях — готовила и убирала. В один из выходных она познакомилась с обвиняемым подельником, в ту пору уборщиком

[1] Коэффициент умственного развития.

в закусочной на Колумбус авеню, и, решив сойтись с ним, перебралась в «Монткам-отель» на 103-й улице. Герцог знал это место. Его убожество шибало в нос уже с улицы, в открытые окна изливался темный смрад — постельный, мусорный, хлорный, клопоморный. С пересохшим ртом он тянулся вперед, напряженно вслушиваясь.

Теперь показания давал судебно-медицинский эксперт. Он видел мертвого ребенка? Да. Ему есть что сказать по делу? Да, есть. Он огласил дату и подробности экспертизы. Дородный, лысый, важный, с мясистыми ответственными губами, он держал заключение обеими руками, как певец свою партию,— опытный, квалифицированный свидетель. Ребенок, сказал он, был нормального сложения, но исхудавший — видимо, от недоедания. Имелись признаки начинающегося рахита, зубы уже были поражены кариесом, но иногда это следствие токсикозов при беременности. А каких-нибудь особенных следов на теле ребенка не было? Были явные следы побоев. Однократных или периодических? По его мнению, весьма частых. Кожа на голове содрана. Сильнейшие кровоподтеки на спине и ногах. Покров на голенях бледный. А где самые тяжелые ушибы? На животе, причем в области гениталий, мальчика, по-видимому, били чем-то царапающим кожу, пряжкой, например, или острым каблуком.— А что дало внутреннее обследование? — продолжал обвинитель.— Переломаны два ребра, один перелом старый. Свежий перелом повредил легкое. У мальчика был разрыв печени. Последовавшее кровотечение скорее всего и вызвало смерть. Еще была мозговая травма.— Итак, вы убеждены, что ребенок умер насильственной смертью? — Убежден. Уже такая травма печени смертельна.

Герцогу чудилась во всем неправдоподобная приглушенность. Адвокаты, присяжные, мать ребенка, ее крутой сожитель — все были невероятно сдержанны, отменно владели собой, говорили чуть слышно. Мертвая тишина прилична убийству? — думал Герцог. Бесчувственными истуканами сидели судья, присяжные, адвокаты и обвиняемые. А как я смотрюсь со стороны? Он в новом полосатом пиджаке, в руках жесткая соломенная шляпа. Он крепко вцепился в нее, сердце щемило. Витой соломенный край оставил на пальцах глубокие отметины.

Присягу давал свидетель — крепыш лет тридцати пяти в модном, шитом на Мадисон авеню, летнем костюме из серой фланели. У него круглое, с выраженными челюстями лицо, темные глаза, голова с низким теменем, еще и сглаженным стрижкой «ежик», приятные движения: усаживаясь, он поддернул брюки, одернул манжеты и с достойной, открытой мужской учтивостью подался вперед, готовый отвечать на вопросы. Было видно, как собиралась складками кожа на голове, когда, нахмурясь, он взвешенно отвечал. Он назвался коммивояжером комбинированных рам — сетка и вторая оконница. Герцог понял: алюминиевые рамы с тремя пазами — он вспомнил рекламу. Свидетель жил в Флашинге. Он знал обвиняемую? Ее попросили встать, и она встала, припавшая на одну ногу коротышка: кучерявая темно-рыжая голова, затаившиеся вытянутые глаза, конопатое лицо, толстые, глинистые губы. Да, он знал ее, восемь месяцев назад она жила у них — не то чтобы в прислугах, просто она дальняя родня жены, и та ее пожалела, дала угол, он как раз выгородил на чердаке квартирку — отдельная ванная, кондиционер. Само собой, уговорились, что она будет помогать по хозяйству, но и отгулы она себе устраивала, на несколько дней, бывало, оставляла мальчика одного. Ему не приходилось видеть плохое обращение с ребенком? Грязный он всегда был. Такого не захочется взять на колени. У малыша никак не проходила лихорадка на губе, и его жена наконец помазала болячку мазью — от матери-то не дождешься. Тихий был ребенок, неприхотливый, липнул к матери, запуганный был и скверно пахнул. Об отношении матери не может свидетель еще что-нибудь добавить? Ну, был еще случай в дороге — они все ездили проведать бабушку и остановились перекусить

в мотеле. Каждый себе что-то заказал. Она взяла сандвич с жареным мясом и, когда принесли, сразу стала есть, даже куснуть не дала ребенку. И тогда он сам (возмутившись) поделился с мальчиком мясом и подливкой.

Я отказываюсь понимать! — подумал Герцог, когда этот славный человек кончил давать показания и молча задвигал челюстью. Отказываюсь понимать... но это вообще проблема людей, посвятивших свою жизнь гуманитарным занятиям и потому воображающих, что со злом покончено, коль скоро оно выведено в книгах. Да нет же, все он прекрасно понимал: он понимал, что люди *не станут* жить таким образом, чтобы их понимали герцоги. С какой стати?

Однако углубляться в эти мысли не было времени. Уже присягнул следующий свидетель, служащий из Монткама; холостяк на шестом десятке; вялые губы, крупные складки, рыхлые щеки, ухоженные волосы, глубокий, меланхоличный голос, умиравший в каждой фразе. Постепенно стихая, он невнятно рокотал на заключительных словах. Судя по коже, заключил Герцог, бывший алкоголик, и определенно какая-то своя, фаготная тема в его высказываниях. К этой «несчастной паре», было сказано, он приглядывался. Они снимали служебную комнату. Женщина получала пособие. Мужчина не работал. Несколько раз им интересовалась полиция. Относительно мальчика — что он может сказать суду? Главным образом, что тот много кричал. Жильцы жаловались, он пошел выяснить, и оказалось, что малыша запирают в чулан. Обвиняемая сказала: для порядка. Но под конец мальчик меньше кричал. Хотя в самый последний день у них очень шумели. Это третий этаж, но он слышал визги, грохот. Причем кричали вдвоем, мать и мальчонка. Лифт кто-то держал, и он поднялся пешком. Постучал в дверь, но женщина, кроме своего крика, ничего не слышала. Тогда он открыл дверь и вошел. Его не затруднит рассказать суду, что он там увидел? Он увидел ее с мальчиком на руках. Он подумал — она обнимает его, а она вдруг швырнула его от себя. Прямо в стену. Этот стук он и слышал снизу. Кто-нибудь еще присутствовал в комнате? Да, другой обвиняемый лежал на кровати и курил. А мальчик продолжал кричать? Нет, он тихо лежал на полу. Служащий как-нибудь проявил себя? Нет, он испугался ее вида, у нее раздулось и побагровело лицо, она визжала не переставая и топала ногой, этим каблучищем своим,— такая запросто выцарапает глаза. Он пошел и позвонил в полицию. Потом этот мужчина спустился к нему. Объяснил, что мальчик был трудным ребенком. Мать так и не приучила его к горшку. Он доводил ее до бешенства, когда пачкался. И целыми ночами крик! Они еще говорили, когда приехала полицейская машина. Ребенка они не застали в живых? Нет, он уже был мертвый.

— Перекрестный допрос? — сказал судья. Защитник отрицательно повел белой длиннопалой рукой, и судья договорил: — Можете идти на свое место. С вами все ясно.

Когда свидетель поднялся, Герцог тоже встал. Он чувствовал потребность двигаться, идти. Снова ему стало не по себе от подступавшей дурноты. Или его затопил ужас содеянного с ребенком? Он задыхался, словно сердечные клапаны не сработали и кровь хлынула обратно в легкие. Он спешил, тяжело ступая. В проходе раз обернулся и выхватил взглядом сухую поседелую голову судьи, бессловесно шевелившего губами над какой-то бумагой.

Выходя в коридор, он пробормотал: — Боже мой! — и ощутил во рту горечь, которую придется сглотнуть. Шагнув прочь от двери, он толкнул опиравшуюся на палку женщину. Темнобровая, очень темноволосая, несмотря на возраст, она без слов потыкала палкой в пол. Он увидел, что нога у нее в шине на металлической подошве, на пальцах педикюр. Сглатывая отвратный привкус, он сказал: — Извините.— В голове пронзительно и страшно, до зелени в глазах, стреляла боль. У него было такое чувство, словно он слишком близко подошел

к огню и сжег легкие. Не говоря ни слова, женщина держала его. Ее суровые, навыкате глаза пригвождали его, ставили на место: дурак набитый, круглый и стоеросовый. Гвоздила молча: — *Дурак!* — В красно-полосатом своем пиджаке, зажав под мышкой шляпу, всклокоченный, выпучивший глаза, он ждал, когда она уйдет. И когда со своей палкой она наконец ускреблась на своей шине в пятнистую даль коридора, он сосредоточился. В память об убитом ребенке он отчаянным усилием мысли и чувства пытался что-то вызвать в себе. Но — что? И как? Он очень напрягся, но даже «отчаянным усилием» не мог пробиться к мертвому мальчику. Герцог испытывал *человеческие чувства* — не более, а какой от них прок? Вот если бы потянуло расплакаться. Или помолиться. Он сжал руки. Что же он чувствовал? А самого себя и чувствовал: как дрожат руки, как щиплют глаза. И молиться... о чем молить в современной, пост... постхристианской Америке? О справедливости и милосердии? И чтобы развеялось, как страшный сон, уродство жизни? Он открыл рот, чтобы не так давило. Но его еще скрутило раз, и два, и три.

Ребенок кричал, цеплялся за нее, а она шваркнула его об стену. У нее рыжая шерсть на ногах. С постели, выставив тяжелый подбородок и пижонские бачки, смотрит ее любовник. Лечь совокупиться — и встать, чтобы убить. Одни убивают и потом плачут. Другие и этого не делают.

Ничто больше не могло удержать его в Нью-Йорке. Он должен быть в Чикаго — повидать дочь, провести очную ставку с Маделин и Герсбахом. Не он пришел к такому решению: решение пришло к нему. Он вернулся домой и сменил обновы, которыми потешил себя, на старенький, бумажный в рубчик костюм. Хорошо, что не распаковал саквояж, вернувшись из Виньярда: быстро проверив его сейчас, он сразу вышел. Он характерно решил действовать без ясного плана, сознавая даже, что не в силах взять себя в руки. В самолете, думал он, все прояснится, станет понятно, зачем он летит.

Суперлайнер доставил его в Чикаго за девяносто минут: летели на запад, против вращения земли, и выгадали побольше дневного времени и солнца. Внизу пенились белые облака. Солнце — как знак прививки против всесветного распада. Он глядел в лазурную пустоту, на ослепительно сверкавшие окрыленные турбины. Когда самолет встряхивало, он слегка прикусывал нижнюю губу. Он не боялся летать, но сейчас ему подумалось, что в случае падения самолета или взрыва (как было недавно над Мэрилендом, когда люди посыпались сверху, как горох) Герсбах станет опекуном Джун. Если Симкин не порвал завещание. *Симкин, дорогой, умная головушка, порви завещание!* Еще останутся две страховки — одну папа Герцог выписал на сына своего Моше. Полюбуйтесь, во что превратилось это чадо, младший Герцог: сморщенный, потерянный, с занозой в сердце. Уж себе-то я говорю правду. Небо тому свидетель. Стюардесса предложила спиртное, он отрицательно помотал головой. Поднять глаза на ее миловидное, цветущее лицо он просто не решился.

Когда приземлились, Герцог перевел часы назад. Выйдя через 38-й сектор, он заспешил длинным переходом на стоянку проката. Для подтверждения своей личности при нем были кредитная карточка «Американ экспресс», массачусетские водительские права и университетский пропуск. Его первого насторожила бы разноголосица адресов, не говоря уже о затертом мятом костюме, в каком заявился этот клиент, Мозес Елкана Герцог; однако выслушавшая его служительница, приятная полногрудая дамочка в кудряшках, с пухлым носиком (даже в тогдашнем своем состоянии Герцог не сдержал слабой улыбки), спросила только, какую модель он хочет — с открытым верхом или закрытую. Он взял закрытую, сизого цвета, и выехал, пытаясь в пыльном солнечном мареве с зеленовато сверкавшими фонарями сориентироваться по незнакомым указателям. Пройдя развязку, он выехал

на автостраду и влился в скоростной поток — ограничение на том участке было шестьдесят миль в час. Он не знал эти новые районы Чикаго. То ли дело громоздкая, пахучая, милая свалка на древнем дне озера; с западного края город багров, хрипит заводами и поездами, травящими новоиспеченное лето дымом и копотью. Из города машины шли сплошняком, на его стороне было свободнее, он перестроился в правый ряд, высматривая знакомые названия улиц. После Хоуард-стрит начался собственно город, и тут он знал дорогу. В Монтрозе он съехал с автострады, свернул на восток и направил машину к отчему дому, двухэтажному кирпичному домишку, какие пачками штампуют с одной синьки: островерхая крыша, цементное крыльцо с правого боку, цветочные ящики во всю длину фасадного окна, газон, пышной грядой пролегший между тротуаром и фундаментом; вдоль же тротуара вязы и растрепанные тополя с почерневшей, запылившейся, морщинистой корой и грубеющими к середине лета листьями. Были там еще цветы, кроме Чикаго, нигде им больше не виданные,— грубого воскового литья, похожие на красные и лиловые рисовальные мелки,— какой-то особый разряд природы, выглядящей как поделка. Своим безобразием и пошлостью эти идиотские растения умиляли Герцога. Ему вспомнилось, как привязался к своему саду отец, под конец жизни обзаведясь недвижимостью, как вечером поливал цветы из шланга, каким восторгом полнился, довольно сложив губы и вдыхая классическим носом запах земли. Когда Герцог вышел из машины, справа и слева крутились, подскакивая, разбрызгиватели, швыряя сверкающие серьги, вздувая радужные вуальки. Вот и дом, где несколько лет назад, летней ночью, умер папа Герцог: вдруг сел в постели и сказал —Ich shtarb! [1] — и умер, и его бойкая кровь стала землей, забившей все русла его тела. А потом и тело — Боже ты мой! — тоже вымрет, освободит костяк, и сами кости в конце концов сотрутся и сокрушатся в прах: хоронить — не сохранить.

И движется меж звезд и миров очеловеченная наша планета от пустоты к пустоте, песчинка, мучимая своей неприкаянностью. *Неприкаянностью?* С еврейской ужимкой дернув плечом, Герцог прошептал: — Ну, майле... Будь все как есть.

Во всяком случае, вот дом его покойного отца, где живет вдова, старая-престарая мачеха Мозеса, одна-одинешенька в этом маленьком музее Герцогов. Жилье принадлежало семье, и никому оно не было нужно. Шура был мультимиллионером и не скрывал этого. Уилли далеко обогнал отца в делах со стройматериалами, владел целым парком страховидных бетономешалок, готовивших смесь по пути на площадку, где бетон доведут, введут (Герцог смутно представлял себе это) в возрастающие небоскребы. Была устроена и Хелен, хотя ее мужу далеко до Уилли. Она редко заговаривала о деньгах. Ну, а он сам? У него около шестисот долларов в банке. Однако, по его запросам, все у него было. Бедность — не его удел; безработица, трущобы, извращенцы, воры, жертвы правосудия, кошмар «Монткам-отеля» и его служебных комнат, смердящий распадом и смертоносным клопомором,— это все не про него. Он еще мог, когда вздумается, лететь на суперлайнере в Чикаго, мог нанять сизого «сокола» и поехать в родительский дом. Так он с особой ясностью осознал свое привилегированное положение: состоятельность, высокомерие, неправедность, если угодно. И не только свое положение он уяснил себе: когда любовники ссорятся, у них есть «линкольн-континенталь», чтобы запереть там плачущего ребенка.

Бледный, с суровой складкой у рта, он поднялся по темной в этот закатный час лестнице и нажал кнопку звонка. В центре плашки был полумесяц, зажигавшийся по вечерам.

За дверью прозвенели колокольчики, хромированные трубки на притолоке, металлический ксилофон, игравший, глотая две последние

[1] Я умер! (*нем.*).

ноты, «Весело мы едем». Ждать ему пришлось долго. Конечно, старая женщина, только и на шестом десятке Таубе еле поворачивалась — основательная, осмотрительная, сонная муха среди расторопных Герцогов, а те, как один, унаследовали суматошливость и легкость отца, что-то от того напористого марша в одиночку, каким вызывающе шествовал по белу свету старик Герцог. Вообще-то Мозес любил Таубе, напомнил он себе: относиться к ней иначе, возможно, было бы хлопотнее. Зыбкое выражение ее круглых, навыкате глаз, может статься, выдавало ее непреклонную решимость ни с чем не спешить, ее пожизненную программу заминок и стояния на месте. Она исподволь решала все свои очередные задачи. Медленно ела и пила. Не несла чашку ко рту, а тянула к ней губы. И говорила она очень медленно, отчего особенно весомо. При готовке у нее все валилось из рук, но готовила она превосходно. Выигрывала в карты — невозможно копалась, но выигрывала. По два-три раза переспрашивала и еще повторяла для себя ответ, уясняя. Так же медленно она причесывалась, чистила всегда оскаленные зубы, крошила инжир, финики и александрийский лист в помощь своему пищеварению. С возрастом у нее отвисла губа и утолщилось основание шеи, из-за чего голова подалась чуть вперед. Что говорить, она была очень стара, ей за восемьдесят, и здоровье никуда. У нее артрит, на одном глазу катаракта. Но не сравнить с Полиной: голова оставалась ясной. Ее рассудок несомненно укрепили трудности с папой Герцогом, который старел раздражительно и капризно.

В доме было темно, и другой на месте Герцога давно ушел бы, рассудив, что никого нет. Он, однако, ждал, зная, что скоро она откроет. В молодые годы ему доводилось видеть, как она пять минут открывает бутылку содовой и целый час раскатывает на столе тесто, затопив печь. Ее рулет, отделанный рубинами и изумрудами из банок с вареньем, был поистине произведением ювелира. Наконец он услышал, что она подошла к двери. В приокрывшейся щели натянулась бронзовая цепочка. Он увидел темные глаза старой Таубе, потемневшие совсем провально и еще больше выступившие из орбит. Между ними были еще стеклянные вторые двери. Их тоже запирают. В собственном доме старики берегутся, живут настороже. К тому же он понимал, что свет у него за спиной, его можно и не узнать. Тем паче, что он не прежний Мозес. Но она, конечно, узнала его, хотя разглядывала как чужого. Там как угодно, а соображала она быстро.

— Кто это?

— Мозес...

— Не признаю что-то. Я тут одна. Мозес?

— Мозес Герцог, тетя Таубе: Моше.

— А, Моше.

Неповоротливые пальцы сняли цепочку, для чего дверь сначала закрылась, ослабив цепочку, потом снова открылась и — Боже милостивый — какое лицо он увидел: изборожденное горестными старческими морщинами, со скорбными складками у рта. Когда он вошел, она подняла слабые руки и обняла его.— Моше... Входи, я зажгу свет. Закрой дверь, Моше.

Он нащупал выключатель и зажег очень слабую лампочку в прихожей. Она струила розоватый свет; старый стеклянный колпачок напомнил ему нертамид — негасимый свет в синагоге. Он закрыл дверь, прекратив освеженное благоухание газонов, и прошел в комнату. Воздух в доме был спертый, с островатым душком политуры. В полумраке гостиной царил памятный вылизанный порядок: шифоньеры и столы с инкрустацией, парчовый диван под отливающей защитной пленкой, восточный ковер, безупречной прямизны шторы, перпендикулярные прямизне опущенных жалюзи. Позади него зажглась лампа. На патефонной консоли он высмотрел смеющуюся фотографию Марко: выставив голые коленки, малыш сидел на скамье, у него свежее лицо и дивные, расчесанные на лоб темные волосы. А рядом — он сам, соб-

ственной персоной, снимался, когда получил магистерскую степень: лицо красивое, но какое-то зобастое. В нем выражалась вся заносчивость его убежденного самомнения. Он тут зрелый муж, но только в смысле возраста, а по мнению отца, просто настырный неевропеец, то бишь умышленно простая душа. Не желал, видите ли, признавать зло. Но терпеть-то зло приходилось. То есть, кто-то причинял ему зло и выслушивал потом (от него) обвинения в злодействе. Была там и карточка папы Герцога в его последнем воплощении: американский гражданин — красивый, гладко выбритый, он уже не ерепенится, никому ничего не доказывает и не спорит. Мозес, впрочем, растрогался, увидев папу Герцога в его собственном доме. Медленными шагами подходила тетя Таубе. Она не держала здесь своих фотографий, Герцог знал, что она была потрясающей красоткой, хоть и с габсбургской губой; даже в пятьдесят с чем-то, когда он узнал ее еще как вдову Каплицкого, у нее были густые, красивые, выразительные брови и тяжелая коса каурой масти; свое мягкое, может чуть вялое, тело она подбирала «горселетом» [1]. Ей не хотелось напоминаний о собственной красоте и былой силе.

— Дай я погляжу на тебя,— сказала она, став перед ним. Опухшие глаза смотрели вполне твердо. Он глядел на нее, стараясь не выдать лицом своего ужаса. Как он понял, она задержалась из-за того, что надевала зубные протезы. Они были новые и скверно сделанные: линия зубов ровная, без закруглений. Как у сурка, подумал он. Пальцы испортились, обвисшая кожа наползла на ногти. При этом она делала маникюр. Интересно, какие перемены она отметила в нем? — Ой, Моше, ты изменился.

Он согласно кивнул.— Ну, как вы?

— Как видишь. Живая смерть.

— Одна живете?

— Приходит женщина, Белла Окинофф из рыбной лавки. Ты ее знал. Грязнуля такая.

— Пойдемте, тетя, присядьте.

— Эх, Моше,— сказала она,— не могу я сидеть, не могу стоять, не могу лежать. Пора к папе под бочок. У папы там лучше, чем здесь.

— Неужели все так плохо? — Видимо, он раскрылся больше, чем следовало, потому что она вглядывалась в него изучающе, словно не в силах поверить в его сочувствие и стараясь разгадать истинную причину. А может, катаракта придавала ей такое выражение? Взяв за руку, он подвел ее к креслу и сам сел на диван, укрытый пленкой. Под гобеленом. Pierrot. Clair de Lune [2]. Лунный свет в Венеции. В студенческие годы его воротило от этой махровой пошлости. А сейчас это совсем не трогало. Он другой человек, перед ним другие задачи. Старуха, он понимал, ломала голову, зачем он пришел. Она чувствовала, что он сильно взбудоражен, и ей не хватало его рассеянности, гордой отвлеченности, некогда украшавших доктора философии М. Е. Герцога. *Ушли — прошли те времена.*

— Много работы, Моше?

— Да.

— Зарабатываешь на жизнь?

— О да.

Старуха понурила голову. Сквозь редкие седые волосы он видел кожу. Убогость. Организм себя исчерпал.

Он отлично понимал, что мысленно она доказывала ему свое право жить в недвижимости Герцогов, при том что фактом своего существования она лишала его этой остатней части имущества.

— Все в порядке, тетя Таубе, я не в претензии,— сказал он.

— Что?

---

[1] Искаженное французское «corselet» — корсаж.

[2] Пьеро. Лунный свет (*франц.*).

— Живите на здоровье и ни о чем не беспокойтесь.
— Ты неважно одет, Моше. В чем дело — тяжелые времена?
— Нет, просто я надел в самолет старый костюм.
— У тебя дела в Чикаго?
— Да, тетя.
— С детьми все в порядке? Как Марко?
— Он в лагере.
— Дейзи не вышла замуж?
— Нет.
— Ты платишь ей алименты?
— Не очень большие.
— Я не была вам плохой мачехой? Скажи правду.
— Вы были хорошей мачехой. Очень хорошей.
— Я как старалась,— сказала она, и за этой кротостью ему увиделись все ее фигли-мигли — ее разыгранная перед папой Герцогом трудная и сильная роль: неприступная вдова Каплицкого, некогда бездетная, носимая на руках жена этого знаменитейшего оптовика, не снимавшая медальона, усеянного мелкими рубинами, и путешествовавшая только в пульмановских купе — «Портлендская Роза», «Двадцатый век» — либо первым классом, например на «Беренгарии». В качестве второй миссис Герцог ей досталась нелегкая жизнь. У нее были все основания оплакивать Каплицкого. Готзелигер [1] Каплицкий — только так она его называла. А по какому-то случаю призналась Мозесу: — Готзелигер Каплицкий не хотел, чтобы у меня были дети. Доктор считал: не выдержит сердце. И Каплицкий, алевхашолем [2], сам обо всем заботился. Я даже не смотрела за этим.

Вспомнив сейчас, Герцог хохотнул. «Я даже не смотрела» — Рамона бы оценила. Она-то всегда смотрела, вникала, отбрасывая мешавшую прядь и раскрасневшись, и безумно потешалась над его смущением. Как прошлой ночью, когда открывала ему объятия в постели... Надо дать ей телеграмму. Она не поймет, почему он пропал. И тут кровь застучала у него в голове. Он вспомнил, зачем приехал сюда.

Он сидел чуть не на том самом месте, где за год до своей смерти папа Герцог грозился застрелить его. А разгневался он из-за денег. Герцог подчистую истратился и просил заемное письмо. Старик пристрастно расспрашивал о работе, о тратах, о сыне. Мозес выводил его из терпения. В то время я жил в Филадельфии, жил один, выбирая (хотя и вопрос так не стоял) между Соно и Маделин. Может, до него дошло, что я собираюсь обратиться в католичество. Кто-то пустил такой слушок; может, Дейзи. А в Чикаго папа меня сам вызвал. Хотел оговорить изменения в завещании. Он день и ночь прикидывал, как поделить имущество, и каждого из нас взвешивал: чего заслужил и как распорядится. Время от времени он звонил мне и велел немедленно приезжать. Это значит всю ночь клевать носом в поезде. Он отводил меня в угол и говорил: — Я хочу, чтобы ты знал раз и навсегда. Твой брат Уилли честный человек. Когда я умру, он сделает, как мы договорились.— Конечно, папа.

Он постоянно срывался, и в тот раз, когда хотел застрелить меня, сорвался, не в силах выносить дольше мой вид, мой взгляд — взгляд якобы знающего себе цену, козыряющего трудностями. Взгляд избранных. Я не виню его, думал Мозес, покуда Таубе медленно и пространно излагала свои недомогания. Вот этой мины на лице своего младшего сына папа вытерпеть не смог. Я старел. Изводил себя глупыми прожектами, *освобождая* свой дух. Его сердце ожесточенно болело из-за меня. Папа был не из тех стариков, у кого ближе к смерти тупеют чувства. Нет, его отчаяние было острым и долгим. И снова Герцога кольнула боль за отца.

---

[1] Блаженной памяти (*идиш*).
[2] Мир праху его (*идиш*).

Он немного послушал рассказ Таубе о лечении кортизоном. Ее большие, лучистые, смирные глаза, в свое время укротившие папу Герцога, уже не разглядывали Герцога. Они что-то высматривали за его спиной, и он мог дальше вспоминать последние дни папы Герцога. Они пошли в Монтроз купить сигареты. Был июнь, тепло, как сейчас, ясный день. Папа говорил что-то маловразумительное. Что еще десять лет назад надо было развестись с вдовой Каплицкой, что он рассчитывал пожить напоследок в удовольствие — касаясь этих тем, его идиш хромал и чудил,— но он принес свое железо в остывшую кузницу. А калте кузня, Моше. Кейн файер [1]. Развод исключается, потому что очень много ей должен.

— Но сейчас-то у тебя есть деньги? — довольно бестактно сказал Мозес. Отец застыл, глядя ему в лицо. А тот потрясся такой ясной на дневном свету картиной далеко зашедшего распада. Но с прежней силой действовали уцелевшие, неправдоподобно живые подробности: прямой нос, морщина между бровей, ореховые и зеленые крапинки на радужках.— Мне нужны мои деньги. Кто меня будет содержать — ты? Может, мне еще долго придется подкупать Ангела Смерти.— Потом он чуть согнул колени — и Мозес понял этот знак, за свою жизнь он понаторел в истолковании отцовских телодвижений, и полусогнутые ноги означали, что грядет высочайшее откровение.— Я не знаю, когда мною разрешатся,— шепнул папа Герцог. Разрешение от бремени он выразил на дедовском идише: кимпет. Не зная, что тут можно сказать, Мозес ответно шепнул: — Не мучай себя, папа.— Но ужас второго рождения, где повитухой смерть, сверкнул в его глазах, и его уста сомкнулись. Потом папа Герцог сказал: — Я должен присесть, Моше. Напекло меня.— Он весь раскраснелся, и Мозес, подхватив под руку, помог ему опуститься на бетонную оградку. Уязвленное мужское самолюбие стыло в глазах старика.— Даже я сегодня перегрелся,— сказал Мозес. Он сел, загородив отца от солнца.

— В следующем месяце я, может, определюсь в Сент-Джо на водолечение,— продолжала Таубе.— Это Уитком. Прелестное место.

— Вы не одна поедете?

— Этель с Мордехаем тоже хотят.

— А-а...— Он кивнул, подталкивая разговор.— Как Мордехай?

— Как положено в его годы.— Мозес подождал, пока она разговорится, и вернулся к отцу. В тот день обедали на задней веранде, там и разыгрался скандал. Возможно, Герцог вообразил, что он тут блудный сын, готовый к худшему и молящий старика о прощении, и потому на лице сына папа Герцог видел одно: тупую мольбу, и он не мог уместить такое в голове.— Идиот! — кричал старик, не выбирая слов.— Телятина! — В терпеливом взгляде Мозеса он высмотрел теперь гневную требовательность.— Убирайся! Ничего тебе не оставлю! Все оставлю Уилли и Хелен! Тебе?! Подыхай в ночлежке.— Мозес поднимался, папа Герцог кричал: — Ступай. И на похороны мои не являйся.

— Хорошо, может, и не явлюсь.

Опоздала тетя Таубе призвать его к молчанию, пока вздевала свои брови — тогда они у нее еще были. Папа Герцог, грохоча, вылез из-за стола и с перекошенным лицом побежал за револьвером.

— Иди! Иди! Приходи потом. Я тебе позвоню,— шептала Таубе, и он, сконфуженный, ершистый, бросаемый в жар, страдающий оттого, что в отчем доме не могут понять его беды (его чудовищный эгоизм выдвинул эту претензию),— он неохотно встал из-за стола.— Скорее, скорее! — Таубе тянула его к двери, но старик Герцог перехватил их с револьвером в руке.

Он кричал: — Я убью тебя! — И Герцог испугался не самой угрозы — в нее он не верил, а того, что к отцу вернулись силы. Гнев придал

---

[1] Холодная кузница, Моше. Без огня (*идиш*).

ему сил, но это могло стоить жизни. Раздувшаяся шея, скрежет зубов, пугающая краска лица, высокомерным жестом русского офицера наставленный револьвер — нет, думал Герцог, эдак гораздо лучше, чем загнуться по пути в табачный магазин. Для жалости папа Герцог был неподходящий человек.

— Иди, иди,— говорила тетя Таубе. Мозес плакал.

— Может, ты вперед меня умрешь,— кричал папа Герцог.

— Папа!

Вполуха слушая неторопливый рассказ тети Таубе о скором выходе на пенсию кузена Мордехая, Герцог растравлял себя, прокручивая тот выкрик. *Папа, папа.* Болван! Старик психанул, но ведь он давал тебе урок зрелости, которой у тебя не было. Явиться в отцовский дом многострадальным христосиком. Лучше уж честно обратиться, как Мади. Чудо, что он не спустил курок. Для него смерть — видеть такое. Он заслужил пощады, в его-то годы.

Потом на улице Мозес с опухшими, заплаканными глазами ловил такси, а папа Герцог сновал перед этими окнами и выглядывал с душевной мукой — вот чего ты от него добился. Он двигался срыву, по своему обыкновению припадая на пятку. Револьвер он выронил. Кто знает, верно ли, что Мозес сократил ему жизнь, доставив огорчения. Может быть, гневный запал продлил ее. Он не мог умереть, бросив Мозеса на полпути.

На следующий год они помирились. Потом все повторилось. Потом... смерть.

— Выпьешь чашку чая? — сказала тетя Таубе.

— С удовольствием, если вас не затруднит. Еще я хочу заглянуть в папин стол.

— В папин стол? Он заперт. Ты хочешь заглянуть в стол? Здесь все ваше, детей. Ты можешь забрать стол, когда я умру.

— Да нет,— сказал он,— мне не нужен стол, я ехал из аэропорта и решил проверить, как вы тут. А заглянуть в стол я надумал сейчас, раз я здесь. Вы не будете против. Я знаю.

— Тебе что-нибудь нужно, Мозес? Прошлый раз ты взял мамин ларчик.

Он отдал его Маделин.

— Папина цепочка от часов еще там?

— Мне кажется, Уилли взял.

Он сосредоточенно нахмурился.— А рубли? — сказал он.— Я хочу отдать их Марко.

— Рубли?

— Дед Исаак в революцию скупал царские рубли, они всегда были в столе.

— В столе? Нет, я их точно не видела.

— Я бы посмотрел, тетя Таубе, пока вы готовите чай. Дайте мне ключ.

— Ключ?..— Только что она вполне бойко задавала вопросы, а теперь опять замешкала, показывая свой копотливый нрав.

— Где вы его держите?

— Где? Куда я его положила? Он не у папы в туалетном столике? Или еще где? Дай вспомню. Видишь, какая я стала: ничего не помню...

— Я знаю, где он,— сказал он, поднимаясь.

— Знаешь? Где?

— В музыкальной шкатулке, вы всегда его туда клали.

— В музыкальной... Папа его взял оттуда. Он ведь запирал от меня мою пенсию. Говорил, что все деньги должны быть *у него...*

Мозес знал, что догадался правильно.— Не беспокойтесь, я найду,— сказал он.— А вы пока ставьте чайник. Очень пить хочется. Весь день на солнце жарился.

Держа ее за вялую руку, он помог ей подняться. Он шел к своей цели — к жалкой победе со скверными последствиями. Оставив ее, он вошел в спальню. Папину постель вынесли, ее стояла в одиночестве, под жутким покрывалом из какой-то такой материи, что напоминала ему обложенный язык. Он втянул застоялую пряность, тяжелый темный дух и поднял крышку музыкальной шкатулки. В этом доме он найдет все что угодно, подключив память. С вращением барабана из механизма прянули звуки, меленькие шипы зацепили мелодию из «Фигаро». Мозес еще мог подставить слова:

Nel momento
Della mia cerimonia
Io rideva di me
Senza saperlo [1]

Пальцы нащупали ключ.

Из темноты коридора тетя Таубе сказала: — Ты нашел его?

Он ответил: — Он здесь,— умеряя голос, чтобы она не встревожилась. В конце концов, она у себя дома. Дикость, что он ворвался сюда. Он не то чтобы стыдился, но со всей ясностью сознавал: неправильно это. Но надо кончить дело.

— Хотите, я поставлю чайник на газ?

— Нет, с чашкой чая я еще справлюсь.

Он слышал ее медленные шаги в коридоре. Она шла на кухню. Герцог быстро прошел в тесную гостиную. Там были опущены шторы. Он включил лампу сбоку от стола. Ища выключатель, он тронул древний шелк абажура и выбил тончайшую пыль. Вспомнил название высохшей краски: старая роза. Он открыл вишневого дерева секретер, вытянул по бокам опорные бруски и опустил на них крышку. Потом вернулся к двери и запер ее, предварительно убедившись, что Таубе доплелась до кухни.

В ящиках все ему было знакомо: кожа, бумага, золото. Он рылся спеша, возбужденно, со вздувшимися венами на лбу и на руках и наконец нашел то, что искал: револьвер папы Герцога. Старый револьвер с никелированными накладками на стволе. Папа купил его для спокойствия на Вишневой улице, в железнодорожных парках. Мозес, щелкнув, открыл оружие, там было две пули. Значит, так. Снова щелкнув, он закрыл его и положил в карман. Слишком выделяется. Он вынул бумажник и на его место положил револьвер. А бумажник сунул в задний карман брюк и застегнул.

Теперь найти рубли. Их он нашел в маленьком отделении вместе со старыми паспортами. Тесьма, на тесьме восковые печати, словно куски засохшей крови. La bourgeoise Sarah Herzog avec ses enfants, Alexandre huitans, Hélèn neuf ans et Guillaume troisans.

Подпись: граф Адлерберг, Gouverneur de St. Petersbourg [2].

Рубли помещались в большом портмоне. Его любимые игрушки сорок лет назад. Петр Великий в богатом гербе, прекрасная царственная Екатерина. На свет виделись водные знаки. Вспомнив, как они с Уилли играли в казино с этакими ставками, Герцог коротко рассмеялся. Потом сделал в кармане удобное гнездо из этих банкнот для пистолета. Теперь вроде не так заметно.

— Ты нашел что хотел? — спросила из кухни Таубе.

— Да.— Он положил ключ на эмалированный металлический стол.

Несправедливо, он знал, считать выражение ее лица овечьим. Метафорическая складка ума вредила его суждениям. И, возможно, погубит его однажды. Может быть, этот день близок. Может быть, уже ночью потребуют его душу. Револьвер тяжело упирался в грудь. Но выступающие губы, крупные глаза, морщинистый рот — они в *самом*

[1] В момент церемонии я смеялся над собой, сам того не замечая (*итал.*).

[2] Мещанка Сара Герцог с детьми: Александр, восьми лет, Элен, девяти лет, и Гийом, трех лет (...) Губернатор Санкт-Петербурга (*франц.*).

деле овечьи, и в них предупреждение ему: слишком разрушительно он живет. Надо помнить, что Таубе, заслуженный долгожитель, заставила отступить самое смерть, заразив ее своей медлительностью. Все пришло в негодность, но сохранилось соображение и невероятная терпеливость. И в Мозесе она видела папу Герцога. Нервного, суматошливого, импульсивного, страдающего. Она судорожно сморгнула, когда он наклонился над ней в кухне. Пробормотала: — У тебя большие неприятности? Не сделай хуже, Моше.

— Никаких неприятностей, тетя. Нужно позаботиться об одном деле. Пожалуй, я не буду ждать чая.

— Я поставила тебе папину чашку.— Из папиной чашки он выпил воды из крана.

— До свидания, тетя Таубе, держись.— Он поцеловал ее в лоб.

— Помнишь, как я тебя выручила? — сказала она.— Не забывай. Будь осторожен, Моше.

Он ушел через черный ход. Так было проще. Как в папино время, водосточную трубу обвивала жимолость. И так же пахло по-вечернему,— пожалуй, даже чересчур. Что нужно, чтобы сердце стало каменным?

Он газанул на перекрестке, еще не зная, какой дорогой скорее добраться до Харпер авеню. Очень хороша новая автострада Райна, но он обязательно завязнет в гуще фланирующих и раскатывающих на машинах негров в районе восточной 51-й улицы. Тогда лучше Гарфилд-бульвар; он, впрочем, не был уверен, что в темноте не заблудится в Башингтон-парке. И он решил ехать по Иден до Конгресс-стрит и дальше на Аутер-драйв. Да, так получится быстрее всего. Что он будет делать на Харпер авеню, он еще не решил. Маделин грозила арестом, если он хотя бы покажется около дома. В полиции имеется его фотография. Но это блеф. Блеф и паранойя. Сотрясение воздуха, когда-то он на это покупался. Теперь между ним и Маделин настоящее дело, сама реальность — Джун. Трусость, болезнь, обман, путаник-отец и склочная сука — а в итоге произвелось нечтое истинное. Вот эта дочурка. Разгоняя машину под уклон, он кричал про себя, что *ей* никто не причинит зла. Он жал и жал на газ, оставаясь в своем ряду. Нить жизни напрягалась в нем, опасно вибрировала. Он не боялся, что она оборвется: он боялся не сделать того, что должен сделать. Маленький «сокол» мчал во всю мочь. Быстрее, казалось, ехать невозможно, но вот с правой стороны его обогнал грузовик с прицепом, и он понял, что сейчас не время нарываться на штраф — в кармане-то револьвер,— и он снял ногу с педали. Поглядывая по сторонам, он выяснил, что новую автостраду пробили сквозь старые, знакомые улицы. Он в новом ракурсе увидел газгольдеры, увенчанные сигнальными фонарями, увидел с тыла костел, где в освещенном окне, как на витрине, стоял парчовый Христос. Плавно забирая на восток, он оставил справа пакгаузы в пыльном закатном зареве, с протянувшимися на запад рельсами; потом проехал тоннель под громадным зданием почты; потом — кабаки на Стейт-стрит. С последней горочки на Конгресс-стрит искаженное сумерками озеро вдруг вздыбилось стеной, расчертив себя полосами сиреневого, густо-синего, переливно-серебряного и поверх всего, на горизонте, сланцевого цвета; внутри водолома висели, покачиваясь, пароходы, над головой помахивали сигнальными фонарями вертолеты и легкие самолетики. Знакомый запах свежей воды, мягкий и сырой, достиг его, когда он свернул на юг. Была логика в том, что он отстаивал свое право на безумие и насилие после всего, что вытерпел: поношение, сплетни, тряска в поездах, боль и даже ссылка в Людевилль. Эта усадебка должна была стать его сумасшедшим домом. В итоге — мавзолеем. Но они сделали для него еще кое-что — уже совсем непредсказуемое. Не каждому дается возможность убить в ясной памяти. Они открыли ему путь к оправданному убийству. Они заслужили смерть. Он имел право убить их. При этом они будут знать, за что

умирают; не потребуется никаких объяснений. Когда он просто появится перед ними, они будут вынуждены смириться. Герсбах повесит голову, оплакивая себя. Как Нерон: «Qualis artifex pereo!»[1]. Маделин будет визжать и осыпать его проклятьями. Ненависть — сильнейшая ее сила, куда сильнее прочих изъявлений и побуждений. В душе она его убийца, и поэтому руки у него развязаны, он мог стрелять, душить без угрызений совести. В руках, в пальцах, из самой глуби существа он ощущал истомную удушающую тягу, ужас и истому, оргастический восторг убиения. Он зверски потел, рубашка вымокла и холодила под мышками. Во рту он чувствовал вкус медяшки, самоотравления, привкус скучный и смертельный.

На Харпер авеню он оставил машину за углом и проулком пошел к задам дома. На бетонной дорожке хрустел песок; битое стекло и гравийная крошка разносили его шаги. Он пошел осторожнее. Задние изгороди совсем одряхлели. Садовая земля завалила их основания, кустарник и лозы оплели доверху. Он снова увидел распустившуюся жимолость. Даже вьющуюся розу разглядел, в сумерках она была темно-красной. Проходя мимо гаража, он закрыл лицо руками: тут с крыши свисали плети шиповника. Прокравшись во двор, он немного постоял, вглядываясь, как идти дальше. Упаси бог наступить на игрушку или садовый инструмент. На глаза навернулись слезы; не потеряв зримости, предметы чуть исказились. Он выдавил слезы кончиками пальцев, промокнул глаза лацканом пиджака. Фиолетовыми точками в ломаной раме крыш зажглись звезды, обозначились листья, провода. Весь двор был как на ладони. Он увидел бельевую веревку, на ней трусы Маделин, дочкины юбочки, платьица, носочки. При свете из кухонного окна разглядел в траве песочницу — новую красную песочницу с широкими бортиками для сидения. Подойдя ближе к окну, он заглянул в кухню. Там Маделин! Разглядывая ее, он перестал дышать. На ней были брюки, блузка, перехваченная широким кожаным поясом, красным, с медной пряжкой — его подарок. Распущенные гладкие волосы шевелились на спине, когда она переходила от стола к мойке, убираясь после обеда, скребла тарелки — споро, хватко, как она это умела. Он смотрел на ее строгий профиль, склоненный над раковиной, на подбородочную складку, которую она выявила, сосредоточенно крутя кран и взбивая пену. Он видел цвет ее щек, почти видел голубизну глаз. Наблюдая за ней, он питал свою ярость, накалял ее. Она вряд ли могла услышать его на дворе, вторые рамы не сняли, во всяком случае вот эти, что он ставил прошлой осенью с тыльной стороны дома. К счастью, соседей не было, не надо тревожиться из-за света от них. На Маделин он посмотрел. Теперь он хотел увидеть дочь. В столовой никого — отобедавшая пустота, бутылки кока-колы, бумажные салфетки. Следующим было ванное окно — уже повыше. Он вспомнил, что подставлял бетонный брусок, когда рвал из окна раму с марлей, но выяснилось, что подходящей зимней рамы нет, и та, с марлей, так и осталась на месте. А брусок? И брусок там же, где он его оставил,— слева от дорожки, в ландышах. Он подкатил его к дому, шум бьющей там воды покрывал скрежет, и встал, прижавшись боком к стене. Он открыл рот, стараясь дышать тише. В бурливой воде с плавающими игрушками светилась его дочь. Маделин отпустила подлиннее ее черные волосы, сейчас они были схвачены резинкой. Он исходил нежностью к ней, зажав рукой рот, чтобы звуком не выдать своих чувств. Она подняла голову, с кем-то невидимым заговорила. Шум воды заглушал ее слова, он ничего не разобрал. У нее лицо Герцогов, *его* большие темные глаза, нос его отца, тети Ципоры, брата Уилла, а рот опять его собственный. Даже чуточку меланхолии в ее красоте — она от его матери. Это Сара Герцог, задумчивая, чуть отвернувшая лицо при встрече с жизнью. Он расчувствованно смотрел на дочь, дыша откры-

[1] Какой артист погибает! (*лат.*)

тым ртом и прикрывшись рукой. Сзади налетели жуки, тяжело ударились в раму, но она их не услышала.

Потом протянулась рука и закрыла воду. Мужская рука. Герсбах. Он собирался мыть дочь Герцога! Герсбах! Теперь видна его поясница, он топтался вокруг старомодной ванны, нагибаясь, выпрямляясь, нагибаясь по-гондольерски, потом с видимым усилием стал опускаться на колено, и Герцог увидел его грудь, потом голову, пока он там устраивался. Распластавшись на стене, уперев подбородок в плечо, Герцог видел, как Герсбах закатал рукава пестрой спортивной рубашки, откинул назад густые пылающие волосы, взял мыло. Услышал, как тот миролюбиво сказал: — Ладно, кончай хулиганство,— а Джун хихикала, крутилась, брызгала водой, показывала белые зубки, морщила нос, шалила.— Угомонись,— сказал Герсбах. Под ее визг он вымыл ей уши махровой салфеткой, сполоснул лицо, высморкал нос, вытер рот. Он журил ее мягко, с бранчливым смешком, похохатывая, и продолжал мыть — намыливал, тер, загребал лодочкой воду и лил ей на спину среди визга и верчения. Мужчина мыл ее бережно. Может, это все маска, но ведь *истинного,* своего лица, подумал Герцог, у него нет. Есть набрякшая масса, сексуальное мясо. В расстегнутый ворот его рубашки Герцог видел поросшую волосом, набрякшую, рыхлую плоть Герсбаха. У него тупой подбородок, словно первобытный каменный топор,— и уж заодно: сентиментальные глазки, густая грива волос и прочувствованный голос втируши и хама. Все ненавистные черты налицо. А посмотри, как он держит себя с Джун, как подыгрывает ей, осторожно поливая. Он разрешил ей надеть материну душевую шапочку в виде пучка цветов, резиновые лепестки облепили детскую головку. Потом Герсбах велел подняться, и она чуть нагнулась, подставляя попку. Отец смотрел на все это. Пришла и тут же ушла боль. Она снова села, Герсбах окатил ее свежей водой, тяжело встал и развернул банное полотенце. Он крепко и тщательно вытер ее и попудрил большой пуховкой. Малышка скакала в полном восторге.

— Хватит беситься,— сказал Герсбах.— Надевай пижамку.

Она убежала. Над склонившейся головой Герсбаха веял тонкоструйный тальк. Рыжие волосы ходили вверх-вниз. Он мыл ванну. Сейчас Мозес мог его убить. Он левой рукой тронул револьвер в денежном свертке. Он мог выстрелить, пока Герсбах методически напитывал моющим составом прямоугольную губку. В магазине два патрона... Там они и останутся. Это ему было совершенно ясно. Он мягко сошел с приступка и беззвучно прошел через двор обратно. В кухне, подняв глаза на Мади, его ребенок что-то спрашивал; через калитку он вышел в проулок. Этот револьвер стрелял только мысленно.

Она — земноводная, человеческая душа. Я прикоснулся к обоим ее началам. Амфибия! И обитает в таких стихиях, про которые я и не ведаю; я допускаю, что на тех вон звездах возникает такая материя, которая произведет еще более странных существ. Мне-то представляется, что, раз Джун похожа на Герцогов, она ближе ко мне, чем к ним. Но как она может быть ближе ко мне, если я не участвую в ее жизни? Зато ее целиком заполнили эти гротескные лицедеи-любовники. Еще я убежден в том, что если у девочки не похожая на мою жизнь, если она не воспитана в герцогских заповедях «сердца» и всего такого прочего, то она не вырастет человеком. Чистейший абсурд, хотя какой-то частью сознания я воспринимаю это как самоочевидную истину. Но в самом деле: чему она у них научится? У того же Герсбаха, с его приторным, отвратным, отравным видом,— он не индивидуален даже: фрагмент, ошметок толпы. Застрелить его?! — какой бред. Когда Герцог увидел реального человека за реальным делом — мытьем и с какой нежностью фигляр относится к ребенку, его вскормленная ярость обернулась *театром* — смеху подобно. Он все-таки не созрел для того, чтобы выставить себя полным дураком. Только ненавидя себя, можно готовить собственную погибель по причине «разбитого» сердца. Как

может разбить его эта пара! Еще помешкав в проулке, он поздравил себя с победой. Он снова мог дышать — и как хорошо дышалось! Поездка оправдала себя.

Вдумайся! — писал он себе в блокнот, освещаясь лампочкой с панели. *Демографы прикинули, что число живущих сейчас, в нынешнем веке, составляет по меньшей мере половину всех живших. Для человеческой души — какие возможности! Согласно статистической вероятности, заимствованные из генофонда свойства вернули в жизнь и все, что было хорошего, и все самое худшее. И это существует рядом с нами: где-то бредут по земле Будда и Лао-цзы. Где-то Тиберий и Нерон. И ужасное, и высокое, и еще не угаданное — все наличествует. Как и ты, полуфантом, веселое и трагическое млекопитающее. Ты и твои дети, и дети твоих детей. В древние времена гений человеческий объявлялся в основном метафорически. Теперь он действует фактически... Фрэнсис Бэкон. Инструменты.* Он с невыразимым наслаждением добавил: *тетя Ципора говорила папе, что тот не способен в кого-нибудь выстрелить. Никогда он не сравнится с возницами, мясниками, громилами, хулиганами, разбойниками. «Позолоченный барчук». Кому он даст по башке? В кого выстрелит?*

Мозес мог убежденно поклясться, что папа Герцог никогда, ни разу в жизни не нажимал курок этого револьвера. Только мог пригрозить. Как со мной. Таубе защитила меня тогда. «Спасла». Милая тетя Таубе! Холодная кузня! Бедный папа Герцог!

Но ставить точку было рано. Нужно поговорить с Фебой Герсбах. Это существенно. Причем он решил не звонить, не дать ей подготовиться, а то и вовсе отказаться от встречи. Он прямо поехал на Вудлон авеню, в скучную часть Гайд-парка, хотя по-своему район выразителен, это *его* Чикаго: тяжелый, грубый, бесформенный, пахнущий грязью, гнилью, собачьим дерьмом; прокопченные фасады, абсолютно *никакая* архитектура, бессмысленно украшенные подъезды с двумя окнами сбоку и громадными бетонными вазонами, где гнили окурки и другая дрянь; застекленные террасы под черепичными фронтонами, глухо заросшие проходы между домами, бетонные лестницы со двора, истресканные, крошащиеся, проросшие травой; массивные, четыре на четыре, ограды, караулящие растительность. И Герцог действительно чувствовал себя своим среди этих просторных, удобных, неряшливых домов, где жили великодушные и доброжелательные люди (все-таки рядом университет). Он такой же несобранный, как эти расползающиеся улицы. (Тут не столько детерминизм, думал он, сколько отсутствие детерминирующих моментов, формирующей силы.) Здесь все типично, ничто не утрачено, даже скребущий по асфальту звук роликовых коньков. Это под зеленовато светящими фонарями катается пара замызганных девчушек в коротких юбочках, с лентами в волосах. У калитки Герсбахов на него таки накатила нервная дурнота, но он справился с ней, прошел по дорожке и позвонил в дверь. Феба подошла быстро.— Кто там? — спросила она и, увидев Герцога через стекло, смолкла. Она что, боится?

— Старый друг,— сказал Герцог. Феба тянула. В глядевших из-под челки глазах с тяжелыми веками была растерянность, а рот поджался решительно.

— Может, ты все-таки впустишь? — спросил Мозес. На такой тон отказа не бывает.— Я не отниму у тебя много времени,— сказал он, входя.— Нам надо кое-что обсудить.

— Пройди в кухню, пожалуйста.

— Конечно...— То ли ей не хотелось, чтобы их врасплох застали беседующими в комнате, то ли она боялась, что услышит Эфраимчик, укладывавшийся у себя в комнате. В кухне она затворила дверь и приглашающе повела глазами на стул сбоку от холодильника. С этого места его не увидят в кухонное окно. Еле заметно улыбнувшись, он

сел. Невозможно хладнокровное выражение на ее тонком лице не оставляло сомнений, что сердце у нее ходит ходуном, пошибче, чем у него. Организованная, уравновешенная, аккуратная — старшая медсестра,— она старалась выдержать деловитый вид. На ней были янтарные бусы, которые он привез ей из Польши. Герцог застегнул пиджак, чтобы ненароком не высунулась рукоятка револьвера. Она тогда просто умрет с перепугу.

— Ну, как дела, Феба?

— У нас все хорошо.

— Обжились? Чикаго нравится? Эфраимчик пока в Университетской школе?

— Да.

— И еще ходит в Темпл? Вэл, я знаю, записал передачу с реб Ицковицем. Как бишь он назвал ее? "Иудаизм хасидов. Мартин Бубер. «Я и Ты»". Золотая жила, этот Бубер! А с раввинами у него перебор. Разве что он ищет замену женам? От «Я и Ты» он еще вернется по кругу к «Ты да я — чем не семья?» Думаю, что ты с этого круга сойдешь. За всем не угнаться.

Феба не отвечала и не садилась.

— Может, ты думаешь, я скорее уйду, если ты не сядешь? Сядь, Феба. Обещаю: скандала не будет. У меня одна-единственная цель — ну и, конечно, желание увидеть старого друга.

— Никакие мы не старые друзья.

— Это если по календарю. А в Людевилле мы были еще как близки. Ведь это правда. Ты примени понятие длительности, бергсоновской длительности. Мы знали друг друга в длительности. Есть люди, *приговоренные* к определенным взаимоотношениям. Возможно, всякие отношения — либо радость, либо приговор.

— Свой приговор ты заслужил, если говорить твоими словами. Мы себе спокойно жили, пока вы с Маделин не нагрянули в Людевилль и не навязались на мою голову.— С застывшим взглядом на лице белого каления Феба опустилась на край стула, подсунутого Герцогом.

— Отлично. Скажи, что ты обо всем этом думаешь, Феба. Я же за этим и пришел. Сядь удобнее. Не бойся. Я не ищу неприятностей. Проблема-то у нас с тобой одна.

Феба не согласилась. С тем же упорным взглядом решительно замотала головой.

— Я простая женщина. И Вэл — название одно: из штата Нью-Йорк, а сам с Севера.

— Во-во: деревенщина. Про пороки большого города даже не слыхал. Не умел набрать номер телефона. И по наклонной плоскости его под руку сводил, конечно, Мозес Е. Герцог.

Зажатая, нерешительная, она сначала дернулась в сторону, потом, набравшись духу, так же резко повернулась к нему лицом. Она даже хорошенькая, но уж очень зажатая, негибкая, без веры в себя.— Ты ничего в нем не понял. Он влюбился в тебя. Обожал тебя. Старался стать интеллектуалом, чтобы тебе помочь, потому что видел, какую кошмарную глупость ты сморозил, бросив свое достойное университетское дело, и как безответственно с твоей стороны было сбегать в деревню с Маделин. Он считал, что она тебя губит, пытался вернуть тебя на правильный путь и книжки эти читал, чтобы тебе там было с кем поговорить, Мозес. Потому что тебе нужны были помощь, одобрение, лесть, поддержка, любовь. И тебе все было мало, мало. Ты его измотал вконец. Он буквально погибал, все время подставляя тебе плечо.

— Так... Что-нибудь еще? Продолжай,— сказал Герцог.

— И опять тебе мало. Чего ты хочешь от него сейчас? Зачем пришел? Встряхнуться? Тебе мало было встряски?

Больше Герцог не улыбался.— Кое в чем ты, пожалуй, права, Феба. Я, конечно, напорол ошибок в Людевилле. Но меня совершенно

сбивает с толку, когда ты говоришь, что у себя в Барринтоне вы жили самым заурядным образом. А потом, мол, с книгами, с шумом и блеском являемся мы с Мади, приносим с собой духовную жизнь высокого накала, сорим грандиозными идеями и бракуем одну историческую эпоху за другой. Ты потому и испугалась, что мы — особенно Мади — дали ему уверенность в себе. Пока он оставался хромым дикторишкой, он мог сколько угодно пускать пыль в глаза: при тебе он был ручной. Пусть он прохиндей и чудо-юдо, но он *твой*. А потом он осмелел, стал вовсю выставляться. Все правильно: я полный идиот. И правильно, что ты не любила меня — хотя бы за то, что не разобрался, куда это все идет, и только добавил тебе проблем. Но ты-то почему молчала? Все происходило у тебя на глазах. Это продолжалось годы, а ты молчала. Я бы не проявил такое безразличие, случись это *с тобой*.

Продолжать этот разговор Фебе было трудно, она даже побледнела. Потом все-таки сказала: — Я не виновата, что ты отказываешься понять, чем живут другие люди. Твои идеи мешают тебе. А что, если я просто слабый человек и у меня нет выбора? Я ничего не могла для тебя сделать. Особенно в последний год. Я была у психиатра, и он велел мне держаться в стороне. Тебя сторониться, в первую очередь, и твоих неприятностей. Он сказал, что я не сильный человек, и ты знаешь, что это так: я не сильный человек.

Герцог принял это к сведению — действительно слабая женщина. И решил перейти к главному.

— Почему ты не разводишься с Валентайном? — спросил он.

— Не вижу причины.— Ее голос немедленно окреп.

— Он же бросил тебя. Разве нет?

— Вэл? Не знаю, почему ты это говоришь. Никто меня не бросал.

— Тогда где он сегодня, вот сейчас?

— В городе. По делам.

— Ай, ладно, не говори мне эту чушь, Феба. Он живет с Маделин. Ты станешь это отрицать?

— Безусловно, стану. Не представляю, как тебе взбрела эта безумная мысль.

Накренившись, Мозес достал носовой платок — ту тряпочку, от нью-йоркского кухонного полотенца,— и вытер лицо.

— Если ты возбудишь дело о разводе,— объяснил он,— на что ты имеешь полное право, ты обвинишь Маделин в прелюбодеянии. С деньгами я помогу. Оплачу все расходы. Мне нужна Джуни. Неужели непонятно? Вдвоем мы их скрутим. Ты допустила, чтобы Маделин помыкала тобой, как козой какой-нибудь.

— Опять в тебя бес вселился, Мозес.

Насчет козы была ошибка. Она еще больше замкнулась. Да и так она будет гнуть свою линию. В его дела не станет вникать.

— Ты не хочешь, чтобы я стал опекуном Джун?

— Да мне все равно.

— Конечно: у тебя своя война с Маделин,— сказал он.— Отбить себе мужика. Кошачья свара — свара самок. Только ведь она тебя побьет, потому что она психопатка. Я знаю, в запасе у тебя есть силы. Но она ненормальная, а ненормальные побеждают. И Валентайн не хочет, чтобы ты его удерживала.

— Я действительно не понимаю, о чем ты говоришь.

— Он потеряет цену в глазах Мади, как только ты его оставишь. После победы она вышвырнет его вон.

— Валентайн возвращается домой каждый вечер. Никогда не задерживается. И сейчас он скоро придет. А если я где-нибудь застряну, он места себе не находит. Обзванивает весь город.

— Может, это просто надежда,— сказал Мозес.— Надежда под видом тревоги. Ты не знаешь, что так бывает? Если с тобой случится несчастье, он поплачет, успокоится и переедет к Маделин навсегда.

— Опять тебя бес разбирает. У моего ребенка будет *свой* отец. А ты по-прежнему хочешь Маделин — вот что!

— Я? Да никогда! С этим кликушеством покончено. Нет-нет, я рад, что освободился от нее. Даже ненависти к ней особой нет. Пусть пользуется всем, что вытянула из меня. Она, уверен, с самого начала залезла в мой банк. Пусть пользуется — благословляю. Благословляю суку. В добрый час и до свидания. Я ее благословляю. Желаю трудовой, полезной, яркой жизни. Включая *любовь*. Влюбляются лучшие люди, а она из лучших и посему любит этого друга. Они оба *любят*. Только вот для ребенка она не очень подходящий воспитатель...

Будь он свирепым кабаном, а ее челка — хлипкой загородочкой, испуг ее карих глаз был бы обоснован. Впрочем, Мозес жалел ее. Они вытирали об нее ноги — Герсбах, Маделин, по милости Герсбаха. А ведь рассчитывает вырвать победу. Ей, конечно, кажется непостижимым, что можно проиграть, ставя перед собой такие скромные, мизерные цели — стол, рынок, прачечная, ребенок. Немыслимо, чтобы жизнь устроила такую пакость. Или — мыслимо? Можно предположить: ее сила — в женской холодности. Она владеет своим «супер-Я». Еще предположение: она признала креативную глубину современного вырождения, пышным цветом расцветшее зло высвободившихся силищ — и примирилась со своим положением затурканной, задерганной, запущенной мещанки. Герсбах для нее — незаурядность, и ввиду своей богатой натуры, в силу духовно-эротической энергии и бог весть какой еще воняющей носками метафизики ему требовались две жены — если не больше. И может быть, обе женщины одалживали друг у друга этот кусок мяса с рыжим хохлом для абсолютно разного употребления. Одна — для треногого совокупления, другая — для покоя в доме.

— Феба,— сказал он,— допустим, ты слабая, хотя какая ты слабая? Прости... Смешно, в конце концов. Ясно, ты должна *все* отрицать и делать вид, что ничего не происходит. Но неужели ты не признаешь хоть чуточку?

— А что это тебе даст? — резко спросила она.— И какой мне от тебя прок?

— От меня? Я бы помог...— начал он и осекся. Что он ей мог предложить?! От него действительно никакого проку. А с Герсбахом она какая-никакая жена. Он приходил домой. Она готовила, гладила, ходила по магазинам, подписывала чеки. Без него все рухнет, кончится готовка, уборка постели. Гипноз развеется. И что потом?

— Зачем ты пришел ко мне, если тебе нужно добиться опекунства? Сам и добивайся — или выброси из головы. А сейчас оставь меня в покое, Мозес.

Все правильно она говорит. Он молча, тяжело глядел на нее. По врожденному свойству ума, последнее время особенно заявлявшему о себе, он осмыслил бескровные крапины на ее лице. Словно смерть куснула ее и оставила, как недозрелый плод.

— Что ж, спасибо за разговор, Феба. Я ухожу.— Он встал. Не часто выражение размягченной доброты навещало лицо Герцога. Он не очень ловко ухватил Фебу за руку, и она не успела увернуться от его губ. Он привлек ее ближе и поцеловал в лоб.— Ты права. Не надо было приходить.— Она освободила свою руку.

— До свидания, Мозес.— Она глядела в сторону. Больше, чем она могла поделиться, он из нее не вытянет.— Тебя втоптали в грязь. Это правда. Но это кончилось. И тебе надо кончать с этим. Раз и навсегда.

Дверь закрылась за ним.

Крохи порядочности — это все, чем мы, бедняки, можем поделиться друг с другом. Неудивительно, что «личная» жизнь оборачивается унижением, а быть индивидуальностью жалкий удел. Исторический процесс, одевая, обувая, питая, делает для нас больше в своем

безразличии, нежели кто другой сделает намеренно, записывал Герцог в нанятом «соколе». *И поскольку все эти благие удобства суть подарки анонимного планирования и труда, то плоды намеренной доброты (добрые — они дилетанты) проблематичны. Тем более если наши доброжелательство и любовь требуют для себя разрядки в интересах собственного здоровья — мы ведь существо эмоциональное, страстное, экспрессивное, общительное, словом, животное. Глубоко своеобразное существо, клубок запутаннейших чувств и мыслей, только начинающих складываться в четкий механический узор, обнадеживающий свободой от человеческой зависимости. Люди уже осваивают свое будущее состояние. По эмоциональному типу я архаичен. Я из земледельческой или пасторальной эпохи...*

Герцог затруднился бы сказать, сколь весомы все эти обобщения. Он был охвачен возбуждением — буквально клокотал,— и главным для него было привести себя в порядок привычной работой мысли. Кровь хлынула в самую душу, и он выпал в свободу — либо в безумие. Но он еще понял, что нет нужды в обстоятельном, отвлеченном, интеллектуальном процессе — в этой работе, за которую он всегда хватался, словно в ней залог выживания. Не думать — это еще не катастрофа. Неужто я в самом деле полагаю, что, перестав думать, умру? Нет, бояться этого — вот уж действительно безумие.

Переночевать он собрался у Лукаса Асфалтера, с чем и звонил ему из будки — напроситься.— Я тебе не помешаю? У тебя никого? Правда? Слушай, сделай мне огромную любезность. Я не могу звонить Маделин и просить о встрече с ребенком. Она вешает трубку, узнав мой голос. Может, ты позвонишь и договоришься насчет Джун назавтра?

— Ну конечно,— сказал Асфалтер.— Прямо сейчас позвоню, чтобы знать к твоему приходу. А ты что свалился к нам — просто так? Экспромтом?

— Спасибо, Лук. Сейчас и звони.

Он вышел из будки, думая, что и впрямь надо отдохнуть, поспать хоть немного. При этом ему было странно, как это он ляжет, закроет глаза — завтра может не вернуться это состояние простого, раскованного, цепкого осознания всего. Он поэтому ехал медленно, остановился у «Уолгрина», купил бутылку «Катти Сарк» для Лука и игрушки для Джун — надувной мяч, перископчик, чтобы смотреть за диван, за угол. Он даже нашел время дать Рамоне телеграмму из желтого здания «Уэстерн юнион» на Блэкстоун и 53-й улице. *Чикаго делами два дня* — вот такой текст. *Люблю.* На нее можно положиться, она утешится на время его отсутствия, не будет мрачно упиваться своей «брошенностью», как это было бы с ним,— у него это детская болезнь, детский страх смерти, изломавший, искромсавший его жизнь совершенно замысловатым образом. Уяснив себе, что все должны быть снисходительны к недотепистым мужчинам, оставшимся сущими детьми, чистыми сердцами в джутовой упаковке невинности, и охотно допуская необходимую долю неизбежной лжи, он запасся эмоциональным лакомством: истина, дружба, преданность детям (американцы обожают малышей) и картофельная любовь. Это мы уже знаем. Но это далеко не все. Отсюда лишь начинается приближение к началу истинного самосознания. Необходимой его предпосылкой является мысль, что человек неким образом больше, нежели его «характерные черты», всякие там чувства, стремления, вкусы, прожекты — то есть все, что ему угодно назвать: «Моя жизнь». Есть основания надеяться, что жизнь есть нечто большее, нежели это облако частиц, эта элементарная вещественность. Пройдите через постижимое — и вы убедитесь, что лишь непостижимое дает хоть какой-то свет. Это вовсе не «общая идея», к которой он пришел. Это что-то неизмеримо более важное, нежели все, что он обозревал в слепящем свете телеграфного зала. Все предстало ему исключительно ясным. Что давало эту ясность?

Что-то на самом конце линии. Была ли то Смерть? Но смерть не была той непостижимостью, какую приняло его сердце. Ни в коем случае.

Он перестал глазеть на тонкую стрелку, мерящую шаги по циферблату, на желтую мебель, пришедшую из другой эпохи,— неудивительно, что крупные корпорации гребут такие прибыли; высокие сборы, старая обстановка и никаких конкурентов — «Почта и Телеграф» ликвидировалась. С этих желтых столов им побольше перепало, чем папе Герцогу с такой точно мебели — на Вишневой улице. Напротив них был бордель. Когда мадам переставала платить полицейским, те выбрасывали со второго этажа постели шлюх. Женщин заталкивали в полицейскую карету, они орали негритянские проклятья. Папа Герцог, бизнесмен, созерцал эти отбросы порока и дикости, этих полицейских и варварски тучных баб, стоял среди таких же вот столов — обычной подержанной обстановки, приобретаемой на оптовых распродажах. Тут и закладывалось мое наследственное состояние.

Перед домом Асфалтера он запер «сокол» на ночь, оставив подарки для Джуни в багажнике. Перископ ей обязательно понравится. В доме на Харпер авеню есть что повидать. Пусть девочка узнает жизнь. Чем хуже — тем лучше, может быть.

На лестнице его встретил Асфалтер.

— Заждался тебя.

— Что, сорвалось?

— Нет-нет, не волнуйся. Я заеду за Джун завтра в обед. Она ходит в дошкольную группу на полдня.

— Замечательно,— сказал Герцог.— Проблемы были?

— С Маделин? Никаких. Тебя она не хочет видеть, а с дочуркой можешь общаться сколько пожелаешь.

— Она не хочет, чтобы я пришел с судебным постановлением. С точки зрения закона у нее двусмысленное положение, раз в доме этот проходимец. Ну, дай посмотреть на тебя.— Они вошли в квартиру, там было посветлее.— Отпускаешь бородку, Лук?

Пряча глаза, Асфалтер застенчиво и нервно потрогал подбородок. Он сказал: — Категорически отрицаю.

— Компенсируешь свалившуюся на голову плешь? — сказал Герцог.

— Борюсь с депрессией,— сказал Асфалтер.— Думал, перемена облика поможет... Прости, у меня такой хлев.

Асфалтер всегда жил в типично аспирантской грязи. Герцог огляделся.— Если мне когда-нибудь еще привалит наследство, я куплю тебе книжные полки, Лук. Этим этажеркам давно пора в отставку. Научные труды тяжеловесны. Стой, да ты застелил мне кушетку свежим бельем. Очень любезно с твоей стороны, Лук.

— Для старого друга.

— Спасибо,— сказал Герцог. И сам удивился, что говорить ему трудно. Незнамо откуда прихлынувшее чувство перехватило ему горло. Глаза увлажнились. Картофельная любовь, объявил он про себя. Тут как тут. Верный своей склонности называть вещи своими именами, он возвращал себе самообладание. Одернув себя, он взбодрился.

— Лук, ты получил мое письмо?

— Письмо? А ты посылал? И я тебе посылал.

— Я не получил. Что там было?

— Насчет работы. Ты помнишь Элайаса Тубермана?

— Социолог, который женился на тренерше?

— Не смейся. Он главный редактор стоуновской энциклопедии, у него миллион на переиздание. Я курирую биологию. Тебя он ищет, чтобы ты взял историю.

— Почему — я?

— Говорит, что перечитал твою книгу о романтизме и христианстве. В пятидесятые, когда она вышла, он ее прозевал. Говорит: это памятник.

Герцог помрачнел. Он прикинул несколько ответов и все забраковал.

— Не знаю, какой я сейчас ученый. Когда я ушел от Дейзи, я, очевидно, бросил и науку.

— И Маделин тут же подхватила ее.

— Вот-вот. Они поделили меня между собой. Валентайн обтесался за мой счет, Маделин собирается стать профессором. У нее вроде бы устные экзамены скоро?

— Прямо сейчас.

Вспомнив умершую обезьяну Асфалтера, Герцог сказал: — Что на тебя нашло, Лук? Ты, часом, не заразился туберкулезом от своего питомца?

— Нет-нет. Я регулярно делаю туберкулиновую пробу. Ничего нет.

— Это надо быть не в себе, чтобы проводить Рокко искусственное дыхание рот в рот. Чудить, знаешь, надо в меру.

— Про это тоже писали?

— Конечно. Иначе откуда я знаю? Как вообще это попало в газеты?

— Один паразит с кафедры физиологии подрабатывает сплетнями в «Американ».

— Ты сам-то знал, что у обезьяны туберкулез?

— Знал, что болеет, а чем — не представлял. И конечно, не предполагал, что так тяжело перенесу его смерть.— К суровости, с какой глянул на него Асфалтер, Герцог был не готов. У него разномастная бородка, но даже темнее утраченных волос смотрели его глаза.— Я буквально вошел в штопор. Ведь я думал, что водить дружбу с Рокко — это так, баловство. Не понимал, как много он значил для меня. Знаешь, я вдруг осознал, что никакая другая смерть не могла поразить меня сильнее. Я задавался вопросом: потрясла бы меня хоть в половину так же смерть моего брата. Думаю — нет. Все мы, понимаю, на чем-нибудь сдвинуты. Но...

— Не обижайся, что я улыбаюсь,— повинился Герцог.— Не могу удержаться.

— А что тебе остается?

— Это еще не самое страшное — любить свою обезьяну,— сказал Герцог.— Le coeur a ses raisons [1]. Ты видел Герсбаха. Задушевным другом доводился. А Маделин — та *любит* его. Так чего же тебе стыдиться? Еще одна душераздирающая комедия. Ты читал рассказ Кольера про человека, который женился на шимпанзе? «Его обезьянка-жена»? Великолепный рассказ.

— Я был страшно угнетен,— сказал Асфалтер.— Сейчас я ничего, а тогда почти два месяца не работал, и слава Богу, что у меня нет жены и детей, от которых пришлось бы скрывать свою истерику.

— И все это в честь обезьяны?

— Я перестал ходить в лабораторию. Сел на транквилизаторы, но так не протянешь долго. Надо было брать себя в руки.

— И ты пошел к доктору Эдвигу? — рассмеялся Герцог.

— Эдвиг? Нет, у меня другой психиатр. Он снимал депрессию. Но это всего два часа в неделю. Остальное время меня просто колотило. Тогда я взял в библиотеке кое-какие книги... Ты читал книгу такой венгерки, Тины Зоколи, о выходе из кризисных состояний?

— Не читал. Что она говорит?

— Она рекомендует определенные упражнения.

Мозес заинтересовался: — Какие именно?

— Главное у нее — заглянуть в лицо собственной смерти.

— Как ты это делаешь?

Асфалтер старался говорить ровным голосом, в тоне беседы, ин-

[1] Сердцу не прикажешь (*франц.*).

формации. Ясно, что говорить об этом ему очень трудно. И не говорить он не мог.

— Ты воображаешь, что умер,— начал он.

— Случилось худшее... Дальше? — Герцог повернулся к нему в профиль, как бы настраиваясь лучше слышать, внимательнее слушать. Руки сложены на коленях, плечи устало опущены, носки составлены внутрь. Затхлая, вся в книгах комната с зажимной лампой на этажерке и шелест летней листвы действовали на Герцога умиротворяюще. *Истинное в форме гротеска,* размышлял он.

Каково это — он знал. Он сочувствовал Асфалтеру.

— Пресеклось дыхание. Кончилась агония,— говорил Асфалтер. — Ты мертв и должен лежать как мертвый. Что там, в ящике? Шелковая обивка.

— А-а, так ты все домысливаешь. Трудненько, должно быть. Понятно...— вздохнул Мозес.

— Требуется навык. Ты должен воспринимать — и не воспринимать, быть — и не быть. Ты одновременно присутствуешь и отсутствуешь. И один за другим входят окружавшие тебя в жизни люди. Отец. Мать. Все, кого ты любил и кого ненавидел.

— Дальше что? — Завороженный Герцог скосил на него глаза.

— Дальше ты себя спрашиваешь: «Что ты имеешь сказать им теперь? Как ты к ним относишься?» Ведь, кроме истины, теперь и высказать нечего. И ты не им это высказываешь, потому что ты мертвый, а самому себе. Тут подлинность, а не обман. Истина, а не ложь. С ложью покончено.

— Лицом к смерти. Это Хайдеггер. Чем все это кончается?

— Когда я зрячий лежу в гробу, мне сперва удается сосредоточить внимание на своей смерти и отношениях с живущими, но потом всякий раз меня отвлекают другие вещи.

— Ты утомляешься?

— Нет. Раз за разом я вижу одно и то же.— Лукас нервно, мучительно рассмеялся.— Мы уже были знакомы, когда у моего отца была ночлежка на Западной Мадисон-стрит?

— Да, я помню тебя по школе.

— Когда разразился кризис, мы сами переехали к себе в номера. На верхнем этаже отец оборудовал квартиру. А в нескольких домах от нас был театр «Хеймаркет», ты его помнишь?

— Балаганный театр? Еще бы, Лук, я срывался с уроков посмотреть трюкачей и коверных.

— Так вот, для начала я вижу пожар в нашем доме. Он загнал нас на чердак. Мы с братом закутали малышей в одеяла и встали к окнам. Приехала пожарная команда и вызволила нас. Я держал сестренку. Пожарные по одному спускали нас вниз. Последней сгружали тетю Рей. Она была под двести фунтов. У нее задралось платье, когда пожарник спускался с ней. От тяжести и напряжения у него пылало лицо. Крупное такое ирландское лицо. А я стоял внизу и смотрел, как все ближе нависают ее ягодицы, этот бледный, бесподобно щекастый, необъятный зад.

— То есть вот что ты видишь, когда представляешь себя мертвым: толстозадая старая тетка, спасенная от смерти.

— Не смейся,— сказал Асфалтер и сам не в силах удержаться от невеселого смешка.— Я не только это вижу. Еще вижу девок из того балагана. Между номерами им было нечего делать. Крутится себе лента — Том Микс, они киснут в уборных. И тогда они выходили на улицу и играли в бейсбол. Очень любили играть. Крупные, здоровые, раскормленные — им была нужна разминка. Я садился на край тротуара и смотрел, как они играют.

— Они так и были в балаганных костюмах?

— Напудрены и намазаны. С высокими прическами. Когда они подавали, отбивали и делали пробежки, у них ерзали соски. Играли они

на манер «чижика» — слабым мячом. Клянусь, Мозес...— Асфалтер прижал ладони к бородатым щекам, его голос дрогнул. В озадаченных темных глазах стыла вымученная улыбка. Потом он отсел со стулом назад, от света. Не плакать ли собрался? Надеюсь, не станет, подумал Герцог. Сердце разрывалось от жалости к нему.

— Не убивайся, Лук. И послушай теперь меня. Может, я смогу кое-что объяснить тебе. Во всяком случае, объясню, как я сам это понимаю. Человек может себе сказать: «С сегодняшнего дня буду говорить правду». Но правда его слышит и убегает, прячется, не дав себя высказать. В человеческом жребии есть что-то смешное, и цивилизованный разум высмеивает свои собственные идеи. Твоя Тина Зоколи тоже валяет дурака.

— Я так не считаю.

— Тогда это на новый лад старинное memento mori[1], череп в монашеской келье. Какая от этого польза? Это зады немецких экзистенциалистов, которые твердят тебе о пользе страха, и что он спасет тебя от метаний, и вернет тебе свободу и подлинность. Бога больше нет. Но есть смерть. Вот и весь сказ. А живем мы в гедонистическом мире, где счастье поставлено на поток. Тебе остается только расстегнуть ширинку и погрузиться в счастье. Тогда эти горе-теоретики в качестве поправки подключили чувство страха и вины. Но человеческая жизнь мудренее всех своих моделей, в том числе и остроумных немецких моделей. И нужны ли нам *теории* страха и страдания? Эта Тина Зоколи без царя в голове. Она велит тебе раз за разом убивать себя, и ты умно подыгрываешь ей. Но ты заигрался. Это глумление над собой то же страдание, и чем дальше, тем оно горше. Обезьяны, ягодицы, девочки из кордебалета, «чижик».

— Я надеялся, у нас получится поговорить об этом,— сказал Асфалтер.

— Не казнись, Лук, и не возводи крамолу на свои чувства. Ты добрая душа, я знаю, у тебя ранимое сердце. И ты доверяешь жизни. А жизнь учит отыскивать истину в гротескных сочетаниях. И еще жизнь остерегает тебя искать утешения, если ты дорожишь интеллектуальным достоинством. По этой теории, истина дается в наказание, и принимать ее должно, как полагается мужчине. Истина будет терзать твою душу, говорит теория, поскольку ты, жалкий человече, склонен лгать и жить по лжи. Так вот, если в твоей душе что-то жаждет обнаружиться, то от этих людей ты ничего не узнаешь на сей счет. Надо ли мысленно ложиться в гроб и проделывать все эти упражнения со смертью? Если мысль отправляется вглубь, она выводит к смерти — это как закон. Современные философы жаждут возродить древний страх смерти. Новомодное отношение к жизни как к пустяку, не стоящему ничьих страданий, угрожает самому существу цивилизации. И ни при чем здесь страх и другие подобные слова... Хотя — что́ остается думающим людям и гуманистам, как не отвоевывать нужные слова? Возьми меня, к примеру. Кому и куда я только не писал письма. Сорил словами, заговаривал жизни зубы. Может, вообще хотел загнать ее в слова, навязать *совесть* Маделин и Герсбаху. Вот и нужное слово. Похоже, я стараюсь натягивать такие струны, без которых люди не заслуживают называться людьми. Если они не страдают, они для меня за гранью. И я усеял мир письмами, чтобы не дать им ускользнуть. Они нужны мне в человеческом виде. Я для этого выстраиваю целый ряд обстоятельств и сую людей в самую середку. Я всю душу вкладываю в эти свои построения, но кубики — они и есть кубики.

— Тебе хорошо — у тебя люди. А что я предъявлю — Рокко?

— Так давай держаться чего-то надежного. Я убежден, что только чувство братства делает людей человеками. Именно в этом пункте я грешен перед Богом, который дал мне человеческое назначение.

[1] Помни о смерти (*лат.*).

«Человек живет не наедине с собой, но заедино с братом своим... Все узрим Предвечного, и любовь и радость умножатся». Когда проповедники страха говорят, что другие люди только отвлекают тебя от метафизической свободы, ты должен повернуться спиной к этим проповедникам. Правильно и необходимо одно: чтобы мы занимались другими людьми, а они — нами. Без этой нужной занятости ты не боишься смерти, а культивируешь ее. Если же сознание неотчетливо представляет себе, для чего жить, для чего умирать,— оно способно только казниться и глумиться над собой. Тебе помогают в этом Рокко и Тина Зоколи, мне — мои несвоевременные письма... Что-то голова кружится. Куда я дел «Катти Сарк»? Надо бы глотнуть.

— Надо укладываться спать. Того гляди свалишься.

— Я совсем неплохо себя чувствую,— сказал Герцог.

— Вообще-то мне кое-что надо сделать. Ложись. Я не кончил проверять задания.

— Пожалуй, я выхожу из игры. Уж очень хороша постель.

— Я тебя подниму попозже. У тебя масса времени,— сказал Асфалтер.— Спокойной ночи, Мозес.

Они пожали друг другу руки.

Наконец он обнял свою дочь, а та сжала ручонками его лицо и поцеловала. Изнемогая от желания ощущать ее, вдохнуть детский запах, заглянуть в лицо, в темные глаза, погладить волосы, кожу под платьицем, он стиснул в объятьях ее косточки, бормоча:

— Джуни, лапочка, как я соскучился.— Надрывное у него счастье. И со всей невинностью и детскостью, в порыве чистой девчоночьей влюбленности она поцеловала в губы своего замученного, облапошенного, микробного отца.

Асфалтер рядом улыбался с выражением некоторой неловкости, потея лысым черепом, парясь в пестрой бороде. Они стояли на длинном сером марше перед Музеем науки в Джексон-парке. Выгрузившаяся из автобусов ребятня шла черными и белыми косяками под учительской и родительской опекой. Сверкая на солнце, стеклянные двери в бронзовой гарнитуре ходили взад и вперед, и, торопясь, входили и выходили эти человечки, пахнущие молоком и писками, безоблачные головушки всех форм и цветов, надежда завтрашнего мира, в глазах размягченного Герцога, добро и зло, грядущие в него.

— Лапочка Джун. Папа соскучился.

— Папуля!

— Представляешь, Лук,— с жаром заговорил Герцог, сияя мучительно перекошенным лицом,— Сандор Химмельштайн уверял, что ребенок меня забудет. Он судил по своему приплоду, по своим хомячкам и морским свинкам.

— Герцоги сделаны из более благородной глины? — Асфалтер сказал это в форме вопроса. Но сказано было уступчиво, с добрым чувством.— Я подойду на это самое место в четыре часа,— сказал он.

— Всего три с половиной часа? Она для чего ее, собственно, выпустила? Ладно, не буду. Мне не нужны конфликты. Есть еще завтрашний день.

Одна заряженная мыслью частица, набухая и смещаясь подобием затянувшегося апарта (Мучительно больно упускать дочку. Пополнит число похотливых ослиц? Либо печальных красавиц вроде Сары Герцог, обреченной рождать детей, не ведающих ее души — ни Бога ее души? Или человечество выйдет на новую дорогу, оставляя его тип — дай-то Бог! — в прошлом? Как-то после лекции в Нью-Йорке один молодой служащий, порывисто приблизившись, сказал ему: — Профессор, искусство — евреям! — Он стоял перед ним стройный, светлый, возбужденный, и в ответ Герцог только кивнул и сказал: — Раньше говорили — ростовщичество), отторглась, знакомо разбередив душу.

Вот вам новый реализм, подумал он.— Спасибо тебе, Лук. Я буду здесь в четыре. И пожалуйста, не носись с собой как курица с яйцом.

Посмотреть, как вылупляются цыплята, и вел в музей свою дочку Мозес.

— Марко прислал тебе открытку, дочка?

— Да. Из лагеря.

— А ты знаешь, кто такой — Марко?

— Мой старший брат.

Как она там ни сходит с ума, Маделин, но против Герцогов она девочку не настраивает.

— Ты в шахту спускалась здесь, в музее?

— Страшно там.

— Цыпляток хочешь посмотреть?

— Я уже видела.

— Еще раз посмотреть не хочешь?

— Хочу. Мне нравится. Дядя Вэл показывал мне в прошлый раз.

— Я знаю дядю Вэла?

— Ой, папка! Ты дразнишься.— Она прыснула и обняла его за шею.

— Он — кто?

— Он мой отчим. *Сам* знаешь.

— Это мама так говорит?

— Он отчим.

— Это он запирал тебя в машине?

— Да.

— И что ты делала?

— Плакала. Только немного.

— А ты любишь дядю Вэла?

— Люблю, он смешной. Он делает рожицы. Ты умеешь делать хорошие рожицы?

— Иногда,— сказал он.— Я слишком себя уважаю, чтобы делать хорошие рожицы.

— Зато у тебя истории лучше.

— Надеюсь, что да, родная.

— Как про звездного мальчика.

Смотрите, она помнит его отборные враки. Герцог кивнул, изумляясь и гордясь ею, благодарный.

— У которого все лицо усеяно веснушками?

— Вроде звездного неба.

— Каждая веснушка была как звезда, и было их полный набор: Большая Медведица и Малая, Орион, Близнецы, Бетельгейзе, Млечный Путь. Все до единой, и каждая на своем месте.

— И только одну звезду никто не мог признать.

— Мальчика показали всем астрономам.

— Я видела астрономов по телевизору.

— И все астрономы сказали: — Ба! Интересное явление. Маленькое чудо.

— Дальше!

— Тогда он пошел к Хайраму Шпитальнику, старому-старому старичку с белой бородой до самой земли. Он жил в шляпной коробке. И он сказал: — Тебя должен обследовать *мой дедушка.*

— Который жил в скорлупе от грецкого ореха.

— Совершенно верно. Дружбу он водил только с пчелами. Хлопотунье-пчелке некогда грустить. Прадедушка Шпитальник вылез из скорлупы с телескопом в руках и взглянул на лицо Руперта.

— Мальчика звали Рупертом.

— С помощью пчел старый Шпитальник взлетел на нужную высоту, присмотрелся и сказал, что это *настоящая* звезда, только что открытая. Он давно охотился за ней... Ну, вот и цыплятки.— Он посадил девочку на поручень, слева от себя, чтобы не прислонялась к

пистолету, обернутому в рубли ее собственного прадедушки. Это хозяйство по-прежнему лежало в правом внутреннем кармане.

— Желтенькие,— сказала она.

— Здесь специально поддерживают тепло и свет. Видишь, вон то яйцо покачивается? Это цыпленок хочет выбраться. Скоро его клювик проколет скорлупу. Следи.

— Папа, ты больше не бреешься у нас дома — почему?

Срочно укреплять сопротивляемость страданию. Пожестче с собой. Иначе получится как с тем пианино, о котором дикарь сказал: «Ты бьешь, он кричит». И закрывай еврейскую фабрику слез. Он обдуманно ответил: — Бритва у меня сейчас в другом месте. А что говорит Маделин?

— Она говорит, что ты не хочешь больше с нами жить.

При ребенке он сдержался.— Так и говорит? Неправда, я хочу быть с вами. Только не могу.

— Почему?

— Потому что я мужчина, а мужчины должны работать, всюду поспевать.

— И дядя Вэл работает. Он пишет стихи и читает маме.

Его хмурое лицо прояснилось.— Прекрасно.— Ей приходится слушать эту дребедень. Дрянное искусство и порок рука об руку.— Я очень рад.

— Он сияет, как денежка, когда читает.

— А он не плачет?

— Плачет.

Сентиментальность и скотство — одно без другого не бывает, как ископаемые и нефть. Бесценная новость. Просто счастье, что я ее узнал.

Джун опустила голову и закрыла глаза ладонями наружу.

— Что случилось, душенька?

— Мама не велела говорить про дядю Вэла.

— Почему?

— Сказала, что ты будешь очень-очень сердиться.

— А я и не подумал сердиться. Я смеюсь до упаду. Ладно. Не будем больше о нем. Обещаю. Ни одного слова не скажем.

Опытный отец, он расчетливо выждал, когда они вернутся к «соколу», и тогда сказал: — В багажнике для тебя подарки.

— Ой, папа, а что?

Молочные зубки, редкая россыпь веснушек, большие вопрошающие глаза, хрупкая шейка — насколько же свеженькой, с иголочки, смотрится она на фоне топорного, сонного Музея науки. И он вообразил, как она наследует этот мир мудреных приборов, законов физики и прикладной науки. Голова у нее соображает. Пьянея от горделивого чувства, он уже видел в ней еще одну мадам Кюри. Перископ ей понравился. Они пошпионили друг за другом, прячась за машину, за дерево, за опору арочного туалета. За мостом через Аутер-драйв они пошли берегом озера. Он разрешил ей разуться и зайти в воду, потом, выпустив рубашку, вытер ей ноги, особо заботясь о том, чтобы между пальцами не остался песок. Он купил ей коробку печенья, и, опустившись на траву, она захрустела им. Одуванчики отстрелялись и понурили шелковые пряди, дерн пружинил под ногами, не было в нем майской сырцы и еще не высушил и не ожесточил его жаркий август. Подстригая склоны, ходила кругами механическая косилка, пыля зеленой крошкой. Освещенная с юга, вода восхищала свежей, полновесной полуденной голубизной; небо лежало на мреющем горизонте чистейшее, когда бы в той стороне, где Гэри, не пускали клубы бурого с прозеленью дыма темные высокие трубы сталеплавильных печей. В эту пору некошенные два года лужайки в Людевилле — готовый сенокос, и, надо ожидать, на участке снова топчутся местные охотники и любовные парочки, бьют стекла и жгут костры.

— Пап, я хочу посмотреть океанариум,— сказала Джун.— Мама сказала, ты меня поведешь.

— Пойдем, раз мама сказала.

«Сокол» перегрелся на солнце. Он опустил стекла, чтобы продуло. Сколько же у него развелось ключей, надо как-то поумнее разложить их по карманам. Вот от нью-йоркской квартиры, этот дала Рамона, ключи от профессорской, от квартиры Асфалтера, связка людевилльских ключей.

— Ты сядешь сзади, душенька. Забирайся, только одерни платье — сиденье очень горячее.— Ветер с западной стороны был суше восточного. Обостренным нюхом Герцог улавливал разницу. За эти дни полубреда и беспорядочно разбросанного думанья глубинные ощущения обострили его способность воспринимать — либо он обрел способность оставлять свой отпечаток на окружающем. Как если бы кисть напитывалась и окрашивалась его губами, кровью, печенкой, потрохами, гениталиями. Через эту путаницу он и воспринимал Чикаго, после тридцати с лишним лет знакомый ему вдоль и поперек. Своим особым, органическим искусством он творил из его элементов собственный город. Зловонили толстые стены и горбатая брусчатка в негритянских трущобах. Дальше к западу — заводы; малоподвижный Южный рукав, забитый нечистотами и поблескивающий застойной ржавчиной; пустые скотные дворы, заброшенные высокие красные бойни; потом слабо зудящая скука дач и тощих парков; обширные торговые центры; на смену им кладбища — Вальдхайм, чьи могилы одних Герцогов заполучили, а других только ждут; заповедные леса с кавалькадами, югославскими пикниками, любовными тропками, жуткими убийствами; аэропорты, карьеры и кукурузные поля напоследок. И за всем этим самая разнородная деятельность, реальная жизнь. Мозес должен видеть ее. Возможно, он для того был от нее в известном смысле огражден, чтобы лучше увидеть, не сомлеть в ее тесном объятье. Его дело — осведомленность, его установка, его долг — вместительная понятливость, наблюдательность. Если он употребляет время на то, чтобы показать своей дочурке рыб, то он уж как-нибудь постарается приобщить это к своим наблюдениям. Сегодняшний день — он нашел в себе мужество признать это — был в точности день, когда хоронили папу Герцога. Тогда тоже все цвело — розы, магнолии. Прошедшей ночью Мозес плакал, спал, в воздухе гибельно пахло; ему снились заковыристые сны — тягостные, нечистые, подробные,— прервавшись редкой силы ночной поллюцией; смерть, как же ты манишь свободой порабощенные инстинкты; жалкие сыны Адама, чьи дух и тело принуждены внимать глухим позывам. Сколько помню себя, я стремился жить более осознанно. Я даже представляю, в каком роде.

— Папа, тут поворачивать. Дядя Вэл тут всегда поворачивает.

— Ладно.— Он увидел в зеркальце, что обмолвка огорчила ее: снова проговорилась о Герсбахе.— Эй, киска,— сказал он,— если ты вспомнишь при мне дядю Вэла, я никому не скажу. И спрашивать тебя про него не буду. Так что не волнуйся! Все это глупости.

В Вердене он был не старше Джун, когда мама Герцог запретила ему болтать про перегонный куб. Само сооружение он хорошо помнил. Красивые трубки. Пахучее сусло. Если его не подводит память, папа Герцог мешками ссыпал в бочку подопревшую рожь. Нет, иметь секреты не так уж плохо.

— Иметь парочку секретов не страшно,— сказал он.

— Я знаю много секретов.— Она стояла у него за спиной и гладила его голову.— Дядя Вэл очень хороший.

— Конечно, хороший.

— Только я его не люблю. Он нехорошо пахнет.

— Ха! Ладно, достанем ему флакон духов, и он будет потрясающе пахнуть.

На лестнице в океанариум он взял ее за руку, ощущая себя тем сильным, положительным отцом, которому можно довериться. Центральный дворик, белесый под открытым небом, встретил духотой. Плещущийся бассейн, пышные растения и тонкий тропический рыбий дух заставили Мозеса подтянуться, взбодриться.

— Что ты сначала хочешь увидеть?

— Больших черепах.

Они брели сумрачными коридорами между золотыми и зелеными стенами.

— Эта резвая рыбка называется хуму-хуму-или-или, она гавайская. А эта скользящая тварь — скат, у него в хвосте ядовитые шипы. Вот миноги, родственники миксин, они присасываются к какой-нибудь рыбе и пьют ее кровь, пока та не умрет. Вон форель. Черепах в этом крыле нет. Смотри, какие громадины! Акулы?

— В Брукфилде я видела дельфинов,— сказала Джун.— Они были в моряцких шляпах, звонили в колокол. Они танцуют на хвосте и играют в баскетбол.

Герцог взял ее на руки и понес дальше. Детские дни — возможно, из-за большой эмоциональной нагрузки — всегда обходились ему дорого. Случалось, проведя день с Марко, Мозес потом отлеживался с холодным компрессом на глазах. Получалось, что ему выпала судьба приходящего отца, фантома в жизни своих детей — то явится, то пропадет. Надо, надо как-то наладиться с растравой встреч и разлук. Эта пульсирующая горечь — он попробовал облечь ее в терминологию Фрейда: частичный возврат подавленной травмирующей темы, в конечном счете восходящей к инстинкту смерти,— так? — не должна эта горечь передаться детям, как и длящееся всю жизнь зябкое оцепенение перед смертью. Это же самое чувство, понимал теперь дока Герцог, стоит у колыбели небесного града и любого земного: не могут люди разлучаться ни с любимыми, ни с мертвыми ни в этой жизни, ни в будущей. Но жестоко давило это чувство на Мозеса Е. Герцога, когда он с дочерью на руках разглядывал сквозь водяную зелень миксин и гладких акул с зубастыми утробами. Он впервые другими глазами взглянул на то, как Александр В. Герцог провернул похороны папы Герцога. В службе не было благолепия. Избыточно мясные в плечах, руках и щеках и с бедной растительностью на головах, внушительной стеной стояли осанистые, с гольфовым загарчиком друзья Шуры — банкиры и президенты корпораций. Потом образовался траурный кортеж. Полицейские ехали впереди, завывая сиренами, и теснили к обочине грузовики и легковые машины, чтобы катафалку не торчать перед светофорами. Еще никто так не спешил в Вальдхайм. Мозес сказал Шуре: — При жизни папа бегал от полицейских. А сейчас...— Хелен, Уилли — все четверо детей сели в одну машину — негромко рассмеялись. Потом, когда гроб опустили в могилу и Мозес отплакал свое с близкими, Шура ему сказал: — Не распускайся, как чертов иммигрант.— Он стеснялся меня перед своими друзьями по гольфу, президентами корпораций. Может, я и не совсем был прав. Все ж таки образцовым американцем был он. А я еще мечен европейской скверной, отравлен Старым Светом с предрассудками вроде: Любовь — Сыновнее Чувство. Оцепенелые грезы.

— Вон же черепаха! — закричала Джун. Одетое в костный панцирь существо выплывало из глубины бассейна: вялая голова с клювом, извечно погасшие глаза, лапы, в медленном усилии толкающие стекло, розовато-желтые громадные пластины, на спине красиво разлинованные, под рябь воды, черные выпуклые плашки. За собой черепаха тянула пук паразитных водорослей.

В центральном бассейне были черепахи с берегов Миссисипи; для сравнения пошли на них посмотреть; у этих были красные полосы на боках; они дремали на бревнах и плескались вместе с зубатками; на дне лежали монетки и тени от папоротника.

Ребенок был явно утомлен, притомился и отец.— Пожалуй, пора идти и добыть тебе сандвич. Обеденное время,— сказал он.

Со стоянки, вспоминал потом Герцог, они выехали вполне грамотно. Он вообще водил осторожно. Но когда он вливался в главный поток, ему бы следовало учесть, что с севера, выходя из долгого поворота, машины шли с набором скорости. На хвосте у него повис грузовичок «фольксваген». Намереваясь, притормозив, пропустить его, он тронул педаль. Но тормоза были незнакомые и чуткие. «Сокол» резко стал, и грузовичок ударил его сзади и бросил на столб. Джун завизжала и вцепилась ему в плечи, когда его швырнуло на руль «Малышка!» — подумал он, хотя не о малышке надо было тревожиться. Судя по визгу, она не пострадала — только перепугалась. Он лежал на руле, чувствуя слабость, смертельную слабость; в глазах потемнело; тянуло тошнить, тело затекало. Слыша крики Джун, он был не в силах обернуться к ней. Он констатировал смерть и потерял сознание.

Его положили на траву. Очень близко он слышал шум поезда — с Иллинойского вокзала. Вот поезд уже вроде бы дальше, ползет через сорняки по ту сторону автотрассы. Сначала мешали видеть большие пятна перед глазами, потом они ужались в радужно сверкавшие пылинки. Дыхание наладилось само. Ногам было холодно.

— Где Джун? Где моя дочь? — Он приподнялся и увидел ее между двумя неграми-полицейскими, а те глядели на него. У них были его бумажник, царские деньги и, само собой, револьвер. Вот так-то. Он снова закрыл глаза. При мысли, в какую историю он вляпался, его опять затошнило.— Она ничего?

— Она в порядке.

— Иди сюда, Джуни.— Он подался вперед и заключил ее в объятия. Ощупывая ее, целуя испуганное лицо, он почувствовал резкую боль в груди.— Папа полежал немного. Ничего страшного.— Но она-то видела, как он лежал на траве. У этой новостройки в двух шагах от Музея. Недвижимый, уже, может, мертвый, в карманах роются полицейские. Лицо его словно обескровилось, опало, заострилось, и оно неудержимо немело, чего он особенно испугался. Покалывание кожи под волосами рождало подозрение, что он на глазах седеет. Полицейские дали ему несколько минут, чтобы он пришел в себя. На патрульной машине крутилась синяя мигалка. Водитель грузовичка свирепо сверлил его взглядом. Неподалеку прохаживались, клюя, галки, зажигая переливисто-радужное ожерелье вокруг шеи. За плечом у него был Музей Филда. Мне бы сейчас лежать мумией в его подвале, подумал он.

Полицейские его прищучили. Это ясно уже по тому, как они молча смотрели на него. Они ждали; пока с ним Джуни, они скорее всего не станут хамить. Он уже тянул время и чуть пережимал со слабостью. От полицейских можно ожидать самого худшего, он видел их в деле. Правда, это было давно. Может, времена переменились. У них новый начальник полиции. На конференции по наркотикам в прошлом году он сидел рядом с Орландо Уилсоном. Обменялся с ним рукопожатием. Конечно, пустяк, не стоящий упоминания; во всяком случае, ничто так не настроит против него этих черных верзил, как намек на влиятельное знакомство. Для них он просто рыбешка в сегодняшнем улове, а с учетом этих рублей и револьвера вообще не приходилось надеяться на легкий исход. Плюс сизого цвета «сокол», протаранивший столб. Несущееся мимо движение, дорога в сверкании машин.

— Мозес — ты? — спросил негр постарше. Вот оно: бесцеремонность начинается там, где кончается неприкосновенность.

— Да, я Мозес.

— Твой ребенок?

— Да, девочка моя.

— Ты бы приложил платок к голове, Мозес. У тебя там ссадина.

— Правда? — Вот почему на голове зудела кожа. Не затрудняя себя поисками платка (куска полотенца), он развязал свой шелковый

галстук, сложил и широким концом прижал к голове.

— Не имеет значения,— сказал он. Джун уткнулась головой ему в плечо.— Сядь, милая, рядом с папой. Сядь сюда на травку. У папы немного болит голова.— Она сразу села. Ее послушливость, сочувствие его положению, это мудрое, доброе начало в ребенке, ее сострадание растрогали его, придали сил. Беззаветно любящей рукой заступника он обнял ее за плечи. Наклонившись вперед, он прижимал к голове галстук.

— Разрешение на пистолет, Мозес, у тебя есть? — В ожидании ответа полицейский поджал толстые губы, пальцем теребя щетинку усов. Другой полицейский беседовал с бушевавшим водителем грузовичка. Остролицый, с острым красным носом, тот говорил, испепеляя Мозеса взглядом: — Права-то вы у парня отберете? — Я и так в дерьме из-за этого револьвера, думал Герцог, а он хочет еще добавить. Перед такой яростью он благоразумно сдержался.

— Я тебя раз спросил, Мозес, и спрашиваю опять: у тебя есть разрешение?

— Нет, сэр.

— Тут две пули. Оружие заряжено, Мозес.

— Командир, это пистолет моего отца. Он умер, и я вез вещь к себе в Массачусетс.— Он старался отвечать кратко и выдержанно. Эту историю ему придется повторять снова и снова.

— А что за деньги?

— Пустые бумажки. Русские, вроде наших конфедератских. Бутафория. Тоже взял на память.

Не совсем безучастное, лицо полицейского выразило усталое недоверие. Взгляд из-под тяжелых век, подобие улыбки на толстых молчащих губах. Вот так же Соно складывала губы, когда выспрашивала о других женщинах. В самом деле, с какими только случаями, оправданиями, выдумками и чушью не сталкивается полиция каждый день... Как ни терзался он свалившейся ответственностью и страхом, но, трезво все прикидывая, Герцог не допускал, что этот полицейский разберется в нем. Необходимые ярлыки он, конечно, имеет на себе, только не этому пинкертону уразуметь их. Даже теперь, в этом вот рассуждении, краешком вылезла гордыня — цепко держит человека его глупость.

> Славы, Господь, от ангелов требуй,
> Глуп человек, глупее не сыщешь.
> Глупость и грех — его жизненный жребий.

Голова болела, и дальше стихи не вспоминались. Он опустил руку с галстуком: нет смысла держать, так рана никогда не подсохнет. Джун положила голову ему на колени. Он прикрыл ей глаза от солнца.

— Нужна картина происшествия.— Полицейский в залоснившихся брюках сел на корточки рядом с Герцогом. С толстой выпирающей ляжки у него свисал собственный пистолет. Его бурая рукоятка с насечкой и патронташ не имели ничего общего с большим, нескладным револьвером папы Герцога.— Не вижу документов на эту машину.

Машина была разбита спереди и сзади, капот зевал, как вскрытая мидия. Двигатель вряд ли пострадал, поскольку не тек.

— Я взял напрокат. В аэропорту О'Хэар. Документы в бардачке,— сказал Герцог.

— Будем составлять протокол.— Полицейский раскрыл папку и желтым карандашом стал заполнять бланк на толстой бумаге.— Со стоянки с какой скоростью ехал?

— Еле полз. Пять, восемь миль в час. Я же только приглядывался.

— А этот парень как ехал — не видел?

— Нет. Наверно, его скрывал поворот. Не знаю. Только когда я занял полосу, он уже сидел у меня на бампере.— Он наклонился, стараясь, переменив позу, уменьшить боль в боку. Умом он решил не придавать ей значения. Погладил Джун по щеке.— Хоть она не пострадала,— сказал он.

— Я ее вынул через заднее окно. Дверь заклинило. Я поглядел девочку. С ней все в порядке.— Усатый негр нахмурился, как бы давая понять, что с человеком, у которого находят заряженный револьвер, он вообще не обязан объясняться. Ведь не дорожное происшествие, а зачем хранил этот нелепый седельный пистолет с двумя пулями будет ему главным обвинением.

— Я бы пустил себе пулю в лоб, случись с ней что-нибудь.

Сидевшему на корточках полицейскому, судя по его молчанию, не было никакого дела до того, что мог натворить Герцог. Тот, конечно, от большого ума сказал, что револьвер можно применить — пусть даже против самого себя. Но он еще был немного дурной, не в себе, подбитый, как ему представлялось, после нескольких дней дикого штопора; кошмаром, полным безумием было это вынужденное приземление. Еще кружилась голова. Надо прекращать этот идиотизм, иначе все будет только хуже. Он примчался защитить дочь — и едва не убил ее. Явился перебороть влияние Герсбаха, показать, что такое настоящий мужчина, отец и прочее — а сам не придумал ничего лучше, как врезаться в столб. Да еще ребенок видел, как его тащили, бесчувственного, на голове кровь, из кармана валятся револьвер и рубли. По слабости или болезни душевной он ходил всю жизнь с повинной головой (впрочем, и возносимой горделиво), только этот способ сохранять равновесие — гироскоп Герцога — дальше не годился. Похоже, этому пришел конец.

Одетый в зеленую куртку водитель грузовичка излагал свою версию происшедшего. Мозес попытался разобрать слово, желтыми нитками вышитое у того над карманом. Газовщик? Так и не разобрал. Разумеется, тот валил всю вину на него. С большой находчивостью, вдохновенно. Происшествие запутывалось на глазах. Великая вещь — самооправдание, думал Герцог. Какие способности выявляет она в смертных, будь у них даже самый красный нос. Рябь на голом черепе этого малого и морщины на лбу не согласовывались. Можно было восстановить былую линию волос. Кое-что еще оставалось.

— Он выскочил прямо передо мной. Ни сигналов — ничего. Почему вы его на алкоголь не проверяете? Вождение в нетрезвом состоянии.

— Спокойно, Харолд,— сказал негр постарше.— Какая у тебя была скорость?

— Да какая там скорость! Ниже допустимой.

— Профессионалы любят создавать проблемы частникам,— сказал Герцог.

— Сперва он выехал вперед, потом тормознул.

— Вмазал ты ему здорово. Значит, давил на него.

— Верно. Сдается мне...— Резиновым наконечником карандаша старший полицейский дважды, трижды, пять раз ткнул в сторону нарушителя, прежде чем продолжил фразу; он учил уважать дорогу (по которой, чудилось Герцогу, несется многоцветное и сверкающее стадо свиней Гадаринских [1], спеша к своей крутизне).— Сдается, ты напирал на него, Харолд. Он не мог перестроиться и решил сбросить скорость и пропустить тебя. Тормознул резко — и тут ты ему дал. У тебя, смотрю, уже есть две отметки нарушений.

— Верно, и поэтому я был сверхосторожен.

Моли Бога, чтобы гнев не спалил твой череп, Харолд. Он у него неприлично красного цвета и рифленый, как собачье нёбо.

---

[1] Имеется в виду эпизод исцеления Христом бесноватого. (Евангелие от Луки, 8, 26—33).

— Сдается мне, не наседай ты на него, ты бы его так сильно не ткнул. Тебе надо было принять влево и обойти. Выписываю повестку в суд, Харолд.

И добавил — уже Мозесу: — А тебя я заберу. Надо заводить дело.

— Из-за этой пукалки?

— Заряжен...

— Чушь какая-то. Судимостей у меня нет, дел за мной никаких.

Они ждали, когда он поднимется. Востроносый шофер грузовичка свел рыжие брови, и под его пылающе-яростным взглядом Герцог встал и взял на руки дочь. Когда он поднимал ее, с головы упала заколка. Волосы — уже совсем длинные — рассыпались. Снова нагибаться и искать черепаховую скрепку он уже не мог. Дверь патрульной машины, ставшей на откосе, приглашающе распахнулась. Теперь он доподлинно узнает, каково быть арестантом. Никого не ограбили, никто не умер. И все равно гнетущая, смертная тень накрыла его.— И поделом тебе, Герцог,— сказал он себе. Без самобичевания он не мог обойтись. Что бы он там ни собирался с ним делать вчера, но сегодня этот большой никелированный револьвер, конечно, надо было оставить у Асфалтера под диваном — в дорожной сумке. Когда он утром надел куртку и ощутил неудобный комок на груди, еще была возможность прекратить донкихотство. Потому что какой из него Дон Кихот? Всякий Дон Кихот подражает высоким образцам. А каким подражал он? Всякий Дон Кихот — христианин, а Мозес Е. Герцог не был христианином. Он жил в постдонкихотских, посткоперниковских Соединенных Штатах, где свободно витающий в пространстве рассудок обнаруживал связи, какие и не грезились человеку семнадцатого столетия, закупоренному в своей компактной вселенной. Лишь на девять десятых своего существа — они брели по траве на свет синей мигалки — он совпадал с теми, кто были прежде. Он взял револьвер (имея тянущую к себе, неясную цель), поскольку был сыном своего отца. Он был почти уверен в том, что Джона Герцог, боявшийся полиции, фининспектора, хулиганов, без этих врагов уже не мог шагу ступить. Он откармливал свои страхи и тем провоцировал врагов. (Страх: взять револьвер? Ужас: а если погублю себя?) Прежние Герцоги, уйдя в свои псалмы, талесы и бороды, и не прикоснулись бы к револьверу. Насилие для гоя. Но те Герцоги вымерли, сгинули, перевелись. Джона за доллар купил револьвер, а Мозес, решив: «Да черт с ним!» — застегнул куртку и спустился к машине.

— А как быть с машиной? — спросил он полицейских. И остановился. Но те подтолкнули его, сказав: — Не беспокойся. Присмотрим.

Он увидел подъезжавший тягач с краном. И у того на кабине сверкала синяя мигалка.

— Слушайте, — сказал он, — мне нужно вернуть ребенка домой.

— Домой она попадет. С ней нет проблем.

— Но я должен привести ее в четыре.

— У тебя почти два часа.

— А вдруг я не освобожусь через час? Я буду вам очень признателен, если вы дадите мне сначала разобраться с ней.

— Шагай, шагай, Мозес... — Не разжалобясь, старший патрульный повел его дальше.

— Она не ела.

— Ты о себе подумай...

— Давай-давай.

Он пожал плечами и, скомкав испачканный галстук, бросил его на обочину. Ссадина ерундовая, кровь перестала. Он поднял Джун в машину, сам сел на раскаленный синий пластик, а ее взял на колени. Может, случай представил тебе реальность, которой ты, на свой честный лад, домогался, Герцог? Обычная жизнь — на дне со всеми? Сам ты не мог решить, какая реальность — реальна? Как всякое рациональное суждение, скажет тебе любой философ, это поверяется общим опытом.

Хотя вот такое дознание порочно. Зато человечно. Ты сжигаешь дом, чтобы зажарить свинью. Человечество всегда зажаривало свиней именно таким образом.

Он объяснил Джун: — Мы немного прокатимся, миленькая. — Она без слов кивнула. Слезы высохли, личико затуманилось, и это было страшнее всего. Это мучило его. Надрывало сердце. Мало ей Маделин и Герсбаха — так сваливается еще он со своим слепым обожанием, лезет с объятьями, поцелуями, перископами и растрепанными чувствами. Потом истекает на ее глазах кровью. Он прижал пальцами защипавшие глаза. Грохнула дверь. Мотор смачно фыркнул и заработал ровно, потянуло сухим воздухом летнего настоя, сдобренным вонью. Его сразу затошнило. Съехали с озерной набережной, и открыл он глаза уже на желтое уродство 22-й улицы. Лето в Чикаго — это проклятье! Он дышал горячей вонью химикалий и чернил с фабрики Доннелли.

Она смотрела, как полицейские шарят у него в карманах. В ее возрасте он все видел очень отчетливо. Все тогда делилось на красивое и безобразное. Во всю жизнь не отмыться от крови и смрада. Интересно, будет ли она помнить так же остро. Как он помнил убой цыплят, истошное кудахтанье кур, когда их тащат из сетчатых курятников, как помнил помет, опилки, духоту и мускусный запах, как помнил птиц, с надрезанным горлом и мотавшейся головой истекавших кровью в жестяные лотки, и сновали, сновали, сучили по металлическому щиту их когтистые лапы. Да, на Рой-стрит и было это, бок о бок с китайской прачечной, где хлопали на ветру ярко-красные лоскуты с черными иероглифами. А от прачечной недалеко переулочек — у Герцога заколотило сердце, его бросило в жар, — где паскудным летним вечером на него напал мужчина. Подойдя сзади, он зажал ему рот рукой. И что-то шипел в ухо, спуская с него штаны. У него были сгнившие зубы и колюче-заросшее лицо. И ходила между детских ляжек страшная голая красная штука, пока не вспенилась. На хрип детского горла, перехваченного сгибом локтя, в задних дворах бросались на ограду собаки, рычали и выли, захлебываясь слюной, — орущие собаки! Он знал, что его могут убить. Человек мог задушить его. Откуда ему было знать это? А догадался. И стоял себе. Потом человек застегнул шинель и сказал: — Я тебе дам пять центов. Только сначала доллар разменяю. — Он показал ему бумажку и велел ждать на этом самом месте. Мозес смотрел, как, меся грязь, уходил сутулый кащей в длинной шинели, шел ходким колченогим шагом; спешащим к злу, вспомнилось Мозесу; почти бежал. Собаки умолкли, а он все ждал, боясь шевельнуться. Наконец поддернул мокрые штаны и пошел домой. Там еще посидел на крыльце, потом встал к ужину — словно ничего не случилось. Ровным счетом — ничего! Вместе с Уилли вымыл руки под умывальником и сел за стол. И съел суп.

Позже, когда он лежал в больнице, к нему приходила добрая дама-христианка, с мягким голосом и строгого вида, — та, что носила ботинки и покачивала шляпной булавкой, как троллейбусной штангой,— и она просила его почитать из Нового Завета, он открывал книгу и читал: — «Пустите детей приходить ко мне» [1]. Потом она листала, и он читал еще: — «Давайте и дастся вам: мерою доброю (...) отсыплют вам в лоно ваше (...)» [2].

В общем, так: известен совет, роскошный совет, при том, что исходит от немца,— забыть непереносимое. Сильный может забыть, заткнуть прошлому рот. Отлично! Пусть разговоры о силе — лишь самообольщение, ведь они позеры, эти эстетствующие философы, но сила собьет фанаберию. Все равно: это правда, что нельзя носиться со своими кошмарами, — тут Ницше, безусловно, прав. Мягкосердечные должны

[1] Евангелие от Марка, 10,14.
[2] Евангелие от Луки, 6, 38.

закалить себя. Что ж тогда этот мир — бессмысленный кусок кокса? Нет конечно: временами он продуманно мешает человеку, опровергает его логику. Я люблю своих детей, но я для них тоже целый мир — и я приношу в их жизни кошмар. Этого ребенка мне родил мой враг. А я люблю девочку. Ее облик, запах волос вызывают во мне сейчас любящий трепет. Не тайна ли, что я так люблю дитя моего врага? Но человеку не нужно счастье *для самого себя.* Он своротит гору страданий, вытерпит воспоминания, и собственную злую натуру, и отчаяние. Это и есть ненаписанная история человека, его невидимая победа, победа наоборот, его умение обходиться без вознаграждения себе — при том условии, что есть нечто высшее, чему может приобщиться его — и всех нас — существование. И не нужно ему никакого смысла, пока он живет этим тяготением. Ибо в нем-то *и есть* смысл, это очевидно.

Однако со всем этим нужно кончать. Под «этим» он разумел хотя бы вот такую поездку в полицейской машине. Или сыновнее чувство (абсолютно невнятное), повинуясь которому он таскал жуткий, бесполезный револьвер. Нужно ненавидеть и действовать. Ненависть — это уважение к себе. Если ты хочешь быть на людях с высоко поднятой головой...

А это Южная Стейт-стрит; здесь в былые времена киношные дельцы вешали свои умопомрачительные афиши — Том Микс сигает в пропасть; теперь это серая пустая улица, здесь продают посуду для баров. А философия-то какая у этого поколения? Бог умер? — да нет, это давно пройденная мысль. Сейчас, скорее всего, требуется другая формулировка: Смерть есть Бог. Это поколение полагает — и сия мысль у них главнейшая, — что верные, ранимые, хрупкие обречены, их ничто не держит. Смерть поджидает их, как караулит падающую лампочку бетонный пол. Взрывается хрупкая стеклянная скорлупа, теряя свой крохотный вакуум, и на этом все кончается. А вот как мы наставляем друг друга в метафизике: «Ты думаешь, что история — это история любящих сердец? Дурак. Задумайся о миллионах мертвых. Тебе их жалко, ты им сочувствуешь? Да ты ничего не чувствуешь! Их слишком много. Мы сожгли их дотла, засыпали бульдозерами. История есть история жестокости, а не любви, как считает всякая размазня. Мы испытали все способности человеческие, искали сильный и славный дар — и такого не обнаружилось. Там одна практичность. Если существует старый Бог, он должен быть убийцей. Истинный же Бог, единственный — Смерть. Вот так обстоит дело, если не тешить себя иллюзиями». Было так слышно, словно эта неспешная речь говорилась у него в голове. У него вспотела ладонь, и он отпустил дочкину руку. И может, не авария, а выход на такие вот мысли поверг его в обморочное состояние. Его затошнило от страха и смятения перед ними, перед их сминающей силой.

Машина стала. Ступив на тротуар, он покачивался, словно в главное полицейское управление прибыл на лодке по бурным волнам. Прудон говорит: «Бог — это зло». Но, даже выпотрошив мировую революцию в поисках la foi nouvelle[1], что мы выясним? Что побеждает смерть, а не рациональное начало, не рациональная вера. Наше собственное убийственное воображение становится громадной силой, а начинает оно с того, что объявляет убийцей Бога. В основе всех несчастий лежит человеческое недовольство, но с этим я разбираться не хочу. Легче не существовать вообще, нежели обвинять Бога. Проще. Чище. И хватит разбирательств!

Из машины ему передали дочь и проводили их к лифту, в котором вполне могла разместиться рота. С ними поднимались двое задержанных — тоже в сопровождении двоих. Это было на 11-й и Стейт-стрит. Он помнил место. Страшновато здесь. Вооруженные люди входят, выходят. Как было велено, он шел по коридору за дородным негром-

[1] Новая вера (*франц.*).

полицейским с огромными руками и широкими бедрами. Остальные шли за ними. Теперь понадобится адвокат, и он, естественно, подумал о Сандоре Химмельштайне. Ему стало смешно при мысли о том, что скажет Сандор. Сандор сам действовал полицейскими методами, брал психологией, как это практикуется на Лубянке и вообще во всем мире. Сначала он грубо ломал человека, а потом, добившись желаемого результата, ослаблял хватку и обращался помягче. Его речи незабываемы. Он орал, что выйдет из дела и сбагрит Мозеса проходимцам, а те запечатают его спереди и сзади, заткнут рот, завяжут кишки узлом, поставят счетчик на нос и будут брать за вдох и выдох. Что говорить, незабываемые речи — речи наставника реальности. В чем не откажешь.— Вот тогда ты вспомнишь про смерть. Тебе гроб милее гоночной машины глянется.— Или вот это: — Я оставлю жену еще не старой богатой вдовой, чтобы не жалась с деньгами.— Он это часто повторял. Сейчас Герцог развлекся. Окровавленный, грязный, в рубашке с пятнами крови, он вспоминал все это и улыбался. Не надо презирать Сандора за грубость. Это его личный, грубый вариант распространенного мировоззрения, называемого американским образом жизни. А каков мой образ жизни? Теплая шубка у любимой киски, поглажу по шерстке — она и не пискнет,— это то же самое кредо глазами ребенка, но людей злобно будят, и они просыпаются брюзжащими реалистами. Набирайся ума, простофиля! Или тетушка Таубе — вариант наивного реализма: — Готзелигер Каплицкий сам обо всем заботился. Я даже не смотрела за этим.— Но тетя Таубе — она не только симпатяга, но еще хитрюга. Беспамятные мы — что говорим, что делаем... Тут его и Джун ввели в большую комнату, где было не протолкнуться, и Мозес предстал еще перед одним негром-полицейским. Сержант был далеко не молод, с ровным морщинистым лицом — складки наложены, кожа не перетянута. У него был темно-желтый, золотого отлива цвет лица. Он посовещался с доставившим Герцога полицейским, потом осмотрел револьвер, вынул оба патрона, еще прошептал какие-то вопросы полицейскому в лоснившихся брюках, тот склонился, тоже шепча ему на ухо.

— Ну, так,— обратился он к Мозесу. Надел бен-франклиновские очки — пару колониальных кругляшек в тонкой золотой оправе. Взял ручку.

— Имя?

— Герцог. Мозес.

— Второй инициал?

— Е. Елкана.

— Адрес?

— В Чикаго не проживаю.

С отменной выдержкой сержант повторил:

— Адрес?

— Людевилль, штат Массачусетс, и Нью-Йорк. Нет, лучше только Людевилль, штат Массачусетс. Улица безымянная.

— Это ваш ребенок?

— Да, сэр. Моя дочурка Джун.

— Где она живет?

— Здесь, с матерью, на Харпер авеню.

— Вы в разводе?

— Да, сэр. Я приехал повидаться с ребенком.

— Понятно. Опустить ее не хотите?

— Нет, начальник... сержант,— поправился он, дружелюбно улыбнувшись.

— Мы заводим дело на вас, Мозес. Выпивши не были? Не пили сегодня?

— Вчера вечером пропустил стаканчик, перед сном. Сегодня не пил. Может, мне проверится на алкоголь?

— Незачем. Вам не дорожное происшествие вменяется. Мы заводим дело в связи с этим пистолетом.

Герцог одернул платьице на дочери.

— Это — так, на память. И деньги тоже.

— А что за деньги такие?

— Русские деньги, времен первой мировой войны.

— Освободите карманы, Мозес. Что у вас там — я запишу.

Он без возражений выложил деньги, записные книжки, ручки, тряпочку носового платка, расческу и ключи.

— Куда вам столько ключей, Мозес?

— Я могу за каждый отчитаться, сэр.

— Не надо. Не запрещается, если вы не взломщик.

— Здесь только один чикагский ключ — с красной метиной. От квартиры моего друга Асфалтера. В четыре он должен подойти к Музею Розенвальда. Я передам ему девочку.

— Пока еще не четыре, и никуда вы пока не идете.

— Мне нужно позвонить и предупредить его. Иначе он напрасно будет ждать.

— А почему сразу не отвести ребенка к матери, Мозес?

— Видите ли... мы не поддерживаем отношений. Слишком испортили их.

— Вроде вы ее боитесь.

Герцог возмутился: его тянут за язык. Но срываться сейчас ни к чему.

— Нет, сэр, это не совсем так.

— Тогда, может, она вас боится.

— Просто мы так договорились — общаться через третьих лиц. Я ее не видел с осени.

— Ладно, позвоним вашему дружку и мамаше ребенка тоже.

— Ей не звоните! — вырвалось у Герцога.

— Не надо? — Сержант послал ему смутную улыбку и на минуту расслабился, словно добившись желаемого.— Ясно, мы ее сюда доставим и послушаем, что она скажет. Если у нее к вам претензии, то дело выйдет серьезнее, чем нелегальное хранение оружия. Мы тогда предъявим вам скверное обвинение.

— У нее нет претензий, сержант. Можно поднять документы, не вызывая ее сюда. Я содержу этого ребенка и еще ни разу не уклонился от уплаты. Только это и скажет вам миссис Герцог.

— У кого купили револьвер?

Снова-здорово, без хамства ты не полицейский. Специально так делают, чтобы вывести из себя. Но он сохранял выдержку.

— Я его не покупал. Он принадлежал моему отцу. И эти русские рубли тоже.

— Такой вы сентиментальный?

— Да, такой. Сентиментальный сукин сын. Если угодно.

— И насчет них вы сентиментальный? — Он постучал пальцем по пулям — по одной и по другой.— Ладно, будем звонить вашим. Джим, пиши фамилии и номера.

Он обращался к полицейскому, который привел Герцога. Тот стоял рядом, мордатый, ногтем теребил щеточки усов, морщил губы.

— Да возьмите книжку — вон ту, красную. Только, пожалуйста, не потеряйте. Фамилия моего друга — Асфалтер.

— А другая фамилия — Герцог,— сказал сержант.— На Харпер авеню — так?

Мозес кивнул. Он смотрел, как деревянные пальцы листают его парижскую, в кожаной обложке книжку, испещренную неразборчивыми и полустершимися записями.

— У меня прибавится проблем, если вы вызовете мать ребенка,— в последний раз попытался он уговорить сержанта.— Не все ли равно, если придет мой друг Асфалтер?

— Иди, Джим.

Негр отметил красным карандашом нужные места и вышел. Мозес

сугубо позаботился о том, чтобы принять безучастный вид: никакой строптивости в лице, ни тем более молящего выражения, ничего сколько-нибудь личного. Было время, он верил в безотказное действие прямого взгляда, отметающего в сторону разность положения и обстоятельств: человек без слов открывает свое сердце другому. Душа познает душу. Сейчас он улыбнулся про себя. Сладостные мечты! Да попытайся он заглянуть в глаза этому сержанту, тот швырнет в него его же записной книжкой. Значит, Маделин придет. Ну и пусть. Может, в конечном счете он этого хотел — так или иначе встретиться. Повернувшись правильным, бледным профилем, он упорно глядел в пол. Джун ерзнула на руках, разбередив боль в боку.— Не обижайся на папу,— сказал он.— В другой раз пойдем к дельфинам. Наверно, у акул дурной глаз.

— Сядьте, если хотите,— сказал сержант.— Вы же еле стоите, Мозес.

— Мне надо позвонить брату, чтобы прислал своего адвоката. Если, конечно, понадобится. А если меня выпустят под залог...

— Вас выпустят под залог, хотя не знаю, какая будет сумма. Поручители найдутся.— Он повел тыльной стороной ладони, точнее запястьем, и Мозес, повернувшись, увидел у себя за спиной стоявший по стенам разнообразный люд. И явно были поручителями, судя по их приличному виду, те двое, что терлись около него. Он равнодушно осознал, что представляет для них рискованный случай. Они видели его билет на самолет, ключи, ручки, рубли и бумажник. Разбей он собственный автомобиль, на залог можно рассчитывать только малый. А за нанятый как? Тем более этот тип не местный, в грязноватой легкой рубашке, без галстука. Нет, он не тянет на несколько сот долларов. Только бы не больше, подумал он,— тогда я выберусь без помощи Уилла или Шуры. Некоторые всегда располагают к себе. А у меня не было и нет такой способности. Много воли даю чувствам. Горячее сердце, низкий порог доверия. Велите мне дать трезвую оценку себе, я выскажу ее этими же словами.

Вспомнилось, как на пляже, разбившись на команды, его всегда гнали в тыл противника, и если он зевал мяч, замечтавшись, те и другие орали ему: — Ну ты, балда! Руки-крюки! Ворон ловишь? — Он был безгласным участником потехи.

Под его сцепленными руками легко и ходко билось сердце его дочери.

— Так зачем вы ходите с заряженным пистолетом, Мозес,— стрельнуть в кого-нибудь?

— Конечно нет. И пожалуйста, сержант,— мне неприятно, что ребенок слышит такие вещи.

— Вы заварили эту кашу, а не я. Или попугать кого хотели? Зуб на кого-нибудь имеете?

— Да нет, сержант, я собирался использовать его как пресс-папье. Я забыл вынуть пули, потому что ничего не смыслю в пистолетах и мне это просто не пришло в голову. Вы разрешите мне сейчас позвонить?

— В свое время. Пока нет. Вы посидите, я займусь другими. Ждите, когда придет мамаша ребенка.

— Нельзя для девочки достать пакет молока?

— Дайте Джиму— Джим! — 25 центов. Он принесет.

— С соломинкой — а, Джун? Ты любишь пить через соломинку.— Она кивнула, и Герцог сказал: — Если не трудно, прихватите, пожалуйста, соломинку.

— Папа.

— Да, Джун?

— Ты не рассказал про самых-самых.

Он не сразу вспомнил.

— А-а,— сказал он,— ты имеешь в виду нью-йоркский клуб самых-самых людей?

— Да, про них.

Она села у него на стуле между колен. Он подвигался, чтобы ей было удобнее.— Есть такое общество, где сошлись самые-самые люди. Там есть самый волосатый лысый человек — и самый лысый волосатый.

— Самая толстая худая женщина.

— И самая худая толстая женщина. Самый высокий карлик и самый маленький великан. Все там подобрались. Самый слабый силач и самый сильный доходяга. Самый глупый умница и самый умный глупец. Еще там есть такие диковины, как акробаты-калеки и красавицы-уродины.

— И что они делают, пап?

— В субботу вечером они устраивают ужин с танцами. Проводят конкурс.

— Кто отличит одного от другого.

— Правильно. И если ты отличишь самого волосатого лысого от самого лысого волосатого, то получаешь приз.

Слава богу, ей нравилась ахинея, которую нес отец, и он не лишит ее этого удовольствия. Она положила голову ему на плечо и, показав зубки, дремотно улыбнулась.

В комнате было жарко и душно. Отсев со стулом в сторонку, Герцог слушал, в чем обвиняются те двое, что ехали с ними в лифте. Двое же филеров — из отряда полиции нравов, как он скоро уяснил,— давали показания. Они привели еще женщину, ее он сначала не заметил. Проститутка? Вне всякого сомнения, хотя держится как добропорядочная, состоятельная дама. И, словно ему недоставало собственных забот, Герцог продолжал глядеть и внимательно прислушиваться. Филер говорил: — Они скандалили в комнате этой женщины.

— Тяни молочко, Джун,— сказал Герцог.— Оно не холодное? Тяни понемногу, милая.

— Вы их слышали из коридора? — сказал сержант.— Из-за чего кричали?

— Этот малый разорялся насчет пары серег.

— И что насчет серег? Это на ней которые? Где вы их взяли?

— Купила. Вот у этого. По договоренности.

— Договоренность была — в рассрочку, а ты не платила.

— Тебе платили.

— Так он сел на ее заработки. Ясно,— сказал сержант.

— Дело было так,— с хмурым, скучным лицом объяснял филер.— Он привел с собой этого малого и, когда она отдуплилась, потребовал себе десять долларов — мол, в счет этих серег. А она не дает.

— Сержант! — взмолился другой доставленный.— Не знаю я этих дел. Я же не городской.

Разве что из самой Ниневии, где только и водятся такие копченые мордовороты. Мозес смотрел с интересом, изредка что-нибудь шепча Джун, чтобы та не вникала в происходящее. Он странным образом припоминал кого-то в этой женщине, если отвлечься от жирной косметики, ярко-зеленой подмалевки глаз, крашеных волос и испорченного полнотой носа. Ему очень хотелось задать ей вопрос. Не училась ли она в средней школе Маккинли? И не пела ли в хоре? Если да, то мы однокашники! Не помните— Герцог? Который подготовил выступление в классе — слово об Эмерсоне?

— Пап, молоко не проходит.

— Потому что ты изжевала соломинку. Давай расправим.

— Нам надо идти, сержант,— сказал ювелир.— Нас люди ждут.

Жены! — подумал Герцог. Их жены ждут!

— Вы родня друг другу?

— Он мой зять, погостить приехал из Луисвилла.

Ждут жены, одна из них — сестра. И он, Герцог, тоже ждет, чувствуя дурноту от одного предвкушения встречи. Могла эта женщина быть Карлоттой из хора, что пела контральтовое соло в «Еще раз радостно...» (Вагнер)? Не исключается. Посмотри на нее теперь. Откуда появится желание перепихнуться с такой теткой? Откуда! Он отлично знает откуда. Посмотри на ноги с набухшими венами, на кое-как уложенную грудь — точно непереглаженная постирушка. А почти селедочный взгляд? Масленый рот? Но он таки знает откуда: от грязной ее ухватки — оттуда! От гнусной сноровки!

В эту минуту в комнате появилась Маделин. Она вошла со словами: — Где мой ребенок? — Увидела Джун у него на коленях и стремительно пересекла комнату.— Иди сюда, дочка.— Пакет с молоком она отставила в сторону и взяла девочку на руки. В ушах у него застучала кровь, затылок сжало обручем. Не взглянуть на него Маделин не могла, но взгляд ее был неузнающим. Дергая бровью, она холодно отвернулась от него.

— Ребенок не пострадал? — сказала она.

Сержант жестом отпустил полицию нравов.— С ней полный порядок. Будь на ней хоть одна царапина, мы бы ее сразу отправили к Майклу Ризу.— Маделин проверила руки Джун, ноги, тревожно ощупала ее всю. Сержант кивком подозвал Мозеса. Тот подошел, и они встали друг против друга — он и Мади — по обе стороны стола.

Она была в светло-голубом полотняном костюме, волосы свободно откинуты назад. Если в двух словах определить ее образ действий: хозяйка положения. Начальственно-громко отдались в этой глухо-гудящей комнате ее каблуки. Герцог долгим взглядом вобрал ее голубоглазый, прямоносый греческий профиль с маленьким ртом и двоящимся подбородком. Глубокий тон лица означал в ее случае, что внутри она полыхает. Лицом она, показалось ему, вроде бы поправилась — грубело лицо. Дай-то Бог. Только справедливо, если вульгарность Герсбаха отложилась и на ней. И она определенно раздалась сзади. Он представил, какого рода трепка и таска были тому причиной. Супружеский долг — нет, не то слово: любовный.

— Это отец ребенка, леди?

Маделин по-прежнему не желала удостоить его признающим взглядом.— Да,— сказала она.— Я развелась с ним. Не так давно.

— Он живет в Массачусетсе?

— Я не знаю, где он живет. Это меня совершенно не касается.

Герцог восхищался ею. И как не восхищаться таким самообладанием. Она никогда не терялась. Когда она взяла у Джун молоко, она точно знала, куда поставить пакет, хотя и минуты не пробыла в комнате. А уж склад на столе она хорошо изучила, и рубли эти, и револьвер. Его она никогда не видела, но по магнитной защелке должна признать людевилльские ключи и догадаться, кому принадлежит револьвер. Как он знал ее ухватки и повадки, и этот ее чистокровный шик, и тик на носу, и безумное высокомерие в глазах! Пока сержант задавал ей вопросы, Мозес, заторможенно, но упорно перебирая мысли дальше, добрался до одного дрянного ее свойства: особый запах сугубо женского секрета. И вот, ни этот тайный сладковато-кислый запах, ни полыхающие синевой глаза, ни злобные взгляды, ни злобствующий маленький рот уже не властны над ним. Хотя от одного взгляда на нее начинала болеть голова. Размеренно и ходко, как кулачки в масленой рубашке, стучала кровь в висках. Он необычайно отчетливо видел ее: обливная грудь в квадратном вырезе жакета, обливные ноги нежно-коричневого оттенка. И совершенно обливное лицо, особенно лоб, до невозможности гладкий. Вся ее лютость на этом лбу написана. Фран-

цузы называют такой: le front bombé [1], а если другими словами — педоморфный лоб [2]. Абсолютно непознаваемо, что происходит там, внутри. Ты понял, Мозес? Мы не знаем друг друга. Тот же Герсбах с горящими врущими глазами и кустарной выделки щекастым, складчатым лицом, даже шарлатан, психопат и кто там еще Герсбах — он непознаваем. Как и моя персона. Но когда негодяи расправляются с кем-нибудь, они остаются в убеждении, что тот совершенно познаваем. Они разделались со мной, ergo [3], они претендовали на окончательное знание Герцога. Это меня-то они *знали!* Я же согласен со Спинозой (надеюсь, он не будет возражать) в том, что бесчеловечно требовать невозможное, употреблять власть там, где непозволительно это делать. Так что, извините, сэр и мадам, но ваши ярлыки я не признаю. Нет, она дикий человек — Маделин: замусоренная гордость, перекошенная яростью красота, смешанный рассудок — алмаз чистой воды и вулвортская стекляшка. И Герсбах, мой подхалим,— для симбиоза разнородных начал. Для симбиоза и похабства. В ней сладость дешевого леденца и тонкий ядовитый привкус эссенции. Только я не выношу им приговора. Это не мое дело, пусть сами с собой разбираются. Я явился причинить зло — это верно. Но первая же пролитая кровь была моей кровью, и я выхожу из игры. Считайте меня выбывшим. За исключением всего, что касается Джун. Во всем остальном я не играю раз и навсегда. Общий привет.

— Он — что, доставляет вам неприятности? — услышал вопрос сержанта отсутствующе слушавший Герцог.

— Будь добра, следи за словами,— сдержанно сказал он Маделин.— Хватит нам того, что есть.

Она никак не реагировала на него.

— Да, он меня беспокоил.

— Угрожает чем-нибудь?

Герцог, напрягшись, ждал ответа. Она должна принять в соображение алименты — квартирную плату. Она практичная женщина, очень практичная, и невероятно хитрая. Но одновременно ее распаляет ненависть, пограничная с безумием.

— Непосредственно мне — нет. Я не видела его с октября.

— Кому же тогда? — нажимал сержант.

Ясно, Маделин сделает все, на что способна, чтобы ухудшить его положение. Она понимала, что ее отношения с Герсбахом дают все основания для дела об опеке, и поэтому извлечет все что можно из его теперешней слабины — из этой идиотской накладки.— Его психиатр,— сказала она,— счел нужным предупредить меня.

— Предупредить! О чем, интересно? — сказал Герцог.

Она по-прежнему обращалась только к сержанту: — Что он в возбужденном состоянии. Если вам нужно с ним переговорить, это доктор Эдвиг. Он нашел необходимым уведомить меня.

— Эдвиг — болван, он дурак,— сказал Герцог.

Лицо Маделин полыхало жарким румянцем, горло зажглось, как розовый кварц, и странным светом вспыхнули глаза. Он знал, что она переживала в эту минуту: счастье! Эх, сказал он про себя, руки-крюки, опять зевануп мяч. Противник набирает очки. Она блестяще использовала его ошибку.

— Этот пистолет вам знаком? — Сержант держал его на желтой ладони, валяя пальцами осторожно, словно рыбку, окунька.

Такой силы взгляда, каким она впилась в револьвер, он не знал за ней и в минуты любви.— Так он его, значит? — сказала она.— И патроны? — В ее взгляде была страшная, неприкрытая радость. Губы плотно сжаты.

---

[1] Крутой, выпуклый лоб (*франц.*).
[2] Здесь: вечнодетский.
[3] Следовательно (*лат.*).

— Он был при нем. Вам он знаком?

— Нет, но я ничему не удивляюсь.

Мозес глядел на Джун. Лицо у нее опять помрачнело; что-то она хмурилась.

— Вы когда-нибудь подавали жалобу на Мозеса, а?

— Нет,— сказала Мади.— Жалобу я не подавала.— Она резко вдохнула. Что-то у нее было про запас.

— Сержант,— сказал Герцог,— я же говорил: жалобы не было. Спросите — хоть одну выплату я пропустил?

Маделин сказала: — Я отдала его фотографию в полицию Гайд-парка.

Она заходит слишком далеко.— Маделин! — предостерег он.

— Помолчите, Мозес,— сказал сержант.— Зачем вы это сделали, леди?

— Чтобы не околачивался возле дома. Пусть последят.

Герцог покачал головой, отчасти в укор самому себе. Сегодня он совершил ошибку в духе предыдущего этапа. Для нынешнего дня она нехарактерна. Но старый счет надо оплачивать. Когда ты пойдешь в ногу с самим собой! — задал он себе вопрос. Когда настанет такой день!

— А он околачивался?

— Его не видели, но я абсолютно точно знаю, что околачивался. Он ревнив и вообще скандалист. У него ужасный характер.

— Однако жалобу по форме вы не подавали?

— Нет. Но, я полагаю, меня оградят от какого бы то ни было насилия?

Она резко это сказала, и Герцог видел, как, слушая, сержант по-новому глядел на нее, кажется уясняя себе наконец весь ее сволочизм. Он взял со стола свои бен-франклиновские очечки с кругляшками-окулярами.— Никакого насилия не предвидится, леди.

Да, подумал Мозес, он начинает понимать, что к чему.— Я видел только одну пользу от этого револьвера: прижимать бумаги,— сказал он.

Ткнув пальцем в пули и прямо глядя ему в глаза, Маделин впервые обратилась к нему: — Одна предназначалась мне, да?

— Ты так считаешь? Откуда такие мысли, интересно? А кому предназначалась другая? — Он совершенно владел собой, голос был ровный. Он изо всех сил старался вытащить наружу затаившуюся Маделин — Маделин, какой он ее знал. Пока она не отрываясь смотрела на него, румянец сходил с лица, и нос уже меньше дергался. Она вроде бы поняла, что должна следить за своим тиком и умерить ярость во взгляде. Все заметнее белело лицо, глаза сузились, застыли. Он был уверен, что правильно понимает их выражение. В них выражалось абсолютное желание его смерти. Это куда больше чем заурядная ненависть. Это приговор к небытию, подумал он. Способен ли понять это сержант? — Так кому же, по-твоему, предназначался приснившийся тебе выстрел?

Она ничего не сказала ему, просто смотрела теми же глазами.

— На этом кончим, леди. Берите ребенка и ступайте.

— До свидания, Джун,— сказал Мозес.— Сейчас ты пойдешь домой. Папа скоро повидается с тобой. Ну, целуй сюда, в щеку.— Девочкины губы коснулись щеки. Потянувшись через материно плечо, Джун тронула его рукой.— Благослови тебя Бог.— И уже вслед поспешно уходившей Маделин добавил: — Я вернусь.

— Сейчас я кончу ваше дело, Мозес.

— Я должен внести залог? На какую сумму?

— Триста долларов. Только настоящих, а не вроде этих.

— Если можно, разрешите мне позвонить.

Сержант жестом велел ему взять десятицентовик из мелочи на столе, и Мозес между делом отметил, какое у него властное, полицей-

ское лицо. Человек явно с примесью индейской крови — может, чироки или оседж; и один-другой ирландский предок. Бесстрастность изборожденного морщинами, вызолоченного лица со строгим носом и крупными губами — и величавое достоинство мельчайшей, волос к волосу, седой курчавости на голове. Его тяжелые персты указывали на телефонную будку.

Усталый, выпотрошенный, но вовсе не подавленный, Герцог набирал номер брата. Почему-то думалось, что он хорошо себя показал. Само собой, он остался верен себе — нажил новые неприятности на свою голову, и теперь еще Уилл должен внести залог. И все же тяжести на сердце не было — наоборот, он чувствовал почти что избавление. Возможно, он слишком устал, чтобы предаваться унынию. Скорее всего, так: метаболический сброс утомления (подобные психологические толкования ему нравились; приведенное здесь пожаловало из эссе Фрейда о скорби и меланхолии) на время развеял его, развлек.

— Слушаю.

— Можно попросить Уилла Герцога?

Оба сразу узнали друг друга по голосу.

— Моз! — сказал Уилл.

Герцог не мог совладать с чувствами, откликнувшимися на голос Уилла. Памятная интонация, памятное имя мигом всколыхнули их. Он любил Уилла, Хелен и даже Шуру, несмотря на его миллионы, делавшие его чужим. В тесноте металлической будки у него мгновенно вспотела шея.

— Где ты пропадал, Моз? Старуха вчера вечером звонила. Я потом глаз не сомкнул. Где ты сейчас?

— Эля,— назвал его Герцог домашним именем,— ты не беспокойся. Ничего страшного, но я в городе, на 11-й и Стейт-стрит.

— В главном полицейском управлении?

— Небольшое дорожное происшествие. Без жертв. Но меня держат под залог в триста долларов, а их у меня при себе нет.

— Какой разговор, Моз! Мы тебя с прошлого лета не видели. С ума все посходили. Я скоро буду.

Он ждал в камере еще с двумя. Один был пьян и спал в грязном исподнем. Другой был негритянский паренек, совсем юный, в дорогом бежевом костюме и коричневых туфлях из крокодиловой кожи. Герцог поздоровался с ним, но парень предпочел отмолчаться. Ушел в свои неприятности и увел глаза в сторону. Мозесу было жалко его. В ожидании он прислонился к решетке. Не его это сторона решетки, он это кожей чувствовал. Унитаз, голая металлическая скамья, мухи на потолке. Не по *его* грехам, считал Герцог, такая обстановка. Он тут мимоходом. На улицах, в американском обществе — вот где отбывает он свой срок. Он безразлично сел на скамью. Из Чикаго, думал он, надо уезжать немедленно и только тогда вернуться, когда он сможет быть полезным Джун, по-настоящему полезным. Хватит горячки, надрыва и театральщины с подглядыванием в окна; хватит аварий, обмороков, встреч «ты бьешь — он кричит» и очных ставок. Гул беды в коридорах и камерах, вонь в канцелярии, печать отверженности на лицах, за открывшейся дверью — судьба вот этого мертвецки спящего, залившего подштанники мочой,— имеющий глаза, ноздри, уши пусть слышит, обоняет и видит. Имеющий разум, сердце — пусть задумается.

Устроившись, чтобы не бередить боль в ребрах, Герцог даже умудрился набросать некоторые мысли. В них не было особого складу и уж тем более логики, они просто приходили ему в голову. Такая была система у Мозеса Е. Герцога, и он азартно записывал на колене: *Грубый, несовершенный механизм гражданского мира. Что называется, каменный век. Если в основе общественного порядка лежит, по мысли Фрейда, Рохайма и пр., коллективное древнее преступление, когда группа братьев нападает на праотца, убивает и пожирает его, освобождаясь через это убийство и объединенная теперь пролитой*

кровью, то известный смысл есть в том, чтобы тюрьма сохраняла мрачную, архаическую атмосферу. Еще бы: дикая сила объединившихся братьев, солдат, насильников и т. д. Только это все метафора, не более. Я не могу смириться с мыслью, что мое затмение производно от этого глухого бессознательного мрака. От этой примитивной кровавой каши.

Мы можем сомневаться и отрицать, но заветная мечта человеческая состоит в том, что жизнь может исполниться смысла. Каким-нибудь непостижимым образом. Еще до смерти. Может совершиться не вопреки логике, а непостижимо. Пощаженный этими грубыми тюремщиками, ты получаешь последний шанс познать справедливость. Истину.

Дорогой Эдвиг, быстро записывал он. *Вы отлично отработали гонорар, разъяснив мне, что неврозы можно квалифицировать по неспособности выдерживать двусмысленные ситуации. Я только что прочел в глазах Маделин очевидный приговор: «Трусу не жить!» Ее заболевание — самоочевиднейшее. Позвольте мне скромно признаться, что с двусмысленностями я теперь управляюсь гораздо лучше. Впрочем, рискну сказать, что меня пощадила главная двусмысленность, приводящая в отчаяние интеллектуалов, а именно: цивилизованные индивидуумы ненавидят и отрицают цивилизацию, которая только и делает возможным их существование. А по душе им некое воображаемое положение человека, которое они сами же измыслили и полагают единственно правильным — единственной реальностью человека. Как это странно! Однако самая культурная, отборная и разумная часть общества зачастую и самая неблагодарная. В неблагодарности, впрочем, ее общественное назначение. Вот вам еще одна двусмысленность! Дорогая Рамона! Я очень обязан тебе и прекрасно это понимаю. Пока я, наверно, не вернусь сейчас в Нью-Йорк, но связь буду поддерживать. Господи! Смилуйся! Господи боже!* Рахэм олейну... мелех маймид [1]. *Царь смерти и живота!..*

Когда они выходили из полицейского управления, брат заметил ему: — Ты вроде бы не очень расстроен.

— Да, Уилл.

В небе над тротуаром и теплым вечерним сумраком пролегли золотистые шлейфы реактивных самолетов, и к северу от 12-й улицы уже сумбурно зыбились огни кабаков, бледное месиво, в котором увязала улица.

— Как ты себя чувствуешь?

— Прекрасно,— сказал Герцог.— А как я выгляжу?

Брат осторожно ответил: — Тебе не помешало бы немного отдохнуть. Может, заглянем к моему врачу?

— Не вижу необходимости. Ссадина на голове перестала кровоточить практически сразу.

— Однако ты хватался за бок. Не дури, Моз.

Уилл человек сдержанный, положительный, трезвый, он пониже брата, зато волос у него погуще и потемнее. Среди таких экспансивных родичей, как папа Герцог и тетушка Ципора, его выделяли тихость, вдумчивость и скрытность.

— Как дома, Уилл, как дети?

— Все хорошо... Чем ты занимался, Мозес?

— Не суди по виду. Не так страшен черт, как его малюют. На самом деле я в хорошей форме. Ты помнишь, как мы заблудились на озере Вандавега? Как барахтались в иле, резали ноги в камыше? Вот это действительно было опасно. А сейчас — чепуха.

— Зачем тебе понадобился пистолет?

---

[1] Смилуйся над нами... Царь оживляющий (*иврит*).

— Ты знаешь, что я не больше папы способен в кого-нибудь выстрелить. Ты взял его цепочку для часов, а я вспомнил про старые рубли в столе — и заодно взял револьвер. Зря, конечно. Хотя бы вынул пули. Еще одна блажь. Давай не будем об этом.

— Не будем,— сказал Уилл.— Я совсем не хочу тебя травить. Дело не в нем.

— Я знаю, в чем дело,— сказал Герцог.— Ты тревожишься.— Он умерил голос, чтобы тот не дрогнул.— Я тебя тоже люблю, Уилл.

— Я знаю.

— Да, вел я себя не очень обдуманно. С твоей точки зрения... Да с любой разумной точки зрения. Я привел Маделин к тебе в контору, чтобы ты видел, на ком я женюсь. Было ясно, что ты ее не одобряешь. Я сам ее не одобрял. И она меня не одобряла.

— Зачем тогда женился?

— Бог связывает все, что болтается без дела. Спроси зачем! Уж конечно, он не пекся о моем благоденствии, о моей личности, если на то пошло. Тут можно сказать одно: — Вот красная нитка, связанная с зеленой — или голубой,— интересно зачем? А потом я убухал все свои деньги в людевилльский дом. Это уже было просто безумие.

— Не скажи, все-таки недвижимость,— сказал Уилл.— Ты не пытался его продать? — Уилл истово верил в недвижимость.

— Кому? И как?

— Составь с агентом опись. Может, я подъеду, посмотрю сам.

— Буду тебе признателен,— сказал Герцог.— Только сомневаюсь, чтобы кто-нибудь в здравом уме купил его.

— Моз, дай я позвоню доктору Рамсбергу, пусть он тебя посмотрит. А потом пойдем ко мне и пообедаем. Мои будут в восторге.

— Когда ты сможешь приехать в Людевилль?

— На будущей неделе я должен быть в Бостоне. Потом мы с Мюриэл собирались на Кейп-Код.

— Так поезжай через Людевилль. Это близко от магистрали. Ты окажешь мне огромную услугу. Я должен продать этот дом.

— Пойдем к нам, за столом и поговорим.

— Нет, Уилл, не могу. Ты посмотри на меня — я же последняя рвань, только расстрою всех. Не хватало вам вшивой заблудшей овцы.— Он рассмеялся.— Нет, в другой раз, когда немного приду в норму. А сейчас я похож на новоиспеченного иммигранта. Типичный ПЛ [1]. Вот такими мы приехали из Канады. Господь бог, мы были все в саже.

Уилл не разделял его страсти к воспоминаниям. Инженер-технолог, строительный подрядчик, человек уравновешенный и рассудительный, он с болью видел Мозеса в таком состоянии; лицо у него пылало, текло; он вынул из внутреннего кармашка хорошо сшитого пиджака носовой платок и промокнул лоб, щеки, крупные герцогские глаза.

— Извини, Эля,— сказал Мозес спокойнее.

— Да я...

— Дай мне немного привести себя в порядок. Я понимаю, ты за меня волнуешься. Но уж так вышло. Извини, что причиняю тебе беспокойство. У меня действительно все хорошо.

— Точно? — печально взглянул на него Уилл.

— Да, только сейчас всё против меня: грязный, навалял дурака, отпущен под залог. Смех и только. На следующей неделе, на востоке, все будет выглядеть совершенно иначе. Хочешь, я встречу тебя в Бостоне? Когда оклемаюсь? Сейчас тебе придется обращаться со мной как с придурком. Как с ребенком. А это неправильно.

— Я тебя вовсе не осуждаю. Неудобно тебе идти к нам — не надо. Хотя все-таки мы одна семья... Вон, на той стороне моя машина.— Он показал на темно-синий «кадиллак».— Все же заедем к врачу,

---

[1] Перемещенное лицо.

я должен знать, что ты не пострадал в аварии. А потом делай как знаешь.

— Ладно, уговорил. Ничего у меня не найдут. Помяни мое слово.

Однако он не очень удивился, узнав, что сломано ребро.— Легкое не затронуто,— сказал врач.— Недель на шесть наложу повязку. И два-три шовчика на голове. Тяжелое не поднимать, не напрягаться, дрова не колоть и вообще избегать резких движений. Уилл говорит, вы у нас помещик? Ферму имеете в Беркширах? Недвижимость?

Седоватый, зачесанный назад, с пронзительными глазками, доктор растянул в улыбке тонкие губы.

— Она в запущенном состоянии. И страшно далеко от синагоги.

— Ха, шутник ваш братец,— сказал доктор Рамсберг. Уилл еле заметно кивнул. Сложив на груди руки, он стоял почти в позе папы Герцога — ослабив одну ногу, и если оригинальности старика он не унаследовал, то кае-какое изящество ему передалось. Не до оригинальности, думал Герцог, когда на руках большое дело. Нет в ней особого интереса. Другие заботы поглощают. Он славный, очень славный человек. Но странно мне это разделение обязанностей, где я... мастер по части духовного самосозерцания, или, там, эмоциональности, или идей, или чуши всякой. От чего, может, проку никакого нет, без толку все, разве что сохранить некие первобытные чувствования. А он готовит раствор для высоток, растущих в городе, как грибы. Он должен быть политиком, должен торговаться, ловчить, гасить задолженности и чертить кривую налогов. Ему с рождения далось все то, о чем мечтал неспособный Папа. Уилл — мирный человек долга и заведенного порядка, у него есть деньги, положение, вес, и он только рад избавиться от частного, «личного» момента. Я представляюсь ему разбрасывающим огонь в чащобе мира, и он, конечно, жалеет, что у меня такой нрав. Если по старому раскладу Мозес недотепа, простак, бестолочь, открытое сердце, сама беззащитность, нездоровое явление, новоявленный не от мира сего,— то я, по этому прежнему раскладу, нуждаюсь в защите. И он с радостью ее предложит — человек, который «знает, что чего стоит». Между тем подобные мне исключительно по своей воле противопоставили гордый субъективизм массовому историческому прогрессу. И это же верно в отношении трудных мальчиков и девочек из низших слоев, когда они усваивают эстетическую норму, норму чуткой отзывчивости. Тогда они ищут, как уберечь свою личную модель существования от давящей силы *массы.* Маркс называл это «материальной силой». Тогда эту штуку — свою «личную жизнь» — они превращают в цирк, в гладиаторскую схватку. Либо устраивают представление помягче. Чтобы высмеять ваш «стыд», вашу пресность-однодневку и показать вам, почему вы заслуживаете свою боль. В тесноватой комнате белые современные светильники описывали круги, вращались. Герцог чувствовал, что и сам кружится с ними, пока доктор туго пеленал грудную клетку пахнущими аптекой повязками. Ладно, конец всем вракам...

— Мне кажется, брату неплохо бы отдохнуть,— сказал Уилл.— Как вы думаете, доктор?

— Вид у него неважнецкий, что и говорить.

— Я побуду недельку в Людевилле,— сказал Мозес.

— Я имею в виду полный отдых, в постели.

— Я понимаю, что кажусь не в себе. Но мне с самим собой неплохо.

— Нет,— сказал его брат,— я за тебя тревожусь.

Вот паразитская любовь — не мытьем, так катаньем. Есть желающие ей послужить? Он всегда готов. Кто нуждается в нем? Подскажите только, ради кого принести себя в жертву истине, порядку, покою. Нет, непостижимое он существо, этот Герцог, упакованный в бинты, с помощью брата Уилла влезающий в мятую рубашку.

До места он добрался назавтра днем: сначала самолетом до Олбани, потом автобусом до Питсфилда, потом на такси до Людевилля. Накануне Асфалтер дал ему туинала. Он хорошо выспался и, несмотря на перебинтованные бока, чувствовал себя превосходно.

Дом был в двух милях от поселка, в холмах. Погожее, дивное лето в Беркширах: воздух легкий, ручьи быстрые, леса густые, трава свежая. И птиц во владениях Герцога развелось, как в заповеднике. Под декоративными завитками веранды свили гнезда вьюрки. Гигантский вяз кое-как доживал свой век, и в нем еще обитали иволги. Герцог велел таксисту остановиться на мшистой дороге, обставленной валунами. Не было уверенности, что к дому можно подъехать. Но ни одно дерево не упало поперек дороги, и хотя талые воды и бури смыли порядочно гравия, машина без труда прошла бы. Впрочем, Мозес не возражал немного подняться в горку. Его грудь надежно защищала повязка, ноги у него легкие. В Людевилле он купил кое-какую провизию. В подвале должны быть консервы, если их не съели охотники или бродяги. Два года назад он консервировал помидоры и фасоль, варил малиновое варенье и перед отъездом в Чикаго припрятал вино и виски. Электричество, конечно, отключено, но можно наладить старый ручной насос. На крайний случай есть цистерна с водой. Приготовить можно в камине, там есть старые крюки и таганы — и тут (сердце у него забилось) из травы, вьющихся лоз, деревьев и цветенья выступил дом. Глупейшая затея Герцога! Памятник откровенной глупости влюбленного, чему-то скверному в его характере, символ еврейской борьбы за прочное положение в Америке белых англосаксов-протестантов (как выразился на инаугурации сентенциозный старик: «Владели мы страной, ей не подвластны» [1]). Я тоже штурмовал высоты, и как заносчиво, я попортил кровь баспам, которые сложили крылья уже где-то в 1880-е годы, когда правительство разменяло континент на железные дороги, и зачастили в Европу развеяться, а виноватыми у них вышли ирландцы, испанцы и евреи. Какую борьбу я выдержал! Бил наобум, зато яростно. Ладно, главное — я здесь. Хинени! [2] Какая дивная красота сегодня. Он стал в заросшем дворике, сощурил глаза на солнце, увидел малиновые сполохи, втянул запахи катальповых колокольчиков, земли, жимолости, дикого лука и трав. Под вязом побывал олень или любовная парочка — трава была примята. Он обошел вокруг дома, высматривая повреждения. Все окна были целы. Ставни, притянутые изнутри крюками, нетронуты. Но несколько его уведомлений о том, что имущество охраняется, было сорвано. Сад превратился в густую чащу колючего кустарника, розы и шиповник переплелись. Все было безнадежно запущено, и жалеть об этом поздно. Заняться всем этим у него уже не будет сил — приколачивать, красить, латать, связывать, подрезать, опрыскивать. Он только посмотрит, что здесь и как.

В доме, как он и ожидал, было затхло. Он открыл окна и ставни на кухне. Вымел листья и хвою, паутину, коконы и мертвых насекомых. Требовался огонь — причем немедленно. Спички были с собой. У зрелости свои преимущества — начинаешь заботиться о мелочах, делаешься предусмотрительным. Вообще же есть велосипед, можно съездить в поселок и купить недостающее. Он даже проявил смекалку, поставив велосипед на седло, чтобы не перегружать покрышки. Воздуха в них маловато, но до бензоколонки доедут. Он принес охапку сосновых полешек, растопку и сначала разжег лучину, чтобы убедиться в тяге. Птицы могли свить гнезда в дымоходах. Тут он вспомнил, как сам в горячке спорой работы лазал на крышу — закреплял над трубами металлические сетки. Он еще подложил дров. Под обломившейся корой деловито копошились букашки и червячки, во все стороны брызнули муравьи и длинноногие пауки. Он проследил, чтобы они разбежались. Сухие черные дрова занялись желтым огнем. Он еще

[1] Из стихотворения Р. Фроста «Дар навсегда».
[2] Вот я! (*иврит.*)

положил чурок, подпер таганом и отправился дальше осматривать дом.

Консервы были нетронуты. Деликатесы, закупленные Маделин (все только самое лучшее),— черепаховый суп С. С. Пирса, индейский пудинг, трюфели, оливки и наряду с этим малоприглядная кормежка, приобретенная уже лично Мозесом на распродаже армейских излишков,— бобы, баночный хлеб и тому подобное. Он инвентаризовал свое имущество с отрешенным любопытством к былым проектам отшельнической независимости: стиральная машина, сушилка, колонка для горячей воды — белоснежные, тускло отливающие объемы, куда он вбухал доллары покойного отца, ядовито-зеленые, трудно заработанные, считаные-пересчитанные, в муках поделенные между наследниками. А незачем было посылать меня в школу, думал Герцог, незачем мне было знать про мертвых императоров.

> Я — Озимандия, я — мощный царь царей!
> Взгляните на мои великие деянья [1].

Независимость и уединение, доброта — как же это соблазняло, как звучало невинно, как откликался на эти картины улыбающийся Герцог. Только потом поймешь, сколько злого таят скрытые небеса.

Безработное сознание, записывал он в кладовой. *Я рос в эпоху массовой безработицы и не мог представить себя работающим. В итоге занятие всегда находилось, но так или иначе сознание оставалось безработным. В конечном счете,* продолжал он уже у камина, *человеческий интеллект — одна из могущественных вселенских сил. Ему опасно пребывать в бездействии. Напрашивается вывод, что скука многих установлений (например, среднебуржуазная семья) имеет своей исторической целью интеллектуальное освобождение подрастающих поколений, определяемых к занятиям науками. Но страшное одиночество на всю жизнь — это планктон, которым питается Левиафан. Продумать еще раз. Душа требует накала. В то же время добродетель приедается людям. Перечитать Конфуция. С ростом народонаселения мир должен готовиться к китайскому будущему.*

Нынешнее одиночество Герцога, исполненное осознанной радости, похоже, было не в счет. Он заглянул сквозь щелочку в туалет, где, бывало, уединялся с десятитомовым томиком Драйдена и Попа: «Мой хозяин первейший в Англии пэр» или это — «Высокие умы безумию сродни». На том же месте, что все прежние годы, цвела роза, навевавшая ему покой,— все такая же вылепленная, красная (и так же напоминавшая ему детородный орган). Хорошие вещи повторяются. Он долго выглядывал ее в расщелине между кирпичной кладкой и тесиной. И по-прежнему жили в этом кирпично-фанерном нужнике влаголюбивые кузнечики (гигантские прямокрылые). Огонек спички выявил их. Среди труб.

Чудно́ ему было вот так обходить свои владения. У него в комнате, на столе и на полках, лежало в руинах его ученое предприятие. Окна были до того грязными, что казались забрызганными йодом, жимолость снаружи почти выдрала сетку. На диване он нашел подтверждение тому, что дом навестила-таки парочка. Поверженная страстью, она не успела найти в темноте спальню. И к лучшему: на матрацах конского волоса, устилающих антики Маделин, можно запросто получить искривление позвоночника. Почему-то Герцогу было особенно приятно, что поселковая молодежь воспользовалась именно его комнатой, соприкоснулась с его учеными записями. Он нашел девичьи волосы на валике, попытался представить положение, лица, запахи. Спасибо Рамоне, от зависти умирать не приходилось, но немного завидовать молодым, в конце концов, вполне естественно. На полу лежала исписанная карточка, глаз выхватил слова: *«Отдавая*

[1] Перси Биш Шелли. «Озимандия» (сонет). Перевод К. Д. Бальмонта.

должное Кондорсе...» [1] Он не нашел сил читать дальше и положил ее на стол обратной стороной кверху. На сегодняшний день, во всяком случае, Кондорсе пусть поищет себе другого защитника. В столовой была дорогая посуда, которой домогалась Тинни, сервиз костного фарфора с малиновым ободком, очень красивый. Ему это все без надобности. Никто не тронул книги, укрытые муслином. Он поднял тряпицу и бросил на них не очень внимательный взгляд. В тесноватой ванной его позабавила дорогая сантехника, накупленная Маделин в «Слоуне», серебряные раковины-мыльницы и сверкающие вешалки для полотенец, которые даже на костылях не держала штукатурка. Сейчас они все поникли. Для удобства Герсбаха душевое место было оборудовано поручнем (в Баррингтоне у Герсбахов не было душа). Раз мы его делаем, то пусть Валентайн сможет им пользоваться»,— сказала Мади. Пусть, пожал плечами Мозес. Непонятный запах из унитаза привлек его внимание, и, подняв деревянную крышку, он обнаружил востроносые головки и что там еще оставалось от птиц, свивших гнездо в сухой раковине, а потом замурованных упавшей крышкой. Он хмуро вгляделся, на душе стало муторно. Должно быть, заключил он, на чердаке разбито окно, и в доме есть еще гнезда. И точно, в спальне он обнаружил сов на загаженном красном балдахине. Он дал им разлететься и стал искать гнездо. В большом светильнике над постелью, свидетельницей их с Маделин маеты и ненависти (впрочем, и восторгов тоже), он нашел совят. Из гнезда на матрац просыпался всякий сор — соломенная труха, шерстяные нитки, пух, обглодки падали (мышиные огрызки) и пленки помета. Чтобы не беспокоить эти плосколицые создания, Герцог уволок матрац с супружеской постели в комнату Джун. Он еще открыл окна, впустив солнце и сельский воздух. Удивительно было это чувство покоя... Покоя?! Кого он дурачил? Это радость! Он, может, впервые чувствовал, что значило освободиться от Маделин. Это радость! С зависимостью покончено, сердце избавилось от гнетущей тяжести и скверны. Ее отсутствие, одно ее отсутствие веселило и поднимало дух. Для нее было счастьем увидеть его в беде на 11-й и Стейт-стрит, а он у себя в Людевилле испытывал ни с чем не сравнимую радость от того, что она ушла из его плоти, словно в плечах, в паху отпустила резь, и руки уже не висли плетьми, и прямилась шея. *Мой дорогой мудрец и безумец Эдвиг! Возможно, ослабление боли в немалой степени составляет человеческое счастье. На изначальном и малоосмысленном уровне, когда клапан периодически открывается...* Они снова вспыхнули, эти удивительные огни, карие глаза Герцога, столько времени смотревшие сквозь пелену, сквозь защитный хитин меланхолии, побочного продукта мыслительной работы.

Он не без труда перевернул матрац на полу бывшей комнаты Джун, отсунул к стене отслужившие игрушки и детскую мебель — огромного набивного тигра с голубыми глазами, детский стульчак, красный зимний комбинезон, совсем еще хороший. Среди находок оказались также бабкины бикини, шорты и купальник, еще всякая чушь, в том числе мыльная махровая салфетка с его инициалами, вышитыми Фебой на день рождения,— может, не без намека, что пора бы ему прочистить уши. Улыбнувшись, он пнул ее ногой. Из-под нее засеменил жук. Улегшись на матрац под открытым окном и подставив лицо солнцу, Герцог отдыхал. Из палисадника громадные ели осеняли его занозистыми лапами и струили запах нагретой хвои и смолы.

На этом-то месте, пока в комнате было солнце, он ответственно, от всей полноты умиротворенного сердца начал новый цикл писем. *Дорогая Рамона!* Всего-навсего «дорогая»? Приоткройся побольше, Мозес. *Милая Рамона. Ты совершенно замечательная женщина.* Он задумался, говорить ли, что он в Людевилле. На своем «мерседесе» она может до-

---

[1] Жан Антуан Никола Кондорсе (1743—1794) — французский философ-просветитель. Развивал концепцию исторического прогресса.

браться из Нью-Йорка за три часа — и, может статься, так она и сделает. Благослови, Боже, ее коротковатые точеные ножки, крепкую загорелую грудь и умопомрачительные кривенькие зубы, цыганские брови и локоны. La devoradora de hombres [1]. Однако местом отправления он решил указать Чикаго и попросить Лукаса переслать дальше. Сейчас ему хотелось одного — покоя. Покоя и ясности. *Надеюсь, я не очень тебя огорчил своим исчезновением. Я знаю, ты не из тех ломак, у кого потом месяц замаливаешь пропущенное свидание. Мне нужно было повидать дочь и сына тоже. Он в Аюмахском лагере, что в районе Катскиллских гор. Лето обещает быть рабочим. Есть интересные результаты. Не возьмусь утверждать слишком многое, но одно, что не переставая утверждал и всегда чувствовал, уже могу высказать. Свет истины не в дальней дали, и нет настолько ничтожного или испорченного человека, чтобы он не вошел в него.* Почему, собственно, не сказать это? *Но мириться с бесполезностью, с изгнанием в личную жизнь, с неразберихой...* Может, Герцог, начать с тех сов в соседней комнате, с голых совят в синих прыщах? *Ибо последний вопрос, он же первый, вопрос смерти предлагает нам интереснейшую альтернативу: либо по собственному желанию, в доказательство своей «свободы», распасться на составные части — либо признать, что своей жизнью мы обязаны вот этому бодрствующему сроку существования, хотя бы остальное пустота. (В конце концов, мы не знаем положительно, что такое эта пустота.)*

Нужно ли все это говорить Рамоне? Иные женщины воспринимают серьезность как попытку расположить к себе. Она захочет ребенка. От мужчины, который разговаривает с ней подобным образом, ей захочется произвести потомство. *Работа. Работа. Настоящая полезная работа...* Он прервал мысль. А Рамона — отменный работник. В меру своих возможностей. При этом любит свою работу. Он нежно улыбнулся ей с облитого солнцем матраца.

Дорогой Марко! Я выбрался в родовое поместье посмотреть, что и как, и передохнуть. Вообще говоря, все тут в полном порядке. Может, после лагеря ты захочешь пожить со мной здесь — по-походному? Поговорим в родительский день. Я бы очень этого хотел, правда. Твою сестричку я видел вчера в Чикаго, она шалунья и прелесть. Твою открытку она получила.

Помнишь, мы говорили об антарктической экспедиции Скотта — как бедняга Скотт пришел к полюсу после Амундсена? Тебе было интересно. Меня вот что всегда потрясало: один человек из отряда Скотта ушел и потерялся, чтобы дать другим возможность уцелеть. Он заболел, стер ноги и поспевать за другими уже не мог. А помнишь, как они случайно набрели на холмик замерзшей крови — это была кровь их забитого раньше пони — и с каким благоговением они оттаяли ее и выпили? Своим успехом Амундсен был обязан собакам, которых взял вместо пони. Слабых убивали и скармливали сильным. Иначе экспедиция не удалась бы. Я часто поражался одной вещи: обнюхав тело собрата, собаки отбегали, какими бы голодными они ни были. Только когда освежуют, они будут есть.

Может, на Рождество мы с тобой махнем в Канаду, отведаем настоящего морозца. Я ведь еще и канадец. Можно будет посетить Сент-Агат в Лаврентийских горах. Жди меня 16-го чуть свет.

Дорогой Лук! Окажи любезность — отошли эти письма. Я был бы рад услышать, что ты вышел из депрессии. Мне думается, что образы тетки, спасаемой пожарным, и играющих девиц свидетельствуют о психологической реабилитации. Обещаю тебе выздоровление. Что касается меня... Что касается тебя, подумал Герцог, то о своем самочувствии лучше не говори ему — вон как тебя распирает! Радости это ему не даст. Держи при себе свои восторги. Не то подумает, что ты спятил.

Но если я схожу с ума, то быть посему.

---

[1] Пожирательница мужчин (*исп.*).

Глубокоуважаемый профессор Мермельштайн. Я хочу поздравить Вас с превосходной книгой. Кое в чем Вы меня таки обставили, и я по этому случаю рвал и метал, целый день ненавидел Вас за то, что порядочную часть моей работы Вы сделали ненужной (еще раз Уоллес и Дарвин?) [1]. *Тем не менее я хорошо понимаю, сколько труда и терпения забирает такая работа, сколько нужно копать, постигать, обобщать — нет, я в совершенном восторге. Когда Вы подготовите исправленное издание — а может, напишете еще книгу,— потолковать о некоторых проблемах будет истинным наслаждением. Некоторые главы своей задуманной книги я уже никогда не напишу. Эти материалы целиком в Вашем распоряжении. В своей предыдущей книге (на которую Вы весьма любезно сослались) я посвятил один раздел теме Неба и Ада в апокалипсическом романтизме. Возможно, я Вам не угодил, но совсем игнорировать этот раздел не стоило. Вам имеет смысл полистать монографию фатоватого толстяка Эгберта Шапиро «От Лютера до Ленина. История революционной психологии».* Своими толстыми щеками он вылитый Гиббон. *Стоящая работа. На меня произвел глубочайшее впечатление раздел «Милленаризм и паранойя». Нельзя не видеть, что современные государственные образования сильно отдают этим психозом. На сей счет некто Банович написал безобразную и сумасшедшую книгу. Вполне бесчеловечную, полную гнусных параноических допущений — вроде того, что толпа по сути своей людоедское племя, что стоящие люди таят угрозу для сидящих, что открытые в улыбке зубы суть оружие голода, что тиран алчет зрелища трупов (не оттого ли, что они съедобны). Хотя сущая правда, что производство трупов стало самым впечатляющим достижением современных диктаторов и их приспешников (Гитлер, Сталин и т. д.).* Герцог специально пустил этот пробный шар: посмотреть, не грешит ли Мермельштайн сталинизмом. *А вообще этот самый Шапиро отчасти оригинал, и я беру его как крайний случай. Мы все обожаем крайности и апокалипсисы — пожары, утопления, удушения и прочее. Чем больше жиреют наши терпимые, благонравные, ручные средние слои, тем настоятельнее требуется радикальная встряска. Получается, что терпимая, сдержанная трезвость и взвешенность абсолютно не привлекают. А как они нужны сейчас!* («Собака тонет, а ей предлагают стакан воды»,— с горечью говаривал папа.) *Как бы то ни было, прочти Вы ту мою главу об апокалипсисе и романтизме, Вам в более правильном свете увиделся бы обожаемый Вами русский — Извольский? Которому души монад представляются легионами прóклятых, измельченными до атомов и развеянными,— пыльным смерчем в аду; который предостерегает, что Люцифер возьмет под свое крыло сборное человечество, утратившее духовную крепость и самостоятельность. Я не отрицаю, что в том или ином отношении это верно, но меня тревожит, как бы эти идеи — именно в силу их правдоподобия — не загнали нас в те же затхлые церкви и синагоги. Меня несколько озадачили заимствования и ссылки методом «налета», как я это называю: серьезные убеждения других писателей для Вас просто метафоры. Мне, например, понравился раздел «Интерпретации Страдания», как и другой раздел — «На пути к теории Скуки». Вот образчик прекрасного исследования! Но по зрелом размышлении, я решил, что с Кьеркегором Вы обошлись весьма легкомысленно. Рискну утверждать, что, по Кьеркегору, истина более не имеет над нами силы и мучительное страдание и горести призваны заново наставить нас в ней, вечные муки ада обретут реальность, покуда человечество еще раз не возьмется за ум. А я так не считаю, не говоря уже о том, что меня тошнит, когда подобные убеждения высказывают благополучные, безбедные люди, для которых кризис, отчуждение, апокалипсис и отчаяние только род увлечения. Мы должны выбросить из головы, что живем в обреченное время, что ожидаем конца — и чтó там еще болтают в модных журналах. И без этих страшненьких игр все доста-*

[1] Одновременно с Ч. Дарвином создав на собственном материале теорию естественного отбора, А. Р. Уоллес признавал приоритет Дарвина.

точно мрачно. Стращать друг друга с моральной точки зрения недостойное занятие. А главное, защита и прославление страдания уводят нас совсем не туда, куда нужно, и те, кто еще верит в цивилизацию, не должны этому поддаваться. Нужно иметь силы обратить страдание на пользу, раскаяться, просветиться, нужно располагать такой возможностью — и временем, коли на то пошло. У людей религиозных в любви к страданию выражается благодарность за жизненный опыт, за возможность испытать зло и претворить его в добро. Они верят в то, что духовный цикл может и должен совершиться на человеческом веку и человек так или иначе извлечет пользу из страдания хотя бы и в последние минуты жизни, когда милосердие божье вознаградит его, явив истину, и он умрет преображенным. Но это особь статья. Гораздо чаще страдание ломает людей, сокрушает их, и ничего просветляющего в этом нет. На Ваших глазах люди страшно гибнут от страданий, мучаясь к тому же утратой своей человечности, отчего смерть представляет уже совсем полный крах, а Вы пишете о «современных формах орфизма», о «людях, которые не боятся страдать», ведете другие застольные разговоры. Почему не сказать просто, что люди с богатым воображением, способные сильно грезить и творить изумительные, самодовлеющие вымыслы, подчас страдают сознательно, ибо в этом их блаженство, как другие колят себя булавкой, убеждаясь, что не спят. Я знаю, что мое страдание, если позволительно об этом сказать, зачастую было в этом роде — попыткой раздвинуть жизнь, порывом к истинному бодрствованию, противоядием от иллюзорного, и потому нет у меня морального доверия ко всему этому. Я хочу открыть свое сердце, не подвизаясь более в страдании. И для этого не нужны ни доктрина, ни теология страдания. Мы слишком возлюбили апокалипсисы, и кризисную этику, и броский экстремизм с его волнующим словарем. Нет, увольте! Я хлебнул столько уродства, что больше не надо. Мы подошли к такому рубежу в истории человечества, когда об иных личностях можно спросить: «Что сие представляет собой?» И хватит с меня — хватит! Я всего-навсего человек — более или менее. С этим «более или менее» я и хочу оставить Вас. Предоставляю Вам разобраться со мной. Вы питаете пристрастие к метафорам. Ваша работа, во всем остальном замечательная, испорчена ими. Убежден, что Вы меня загоните в какую-нибудь роскошную метафору. Только не забудьте сказать, что я никогда и никого не стану соблазнять страданием и не призову Ад, дабы сделать нас серьезными и правильными. Я даже полагаю, что у человека развился изысканный вкус к боли. Впрочем, это уже другой и долгий разговор.

Вот так, Мермельштайн. Ступай и больше не греши. И, возможно застеснявшись, что вдруг сорвался в диатрибу, Герцог поднялся с матраца (солнце уже ушло) и спустился вниз. Он поел хлеба с холодными печеными бобами в виде сандвича, потом вынес наружу гамак и пару складных стульев.

Так началась его последняя эпистолярная неделя. Он бродил по своим лесистым и холмистым двадцати акрам и сочинял послания, оставшиеся неотправленными. Он еще не созрел для того, чтобы сесть на велосипед и поехать на почту и в поселке отвечать на вопросы о миссис Герцог и крошке Джун. Ему было хорошо известно, что дикие подробности скандала в его семействе через параллельные трубки стали общим достоянием и дали обильную пищу воображению людевильцев. Сам он не сдерживался по телефону, было не до того. А Маделин с высоты своего величия плевала, что деревня подслушивает. В конце концов, это она его бросала. И пятно оставалось не на ней.

Дорогая Маделин! Ты редкостное существо. Ей-ей! Создаст же Господь такое! Пообедав в ресторане, она гляделась в лезвие ножа, мажа губы помадой. Он с восторгом вспомнил это сейчас. *Что касается тебя, Герсбах, то Маделин в твоем полном распоряжении. Радуйся и наслаждайся. Только меня ты через нее уже не достанешь. Ты, я знаю, искал меня в ее плоти. Так меня там больше нет.*

Уважаемые господа! Размеры и численность крыс в Панама-Сити, где я был проездом, буквально потрясли меня. Я видел, как одна грелась на солнце у бассейна. Другая глядела с панельной обшивки в ресторане, как я пью компот. Дальше, целая компания крыс сновала взад-вперед по электрическому проводу, свисавшему с банановой пальмы, где они подкреплялись. Я насчитал пробежек двадцать — и ни одного столкновения. Предлагаю давать им вместо отравы противозачаточные препараты. Яды неэффективны (мальтузианцы правы: незначительное сокращение популяции чревато бурным воспроизведением). Между тем использование противозачаточных средств через несколько лет решит у вас крысиную проблему.

Уважаемый герр Ницше... Глубокоуважаемый сэр! Позвольте задать вопрос с места. Вы говорите о способности дионисийского духа перенести зрелище Ужасного, Дурного, позволить себе роскошь Разрушения, лицезреть Распад, Мерзость, Зло. Все это по плечу дионисийскому духу, поскольку у него такая же способность к выживанию, как у самой Природы. Должен признаться, иные из этих выражений звучат очень по-немецки. «Роскошь Разрушения», к примеру, откровенно вагнеровская фраза, а мне известно, каким презрением Вы еще будете обливать немощь вагнеровского идиотизма и выспренности. На сегодняшний день мы достаточно навидались разрушений, чтобы основательно проверить способности дионисийского духа,— и где же те герои, что выжили после них? В Беркширах я один на один с самой природой и имею шанс разобраться. Я лежу в гамаке, уперев подбородок в грудь, сплетя пальцы рук, в моей голове теснятся мысли — встревоженные, это верно, но еще и веселые, а вы, я знаю, цените веселость, истинную веселость, не показную жизнерадостность эпикурейцев и не расчетливую бодрость сломленных горем. Я знаю также, что глубокую боль, тлеющую медленно, как сырое дерево, Вы считаете облагораживающей, и тут у нас отчасти взаимопонимание. Но чтобы получить это высшее образование, необходимо выжить. Нужно пережить боль. Герцог! Перестань задирать и дразнить великих. *Нет, я восхищаюсь Вами, герр Ницше, правда. Разделяю Ваши чувства. Вы хотите научить нас жить с пустотой. Не морочить себя кротостью, верой, человечьими соображениями заурядного разбора, но с небывалым свирепством и упорством вгрызаться вопросами в зло, прогрызать его насквозь, кусать воздух вблизи него, не приемля малодушного покоя. Гвоздить самыми главными, самыми пронзительными вопросами. Браковать человечество как таковое, отметать этот заурядный, расчетливый, жульнический, вонючий, неразвитый, осоловелый сброд, и не только рабочую скотинку, но в первую голову «образованных» скотов с их книгами, концертами и лекциями, с их либерализмом и романтической театральщиной «любви» и «страсти»: все это заслуживает смерти — и да умрет. О'кей. Но Ваши-то экстремисты должны выжить. Без выживания нет Amor Fati* [1]. *Ваши имморалисты, как все, едят мясо. Ездят на автобусе. Правда, их чаще других укачивает. Человечество живет в основном извращенными идеями. В извращенном виде Ваши идеи ничуть не лучше христианства, которое Вы предаете проклятью. Философ, если он хочет сохранить связь с человечеством, должен заблаговременно извратить свою собственную систему, дабы видеть ее реальные черты через несколько десятилетий. Приветствую Вас с этого края травкой окрашенного скоротечного света и желаю Вам счастья, где бы Вы ни обретались. Ваш, под покровом Майи, М.Е.Г.*

Уважаемый д-р Моргенфру! Недавно умер. Напомни о себе человеку. *Вам пишет Герцог Мозес Е. Мы с Вами играли на бильярде в Мадисоне, штат Висконсин.* Еще подскажи. *Потом явился Уилли Хопп показать класс.* Все три шара безропотно слушались бильярдного маэстро: он пошепчет что-то, чуть тронет их кием, и они то отпрянут друг от друга, то чмокнутся. И бурно зааплодирует, во всю силу легких вы-

[1] Любовь к судьбе (*лат.*).— выражение Ф. Ницше.

крикнув «Браво», лысый, с чутким смешливым носом, по-заграничному обаятельный старик Моргенфру. Он играл на пианино и разливался ручьем. Хелен получше его играла Шумана, но она так не выкладывалась. Она хмурила брови, словно играла с огнем, ей, впрочем, подвластным. А Моргенфру, в шубе присев к роялю, сразу начинал постанывать. Потом подпевал и наконец заливался слезами — музыка его сминала. Замечательный был старик, немного плут, но кто, скажите, без греха? *Уважаемый д-р Моргенфру! Новейшие данные по ущелью Олдовай*[1] *в Восточной Африке заставляют предположить, что человек произошел не от миролюбивой обезьяны, жившей на деревьях, но от плотоядного вида, обитавшего на земле, охотившегося стаями и крошившего черепа своим жертвам дубинкой или бедренной костью. Это огорчит оптимистов и омрачит терпимый, исполненный лучших надежд взгляд на человеческую природу. Столь часто поминаемый Вами труд сэра Солли Цукермана по обезьянам лондонского зоопарка отныне вытеснен. В естественных условиях обезьяны не столь сексуально озабочены, нежели в неволе. Должно быть, неволя и скука распаляют похоть. Может быть и то, что потребность в пространстве сильнее сексуальной. Пребывайте в свете, Моргенфру. Я буду писать Вам время от времени.*

При том что он часами бывал на воздухе, он боялся, что лицо у него еще бледное. Может, оттого, что в зеркало на двери в ванную по утрам вместе с ним смотрелась густая зелень листвы. Да нет, он действительно неважно выглядел. Наверняка возбуждение отнимает много сил, думалось ему. И конечно, не давал забыть о немочи стойкий больничный запах повязки, спеленавшей грудь. На второй или третий день он не остался спать наверху. Ему не хотелось выживать из дому сов и обрекать на смерть совят в старой люстре на трех бронзовых цепях. Хватит тех скелетиков в сортирном бачке. Он перешел вниз, прихватив несколько полезных вещей — теплый бушлат, капюшон от дождя, ботинки, выписанные из Сент-Пола от Гоуки, чудесные ботинки — мягкие, красивые, защитные от змей, он уже забыл, что у него есть такие. В кладовке его ожидали еще интересные находки: фотографии «счастливых дней», коробки с одеждой, письма Маделин, пачки аннулированных чеков, каллиграфически выписанные извещения о браке и кулинарная книга Фебы Герсбах. На фотографиях был он один — их Маделин оставила, а свои забрала. Интересно у нее получается. Среди брошенных платьев был весь ее дорогой гардероб роженицы. Чеки выписывались на большие суммы, причем многие были оплачены наличными. Она что, копила потихоньку? Он вполне это допускал. Над извещениями он расхохотался: Господин и госпожа Понтриттер отдают свою дочь замуж за господина Мозеса Е. Герцога, д-ра философии.

В одном из чуланов под заскорузлой малярной тряпкой он обнаружил с десяток русских книг. Шестов, Розанов. Розанов ему нравился; к счастью, он был по-английски. Он прочел несколько страниц из «Уединенного». Потом оглядел малярное хозяйство: старые кисти, разбавители, иссохшие, заляпанные ведерки. Отыскалось несколько банок с эмалью — а что, подумал Герцог, если покрасить пианино? И отправить Джуни в Чикаго. У девочки большие способности. А Маделин — ей, суке, придется взять пианино, раз доставили и оплачено. Не станет же отсылать обратно. Зеленая эмаль показалась ему самой подходящей и он, не откладывая, отыскал годную кисть, прошел в зал и набросился на работу. *Дорогой Розанов!* Он сосредоточенно красил крышку пианино; эмаль была нежно-зеленая, радовала глаз, как летние яблоки. *Громовая истина, какую Вы высказываете и какой не говорил ни один из пророков, это — что частная жизнь выше всего. Это — общее религии. Правда выше солнца. Душа есть страсть. «Аз есмь огнь поедающий». Я задыхаюсь в мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Добрых от злых ни по чему так нельзя различить, как по выслушиванию рассказов*

[1] Ущелье на севере Танзании, где сделаны находки древнейших двуногих приматов.

чужого человека о себе. Не надейтесь на дружбу с человеком, который скучает, вас выслушивая. Бог всего меня позолотил. Чувствую это... Боже, до чего чувствую. Очень трогательный человек, хотя временами невозможно грубый, и еще эти его дикие предрассудки. Эмаль ложилась хорошо, но надо будет, наверно, пройти по второму разу, а хватит ли краски? Отложив кисть, пока подсохнет крышка, он задумался над тем, как вывезти отсюда инструмент. Громадный дальнерейсовый фургон вряд ли подымется на его холм. Надо будет подрядить в поселке Таттла с его пикапчиком. На все уйдет что-нибудь около сотни долларов, но для ребенка он ни перед чем не остановится, и особых проблем с деньгами у него нет. Уилл предложил ему взять на лето сколько потребуется. *Рост исторического сознания любопытным образом привел к тому, что осознание стали полагать необходимым условием выживания. Люди должны осознать свое положение. И если неосознанную жизнь не стоит и проживать, то осознанная также невыносима. «Дай синтез или погибни!» Такой, похоже, теперь закон? Но когда видишь, какие странные понятия, иллюзии, проекции исходят из человеческого разума, то начинаешь снова верить в Провидение. Жить с такой чушью... Во всяком случае, интеллектуал всегда сепаратист. Так какого же рода будет тот синтез, до которого может досягнуть сепаратист?* К счастью, у меня никогда не было таких средств, чтобы оторваться от жизни большинства. Чему я только рад. Я намерен, насколько меня хватит, участвовать в жизни с другими людьми — и при этом не загубить свои оставшиеся годы. Герцог чувствовал сильное, до головокружения желание *начать.*

Нужно было взять воду из цистерны; насос весь проржавел; он залил его водой, поработал рукояткой и скоро устал. Цистерна была полна. Он вагой поднял железную крышку и опустил ведро. Оно зачерпнуло с приятным звуком; мягче этой тут нет воды, только надо прокипятить. На дне обязательно лежит бурундучок или крыса, хотя вытягиваешь вполне чистую, изумрудную воду.

Он пошел посидеть под деревьями. Под *своими* деревьями. Его забавляла мысль, что он отдыхает в своей американской недвижимости, в сельском уединении, стоившем ему двадцать тысяч долларов. Владельцем он себя как-то не ощущал. Что касается двадцати тысяч, то красная цена этому месту — три-четыре. Никому не нужны эти старые дома на беркширских задворках, тут вам не модный уголок с музыкальными фестивалями и современными танцами, с псовой охотой и прочими утехами снобов. Даже на лыжах не очень походишь по этим склонам. И никто сюда не ехал. Единственные его соседи — кроткое спятившее старичье, Джуксы и Калликаки [1], безостановочно мотавшиеся в качалках на веранде, смотревшие телевизор,— девятнадцатый век тихо вымирал в этой богом забытой зеленой дыре. Зато это — свое, свой очаг; *свои* березы, катальпы, конский каштан. Свои подопрелые мечты о покое. Родовое гнездо для детей: глухомань Массачусетса — для Марко, маленькое пианино, внимательным отцом выкрашенное в ласковую зелень,— для Джун. Тут, как и во многом другом, он скорее всего напортачит. Но, во всяком случае, он не умрет здесь, чего боялся прежде. В прошлые годы, подстригая траву, он, случалось, опирался, перегретый, на косилку и задумывался: Вдруг я умру в одночасье, от сердечного приступа? Где меня похоронят? Может, самому подобрать себе место? Под елью? Очень близко к дому. Сейчас ему пришло в голову, что Маделин безусловно сожгла бы его. *Осознание невыносимо, а без него не обойтись. В семнадцатом веке ярый поиск абсолютной истины прекратился, отчего человечество получило возможность переделывать мир. И с помо-*

---

[1] Вымышленные фамилии двух семейств (соответственно, из штатов Нью-Йорк и Нью Джерси), чье неуклонное, на протяжении нескольких поколений, моральное и физическое вырождение стало предметом специальных социолого-физиологических исследований — Джуксов в 1874 г. и Калликаков в 1912 г.

щью мысли кое-что было достигнуто. Умственное стало одновременно реальным. Прекращение гонки за абсолютом сделало жизнь приятной. Лишь профессионалы, то есть немногочисленные интеллектуалы-фанатики, все еще рвались к этим абсолютам. Однако наши революционные потрясения, включая ядерный террор, возвращают нас к метафизике. Практическая деятельность достигла высшей точки, и теперь все может прекратиться одним разом — цивилизация, история, смысл, природа. Все! Теперь к вопросу о господине Кьеркегоре...

Доктору Валдемару Зозо. Сэр! В бытность Вашу психиатром военно-морских сил я показывался Вам году в 42-м в Норфолке, штат Виргиния, и Вы поражались моей незрелости. Я знал это за собой, однако подтверждение специалиста заставило меня страдать. Для страдания мне хватало зрелости. За мной был многовековой опыт. Тогда я очень серьезно отнесся к этому. Кстати, меня демобилизовали по астме, не за инфантильность. Я совершенно влюбился в океан. О, великий сетчатый океан с гористым дном! *Из-за тумана с моря у меня пропал голос, для офицера связи это конец. А тогда, у вас в кабинетике, я сидел голый, бледный, слушал, как муштруют глотающих пыль моряков, слышал, какую Вы мне дадите характеристику, с трудом выносил южный зной, однако в отчаянии ломать руки счел неподходящим. И поэтому держал их на коленях.*

Сначала от ненависти к Вам, потом из неподдельного интереса я стал следить за Вашими публикациями. Недавно меня совершенно очаровала Ваша статья «Экзистенциальная тревога в бессознательном». Это действительно классная работа. Надеюсь, Вас не коробит, что я так запросто говорю с Вами. Я в самом деле ощущаю необычайную раскованность. «На нехоженых дорогах», как чудесно формулирует Уолт Уитмен. «Беглец от жизни, выставляющей себя напоказ...» Ах, это чума: выставляющая себя напоказ жизнь — это настоящая чума! Для всякого неразумного чада Адамова приходит такое время, когда он захочет выставиться перед остальными, и он выставляет свои бзики, корчи и тики, все великолепие своего обожаемого безобразия — скалящиеся зубы, острый нос, безумный выверт мозгов, и в приливе нарциссизма, который он понимает как благодеяние всем нам, он говорит остальным: «Я пришел свидетельствовать. Я пришел служить вам образцом». Одураченный самозванец!.. Так вот: беглец, как говорит Уитмен, от жизни, выставляющей себя напоказ, «внимающий ароматным речам...» Дальше еще один интересный факт. Весной я узнал Вас в Музее первобытного искусства на 54-й улице. У меня прямо ноги отнялись! Попросил Рамону присесть со мной. *Я сказал даме, с которой был: «Как бы это не доктор Валдемар Зозо». Оказалось, она Вас тоже знает и ввела меня в курс: Вы довольно богаты, собираете африканские древности, Ваша дочь исполняет народные песни и прочее. Я осознал, как остро ненавижу Вас. А ведь думал, что давно простил: интересно, правда? Когда я увидел Вас — в белой сорочке с пластроном, при смокинге, мокрые губы под эдвардианскими усами, косица, приученная накрывать плешь, бесплодное брюшко, обезьяньи ягодицы* (элементарно старые!),— *я радостно осознал, что ненавижу Вас. Словно и не было этих двадцати двух лет!*

Его мысль характерно скакнула в сторону. Он раскрыл замусоленную книжку на чистой странице и в пронизанной ветками тени кишащей гусеницами вишни стал делать наметки для поэмы. Он решил сочинить для Джуни «Насекомую Илиаду». Читать она, правда, не умеет, но, может, Маделин разрешит Асфалтеру брать девочку в Джексон-парк и читать поэму порциями, как будет получать. Лук большой дока в естествознании. Ему тоже будет полезно. Бледнея от заразительной причуды, горбясь, книжку сунув за спину, пока вызревают мысли, Мозес упер в землю карие глаза. Троянцами можно сделать муравьев. Водомерки пусть будут греками. Лук найдет их на том краю лагуны, где стоят глупые кариатиды, и покажет Джун. Итак, водомерки

со сверкающими кислородными бусинами на длинных бархатных ножках. Елена станет красавицей осой, старик Приам — цикадой, пьющей из корней сок и выпуклым брюшком трамбующей земляные ходы. Ахиллом же будет жук-рогач с острыми шипами и сокрушительной силой и, однако, обреченный рано умереть, хотя он и полубог. С берега моря он взывал к матери:

Страшно он, плача, вопил, услышала вопль его матерь
В безднах глубокого моря, в чертогах родителя-старца [1].

Но уже скоро он отказался от этого прожекта. Не ко времени затея. Прежде всего он не чувствует себя собранным, не сможет по-настоящему сосредоточиться. Странное было состояние, перемешались ясность мысли и хандра, esprit de l'escalier [2] и вдохновенные порывы, поэзия и бессмыслица, идеи, гиперестезия [3], и он мыкался неприкаянно, слыша в себе сильную неясную музыку, бредя наяву, видя предметы в фиолетовых ореолах. Рассудок уподобился той цистерне: чистая вода под надежной железной крышкой, а пить небезопасно. Нет, красить пианино для дочки сейчас самое милое дело. За работу! Хватай зеленую кисть, жаркая пятерня воображения. За работу! Но первый слой еще не подсох, и он отправился к деревьям, жуя хлеб из коробки в кармане бушлата. Он знал, что брат теперь появится в любую минуту. Своим видом он встревожил Уилла. Это несомненно. Надо быть поосторожнее, думал Герцог, люди сами лезут в смирительную рубашку, прямо-таки намеренно. Вот я же хотел, чтобы за мной присматривали. Я страх как надеялся, что Эммерих признает меня больным. Но я не намерен попадать в сумасшедшие, я ответственный человек, чувствую ответственность перед разумом. Я просто перевозбудился. Еще — ответственность перед детьми. Обходя сгнившие пни, лишайники и грибные шляпки, он тихо углублялся в лесок; в уймищу зеленой и побуревшей листвы на деревьях и под ногами; он углядел охотничью тропу, потом олений след. Ему было очень хорошо здесь, спокойнее. Тишина прибавляла сил, прекрасная погода вдобавок, чувство своей уместности в окружающем, *в полости божьей,* записывал он, *глухой ко всему многообразию явлений, как, впрочем, и слепой к запредельным расстояниям. Удаленный на два миллиарда световых лет.* Supernovae [4].

Дневное сиянье, пролитое
В полости божьей.

Богу он отвел несколько строк.

Сколькими усилиями давалась моему разуму связная мысль. Я никогда не был силен в этом. Но я желал творить твою непознаваемую волю, принимая ее и тебя помимо знамений. Внимая всему, что исполнено глубочайшего смысла. В особенности — отчужденному от меня.

Что до практических соображений, то нужно осторожнее держаться с Уиллом, говорить с ним конкретно и только по делу — хотя бы об этой вот недвижимости — и сохранять нормальный вид, по возможности. Если напускать на себя мудрый вид, предостерег он себя, то будут неприятности — причем очень скоро. Мудрая мина кого хочешь проймет, даже родного брата. Следи за своим лицом! Оно иногда такое выразит, что люди начинают лезть на стену, особенно если это выражение мудрости,— тут прямая дорога в психушку! Доиграешься!

Он лег около кустов белой акации. У нее легкие, с ноготок, очаровательные цветки — жаль, он опоздал к цветению. Он вдруг осмыс-

---

[1] Гомер. «Илиада», Песнь восемнадцатая, 35—36. Перев. Н. Гнедича.
[2] Здесь — заторможенность мысли (*франц.*).
[3] Повышенная кожная чувствительность.
[4] Сверхновые звезды (*лат.*).

лил, что точно в такой позе — подложив под голову руки и вольно разбросав ноги — лежал на своем грязном диванчике в Нью-Йорке всего неделю назад. Неужели всего неделю — нет, пять дней назад? Невероятно! Он совсем другим человеком себя чувствует! Уверенным в себе, как-то радостно возбужденным, собранным. Горькую чашу еще придется пригубить. Теперешние покой и здоровье — лишь узенькая полоса на той переливчатой ткани, что разделяет жизнь и пустоту. *Занятную жизнь ты мне подарила,* хотелось ему сказать матери, *и, может, занятной совсем в глубоком смысле будет моя смерть. Иногда хотелось, чтобы она шла побыстрее, тянуло ее поторопить. Но пока я еще по эту сторону вечности. Что не так уж плохо, поскольку остаются кое-какие дела. Надеюсь по-тихому доделать их. Некоторые заветные цели, похоже, уже не осуществятся.* Но есть другие. *Жизнь не может быть законченной картиной.* И есть страшные силы во мне, в том числе силы обожать и преклоняться, есть способности, в том числе способность любить, это сокрушительная сила, она делает из меня почти идиота, потому что управляться с ней я не способен. *Может, мне еще повезет не заделаться безнадежно круглым дураком, чего от меня все ожидали — и ты, и я сам.* А пока — забыть про известного рода болячки. Умерить чрезмерную живость чрезмерно живого лица. И просто выставить его на солнечный свет. *Я хочу пожелать тебе и всем остальным — от всей души пожелать самого-самого. У меня нет другой возможности дотянуться — достигнуть непостижимого. Я могу молиться, молиться в ту сторону. Поэтому... Мир вам!*

Следующие два дня (или три?) Герцог только тем и занимался, что воссылал обращения вроде этого и заносил в книжку песни, псалмы и мысли, облекая в слова не раз обдуманное и, по соображениям формы или еще почему, прежде отвергнутое. Время от времени он ловил себя на том, что снова красит пианино, или ест на кухне хлеб и бобы, или спит на гамаке, и всякий раз он немного удивлялся, уясняя себе свое времяпрепровождение. Однажды утром он взглянул на календарь и попытался угадать число, считая в тишине, точнее, перебирая ночи и дни. Правильнее было довериться бороде, чем голове: щетина на ощупь была четырехдневной, и он решил, что к приезду Уилла лучше всего побриться.

Он развел огонь, вскипятил кастрюльку воды и намылил щеки коричневым хозяйственным мылом. Бритье выявило его чрезвычайную бледность. К тому же он очень осунулся. Он клал бритву, когда услышал с низу дороги мягко урчащий двигатель. Он выбежал встречать брата.

Уилл был один в «кадиллаке». Громадный автомобиль медленно въезжал по склону, царапая днищем о камни и подминая рослую траву и ветки кустарника. Уилл мастерски водил машину. Невелик ростом, но не робкого десятка, не запаникует и уж точно не будет переживать из-за нескольких царапин на своем темно-фиолетовом красавце «кадиллаке». На ровном месте, под вязом, машина стала, шумя мотором. Сзади двумя драконьими клыками пыхнул выхлопной газ, и Уилл вышел, лицо у него было опавшее. Он окинул взглядом дом, навстречу спешил Мозес. Что чувствует Уилл? — гадал Мозес. Наверно, потрясен. Что тут еще можно чувствовать?

— Уилл? Здравствуй.— Он обнял брата.

— Здравствуй, Мозес. Как твое самочувствие? — Пусть Уилл сколько угодно изображает сдержанность: свои истинные чувства он от брата не скроет.

— Я только что побрился. Я всегда после бритья белый, а чувствую себя хорошо. Честно.

— Ты похудел. Фунтов десять потерял после Чикаго. Это порядочно,— сказал Уилл.— Как ребро?

— Совсем не беспокоит.

— А голова?

— Отлично. Я же отдыхал. Где Мюриэл? Я думал, она с тобой едет.

— Она полетела самолетом. Встречу ее в Бостоне.

Уилл научился сдержанно проявлять себя. Не зря он — Герцог, ему было с чем бороться в себе. Мозес припоминал время, когда Уилл тоже бывал несдержан, горяч, вспыльчив, гневлив, бросал вещи наземь. Стоп, а что, кстати, он тогда швырнул на пол? Щетку! Конечно! Широкую, еще из России щетку. Уилл так шваркнул ее об пол, что отлетела фанерная спинка, обнажив стежки вековой вощеной нити, а может, это были жилы. Но это когда было! Ни много ни мало тридцать пять лет назад. Во что же он выродился, гнев Уилла Герцога, моего дорогого брата? В известную выдержку и ровный юмор — дань приличиям и (очень может быть) угодливости. Наружные взрывы ушли внутрь, и, где прежде было светло, мало-помалу стемнело. Не имеет значения. Один вид Уилла вызвал у Мозеса прилив любви к нему. Уилл выглядел усталым и помятым: столько времени добираться — сейчас нужно поесть, отдохнуть. Он ведь пустился в дальнюю дорогу потому, что беспокоился за него, Мозеса. Очень внимательно с его стороны, что не взял Мюриэл.

— Как ехал, Уилл? Проголодался? Открыть банку тунца?

— Это по тебе не скажешь, что ты ел. А я перекусил в дороге.

— Тогда посиди немного.— Он повел его к складным стульям.— Тут было прелестно, когда я еще занимался участком.

— Значит, вот этот дом? Спасибо, сидеть не хочу. Лучше похожу. Давай посмотрим дом.

— Да, вот этот знаменитый дом, счастливая обитель,— сказал Мозес и добавил: — Вообще говоря, я таки был тут счастлив. Не хочу быть неблагодарным.

— Построено вроде бы неплохо.

— Ужасно, со строительной точки зрения. Ты только представь, во что это обошлось бы сегодня. Фундамент вполне выдержит Эмпайр Стейт Билдинг. Я тебе еще покажу каштановые балки, тесанные вручную. Срубовое крепление. Ни единой скобы.

— Наверно, непросто его протопить.

— Да нет, в доме электроплинтусы.

— Хотел бы я продавать тебе электричество. Разбогател бы... А место красивое, ничего не скажешь. Замечательные у тебя деревья. Сколько у тебя всего акров?

— Сорок, но вокруг брошенные фермы. Ни одного соседа в радиусе двух миль.

— Так... Тебя это устраивает?

— Да — в смысле уединения.

— Какие у тебя налоги?

— Один восемьдесять шесть или около. Выше одного девяноста не было.

— А по закладной?

— Там малый капитал. Платежей и процентов набегает двести пятьдесят в год.

— Очень хорошо,— одобрительно сказал Уилл.— Но скажи мне такую вещь: сколько ты сюда вложил, Мозес?

— Я не подсчитывал. Наверно, тысяч двадцать. Больше половины ушло на переделки.

Уилл кивнул. Скрестив руки, он смерил строение косым взглядом, чуть отвернув в сторону лицо,— эта манера у него тоже наследственная. Только глаза у него невозмутимо проницательные, а не задумчивые. Мозес, впрочем, без малейшего труда прочел его мысли.

Для себя он выразил их на идише. Ин дрерд ауфн дек — незнамо где. У черта на рогах.

— Само по себе очень симпатичное владение. Вдобавок может оказаться весьма разумным помещением капитала. Местоположение, правда, несколько экзотическое. Людевилля нет на карте.

— На карте автозаправок его нет,— признал Мозес.— Но штат Массачусетс в курсе, где это находится.

Оба слабо улыбнулись, каждый глядя в свою сторону.

— Давай зайдем в дом,— сказал Уилл.

Мозес начал обход с кухни.— Надо будет проветрить.

— Да, затхлый воздух. Но очень мило. Штукатурка в превосходном состоянии.

— Нужно завести кота от полевок. Они тут зимуют. Пусть, но они все грызут. Даже книжные переплеты. Похоже, они любят клей. И еще воск. Парафин. Свечи. Словом, в этом роде.

Уилл был с ним сама любезность. Он не тыкал его носом в суть дела, что не преминул бы сделать Шура. Уилл человек обходительный, как Хелен. А Шура сказал бы напрямик: «Как же ты, балбес, вбухал столько деньжищ в сараюгу?» По-другому Шура не умеет. Все равно Мозес любил их всех.

— Как тут с водой? — спросил Уилл.

— Самотеком, из родника. Еще есть два старых колодца. Один загубили керосином. Оставили дырявую канистру, керосин и впитался. Да ничего страшного. Воды тут залейся. Отличная выгребная яма. Человек двадцать обслужит. И не надо сажать апельсиновые деревья.

— В каком смысле?

— В том смысле, что в Версале Людовик Четырнадцатый сажал апельсиновые деревья, чтобы перебить вонь от придворной оправки.

— Великое дело — образование,— сказал Уилл.

— Если употребить его к делу,— сказал Герцог. Он очень тщательно подбирал слова, стремясь производить абсолютно нормальное впечатление. Совершенно ясно, что Уилл, самый рассудительный и внимательный из Герцогов, присматривается к нему. Мозес надеялся благополучно пройти эту проверку. Впалые и свежевыбритые щеки были не в его пользу, как и этот дом (скелетики в туалетном бачке, совята в люстре, наполовину покрашенное пианино, остатки еды — из всех углов глядит брошенный муж); и скверно обернулась его «вдохновенная» вылазка в Чикаго. Очень скверно. К тому же заметно, что он не в себе: возбужденно таращит глаза и в широких радужках только что не частит пульс. *Зачем мне досталось такое беспокойное сердце... Но уж так вышло, горбатого могила исправит. Таков я есмь и таким пребуду. Надо ли с этим бороться? Мое душевное равновесие — из непокоя. Не как у других: собраться с силами, проявить решимость. Диковато, но это так. На этих условиях я тоже — даже я! — способен кое-что уразуметь. Возможно, только на этих условиях. Я должен играть на том инструменте, который мне достался.*

— Я смотрю, ты красил пианино.

— Это для Джун,— сказал Герцог.— Подарок. Сюрприз.

— Что? — рассмеялся Уилл.— Ты думаешь отправить его отсюда? Да тебе перевозка обойдется в двести долларов. А потом еще надо поставить, настроить. Оно что, особенное это пианино?

— Маделин купила его на аукционе за двадцать пять долларов.

— Поверь мне на слово, Мозес, прекрасное старое пианино ты купишь в Чикаго со склада. Массу старых инструментов вроде этого некуда девать.

— Правда?.. Мне цвет нравится.— Яблочный, попугаистый, такой людевилльский цвет. С какой-то одержимостью тянулся он взглядом к своей работе. Был готов сорваться, опять что-нибудь учудить. Этого никак нельзя себе позволить. Ни при каких обстоятельствах не должно сорваться слово, которое можно перетолковать как околесицу. И без того все скверно. Он увел глаза с пианино в тенистую садовую сень и сам решил стушеваться. Посчитаться с мнением брата.

— О'кей. В следующий приезд куплю ей пианино.

— Здесь у тебя, если угодно, превосходная дача,— сказал Уилл.— На отшибе, но очень мило. Если все образить.

— Тут будет замечательно. Слушай, можно устроить семейный курорт. Сложимся понемногу. Постригем кусты. Выроем бассейн.

— Конечно. Хелен ненавидит поездки, как ты знаешь. И Шура с удовольствием отдохнет от скаковых лошадей, карт, друзей-магнатов и девиц.

— На Баррингтонской ярмарке устраивают рысистые испытания... Нет, боюсь, ничего не выйдет. А может, переделать под санаторий? Или перевезти в другое место?

— Не имеет смысла. Я видел, какие дома идут на снос, когда расчищают трущобы или строят автобан. Разбирать его нет смысла. Может, сдать в аренду?

Герцог осклабился и устремил на Уилли насмешливый взгляд.

— Тогда только один выход: продавать. Но свои деньги ты не вернешь.

— Можно пойти работать и разбогатеть. Нажить кучу денег и содержать дом.

— Можно и так,— сказал Уилл. Он бережно говорил с братом.

— В диком я оказался положении, Уилл, правда? — сказал Мозес.— И для себя дичь, и для вас, для родных то есть. Что могло сулить такой финал? Этот чудо-зеленый уголок... Ты беспокоишься за меня, я вижу.— Пряча тревогу на таком родном, любимейшем лице, Уилл ответил ему взглядом, не оставлявшим сомнений.

— Конечно, беспокоюсь. И Хелен беспокоится.

— Не надо, не переживайте из-за меня. Я в необычном состоянии, но ничего страшного. Я бы открылся тебе, Уилл, будь у меня ключ. Расстраиваться из-за меня нет оснований. Боже, Уилл, сейчас расплачусь. Как же это все? Нет-нет, не буду. Конечно, это любовь. Или что-то еще, что сваливается на тебя, как любовь. Наверно, любовь. И мне ее не стряхнуть. Я не хочу, чтобы ты думал не то.

— С какой стати, Моз? — тихо заговорил Уилл.— Я нутром тебя понимаю. И чувствую так же, как ты. Если я подрядчик, это не значит, что я с тобой не разберусь. Я не для того приехал, чтобы навредить тебе, ты сам знаешь. Сядь, Мозес. Уж очень ты большой.

Мозес опустился на старый диван, отозвавшийся пыльным выдохом.

— И ты очень возбужден. Тебе нужны питание и сон. Возможно, некоторая медицинская помощь. Несколько дней в больнице, ни о чем не думая.

— Уилл, я возбужден, но не болен. Я не хочу, чтобы со мной обращались как с ненормальным. Спасибо, что приехал.— Он сидел, строптиво затихнув, подавляя нестерпимое, надрывное желание расплакаться. Голос потускнел.

— Не пори горячку,— сказал Уилл.

— Я...— Герцог обрел голос и заговорил внятно: — Я вот что хочу оговорить. Я слушаюсь тебя не по слабости здоровья и не потому, что сам не могу справиться. Я не против того, чтобы несколько дней поваляться в больничке. Если вы с Хелен решили за меня, я не возражаю. Чистые простыни, ванны, горячая пища. Сон. Чего лучше? Но только несколько дней. Шестнадцатого я должен быть у Марко в лагере. Это родительский день, он меня ждет.

— Согласен,— сказал Уилл.— Вот это правильный разговор.

— Как раз неделю назад, в Нью-Йорке, я тешил себя мыслью о больнице.

— Разумная была мысль,— сказал брат.— Тебе нужны покой и присмотр. Я и для себя обдумываю эту возможность. Рано или поздно мы все нуждаемся в таком отдыхе. Так,— он взглянул на часы,— я просил своего врача позвонить в здешнюю больницу. В Питсфилде.

Едва Уилл выговорил эти слова, Мозес резко дернулся вперед. Он лишился языка и мог только отрицательно мотать головой. Видя такое, и Уилл изменился в лице. Наверно, слишком неожиданно брякнул это слово: больница, наверно, надо было действовать потихоньку, осторожно.

— Нет,— сказал Мозес, продолжая мотать головой.— Нет. Ни за что.

Теперь и Уилл смолк, сохраняя на лице обиженное выражение человека, совершившего тактическую ошибку. Мозес без труда представил себе, что говорил Уилл Хелен, уплатив за него залог, и какой встревоженный совет они держали по его поводу. («Что же делать? Бедняга Мозес, все это вполне могло свести его с ума. Давай по крайней мере покажем его специалистам».) Хелен преклонялась перед мнением специалистов. Мозеса всегда забавляло, с каким благоговением она говорила: «по мнению специалистов». Они, значит, пошли к терапевту Уилла и попросили осторожненько организовать что-нибудь в Беркширах.

— Я думал, мы договорились,— сказал Уилл.

— Нет, Уилл. Никаких больниц. Я понимаю, вы поступаете как полагается брату и сестре. И чувствую искушение поддаться вам. Для такого человека, как я, это соблазнительная мысль: покой и присмотр.

— А почему нет? Найди я в тебе улучшение, я бы не стал поднимать этот вопрос,— сказал Уилл.— Ты лучше посмотри на себя.

— Понятно,— сказал Мозес.— Но едва я начал здраво соображать, как ты хочешь сплавить меня психиатру. Ведь вы с Хелен о психиатре договаривались, верно?

Уилл, взвешивая мысли, молчал. Потом, вздохнув, ответил: — А чем тебе это повредит?

— Неужели, обзаведясь женами, детьми и забравшись в эту дыру, я показал себя большим безумцем, чем папа с его бутлегерством? А мы не считали его сумасшедшим.— Мозес улыбнулся.— Помнишь, Уилл, его фальшивые этикетки: «Белая лошадь», «Джонни Уокер», «Хейг и Хейг»?.. Бывало, сядем к столу, на столе миска с клейстером, а он разложит этикетки и скажет: «Ну, ребята, что у нас сегодня?» — и мы кричим на разные голоса: «Белая лошадь», «Тичерз». От плиты пышет жаром. Угольки, как кровавые зубы, падают в зольник. А какая прелесть были его темно-зеленые бутылки. Сейчас таких не выдувают, да и стекла такого не делают. Моей фавориткой была «Белая лошадь».

Уилл мягко рассмеялся.

— Хорошее дело — прилечь в больницу,— сказал Герцог.— Но это будет неправильно. Мне пора кончать мороку с моим проклятьем, я вроде бы начинаю разбираться, что к чему. Я отчетливо понимаю, чего мне следует избегать. И вдруг снова улечься в постель с этой штукой и целоваться с ней. Вместо Маделин. Которая, похоже, удовлетворяла специфическую потребность.

— Что ты имеешь в виду, Мозес? — Уилл опустился на диван рядом с ним.

— Очень специфическую. Не могу определить. Она привнесла в мою жизнь идеологию. Что-то из области катастрофического. В конце концов, мы живем в идеологический век. Даст Бог, она не будет делать отцом каждого, кого полюбит.

Уилл улыбнулся такому повороту мысли.

— Что ты тут собираешься делать?

— Останусь пока. Отсюда недалеко до лагеря Марко. Вот и дело: если Дейзи разрешит, заберу его сюда на следующий месяц. А сейчас вот что: отвези-ка ты меня с велосипедом в Людевилль, я договорюсь насчет света и телефона. Потом ко мне поднимется Таттл и скосит траву. А миссис Таттл, может, приберется. Такие у меня дела.— Он встал.— Налажусь со свежей водой, куплю хорошую еду. Пошли, Уилл, подвези меня до Таттла.

— Кто он такой, этот Таттл?

— Он тут всем заправляет. Украшение и гордость Людевилля. Видный из себя парень. Снаружи застенчивый, но это для простаков. Настоящий лесной дух. Свет включает в течение часа. Знает решительно все. Запрашивает дороговато, но очень стесняется при этом.

Когда они подъехали, Таттл стоял у своих высоких, маломощных, допотопного вида бензонасосов. Худой, морщинистый, с жилистыми руками, поросшими мучнисто-белым волосом, в хлопчатобумажной малярной кепке, жующий пластиковую зубочистку вставными зубами (чтобы отвыкнуть от курения, как он однажды объяснил Герцогу).— Я знал, что вы у себя, мистер Герцог,— сказал он.— С возвращением.

— Как вы узнали?

— По дыму из трубы, это во-первых.

— А во-вторых?

— Дама одна прорывалась к вам по телефону.

— Какая дама? — спросил Уилл.

— Насчет вечеринки в Баррингтоне. Она оставила номер.

— Только номер? — сказал Герцог.— Она не назвалась?

— Не то мисс Хармона, не то Армона.

— Рамона,— сказал Герцог.— Так она в Баррингтоне?

— Ты кого-нибудь ждал? — Уилл повернулся к нему на сиденье.

— Только тебя.

Уилл не удовлетворился этим.

— А кто она?

Не очень охотно и уклончиво Герцог ответил: — Просто дама. Женщина.— И, бросив игру в прятки — чего, собственно говоря, он боится? — добавил: — Женщина, цветочница, приятельница из Нью-Йорка.

— Будешь ей звонить?

— Конечно.— В темной глубине мастерской он разглядел белое, вслушивающееся лицо миссис Таттл.

— Вот какое дело...— сказал он Таттлу.— Я приехал пожить. Нужно пустить ток. И может, миссис Таттл пособит мне с уборкой?

— Да, наверно.

На миссис Таттл были теннисные туфли, из-под платья выглядывал край ночной рубашки. Полированные ногти протравлены никотином. Пока Герцог отсутствовал, она сильно раздалась, подурнела, повисли запущенные темные волосы, в серых глазах застыло какое-то отсутствующее выражение, словно прибавка в весе действовала на нее как снотворное. Он знал, что через нее шли все его телефонные разговоры с Маделин. Возможно, она слышала весь выплеснувшийся стыд и кошмар, слушала словесные и слезные излияния. Теперь же он зовет ее поработать у него, подмести полы, застлать постель. Она вытянула сигарету с фильтром, по-мужски раскурила ее, осовело глянула сквозь дым серыми глазами и сказала: — Помогу, конечно. У меня выходной. Я работаю горничной в новом мотеле на автостраде.

— Мозес! — сказала по телефону Рамона.— Тебе сказали, что я звонила. Какое чудо, что ты оказался у себя. В Баррингтоне говорят: если у тебя есть дело в Людевилле, звони Таттлу.

— Привет, Рамона. Ты не получила мою телеграмму из Чикаго?

— Получила. Очень внимательно с твоей стороны. Но я не думала, что ты так задержишься, и тут я заподозрила твой деревенский дом. К тому же я задолжала визит старым друзьям из Баррингтона, так что я взяла и прикатила.

— Так просто? — сказал Герцог.— Какой же сегодня день?

Рамона рассмеялась: — Очень в твоем духе. Неудивительно, что женщины теряют из-за тебя голову. Сегодня суббота. Я гощу у Миры и Эдуардо Миссели.

— А, у скрипача. Мы шапочно знакомы.

— Он душка. Ты знал, что он учится делать скрипки? Я пробыла в его мастерской целое утро. А еще у меня была мысль увидеть поместье Герцогов.

— Тут со мной брат, Уилл.

— Прекрасно,— пропела Рамона.— Вдвоем и живете?

— Нет, он проездом.

— Я бы очень хотела с ним познакомиться. Миссели устраивают скромную вечеринку в мою честь. После обеда.

Рядом с будкой, слушая, стоял Уилл. Посерьезневший, встревоженный, со сдержанной мольбой в темных глазах: не делай больше глупостей. Этого я ему обещать не могу, думал Герцог. Я могу сказать ему только одно: что в настоящий момент вопрос о сдаче на милость Рамоны или какой другой женщины не рассматривается. Глазами Уилла глядела семья, их карий свет яснее слов.

— Нет, спасибо,— сказал Герцог.— Вечеринки отменяются. Это сейчас не для меня. Но...

— Может, я подъеду? Глупо вот так висеть на телефоне. Ты в восьми минутах от меня.

— Пожалуй,— сказал Герцог.— Я подумал, что мне все равно надо в Баррингтон — купить кое-что, договориться, чтобы включили телефон.

— Так ты рассчитываешь пожить в Людевилле?

— Да. Ко мне приедет Марко. Одну минуту, Рамона.— Герцог закрыл рукой трубку и сказал Уиллу: — Ты подвезешь меня в Баррингтон? — Уилл, конечно, согласился.

Через несколько минут улыбающаяся Рамона встретила их. В шортах и сандалиях она стояла рядом со своим черным «мерседесом». На ней была мексиканская блузка с пуговицами в виде монет. Волосы сверкали на солнце, щеки пунцовые. Тревожная ответственность момента поколебала ее самообладание.— Рамона,— сказал Герцог,— это Уилл.

— Какая радость, мистер Герцог, познакомиться с братом Мозеса.

При всей своей настороженности Уилл была сама обходительность. В общении он всегда ровный, располагает к себе. Герцога тронуло, что ради Рамоны он выказал свою любезность самым очаровательным образом. В его взгляде светилась приязнь. Он улыбался, хотя и в меру. Было видно, что Рамону он нашел чрезвычайно привлекательной. Он, наверно, ожидал увидеть шавку, подумал Герцог.

— Ой, Мозес,— сказала Рамона,— ты порезался бритвой. И сильно. У тебя весь подбородок содран.

— Да? — Он невнимательно потрогал подбородок.

— Как же вы похожи на своего брата, мистер Герцог. Такая же дивная голова, мягкие ореховые глаза. Вы не остаетесь с ним?

— Я еду в Бостон.

— А я буквально сбежала из Нью-Йорка. В Беркширах изумительно, правда? Какая зелень кругом!

Любовь-бандитка набирали в куцых газетках поверх таких вот темных головок — в двадцатые годы. И Рамона впрямь смахивала на тех красоток, сексуальных и знающих себе цену. Но было еще в ней что-то пронзительно трогательное. Она боролась, сражалась. Ей требовалось чрезвычайное мужество, чтобы сохранить эту выдержку. Легко ли в наши дни быть женщиной, самой решать свои проблемы? А мужество непросто дается. Бывают сбои. И тогда срочно ищешь что-то в сумочке, пряча задрожавшую щеку. Он уловил запах надушенных плеч и в ту же минуту, как это почти всегда с ним бывало, услышал глубокий, космический, идиотский мужской отзыв: *кря!* Детородный, похотливый, глубинный кряк. *Кря. Кря.*

— Значит, тебя не будет на моей вечеринке? — сказала Рамона.— А когда я увижу твой дом?

— Сейчас там самая уборка,— сказал Герцог.

— Тогда, может... А что нам не пообедать вместе? — сказала она.— Как вы смотрите, мистер Герцог? Мозес подтвердит, что у меня неплохо получается креветочный ремулад.

— Даже очень неплохо. Лучшего я не пробовал. Но Уиллу надо ехать, а ты отдыхаешь — чего ради готовить, да еще на троих? Может, выберешься и пообедаешь со мной?

— Правда? — снова оживилась Рамона.— Ты меня зовешь в гости?

— А почему нет? Запеку меч-рыбу.

Уилл взирал на них, неуверенно улыбаясь.

— Замечательно. Я прихвачу бутылку вина.

— Ни в коем случае. Приезжай в шесть. В семь пообедаем, и у тебя еще будет полно времени вернуться на вечеринку.

С распевной интонацией (специально, что ли? — гадал Мозес) Рамона сказала Уиллу: — В таком случае до свидания, мистер Герцог. Надеюсь, мы еще увидимся.— И, садясь в свой «мерседес», тронула Мозеса за плечо.— Рассчитываю на хороший обед...

Ей хотелось, чтобы Уилл знал об их близости, и Мозес не стал лишать ее этого удовольствия. Он приложился к ней щекой.

— Может, и мы здесь расстанемся? — сказал Мозес, когда она отъехала.— Я могу вернуться на такси. Не хочу тебя задерживать.

— Нет-нет, я отвезу тебя в Людевилль.

— Зайду купить свою меч-рыбу. Еще лимон нужен. Масло. Кофе.

Они были на последнем спуске перед Людевиллем, когда Уилл сказал: — В хороших руках я оставляю тебя, Моз?

— То есть можно ли тебе ехать? Я думаю, можно, причем со спокойной душой. Рамона не так страшна.

— Что значит: не страшна?! Она бесподобна. Только ведь и Маделин была бесподобна.

— Ни в чьих руках ты меня не оставляешь.

Слив в кротком, мягком взгляде иронию, печаль и любовь, Уилл сказал: — Аминь. Теперь насчет идеологии: есть у нее какая-нибудь?

— Приехали, стань у мастерской Таттла. Они возьмут меня с велосипедом и прочим в свой пикап. Да, кое-какая идеология у нее есть. Касательно секса. Она фанатик этого дела. Но я не возражаю.

— Я выйду и уточню, как ехать,— сказал Уилл.

Таттл, когда они не спеша проходили мимо, сказал Мозесу: — Еще несколько минут — и будет вам ток.

— Спасибо... Уилл, пожуй листок туи. Очень приятный вкус.

— Не решай пока ничего. Ты не имеешь права на новые ошибки.

— Я пригласил ее пообедать. Только и всего. Она возвращается к Миссели на вечеринку, я с ней не еду. Завтра воскресенье. В Нью-Йорке у нее работа, так что здесь она не останется. Я к ней не сбегу, как и она ко мне, если ты боишься второго.

— Ты странно действуешь на людей,— сказал Уилл.— Ладно, до свидания, Моз. Может, мы с Мюриэл заглянем к тебе по пути на запад.

— Вы найдете меня холостяком.

— Если бы ты жил и поплевывал, все было бы ничего: заводи хоть пять жен. Но с твоей самоотдачей... с твоим талантом делать роковой выбор...

— Уилл, езжай с легким сердцем. Поверь... Я тебе обещаю: ничего подобного не случится. Исключено. До свидания, и спасибо тебе. А что касается дома...

— Я буду думать. Деньги тебе не нужны?

— Нет.

— Уверен? Ты правду говоришь? Перед тобой все-таки родной брат, не забывай.

— Я знаю, кто передо мной.— Он обнял Уилла за плечи и поцеловал в щеку.— До свидания, Уилл. Как выедешь из города, первый поворот направо. Там шлагбаум.

Когда Уилл уехал, Мозес, ожидая миссис Таттл, опустился на скамейку у туи и наконец окинул поселок досужим взглядом. *Повсеместно образцом дикой природы считается океан. Безусловно, подойдут в этом качестве и горы — сверкающие, круто обрывающиеся, державно синеющие. И даже эти пестрые лужайки. Эти красные кирпичные дома удерживаются на волнистой круче только благодаря заскорузлости духа. Благодаря тому жилому духу, что разит сквозь занавески. Живой дух крепит стены. А не то бы они искрошились в прах между складками холмов.*

— Замечательное у вас место, мистер Герцог,— сказала миссис Таттл, когда они взбирались в гору на ее драндулете.— Тут всего ремонта на грош. Стыд, что вы сюда не показываетесь.

— Нам надо привести в порядок кухню, чтобы я мог готовить. Я найду вам метлу, веник, ведро и прочее.

Когда он возился в темной кладовке, вспыхнул свет. Таттл — волшебник, подумал он. Я говорил с ним около двух. Сейчас полпятого, может — пять.

Неразлучная с сигаретой миссис Таттл повязала голову платком. Вылезший из-под платья розовый подол нейлоновой ночной рубашки только что не подметал пол. В каменном подвале Герцог нашел включатель насоса. Сразу зашумела вода, хлынула в герметический бак. Он включил электроплиту, холодильник; камера охладится не скоро, и ему пришла мысль опустить вино в ручей. Потом он взял косу и пошел образить двор, чтобы выигрышнее показать Рамоне дом. После нескольких взмахов заныли ребра. Рановато ему заниматься таким делом. Он вытянулся в шезлонге лицом к югу. С уходом солнца слетаются неприкаянные певчие дрозды, на их сладостно-жесткое пение, отпугивающее непрошеных гостей, к ночи подбираются в стаи черные дрозды, перед заходом солнца они все снимутся с деревьев косяками, один за другим, и потянут за три-четыре мили к своим гнездовьям у реки.

Приезд Рамоны, что говорить, немного беспокоил. Хотя они ведь только пообедают. Потом она поможет с посудой, а потом он ее проводит.

Впредь отказываюсь выкидывать в жизни фокусы. Жизнь сама фокусничает напропалую, без моей помощи.

С одной стороны холмов солнце ушло, и там густо наливалась синева; с другого боку они оставались белыми и зелеными. Громко гомонили птицы.

Мне ли притворяться, что у меня такой уж большой выбор? Вот я гляжу на себя: грудь, бедра, ноги. Голова. Удивительное устройство, я знаю — это все умрет. А внутри — что-то там есть... счастье... «Ты подвигнул меня». И это не оставляет выбора. Что-то рождает силу, святое чувство, как апельсиновое дерево дает плоды, как зеленеет трава, как гоношатся птицы. В одном сердце больше любви, в другом — меньше, наверно, так? И что это означает? Иные говорят, что этот сердечный плод есть знание. «Je sens mon coeur et je connais les hommes». Сейчас и французскому его голова дала отставку. *Нет, я бы этого не сказал. Слишком замкнуто мое лицо, скуден рассудок, убоги наклонности. Но эта сила — что же, она ничего не значит? И радость идиота, что ли, вынуждает животное — самое удивительное животное! — что-то там восклицать? И эту реакцию полагать знаком, доказательством вечного? И носить это в груди? Однако аргументов «за» у меня нет. «Ты подвигнул меня». «Так чего же ты хочешь, Герцог?» «Вот именно: ни-че-го. Мне вполне хорошо, как оно есть, как оно задумано, и до тех пор, пока во мне есть надобность».*

Он подумал, что за обедом неплохо бы зажечь свечи — Рамона их любит. У распределительного щитка всегда лежала пара свечей. А пока самое время взять бутылки из ручья. Этикетки смыло, зато стекло хорошо охладилось. Ему была приятна студеная цепкость воды.

Возвращаясь из рощицы, он нарвал цветов к столу. Он гадал, найдется ли в буфете штопор. Или Маделин прихватила его в Чикаго? Ничего, может, у Рамоны в «мерседесе» есть штопор. Хотя с какой стати? В конце концов, сойдет и гвоздь. А то можно отколоть горлышко, как в старых фильмах. Он обрывал розу, обвившую водосточную трубу, и складывал цветы в шляпу. Шипы были еще зеленые и не очень кололись. У цистерны росли златоцветники. Он сорвал несколько, но они тут же завяли. Вернувшись в темнеющий сад, он поискал пионы — может, что сохранилось. И тут его пронзило ощущение совершаемой ошибки, он замер, прислушиваясь к работе миссис Таттл, к равномерному шарканью веника. Собирает цветы. Такой задумчивый и милый. Как это истолкуют? (Он улыбнулся.) Ничего, главное — твердо знать, чего хочешь, и цветы тут ни при чем, их не используют ему во вред. Поэтому он не стал их выбрасывать. Он обратился темным лицом к дому, обошел его вокруг и вошел через парадное, раздумывая, что бы еще сделать, кроме отказа лечь в больницу, в доказательство своего здравомыслия. Может, прекратить писать письма. Да, к этому, видно, шло. К признанию того, что письма себя исчерпали. Это наваждение или что там еще, владевшее им последние месяцы, отступало, уходило совсем. Он поставил шляпу с розами и златоцветниками на недокрашенное пианино и прошел в кабинет, ухватив бутылки, как булавы. Пройдя по заметкам и записям, он опустился на свою кушетку — «рекамье». Вытянувшись, он глубоко вздохнул и дальше просто лежал, глядя на оконную сетку, истерзанную ползучими побегами, и слушая, как размеренно шаркает метлой миссис Таттл. Нужно сказать, чтобы сбрызнула пол. Так она поднимает много пыли. Через пару минут он крикнет ей: — Смочите пол, миссис Таттл. В раковине есть вода.— Но это позже. А сейчас у него ни для кого ничего нет. Ничего. Ни единого слова.

А. ЗВЕРЕВ

«ВЛАДЕТЬ СОБСТВЕННОЙ ДУШОЙ»

К публикации «Герцога» [1]

Итак, Мозес Елкана Герцог, сорокасемилетний профессор, читающий курс истории романтизма и в своей области пользующийся солидным авторитетом, попал в полосу житейских штормов, когда рушится, разваливается все: карьера, семья, сравнительно налаженный быт, устоявшиеся отношения, давние контакты. Началось с развода, для него уже второго, а дальше пошла как бы цепная реакция. Словно какое-то наваждение заставляет Герцога запутывать, если не попросту обрывать последние нити, которые привязывали его к прошлому, к настоящему. Он сам не может точно сказать, что с ним творится — неприятности, болезнь, психическая подавленность? — но знает, что в его жизни наступил кризис и в прежнее состояние она не вернется. Какими бы муками ни сопровождался начавшийся перелом, каких бы ни потребовал жертв, он необратим.

И муки, и жертвы нешуточны, однако что они перед овладевшей Герцогом потребностью «объясниться, оправдать, представить в истинном свете, прояснить, загладить вину». С его русскими интересами ему бы самое время вспомнить Пушкина: «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю...» Не так ли он сам? Ведь и у него «мечты кипят», а «в уме, подавленном тоской», лихорадочно рождаются проекты коренных переустройств — один смелее другого. Воспоминание и перед ним «свой длинный развивает свиток», пронзая бессильным сожалением о минувшем, в котором так много печальных строк.

Неотступность горьких воспоминаний для Герцога — безошибочный признак, что все разладилось. Может быть, даже более безошибочный, чем нерадостные будни. А они и вправду тоскливы. Профессор занят преимущественно тем, что подсчитывает потери: два неудавшихся брака, двое детей, которых он почти лишен возможности видеть. Фундаментальный научный труд, который лежит в набросках и не будет написан: Герцога опередили. Обветшалый, запущенный дом, где в спальне совиное гнездо, а столы засыпаны мышиным пометом.

История неудачника? Отчасти. Однако униженность не только не пригасила, а наоборот, обострила у Герцога способность испытывать то, что он именует «вдохновенным состоянием», поясняя: оно дает возможность «видеть истину, быть свободным... совершить назначенное». Герцог знал, что оно бесценно, это озаряющее вдохновение, и намеревался аргументированно доказать свою мысль в книге о романтизме. Но только в книге. Для Герцога «вдохновенное состояние» было отвлеченностью, категорией из понятийного языка романтиков, а сам он ощутил нечто схожее, лишь проделав стремительный путь вниз по лестнице успеха и престижа. Подразумевая обычные критерии и мерки, он проиграл едва ли не во всем, изведав неподдельную боль и узнав подлинную меру своих слабостей. И все же ему замерцал свет истины, а этого бы не произошло, останься Герцог все тем же благополучным и достаточно обезличенным интеллектуалом, который несет в себе типичные черты своего поколения — безволие, эгоцентричность, конформизм.

Сама ситуация, когда «фаустовское недовольство, стремление переделать весь мир» нисходит вдруг на «блаженного ленивца» и заставляет убедиться, как бесконечно трудно переделать — о нет, не мир, всего только привычный образ существования,— в высшей степени характерна для романов Сола Беллоу. Строго говоря, лишь такие ситуации по-настоящему и привлекают американского писателя. У него герой всегда на распутье, всегда томим неудовлетворенностью и охвачен сомнениями. Всегда стоит перед выбором, означающим либо признание своей беспомощности что бы то ни было изменить в мире и в себе, либо тяжкую, болезненную переоценку всего, чем он жил прежде.

В Нобелевской лекции (1976) Беллоу говорил, что назначение писателя видит в том, чтобы рассказать, «как личность, столкнувшись с дегуманизацией, отстаивает возможность владеть собственной душой». Вероятно, другие определили бы назначение литературы иначе. Но вряд ли кто-нибудь точнее скажет о смысле и пафосе творчества Беллоу.

Чаще всего в нем видят прозаика, который очень достоверно описал феномен отчуждения, распространяющего свою власть даже на сокровенные сферы бытия. В том, что этот феномен более чем реален, герой

[1] См «ИЛ», 1990, № 11—12.

Беллоу и вправду убеждается поминутно. Из горького опыта он знает, что человеку дано распоряжаться собой лишь до жестко обозначенного предела. Что по существу-то он только пленник условий, среды, социальных установлений — словом, определенного порядка вещей, который не им создан, а подчинил его себе почти всецело.

Самое существенное, однако, в том, что признать такое положение естественным герой отказывается. Не принимает его как норму. И поэтому не способен последовать благому правилу «живи, как все».

Он бы, возможно, этого и хотел, но «жить, как все» ему не дано в силу душевной природы. Эта природа очень своеобразна: вовсе не бунтарь, готовый, как Иван Карамазов, почтительнейше вернуть билет, убедившись в кричащем несовершенстве мира, и уж никак не «посторонний» из знаменитой повести Альбера Камю, где отчужденность от всего обыденного возведена в абсолют. Персонаж Беллоу, напротив, слишком интимно привязан к повседневному, к земному, сколь оно ни уродливо. Для карамазовских жестов у него никогда не хватит решимости, да, в общем-то, нет и предрасположенности к ним.

Но, плотно увязнув в бесцветных и пошлых буднях, он выказывает если не умение, то хотя бы желание внутренне от них обособиться, выверять собственную жизнь по ориентирам, мало или ничего общего не имеющим с общепринятыми. Это далеко не всегда ему удается, он часто бывает и немощен, и жалок, в нем есть что-то комичное до нелепости. Оттого подлинная стихия прозы Беллоу — юмор: философский, а случается, и бурлескный, подобающий не интеллектуальной драме, а скорее анекдоту или даже площадному фарсу. Но при всем том личность для Беллоу существует лишь настолько, насколько она сумела сберечь волю к нравственному самостоянью. Какие бы причудливые формы ни принимал едва ли не инстинктивный у его героя порыв к духовному освобождению и очищению, важны не формы в конечном счете и не результат — важно само усилие. И вот оно, это усилие, неизменно составляет основной сюжет повествования Беллоу, как бы ни менялись и тональность, и стилистический регистр за те десятилетия, что он работает в литературе.

Случилось так, что наше знакомство с этим писателем, сильно запоздав, происходит, когда Беллоу отметил свое семидесятипятилетие. К тому же оно началось с произведений, написанных очень давно. Повесть «Лови момент»[1] — первая книга Беллоу, которую мы смогли прочесть,— создана в 1956 году. «Герцог», по праву считающийся его лучшим романом, появился в 1964-м.

Перевернув последнюю страницу, читатель, вне зависимости от того, понравился ему «Герцог» или нет, вправе спросить: простите, отчего же книгу не перевели у нас раньше, сразу после ее выхода в свет? Ведь тогда она наверняка оставила бы впечатление если не более сильное, то более непосредственное — благодаря многочисленным отзвукам времени, уже отшумевшего теперь, когда «Герцог» стал классикой.

В самом деле, отчего к нам он приходит так поздно?

Ответ как будто напрашивается, но в действительности не столь прост. Понятно, что сам материал, обычный для него, как для большинства американских прозаиков еврейского происхождения, не облегчил, мягко говоря, путь Беллоу к нашим читателям. Существовала логика неафишируемых запретов, вполне оруэлловская по духу: «Все животные равны. Но некоторые животные более равны, чем другие». Если соответствующие разъяснения перевести с канцелярского новояза на внятный язык, выходило, что у нас торжествует интернационализм, а поэтому национальных проблем не следует касаться вообще, еврейских же ни в коем случае.

Беллоу не просто их касался, они для него из числа самых насущных. Можно в этом усматривать некоторую его узость, можно не разделять его представлений о том, что трагедия еврейского народа в столетие, одним из зловещих символов которого стал Освенцим, как бы отодвигает все иные трагедии на второй план. Можно дискутировать с идеями, изложенными на страницах его очерковой книги «В Иерусалим и обратно» (1979). Об Израиле там и вправду написано с чрезмерным энтузиазмом. В устах всегда скептичного Беллоу эти восторги кажутся странными.

Но пусть даже он ошибался, смотрел на какие-то явления пристрастно, сугубо под национальным углом зрения,— никаким оправданием запретов, наложенных на его книги, все это, разумеется, служить не может. Впрочем, я не верю, что запреты объяснялись исключительно полнозвучностью еврейских мелодий в прозе Беллоу. Он и без грехов своей родословной для нашего литературного начальства представал фигурой по меньшей мере подозрительной. На взгляд аппаратчиков, решавших, что нам читать, довольно было того, что Беллоу подписывал протесты против психушек для диссидентов. К тому же он публично заклеймил наших антисемитов при должности и партбилете. Робкие попытки издать Беллоу после этого пресекались на корню. Впрочем, они и прежде не встречали никакой поддержки у тех, чье невежественное мнение было всесильным и в 60-е годы, и в 70-е.

Помимо очевидных были и неявные причины подобного неприятия. Мне кажется, главная из них определялась самим духом произведений Беллоу, в которых личность так или иначе, но обязательно конфликтует с обществом и мыслит свою истинную жизнь только вне рамок ценностной ориентации, принятой большинством. Совершенно естественная в плюралистическом обществе, эта позиция, конечно, должна была вызывать недоверие и опасение апологетов общества тоталитарного образца.

Здесь любые устремления к независимости духа, достаточно им было проявиться не на кухне, где обмениваются свежими политическими анекдотами, а открыто и действенно, сразу же подпадали под уголовную статью. Была разработана целая доктрина, доказывающая, что в наших условиях обезличенность единомыслия — это гражданская и, более того, психическая норма. Очень

[1] Опубликована в «Новом мире» (1990, № 4).

выразительно воссоздает аргументацию этой доктрины Владимир Буковский, один из самых известных наших правозащитников. В своей книге «И возвращается ветер...» он рассказывает, как на следствиях и на психических экспертизах ему внушали одно и то же: у нас не может быть противоречий между установками общества и совестью индивида, а стало быть, личность, которой свойственны «повышенная конфликтность, стремление к самоутверждению, неприятие традиций, норм и т. д.», либо преступна, либо параноидальна. Она обретается в «ненормальном, выдуманном мире», неадекватно реагируя на окружающую жизнь. Она страдает навязчивыми «сверхценными идеями» вроде верховенства свободы убеждений, а значит, невменяема и подлежит изоляции — не в лагере, так в спецбольнице.

А у Беллоу как раз и доминирует, переходя из книги в книгу, именно этот тип личности. Его герой вечно носится с какими-то «сверхценными идеями» и, самоутверждаясь, решительно не хочет считаться с «традициями, нормами и т. д.». Все это, положим, нетрудно было бы объяснить вывихами буржуазного сознания, но отечественные цензоры прекрасно понимали, что переводные книги читают не ради иллюстраций к «их нравам», а с желанием разобраться в собственных болях, о которых нашу литературу вынудили молчать. Шлагбаум на дороге Беллоу к советским читателям опустился и в силу этих соображений. Думаю, даже прежде всего из-за них.

Могут возразить: отчего же тогда у нас возносили книги так называемых прогрессивных писателей Запада, чьи герои тоже находятся в антагонистических отношениях с обществом? Но там совсем другая ситуация. Там отвергаются буржуазные ценности во имя иных, до последнего времени ассоциируемых с идеей социализма. Для Беллоу же эти категории вовсе не главные. В его книгах герой, по сути, не ищет ничего другого, кроме духовного согласия с самим собой, и вот эти поиски вынуждают его раз за разом оказываться где-то далеко в стороне от принятых моделей социального поведения, заставляя, даже если он сам того страшится, ступать на опасные тропы нонконформизма.

Такие коллизии мы хорошо, слишком хорошо знаем из собственного опыта и знаем, как нервно реагировала административная система на всякую серьезную попытку их осмыслить, пусть даже иносказательно и вовсе не на злободневном материале. Напомню хотя бы о мытарствах поставленного Г. А. Товстоноговым в БДТ спектакля «Горе от ума». Или о фильмах Киры Муратовой, пролежавших на полке столько лет.

Да и вообще в книгах Беллоу систему не устраивало очень многое.

Нам ведь в те годы никак не рекомендовалась «восприимчивость ко всем тревогам». Не положено было признать, что «вокруг день за днем все рушится и приходит в упадок». Не допускалось, чтобы «в своей частной жизни мы постоянно испытывали беспокойство и мучились общественными вопросами». Меж тем в Нобелевской лекции Беллоу определяет такое состояние, как типичное для современного человека, пока он не омертвел душой. И о своем творчестве говорит, что оно бы утратило смысл, если бы не отзывались в нем тревоги, которыми заполнилась действительность XX века.

Она мрачна: «атмосфера распада», «зрелище разрухи» — подобными определениями пестрит Нобелевская лекция. Да и в романах Беллоу привычными стали сцены, дающие почувствовать, насколько далеко зашла дегуманизация жизни. Но и такая реальность сохраняет человеку шанс «владеть собственной душой». А если шанс упущен, оправданием неудачи для Беллоу не могут стать ссылки на жестокие обстоятельства, на старание «жить, как все» или на самые аргументированные теории, которыми доказывается, что личность беспомощна во враждебном ей, хаотичном и абсурдном мире.

«Я не могу согласиться с писателями,— сказал он в интервью после публикации романа «Гендерсон, заклинатель дождя» (1959),— которые утверждают, что мы, живущие сегодня, представляем собой Ничто. Да, конечно, мы не сделались теми, о ком грезил золотой век. И все же в нас есть хотя бы Нечто».

Прошло тридцать с лишним лет, и позиция Беллоу переменилась во многом, но только не в том, что касается его суждений о человеке нашего времени. И он по-прежнему отыскивает в своих героях это «Нечто», ассоциируемое с понятиями гуманности, мужества, неэгоистичности. Со способностью сопротивляться давлению реальности, которая, разрушая личность, ослабляет ее связи на «планете людей» и создает обильную почву для скепсиса, подкрашенного нигилизмом. С умением жертвовать многим ради «сверхценных идей», без которых человеческое бытие лишается содержательности и стержня.

Стараясь объяснить происхождение этих взглядов, очень специфичных на фоне послевоенной американской литературы, критики давно уже отметили обилие русских реминисценций в прозе Беллоу и справедливо приписывают наиболее характерные мотивы его книг влиянию нашей классики. «Влияние» — слово, наверное, не самое точное, тут скорее многолетний интерес, длительный диалог с миром великого русского романа, а отчасти и русской философии рубежа столетий. Но в том, что Беллоу не представить вне такого контекста — идейного и художественного,— сомневаться невозможно.

Эта постоянная перекличка не могла не возникнуть хотя бы по той причине, что корни Беллоу действительно уходят в российскую почву. Родители эмигрировали в Канаду из Петербурга всего за два года до его рождения, и в их монреальском, потом чикагском доме многое сохранилось от жизни, оставленной там, «на берегах Невы», а еще прежде — в городках вдоль черты оседлости, опоэтизированных Шолом-Алейхемом. Мозесу Герцогу автор отдал не только некоторые свои заветные мысли, но и кое-что из им самим пережитого, главным образом воспоминания детства.

Оно, правда, не было таким беспросветным, как у Герцога, однако совпадений немало: фактографических, и не только. Такие отзвуки можно найти и в других романах Беллоу, начиная с принесших ему из-

вестность «Приключений Оги Марча» (1953). Там непосредственно воссоздан Чикаго 20-х годов, кварталы, населенные иммигрантами в первом поколении, чья неуверенная английская речь еще пересыпана специфическими идиомами, которые были в ходу на «старой родине». Необыкновенно колоритная, разношерстная среда, формирующая характер героя, наделила Оги Марча даром терпения и готовностью к любым перепадам судьбы — чертами, отличающими большинство персонажей Беллоу. Но самое существенное, что она помогла приобщиться к особой духовности, особой культуре, которая в Чикаго, прославленном стихами Карла Сэндберга как «свинобой и мясник всего мира», выглядит, должно быть, еще экзотичнее, чем сфинксы на обледеневшей петербургской набережной. Бабушка Лауш, вырастившая Оги и двух его братьев, каждый год испытывала необходимость перечитать «Евгения Онегина» или «Анну Каренину» и очень сердилась, когда Оги, не знающий кириллицы, по ошибке приносил из библиотеки толстовские моралистические трактаты вместо ее любимого романа. А для Оги эти странные буквы и складывающиеся из них таинственные слова навсегда останутся знаком приобщенности к интересам бесконечно более высоким, чем те, которыми живут люди, порабощенные одними заботами о «человеческом, слишком человеческом» и — продолжая аналогии с Ницше — приучившие себя существовать «в Пустоте».

О самом Беллоу известно, что русские книги постоянно входили в круг его чтения и в студенческие годы, и позже, когда он зарабатывал на жизнь, сочиняя популярные биографии чикагских уроженцев, подвизавшихся на литературном поприще. В первом же его крупном художественном произведении следы этих штудий предстали с наглядностью. Роман «Человек без опор» (1944) прямо отсылает читателя к «Братьям Карамазовым».

Герой романа, некто Джозеф — почти Йозеф К. из книг Франца Кафки,— ожидает призыва в армию и надеется от него уклониться. Его не тяготит аморальность таких устремлений в военное время. У него на сей счет имеется целая доктрина, названная им «духом альтернатив»: поскольку общество постоянно третировало его как личность, он обладает правом на «альтернативное» поведение, когда нависшая над обществом угроза требует от каждого исполнить свой долг.

Опор под этими рассуждениями действительно нет. И все существование Джозефа шатко, едва ли не миражно. Он — неприкаянный в самом точном значении этого слова. Он не признает долженствований и буквально испепеляем устремлениями к абсолютной личной свободе, пусть она оказывается чистой фикцией.

Удостовериться в этом Джозефу приходится много раз. Ощущение собственной отчужденности буквально преследует его на промозглых улицах и в зловещих полутрущобах, где он проводит свои дни. Связанный житейскими непреложностями, на каждом шагу обнаруживающий свою зависимость от социума, как бы он против него ни восставал, Джозеф постепенно приближается к полному духовному банкротству, но все равно мечта о свободе — целостной и неущемленной — продолжает им владеть до самого конца.

Она не воплотится, и не только из-за сопротивления бюрократической машины, как у Кафки, не только из-за нравственного краха, как у Распутина в «Живи и помни». Свобода оказывается для Джозефа недостижимой, поскольку — цитируя Великого Инквизитора — «нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться». Вслед Достоевскому Беллоу видит проблему не в обретении свободы. Проблема в том, чтобы научиться свободу выносить.

Такая интерпретация категории свободы, центральной у Беллоу, сохранится во всех его наиболее значительных романах, включая «Герцога». Она не раз провоцировала сопоставление книг Беллоу с литературой экзистенциализма, особенно с Альбером Камю, глубоко исследовавшим метафизику своеволия, вырастающую из признания свободы ценностью, не подлежащей никакому ограничению. Бесспорно, общность между американским и французским прозаиками существует, но, видимо, она определяется лишь обоюдным их долгом Достоевскому, первопроходцу этой проблематики. А различия между ними и виднее, и глубже.

Период увлечения экзистенциализмом был у Беллоу недолгим и увенчался, по сути, единственным заметным произведением — романом «Жертва» (1947). Дальше началась полемика, все более острая с каждой новой книгой, пока движение времени не исчерпало сам этот сюжет. Как и другие поветрия, на памяти Беллоу не раз становившиеся, подобно фрейдизму или абсурдизму, интеллектуальной модой, экзистенциализм не удовлетворял его своими претензиями исчерпывающе объяснить феномен человека, игнорируя его бесконечную сложность, его непредугадуемость, которой противопоставлялся набор клишированных формул, будто бы способных ответить на все вопросы бытия. Во времена перепроизводства концепций, предлагающих достаточно одномерные истолкования всех людских помыслов и поступков, Беллоу оказался среди немногих западных писателей, для кого человек по-прежнему тайна, неповторимый универсум, сгусток противоречий, которых не вместит и самая изощренная схема. Все тот же, по слову Фета, огонь, «что просиял над целым мирозданьем»,— каждый раз единственный, вопреки всем посягательствам на его уникальность.

Очень примечателен в этом отношении спор Беллоу с Аленом Роб-Грийе, лидером французского «нового романа». Для «новых романистов» понятие характера — атавизм, равно как забота о психологической убедительности в литературе, о богатстве ее человеческого содержания, об органике и емкости картин жизни. Все это должно отойти на второй план, очистив место для холодного конструирования и для «приключений письма», составляющих истинное ремесло повествователя. Четырнадцать лет назад требования покончить с «обветшалым реквизитом» вроде многомерных несхематизированных образов звучали куда настойчивее, чем ныне, и дискутировать с такими воззрениями значило идти против течения. Беллоу,

однако, решился, причем в Нобелевской лекции, не предполагающей полемических выпадов.

Он заявил, что, по его представлениям, роман без характеров возможен, но лишь в том случае, когда художественная задача требует специфических средств — подчеркнутой условности, гротеска. «Создавать же его во имя теорий, доказывающих, что наша эпоха покончила с апофеозом личности,— нонсенс. Нельзя, чтобы нами управлял голый интеллект. А уж особенно скверно, когда он начинает управлять искусством».

Для многих это прозвучало неожиданно, ведь сам Беллоу пользуется репутацией мастера интеллектуальной, философской прозы. Но бывает разный интеллектуализм. Тот, который дорог Роб-Грийе с единомышленниками, выдающийся русский философ Г. Федотов еще в статье полувековой давности «Борьба за искусство» точно охарактеризовал как поиски «объективности», становящейся «окончательным преодолением психологизма, т. е. человека. Человеческий мир изгоняется из музыки, как давно уже изгнан из живописи». Мы бы теперь добавили, что из литературы он тоже вытесняется все энергичнее — из западной во всяком случае.

Это долгий процесс, в «новом романе» лишь достигший кульминации, а заявивший о себе еще на заре нашего столетия, когда, как отмечено Г. Федотовым, произошло больше чем «крушение старых форм» — началась «гибель человека. Человек, стержень мира, разбился на поток переживаний, потерял центр своего единства... Огромные технические и социальные энергии ...подготовили взрыв антропоцентрической цивилизации и грозят раздавить человека в столкновении безличных коллективов и разрушительных материальных сил». Остаться незатронутым подобным взрывом искусство, разумеется, не могло, однако реакция на происходящее бывала очень разной: от пассивного созерцания до энтузиастических восторгов, на фоне которых особенно запоминались нечастые попытки противодействия.

Предпринимались они теми, кого, пользуясь замечательно ярким образом Г. Федотова, не устроила роль дурачка, пляшущего на похоронах. Многих эта роль притягивает по сей день, но Беллоу отказался от нее со всей решительностью. Попробуем вникнуть в философскую полемику, развертывающуюся на страницах «Герцога»,— что в ней самое основное? Мозес обращается к однокашнику по университету, вспоминая студенческие споры о том, действительно ли разрушены религиозные основы цивилизации: «Неужели все традиции исчерпаны, верованья иссякли, сознание масс не готово к дальнейшему развитию?» Ему мучительна мысль о том, что отмирает нравственное чувство и глохнет совесть, что настал век «банальностей на тему Опустошенной земли... словесного поноса по поводу неподлинности и заброшенности». Для него «чисто эстетическая критика современной истории», сделавшаяся профессиональным занятием стольких гуманитариев, философов, романистов, неприемлема уже тем, что она отказывает в человечности множеству людей, называя их оболваненными массами, не больше. На взгляд Герцога, это хуже, чем интеллектуальное словоблудие, это пособничество тоталитаристам, мало того, дорога, «прямиком ведущая к фашизму в культуре».

Он, конечно, перебарщивает, этот возмущенный либерал старой закваски, он мог бы обойтись без чрезмерно энергичных выражений. Но по сути-то его понимание вещей очень близко автору. Ведь и для Беллоу человек еще вовсе не растворился в «безличных коллективах», не погиб под натиском «разрушительных материальных сил». Он еще способен вернуть «центр своего единства», пусть это безмерно тяжело. И литература обязана ему в этом помочь, а вовсе не довольствоваться бесстрастным наблюдением, когда он гибнет, тем более — не предаваться ликованию по такому поводу.

Можно рассматривать позицию Беллоу как консервативную, архаическую, старомодную, что не единожды и делалось. Не предвосхищая оценок, отмечу лишь, как она близка понятиям о литературе, утвердившимся на русской почве. Здесь очень много общего: тот же нравственный пафос, который скептики назовут морализированием, те же идеи сострадания личности, давно переставшей ощущать себя стержнем мира. И то же доверие к жизни, как она ни печальна.

Даже в самой фактуре этой прозы чувствуются русские увлечения ее автора. Беллоу любит длинные пассажи, словно старающиеся охватить явление со всех его сторон, пристрастен к почти исчезнувшим из современного романа развернутым психологическим экскурсам. Но еще примечательнее внутренняя диалогичность его повествования. Не зная оппонентов Герцога, которым адресовались его обличительные письма, мы все время слышим их голоса: оттого и меняется стилистика его посланий. Касаясь «романа идей», Беллоу как-то заметил, что жанр останется мертворожденным, если «взгляды, абсолютно неприемлемые для писателя, не получат в такой книге своего аргументированного и состоятельного изложения... В ней должны сталкиваться противоположные системы воззрений, и каждую из них надлежит защищать со страстью». Это высказывание вспомнят, определяя, как много дал западной литературе Достоевский. Для Беллоу такая полифоничность обязательна.

Она сказалась на построении той «современной комедии», какой он считает свои книги. Если искать в них юмор не бытовой, а философский, точнее о романах Беллоу, наверное, не скажешь. Комментируя замысел тогда еще не написанного «Герцога», он в одном интервью сформулировал принцип, которому верен по сей день: «Принужденный выбирать между сетованиями и смехом, я выбираю смех, потому что в нем преобладают энергия, мудрость и мужество».

И в самом деле, ситуации, которые у другого писателя выглядели бы безнадежными, вызывая ощущение абсурда и заведомой обреченности персонажа, у Беллоу каждый раз предстают далеко не однозначными, потому что его герои еще не утратили способности «владеть собственной душой». А оттого «сетования» действительно оказались бы упрощенчеством, если бы ими исчерпывалась вся тональность.

Однако она намного сложнее. Герой — тот же Герцог, да и не он один — неизменно остается существом вполне земным, ему случается испытывать состояния унизительные, ущемляющие его чувство достоинства, чреватые тяжелыми душевными травмами. Он опутан десятками зримых и невидимых нитей и болезненно ощущает свою скованность обстоятельствами, которые не в его воле переменить. Но какие бы трагифарсовые перипетии ни становились его будничностью, и в радостях своих, и в поражениях этот герой неизменно человечен. А ничего иного Беллоу от него и не требует. Еще устами одного из персонажей «Жертвы» было сказано: «Незачем становиться больше чем человеком, и нельзя стать ничем меньшим,— надо быть человечным, только и всего».

Собственно, Герцог лишь пытается следовать этому правилу, не притязая ни на какие нравственные подвиги, однако едва ли не подвиг само умение «быть человечным». Тем более в условиях, когда он оказался уж действительно «на грани Пустоты», когда все прожитое, все нажитое идет прахом, а судьба преследует его с каким-то непонятным ожесточением, круша одну за другой последние робкие надежды.

И все же, даже «тем более», он «старался — упрямо, вызывающе, опрометчиво, без достаточной смелости и смышлености старался быть *изумительным* Герцогом, то есть таким Герцогом, который, может быть, неуклюже выказывает изумительные качества...» Говорится об этом в романе не без иронии, по крайней мере без малейшей патетики, однако и не для того, чтобы повеселить читателя. Герцог и вправду изумителен — тем, что свершил нечто почти невозможное, непосильное для современного человека: став свободным, он научился выносить свободу.

Почти одновременно с публикацией романа появилось большое интервью Беллоу, впоследствии не раз цитированное критиками. В нем говорилось, что книга была задумана как комическое повествование о «бесконечных попытках людей придать своей жизни некий смысл, осознав природу сложностей, с которыми они сталкиваются, и увидев себя в правильной исторической перспективе». Комментарий, несомненно, точный, если подразумевать верхний слой содержания. Однако полностью оно таким пояснением не охватывается.

Может быть, уместнее вспомнить другое свидетельство Беллоу, однажды заметившего, что «Герцог» — книга о том, как трудно дается переход от отвлеченных идей к реальности, не считающейся даже с самыми продуманными концепциями сущего и должного. Ведь роман действительно воссоздает эту перемену, мучительную для героя. Герцог обитал среди абстракций и мог всерьез относиться к себе как к «личности, от которой мир ждет новых духовных свершений, способной изменить ход истории». Теперь он просто обманутый муж, отторгнутый отец, несостоявшийся мыслитель да к тому же едва не банкрот в прямом значении слова. «Свою жизнь он, как говорится, погубил», и лишь остатки самолюбия заставляют Герцога утверждать, что он о том нисколько не жалеет.

На деле Герцогу больно, очень больно, как было бы всякому в его положении. И яростные филиппики в его неотправленных письмах — это главным образом психологически понятное желание избыть боль, выплеснув свои обиды на людей, отнюдь не обязательно повинных в том, что не складываются у Герцога ни жизнь, ни судьба. Он пребывает в постоянном раздражении от неудач и неустройств, и достаточно любого повода, чтобы раздражение вырвалось наружу, заставляя героя яростно обличать редакторов «Нью-Йорк таймс» или спорить с провозвестником экзистенциализма Мартином Хайдеггером, безуспешно дискутировать со своим врачом-психиатром или корить городские власти за равнодушие к нуждам населения.

Герцогу кажется, что его «растревоженный, летучий дух... изливается, вникает, высказывает ясные суждения, выносит окончательные оценки». А на поверку все это не более чем нервная, взвинченная реакция интеллектуала, выбитого из своей привычной колеи и впервые заметившего, что действительность совсем не такая, как ему виделось с горних высот духа. Что перед такой действительностью он совершенно безоружен, поскольку никогда и не пробовал тем ли, иным способом к ней приспособиться.

Есть нечто донкихотское в этих обличительных речах, которых никто не услышит, в проницательных умозаключениях, которым суждено остаться всего лишь внутренними монологами, не записанными хотя бы для потомков. Герсбах, оказавшийся для героя поистине злым гением, умеет не хуже Герцога порассуждать о растраченных духовных ценностях и вопиющих социальных пороках, о милосердии, о порядочности, о Боге, но при этом аккуратно рассчитывает ходы в разыгрываемой им пошлой партии по схеме «треугольника» и демонстрирует завидное умение устраивать свои ничтожные дела. А Герцог вполне бескорыстен. Никаких для себя выгод, вообще никаких практических последствий не ожидает он от сочиненных (оттого, кстати, и не отосланных) им обращений в инстанции или просто к людям, чьи имена у него на слуху, будь то адвокат, ведущий его бракоразводный процесс, или, допустим, французский теолог Тейар де Шарден, ко времени написания романа уже покойный.

Для Герцога письма — только способ высказаться о накипевшем на душе. Да еще, возможно, средство каким-то образом справиться с потоком самой разнородной информации, которую что ни день обрушивают на человека телеэкран, радиоприемник, газета, создавая в головах хаос или, верней, некий абсурдный коллаж, где все перемешано: открытие галактических Х-лучей, новое налоговое законодательство, Философия Риска в дискуссиях о радиоактивных осадках, обработанные для массового потребления идеи Мартина Бубера о субъекте и вещи, успехи Эйзенхауэра на площадке для гольфа...

Все эти сведения, факты, слухи, философские откровения и сплетни, рассчитанные на однодневную сенсацию, постоянно бомбардируют сознание, подавляя всякую

его самостоятельность и способность к реальной ориентации в мире. Тут больная, если угодно — навязчивая тема Беллоу, и в «Герцоге» она тоже оказывается одной из важнейших. В своих стараниях как-то справиться с этой лавиной, на все откликнуться, обо всем вынести суждение Герцог часто нелеп, будто он и впрямь не от мира сего. Но за его усилиями, забавляющими очевидной призрачностью результатов, открывается скорее не то несоответствие намерений итогам, которое всегда составляет пружину комедийного действа, а неподдельная драма. Суть ее определил сам Беллоу, сказав о необходимости, но вместе с тем невозможности «все осмыслить и классифицировать, чтобы сохранить душевное равновесие и просто здравый рассудок».

Герцог лишь этого и хочет добиться, отважно ввязываясь в заведомо неравный поединок с системой выхолащивания интеллекта, который у окружающих — у того же Герсбаха, к примеру,— давно подменен набором клише, пригодных в различных житейских ситуациях. Этой системе Герцог пытается противопоставить свой, все еще до известной черты независимый взгляд на вещи — взгляд интеллигента, который, как сразу же выясняется, житейских ситуаций не понимает и даже толком не чувствует.

Исход поединка выглядит предрешенным, и действительно, Герцог раз за разом проигрывает: в тяжбе с Маделин, как прежде с Дейзи, в соперничестве с Герсбахом. Дело не только в его непрактичности. У всех них существует свой набор стереотипных представлений, которые исключают диалог с оппонентом, мыслящим слишком нешаблонно. И оттого никто не вникает в его аргументы, как и в стоящую за ними логику, которая слишком далеко отклонилась от стандартов.

Но, витая в эмпиреях, Герцог обнаруживает точность понимания происходящего, если не с ним самим, то с обществом, с культурой, частью которой он является. Такое понимание недоступно тем, кто давно приучен к банальностям взамен обременительной и житейски невыигрышной позиции критического наблюдения. Герцог сумел ее сохранить даже в своих карьерных восхождениях, и она, обернувшись для него последующими жестокими встрясками, зато позволила ему в самом себе сберечь «хотя бы Нечто» от личности, несводимой к стереотипам. И в комическом герое начинает проглядывать персонаж, которому при всех его потерях и неудачах дано постичь смысл собственного пребывания на земле.

Он не лишен высокомерия в своих отзывах об окружающих, его риторика, его категоричность смешны, памятуя, как запутался в достаточно заурядных перипетиях будничности он сам. Но все-таки под пером Герцога не кажутся ни пустословием, ни фарисейством сетования на то, что «люди глухо отринули духовность, ее символы и идеи», а «свою веру они предпочли облеченной в реальные вещи». Он слишком хорошо знает, какими духовными утратами чревата «заброшенность в повседневность», и чистое лукавство — его просьба Хайдеггеру объяснить, что́ она такое, когда случилась, с чего началась. Обо всем этом Герцог более чем достаточно знает из опыта собственных жизненных крушений, которые и вызывались тем, что обходиться повседневностью он не умел, тоскуя «без здравого смысла, ясности, истины», ею вполне обесцененных.

О том, какая пропасть отделяет будничное существование тех, с кем пересекались его пути, от якобы исповедуемых ими принципов, Герцог тоже осведомлен не понаслышке. Его поиски истины как раз и начинаются с бунта против подобного лицемерия, против безответственного манипулирования словами из интеллектуального обихода. Ему не по себе, когда ключевое для экзистенциализма понятие Пустоты рекламируют, как «пользующуюся спросом недвижимость». И наоборот, ему совершенно необходимо знать, «что мир данности и ценностный мир разъяты не на вечные времена».

В сущности, попыткой их воссоединить и оказывается вся описанная Беллоу одиссея его невезучего героя. Семейный разлад был только первотолчком, от которого пришли в действие силы слишком масштабные, чтобы дело ограничилось историей еще одного распавшегося союза, еще одной несостоявшейся жизни. В конце концов, был самый прозаический адюльтер, и не Герцогу с его экзотичной цветочницей метать по этому поводу громы негодования. Случившееся для него только повод, чтобы решиться на поступок, который переменит все, чем он прежде жил.

А решается герой ни больше ни меньше, как отринуть «данность», лишенную духовного наполнения. И какой бы автопародией ни звучали лихорадочно им фиксируемые мысли вроде той, что от его удач или срывов на новом пути зависит — подумать только! — «выживание цивилизации», есть капля истины даже в этих смехотворных преувеличениях. В конечном счете это ведь не абстракция, а живое дело каждого — добиться, чтобы жизнь обрела столь ей необходимое качество, которое Герцог называет «вдохновенным состоянием». Обрела голос, освободившись от рабской немоты, которая господствует из-за массовой «заброшенности в повседневность», хотя бы и более чем благоустроенную. Осуществила наивную, но прекрасную грезу романтиков о «красоте, величии, цельности».

Что и говорить, Герцог по-американски самонадеян, полагая, будто собственным примером указывает дорогу человечеству. Однако есть нечто по-настоящему поучительное в его опыте. И уж кому, как не нам, внятен этот призыв «во главу угла ставить частную и внутреннюю жизнь», не рассчитывая, что она сама собой наладится при правильном функционировании социума. Кому, как не нам, понятно, какая это мука и какая, при определенных условиях, неотложность — переделывание самих себя: не совокупное, не в форме массовых радений, а медленное, происходящее на глубине и всегда сугубо индивидуальное по характеру направляющих его побуждений.

Насколько удалось справиться с этой неимоверной по сложности задачей Герцогу, в конце концов, не самое важное. Он знает: потребуются намного более веские доказательства его приближения к истине, чем те, которые герой в состоянии предъявить даже на последних страницах романа. Уже и после того, как начал стихать пронесший-

ся над ним шторм, Герцогу случается испытать минуты отвращения к себе и приступы бессилия. Он ведь только человек своей эпохи, а из нее нельзя вырваться волевыми актами. И нельзя бесследно вытравить в себе все то, что стало ее метой: скепсис относительно хода истории, отчужденность от «толпы одиноких», в которую превратилось людское сообщество, сомнения в разумности достигнутого человечеством ценой стольких жертв.

Но можно освободиться от страха, порабощающего и сковывающего, сколько бы ни утверждали философы-экзистенциалисты, что страх является единственной духовной реальностью в мире, утратившем Бога. Метафизическую свободу, даруемую отчужденностью от других, можно обратить в свободу причастности к их заботам и тревогам — реальную свободу, потому что только это чувство причастности придает существованию гуманность и высший смысл. А если этот смысл найден или, как произошло с Герцогом, если он хотя бы приоткрылся, свобода перестает быть бременем, побуждающим к беспрерывным поискам, «пред кем преклониться». Из бремени она становится «вдохновенным состоянием», и уходит ощущение всевластной Пустоты, преследовавшее Герцога все те годы, что он обретался в сфере чистых идей.

«Владеть собственной душой» в наш век стало куда труднее, чем прежде, и Герцогу еще предстоит учиться этому очень непростому искусству. Спокойнее и удобнее, с комфортом обставив свой быт, предаться словесным играм, перебрасываясь ни к чему не обязывающими репликами об апокалипсисе как самом вероятном исходе цивилизации, погибающей от собственных противоречий, об отчаянии, сделавшемся всеобщим состоянием умов, о неудержимой стихии разрушения, о триумфах зла и еще о многом в том же духе. Герцог спорит со своим коллегой Мермельштайном, чрезвычайно склонным к такого рода выкладкам, а потом замахивается даже на авторитет Ницше, еще недавно безусловный и для него самого.

Он хочет смотреть на действительность не через призму готовых и вполне однозначных интерпретаций, а непредвзято, с надеждой отыскать в ней какую-то опору для своей веры в духовные возможности человека — веры наивной, смешной в глазах почти всех, кто с ним рядом.

Он пытается вырваться из порочного круга, когда любое рассуждение подводит к отчаянию, а отчаяние в свою очередь становится чем-то вроде удостоверения, подтверждающего, что его обладатель мыслит вполне современно.

И хотя он пока еще не совсем уверенно ступает по тропам, которые философия давно забросила, сочтя тупиковыми, они одни, наверное, способны привести Герцога к цели, к желанному оправданию своего бытия в неуютном и тревожном мире.

■

Публицистика

ВЛАДИСЛАВ АНДЕРС

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ

Перевод с польского Т. УМАНСКОЙ

Из лагерей — в армию

Было совершенно ясно, что советские власти поражены тем огромным количеством людей, которые вступали в польскую армию. Видимо, советские чиновники надеялись, что мало кто выйдет живым из концлагерей, а выжившие будут непригодны для военной службы. У меня была возможность разговаривать со многими тысячами мужчин, женщин и детей, которые прибывали в армию, и я с ужасом понял, как чудовищно обращались с ними советские власти не только в период германо-советской дружбы, но и после начала войны 1941 года.

Уже сквозь тюремные стены до меня доходили обрывочные сведения о массовых арестах и ссылках, которые совершались советскими властями на территориях Польши, оккупированных в сентябре 1939 года, но истинный размах этой заранее запланированной акции открылся мне лишь после освобождения, когда по мере создания армии стекались десятками тысяч со всех сторон бескрайних просторов СССР освобожденные пленные, заключенные, ссыльные — а они составляли лишь часть по крайней мере миллиона вывезенных — и рассказывали о своих переживаниях, о судьбах своих близких, еще живых и уже погибших. До сих пор каждый из нас знал лишь собственную историю да, может быть, истории сокамерников и друзей по ссылке. С этих пор собираемые, сравниваемые, проверяемые известия составили трагическое целое — двухлетнюю историю систематического обезлюживания польских земель, уничтожения на этих землях в первую очередь самых активных и социально-важных членов общества, невзирая на национальность, классовую и религиозную принадлежность. Поляки, украинцы, белорусы, литовцы, евреи, помещики и крестьяне, фабриканты и рабочие, офицеры и рядовые, судьи, купцы, полицейские и ксендзы, пасторы и раввины — все они были вырваны из своих домов и втянуты чудовищной машиной НКВД, брошены в тюрьмы и лагеря. Вслед за арестами шла принудительная высылка семей (не исключая детей и стариков) в пустыни Казахстана или сибирскую тайгу. Москва реализовала таким образом свой обычный план «обезглавливания» народа, земли которого захватила. Потому что это «обезглавливание» является необходимым условием советизации народа, то есть превращения его в безвольную и бесформенную человеческую массу.

Окончание. Начало см. в № 11.

Первая волна поляков, лишенных свободы,— солдаты польской армии, сражающейся против немцев, взятые в плен превосходящими советскими силами, которые 17 сентября, согласно пакту, заключенному с Гитлером, коварно ударили в наши тылы. Им мешали прорываться в Венгрию и Румынию, вылавливали даже отдельных солдат, которые хотели лишь одного — продолжать бороться с фашистами.

Другая категория арестованных советскими властями, особенно в первые месяцы оккупации,— так называемые «нарушители границы», то есть поляки, главным образом военные, которые уже в гражданской одежде пытались перейти границу нейтральных в ту пору соседних стран, чаще всего Венгрии и Румынии, а вначале также Литвы и Латвии, чтобы затем добраться до Франции, где начала формироваться польская армия. Этих гражданских «туристов» вылавливали советские пограничники, действуя с особым старанием и коварством. Таким образом московское правительство выполняло свои обязательства по отношению к своему тогдашнему союзнику, гитлеровской Германии. Когда коммунистические агенты Коминтерна саботировали изнутри военные усилия демократических стран Запада во Франции и в Англии, советские власти на оккупированных польских землях делали все, чтобы уменьшить число поляков-добровольцев, прорывающихся на Запад, для участия в дальнейшей борьбе с фашизмом. «Нарушителей границы» вылавливали и вывозили в глубь России. Несмотря на то, что по советским законам за такое преступление предусмотрено наказание в виде 1—3 лет лишения свободы, их обычно судил заочный политический административный суд («ОСО», бывшая революционная тройка) и приговаривал к пяти—восьми годам лагерей.

Следующая категория арестованных сразу же, в первые дни оккупации,— это видные политические и общественные деятели. Их брали по спискам, заранее приготовленным НКВД, с этими списками представите-

ли советской полиции приезжали на место. К этой категории принадлежали послы и сенаторы, бургомистры, владельцы крупных фабрик и поместий, выдающиеся общественные деятели, судьи, ксендзы, прокуроры и полицейские, не исключая и обычных постовых. По мере того как советская полиция входила в курс дела и осматривалась на месте, к этой категории наиболее выдающихся и поэтому, по мнению советских властей, наиболее вредных представителей польского общества присоединяли все новых и новых людей, имеющих какое-либо влияние. Таким образом круг «бесследных исчезновений» становился все шире, волна репрессий катилась из верхов общества вниз, из больших городов в глубокую провинцию. Всем этим людям затем предъявлялось обвинение в службе польскому государству, обвинение по статье советского уголовного кодекса, в которой говорится о контрреволюции (ст. 58 или 54, в зависимости от того, применялся ли кодекс российский или украинский, впрочем, разница между ними была лишь в нумерации статей), а службу собственному государству, поскольку государство это было капиталистическое, советская юриспруденция считала преступлением против интересов революции и международного пролетариата. Владельцев фабрик и поместий судили оптом, не обращая внимания на действительное положение вещей,— за эксплуатацию пролетариев. Не помогали многочисленные коллективные прошения рабочих или крестьян, выражавшие благодарность справедливым, гуманным и великодушным «буржуям», и инициаторы подобных акций немедленно отправлялись за решетку вслед за своими «эксплуататорами» как «прислужники капитализма». Из этой категории арестованных многие пропали бесследно, других приговорили к большим срокам, более десяти лет, третьих попросту, руководствуясь советским правом, держали в тюрьмах без суда и приговора или давали заочно восемь лет административной высылки.

Еще одна разновидность арестованных — это те граждане нашей страны, которые, служа польскому правительству (находившемуся сначала в Париже, а потом в Лондоне), руководившему борьбой нашего народа за свободу против тоталитарного агрессора, приступили к созданию в оккупированном Отечестве подпольного польского государства и подпольной армии. Советская Россия, будучи в 1939—1941 годах союзником гитлеровской Германии, безжалостно подавляла любые действия поляков в этом направлении. Арестовывали, приговаривали к смерти и ссылали тех самых поляков, деятельность которых в будущем, когда немцы напали на СССР, была столь благословенна и плодотворна для Москвы, оказавшейся в смертельной опасности: ведь немецкой армии постоянно приходилось бороться в своем тылу с диверсиями, организованными польским подпольем. И вот эти солдаты негаснущей битвы за свободу заполняли советские тюрьмы с сентября 1939 года до начала войны СССР с Германией.

Следом за этими арестами шла принудительная высылка в глубь Советского Союза, насчитывающая сотни тысяч жертв. Высылке подлежали прежде всего семьи арестованных всех вышеперечисленных категорий, а затем широкий круг социально-активных слоев населения: чиновники, учителя, врачи, землевладельцы и купцы, войты, солтысы [1] и секретари гмин [2], работники кооперативов, пожарных команд и других профессиональных и общественных союзов. Высылались целые семьи: старики, взрослые и дети. Происходило это обычно так: однажды ночью — дата была известна лишь властям и держалась в тайне — мобилизовывался весь местный транспорт, всех подлежащих высылке в течение нескольких часов перевозили на станцию и загоняли в товарные вагоны, длинные ряды которых уже ждали на путях. В квартиры несчастных изгнанников врывалась полиция, предварительно заблокировав все выходы. Людей поднимали с постели и давали им полчаса на сборы, а потом грузили в машины. И начинался ад многонедельного пути в вагонах для скота, в тесноте, в грязи, без воды и пищи, в трескучие морозы или страшную жару. В пути этом гибли младенцы и старики, распространялись эпидемии, так что составы прибывали на место полупустые. А там, на месте, в азиатском климате, убийственном для европейцев, для ссыльных начинались каторжные работы, уносившие новые и новые жизни.

И наконец, последняя категория поляков, принужденных покинуть Родину и лишенных свободы,— мобилизованные в советскую армию. Как это произошло? А просто московское правительство, нарушая международное право, так же как и гитлеровская Германия, вероломно аннексировав польскую территорию на основании пакта Молотова — Риббентропа, провело на этой территории незаконную мобилизацию.

Я старался установить, каково было настоящее число польских граждан, вывезенных в 1939—1941 годах. Сделать это оказалось очень трудно. Я обращался к советским властям. В конце концов меня направили к генералу НКВД Федотову. Я беседовал с ним несколько раз. Под большим секретом он сообщил мне, что из Польши вывезено 475 000 поляков. Однако оказалось, что сюда не вошли ни схваченные на границе, ни солдаты, взятые в плен в 1939 году, ни арестованные по подозрению в политической деятельности, и, наконец, не были включены в это число ни украинцы, ни белорусы, ни литовцы, ни евреи, поскольку они как национальные меньшинства считались советскими гражданами. Долгие месяцы работы и сбора информации от наших людей, приходивших к нам из тысяч тюрем и концлагерей, разбросанных по всему Советскому Союзу, позволили нам установить цифру — 1 500 000. Ее подтвердила и информация, полученная нами позже из Польши. Увы, большая часть сосланных к тому времени уже погибла. Один только Бог знает, скольких убили, а сколько умерло в чудовищных условиях тюрем и лагерей.

Когда я приступил к созданию армии, со всех сторон Советского Союза потянулись к местам постоя первых наших частей бывшие узники и ссыльные. Им приходилось преодолевать тысячи километров, бороться

[1] Солтыс — сельский староста.

[2] Гмина — единица административно-территориального деления Польши до 1954 года.

с сопротивлением властей, ставящих различные препоны и не выполняющих условий договора. Пока мы находились на территории СССР, каждый день в наши части приходили люди — оборванные, истощенные, добравшиеся до нас буквально на последнем дыхании. За спиной у них были два года неволи и унижений, непосильной каторжной работы, смерть близких, и все это — за тысячи километров от родного дома, в атмосфере морального террора, который лишал их права на собственную национальность, религию, цивилизацию. Люди эти были уверены, что спаслись из ада, о существовании которого они, выросшие в цивилизованной стране, не имели понятия.

Но это были еще не все жертвы. Со временем до меня дошли чудовищные, но — увы — верные известия о судьбе тех польских политических заключенных и пленных, которых германо-российская война застала на польской территории и поблизости от линии фронта. Во многих населенных пунктах они были убиты перед уходом отступающих войск или их гнали пешком и пристреливали по дороге, поскольку не все могли выдержать стремительный переход — а марш иногда тянулся на сотни километров.

Колыма

О Колыме я услышал еще в тюрьме. И слышал потом не раз, хотя большевики на эту тему говорили неохотно. Отвечали коротко: с Колымы не возвращаются!

Лишь перед самым выходом польской армии из России прибыла группа, состоящая из 171 мужчины, которые только 8 июля 1942-го, почти через год после подписания договора, наконец-то были освобождены с Колымы. Эти люди действительно чудом вернулись к жизни. Почти все перенесли ампутацию пальцев рук и ног, тела их были покрыты язвами — последствие цинги. В страшных условиях так называемых исправительно-трудовых лагерей умирали миллионы людей, однако Колыма работала исключительно на уничтожение. Я лично разговаривал почти со всеми прибывшими оттуда, у меня есть 62 письменных свидетельства. Общее мнение было таково:

— Колыма — это смерть. Можно выдержать год, в лучшем случае — два. Конечно, можно выдержать и больше, если получишь работу среди лагерной администрации, но эти места почти всегда заняты уголовниками. Для остальных — мороз, доходящий до семидесяти градусов, цинга, голод, пуля или штык охранника.

— Но что такое эта Колыма?

— Колыма — это золото. Сколько там золота, никто не знает. Золото всюду, подо мхом, под камнями, золото на поверхности земли. Его добывают самыми примитивными методами, а потом тоннами вывозят самолетами на юг.

По их рассказам, заключенных на Колыму везут через Владивосток, а оттуда из порта Находка морем до Магадана. Это путешествие в трюмах, в самых чудовищных условиях, длится 14 дней. Поляки прибыли на Колыму еще в 1940 году, двумя этапами, каждый по нескольку тысяч человек. Известно, что в трюме корабля, который вышел из порта Находка 5 июля 1940 года, было около 5 000 человек. В 1941 году прибыло 2 600 человек, однако не всех высадили в Магадане, 1 500 отправили в порт Пестра Дресва. По самым осторожным подсчетам, в 1940—1941 годах на Колыме находилось около 10 000 польских граждан. Как и во многих других случаях, советские власти не выполнили условие — освободить всех поляков после заключения договора с польским правительством. Всего советские власти освободили с Колымы 583 человека. Первую группу освободили в сентябре или октябре 1941 года (150 человек), вторую — 31 декабря 1941 года (262 человека), третью, о которой я уже упоминал,— 8 июля 1942 года (171 человек). Сомневаюсь, чтобы хоть кто-нибудь из первых двух групп добрался до нашей армии, и мне кажется, что мы можем лишь помолиться за души всех остальных — из тех десяти тысяч, что были вывезены на Колыму.

Как я уже писал, меня неустанно тревожила судьба 15 000 офицеров и унтер-офицеров из лагерей военнопленных, которые как в воду канули и о которых советские власти не желали давать никакой информации. До нас доходили разные вести и слухи, но все были слишком расплывчаты, а возможности проверить у нас не было. Так вот, один из прибывших с Колымы, пан П. (фамилия мне известна, но я не привожу ее, поскольку семья его находится в Польше), рассказал следующее.

Осенью 1940 года он работал на строительстве дороги, на 64-м километре от главной трассы. Там он встретился с советской научно-исследовательской экспедицией, занятой поисками полезных ископаемых; члены этой экспедиции случайно провели ночь в одном с ним бараке. От них он узнал, что на строительстве линии Якутск — Колыма работает «много польских офицеров и генералов», режим там очень строгий и приблизиться к работающим практически невозможно.

Другой наш солдат пишет:

«На прииске «Комсомолец» (на Колыме) было около 5 000 заключенных, в том числе 436 поляков. От голода и истощения каждый день умирало 7—11 человек в забое, в зависимости от холода, потому что, когда морозы доходили до 68°, больше умирало от так называемого термического шока. Поляков вместе со мной осталось 46 человек, остальные умерли от истощения, голода и побоев. В марте 1941 года на прииск «Комсомолец» прибыл заключенный, бывший русский начальник НКВД северной Камчатки с полуострова Чукотка, где находятся оловянные рудники. Из разговора с ним я узнал, что в августе 1940 года на Чукотку пришло судно, которое привезло 3 000 поляков, главным образом военных и служащих полиции. Всех поляков, прибывших на Чукотку, загнали на оловянные рудники, причем их специально ставили в штреки, наиболее заполненные окисью олова. Из-за отравления ежедневно умирало около сорока человек. До моего отъезда 90 % поляков погибло. На их место в 1941 году привезли грузин и казахов. До моего отъезда с Колымы, то есть до 7 июля 1942 года, ни один поляк с Чукотки не вернулся».

Описание Колымы, условий труда и нечеловеческого обращения с заключенными потребовало бы отдельной книги. На Колыме

отказ от работы, даже из-за болезни или обморока, считался саботажем и карался немедленным расстрелом на месте; охранник был хозяином жизни и смерти. Повсеместная формула: «шаг вправо, шаг влево, шаг вперед, шаг назад» на Колыме слепо исполнялась. Условия жизни были так ужасны, что лишь 15 % могло выдержать более одной зимы. В принципе заключенных освобождают от работы при морозе ниже 51 градуса по Цельсию, однако на практике это не всегда применяется. Обуви нет почти ни у кого, ноги обматывают тряпками, найденными в мусорных ямах. Рабочий день длится двенадцать часов, но заключенные, не выполнившие нормы, как правило, остаются на следующую смену. Заключенные воспринимаются как временные рабочие на один сезон. Это принципиальное, сознательное и заведомое уничтожение людей.

Другой свидетель рассказывает о тех, кто стал инвалидом:

«Я видел один такой лагерь в Магадане. В нем были только инвалиды без рук и ног. Слепых я не видел. Все они стали калеками, отморозив конечности в шахтах. И они не ели свой хлеб даром, а зарабатывали его плетением корзин или шитьем мешков. Даже калеки без обеих рук перекатывали ногами огромные бревна. Другие, без ног, рубили дрова. Я видел и навсегда запомнил, как эти инвалиды ползли в баню пятерками».

Все наши люди, вернувшиеся оттуда, повторяли слова советских заключенных: в отдаленных районах Восточной Сибири (бассейн Лены и Енисея) находятся спецлагеря, отрезанные от всего мира. Туда якобы и перевозили инвалидов. От одного из наших заключенных, который видел эти составы в порте Находка, я услышал следующее:

«Кошмарное зрелище, свидетелем которого я был в лагере «Бухта Находка». Однажды на большом судне привезли около 7 000 калек из лагерей Колымы и Чукотки. 70 % без ног, причем без обеих ног, без рук, ушей, без носов, слепые и сумасшедшие. Год назад, а некоторые и менее года назад, они были отправлены в лагерь совершенно здоровыми людьми, а сегодня, чудовищно искалеченные, они либо ползут на животе, либо совсем не в состоянии двигаться самостоятельно. Почти все с политическими статьями. Вы думаете, их освободили? Нет. Они были бы компрометирующим свидетельством против режима. Мы часто разговаривали с этими беднягами. Ненависть перехватывает горло, когда я вспоминаю все это. Их не освободили, их везли на верную смерть в глубь Сибири, далеко на север от Иркутска. Я сам работал, готовя для них вагоны. Ушло шесть эшелонов».

Принцип — никто не должен вернуться с Колымы — строго соблюдается. Это касается даже охранников НКВД и чиновников. Конечно же, живут они в относительном комфорте и достатке, но никогда уже не увидят ничего, кроме Колымы.

Евреи в армии

Я оказался в весьма затруднительном положении, когда в армию стали поступать представители национальных меньшинств, прежде всего евреи. Как я уже говорил, определенная часть евреев радостно приветствовала советские войска, вступившие на польскую территорию в 1939 году. Поляки не могли забыть об этом, и мне пришлось сглаживать противоречия и усмирять конфликты. С другой стороны, ряд еврейских общественных деятелей хотели подчеркнуть особое положение евреев. По этому вопросу ко мне обращались два выдающихся еврейских общественных деятеля (представители польских евреев), Альтер и Эрлих. После долгих переговоров они признали, что проект их нереален, потому что тогда я был бы обязан создать также и украинские, и белорусские части. А я отстаивал такой подход: мы возрождаем польскую армию, все граждане, независимо от национальности и вероисповедания, имеют право вступить в нее. В конце концов я их убедил. Вот фрагмент официального заявления, направленного в польское посольство в Куйбышеве от 31 октября 1941 года, подписанного Альтером и Эрлихом:

«1) Мы абсолютно разделяем принцип, подробно обоснованный генералом Андерсом, а вкратце сводящийся к тому, что польская армия должна формироваться как цельная организация на основе равноправного отношения ко всем польским гражданам, независимо от национальности и вероисповедания, а первейшей задачей этой армии является вооруженная борьба за свободную, демократическую Польшу, общее Отечество всех ее граждан. Мы с удовлетворением приняли заявление генерала Андерса о том, что он отдал приказ о преследовании на территории польской армии в СССР за разжигание национальной розни в любой форме, в том числе и проявлений антисемитизма, и намерен со всей энергией придерживаться вышеуказанного постановления...»

Альтер и Эрлих, социалисты и еврейские патриоты, полярно отличались от советских тоталитаристов. Поэтому большевики их ненавидели и, видимо опасаясь их бегства за кордон, расстреляли. Может быть, Альтер и Эрлих неосторожно обнаружили свое желание выехать в США.

Я уже упоминал о том, что встречался в тюрьме с большим количеством евреев, несомненных коммунистов. Все они сидели по обвинению в принадлежности к оппозиции или прямо в троцкизме. Оказавшись на свободе, я убедился по различным рассказам и даже просто по анекдотам, как сильно антисемитизм укоренился в советской России. Грузин Сталин манипулировал антисемитскими настроениями не хуже, чем это делал немец Плеве при царе, а может, и лучше. Впрочем, проявления антисемитизма не новость в большевистской политике. Ведь еще на съезде РСДРП в Лондоне в 1907 году, когда еврейский Бунд поддержал меньшевиков и выступил таким образом против большевиков, Ленин заметил: «Нам не надо в партии еврейского засилья». Эти слова облетели весь мир. Их прежде всего запомнил Сталин, развил ленинский принцип и применил весьма широко. Об этом пишет Троцкий в книге «Сталин» (с. 152). А Троцкий-Бронштейн был наверняка хорошим специалистом в этом вопросе. Вспоминает он и об антисемитских карикатурах и

стишках (с. 399), которые появлялись в партийной прессе. Наконец дошло до того, что Сталин заявил: «Я борюсь с Троцким, Зиновьевым и Каменевым не потому, что они евреи, а потому, что они оппозиционеры». Это двусмысленное заявление было направлено против «перегибов» в антисемитизме и одновременно звучало предостерегающе: не забывайте, что руководители оппозиции — евреи. Троцкий считает, что это заявление развязало руки антисемитам. В то же время советская Россия, благодаря ловкой пропаганде, особенно в самом начале войны с Германией, не только умела выглядеть государством, где нет антисемитизма, но еще и другие страны обвиняла в антисемитизме. Формально уголовный кодекс определяет антисемитизм как преступление, но в действительности массы настроены антисемитски, так что когда немцы заняли Киев, а румыны — Одессу, после 23 лет советского воспитания местное население устроило страшные погромы. Есть сведения, что в одном только Киеве было убито 80 000 человек, но об этом мало упоминалось в мировой прессе, как, впрочем, и обо всем, что могло рассердить Сталина.

Светская жизнь в Куйбышеве

Около 20 октября 1941 года из Москвы в Куйбышев переехало вместе с другими дипломатическими представительствами польское посольство, возглавляемое профессором Котом. Я постепенно перестал доверять ему. Это был человек фальшивый до мозга костей и в то же время слащаво-любезный с теми, кто мог быть ему полезен, грубый и равнодушный по отношению ко всем остальным. Его терпеть не могли военные и не слишком любили работники посольства. Он не умел не только завязывать какие-либо отношения с советскими властями, но даже и поддерживать формальные беседы.

Я помню, как в день праздника советской армии, который отмечался в Куйбышеве, после торжественного заседания и представления в театре, советские власти дали прием для дипломатического корпуса. На приеме был также заместитель комиссара НКВД Меркулов, который одновременно занимал должность шефа НКГБ, человек, ненавидимый всеми. Когда я стоял рядом с ним у буфета и разговаривал, послышался голос профессора Кота:

— Господин генерал, представьте меня господину министру.

Меркулов говорил по-польски. Профессор Кот поспешил с неуместным комплиментом:

— Господин министр, для меня большая честь познакомиться с вами, так много я слышал о вас от наших людей.

Меркулов знал, что́ могли говорить наши люди. Они могли только проклинать его, как проклинала вся Россия. Он повернулся спиной к профессору Коту, вообще ничего не ответив на его слова.

Советское правительство на основании декрета от 8 сентября 1941 года постановило вывезти в Сибирь около 300 000 немцев — советских граждан, проживавших в так называемой автономной республике немцев Поволжья. Осенью 1941 года в этот район был сброшен батальон парашютистов НКВД в немецкой форме. Когда немцы проявили некую симпатию к «немецким солдатам», энкаведешники начали резню. Немецкая республика играла немалую роль в экономике СССР: на ее территории находились крупнейшие фабрики мясных консервов. Немецкие поселения были самыми зажиточными и отличались относительно комфортабельными постройками. Я поехал в Саратов, чтобы на месте посмотреть, нельзя ли получить согласие властей на размещение там польских граждан, освобожденных из тюрем и концлагерей. Я вел переговоры с комиссией, во главе которой стоял генерал НКВД Серов. Подавались, конечно, определенные надежды, но, как всегда, заслонялись объяснением, что все решает Москва. Кстати говоря, Серов как-то заявил:

— У меня в жизни только одна мечта: допросить Гитлера и Геринга.

Конечно, все знали, что следует понимать под словом «допросить». А присутствовавший при этом генерал Жуков добавил:

— А я бы хотел побыть, хотя бы день-два, начальником тыловой службы в Берлине.

В Куйбышеве я нанес визит Калинину, который имел официальный титул Председателя Президиума Верховного Совета, то есть, по европейским понятиям, являлся президентом Советского Союза. Это был старый, больной человек, не игравший никакой государственной роли. Говорил он фразами, заимствованными из советских газет. Конечно, через каждые три слова повторялось: Сталин, Германия, фашисты. Говоря о Польше, он отважно заметил, что поляки — очень мужественные солдаты.

Так вот, этот хилый старик был во всемогущем Политбюро единственным среди так называемых представителей пролетариата представителем крестьянства, то есть представлял более чем 65 % населения. После этого визита я не удивлялся, что мало кто в мире слышал о Калинине, президенте Советского Союза.

Генерал Сикорский в России

В ноябре 1941 года я узнал о намечающемся приезде генерала Сикорского. Он хотел, прежде чем отправляться в Москву, выяснить, как Сталин относится к польской проблеме. С этой же целью в середине ноября 1941 года состоялась беседа посла Кота со Сталиным. Сталин в принципе согласился с польскими требованиями, отложив, однако, их окончательное удовлетворение до непосредственной встречи с генералом Сикорским.

Требования наши были следующие:

1) немедленное — в соответствии с заключенным договором — освобождение все еще остающихся в тюрьмах и лагерях поляков;

2) мобилизация в польскую армию всех поляков, включая и тех, что были мобилизованы в Красную Армию;

3) перевод армии в район, где было бы возможно ее вооружение и снабжение Великобританией;

4) эвакуация 15 000 — 20 000 солдат.

Вернувшись из Кремля, профессор Кот торжествовал. Я не верил в неопределенные советские обещания.

Меня уведомили, что генерал Сикорский едет в Египет, чтобы там навестить воюющую карпатскую бригаду, после чего прибудет в Россию. Я отправился в Тегеран советским самолетом в сопровождении шефа военной миссии генерала Богуш-Шишко.

Встреча наша была очень сердечной. В последний раз мы виделись в Варшаве за несколько месяцев до войны.

После двухнедельного пребывания в Иране мы вылетели в Куйбышев. Советские власти торжественно приветствовали генерала Сикорского на аэродроме, украшенном польскими и советскими государственными флагами. Почетный караул советских войск исполнил гимны обоих государств.

Генерал Сикорский пробыл два дня в посольстве у профессора Кота и постоянно с ним совещался. Как непохоже было на сердечную встречу в Тегеране такое заявление:

— Генерал, кое-кто считает вас моим конкурентом. Скажите, вы — мой человек? Ваши люди — мои люди?

Я ответил, что все мы — люди Польши, и если ставить вопрос именно так, то на нас можно полностью положиться.

Далее генерал Сикорский отметил, что условия, в которых я работаю, дают мне слишком большую самостоятельность, что формирующаяся армия полностью мне подчиняется, и это вызывает у него опасение, как бы я не перерос его. Впрочем, говорил он это без явной враждебности.

Я спросил, доверяет ли он мне, потому что в противном случае я не могу принять на себя ответственность за организацию армии в столь тяжелых и сложных условиях.

Тогда генерал Сикорский сменил тон — оказалось, что яд профессора Кота действует недолго,— и заявил, что доверяет мне абсолютно. Он подчеркнул, что в армии его должны принимать с соответствующими почестями — видимо, и тут профессор Кот посеял в нем сомнения,— на что я ответил, что он будет принят как подобает Верховному Главнокомандующему. Он попросил — как бы мимоходом указывая источник,— чтобы я облегчил работу профессору Коту и жил бы с ним в согласии.

Далее генерал Сикорский заговорил о польско-советском договоре, выражая веру в лояльность Сталина и советского правительства, но желая, видимо, услышать и мое мнение по этому щекотливому вопросу. Я старался убедить его, что следует быть предельно осторожным и недоверчивым, ведь это те самые люди, которые заключили пакт с Германией и вонзили нож в спину Польши, и приводил множество фактов преднамеренного уничтожения поляков в 1939-м, 1940-м и 1941 годах, а также после начала войны с Германией. Я доказывал, что так называемая амнистия не выполняется, как следует по договору, поскольку сотни тысяч людей гниют и умирают в лагерях и тюрьмах, что у нас нет никакой информации о пропавших офицерах и что все это очень подозрительно. Мы постоянно наталкиваемся на всякие препоны в организации армии. Несмотря на наши протесты, целые эшелоны с людьми не доходят до армии, но, под предлогом нехватки мест для размещения высылаются советскими властями в южном направлении без точного указания места назначения. Слушал он внимательно, но я не знаю, насколько мне удалось убедить его.

В день приезда генерала Сикорского в Куйбышев нам удалось выпустить первый номер еженедельника «Белый Орел»; там был помещен приказ, в котором я приветствовал генерала Сикорского, согласно надеждам и чувствам каждого нашего солдата, как Верховного Главнокомандующего.

Переговоры: Сикорский — Сталин

2 декабря мы полетели в Москву. Я проинформировал генерала Сикорского о тяжелых условиях, в которых находится армия, о плохом питании и о требовании советских властей уменьшить численность армии до 30 000, что означало бы голодную смерть для остальных. Тогда я впервые высказал идею перевода армии и беженцев на Ближний Восток. Генерал Сикорский сначала отверг ее, но потом вернулся к ней в разговоре со Сталиным. Прием на аэродроме в Москве был подобен приему в Куйбышеве.

Беседа со Сталиным состоялась 3 декабря 1941 года. Присутствовали: генерал Сикорский, председатель Совета Народных Комиссаров СССР Сталин, посол профессор Кот, комиссар иностранных дел Молотов, командующий польской армией в СССР генерал Андерс, а также секретарь Молотова в качестве переводчика. На самом деле роль переводчика выполнял я, ведя протокол вместе с послом Котом. Ход беседы привожу согласно этому протоколу, просмотренному генералом Сикорским, поскольку советского протокола мы — несмотря на все наши старания — так и не получили.

СИКОРСКИЙ: Я безмерно рад, что могу приветствовать одного из настоящих творцов современной истории и руководителя героической русской армии. Как солдат я выражаю восхищение мужественной обороной Москвы, которой вы лично столь эффективно руководили, находясь в столице. В то же время я благодарю господина президента за необычайное гостеприимство, которое чувствую с первых минут пребывания на советской земле.

СТАЛИН: Благодарю господина премьера за добрые слова и рад видеть вас в Москве.

СИКОРСКИЙ: Начну с того, что я никогда не поддерживал политики, проводимой против советской России в двадцатые годы. Поэтому я имел моральное право подписать договор, способный претворить в жизнь идеи, которые я издавна провозглашал. Больше того, в этом важном для будущего деле меня поддерживает польский народ, как на Родине, так и за границей: в Америке, где проживает 4,5 миллиона поляков, в Канаде, Франции, где их 600 000, а также и в других странах. Мои давние политические противники и сейчас мешают мне. Мне не хотелось бы, чтобы промедление в реализации договора ослабило политику сближения и сотрудничества между нашими государствами. От полного и реального проведения в жизнь всех его пунктов зави-

сит — осуществится ли крутой поворот в наших отношениях. Это зависит от вас, поскольку ваше слово в этой стране — решающее. Поэтому следует тщательно исполнять условия нашего договора, чтобы стала невозможной любая дискриминация поляков в вашей стране. Я прекрасно понимаю сложное положение, в котором сейчас находится Россия. Четыре пятых всех вооруженных сил германского рейха навалилось на вас. Понимая это, я выступаю адвокатом вашего дела в Лондоне и Соединенных Штатах. Уже несколько месяцев тому назад я подал соответствующие документы, доказывающие необходимость создания второго фронта на западе.

СТАЛИН: Благодарю господина премьера. Это правильно и хорошо.

СИКОРСКИЙ: Но это нелегкая задача. Существуют большие транспортные трудности. Переправить через канал Ла-Манш большое количество войск, занять и закрепить определенные позиции на континенте — дело непростое. Подобные операции следует подготавливать весьма старательно, тщательно и основательно, тут нельзя нажимать, чтобы не повторился второй Дакар.

МОЛОТОВ: Правильно. Если подобная операция не удастся, моральные потери будут очень велики.

СИКОРСКИЙ: Однако возвращаюсь к сущности вопроса. Я заявляю вам, господин президент, что ваше распоряжение об амнистии не выполняется. Большое количество наших людей, причем наиболее ценных для армии, находится еще в лагерях и тюрьмах.

СТАЛИН (записывает): Это невозможно, поскольку амнистия касалась всех и все поляки освобождены. (Последние слова адресованы Молотову. Молотов поддакивает.)

АНДЕРС (уточняет детали по желанию генерала Сикорского): Это не соответствует действительному положению вещей, поскольку у нас есть абсолютно точные данные, что в лагерях освобождали сначала евреев, затем украинцев, а потом, наконец, наиболее физически слабых поляков. Сильных задерживали, освобождая лишь немногих из них. У меня в армии есть люди, вышедшие из таких лагерей несколько недель назад, и они утверждают, что в некоторых лагерях остаются еще сотни и даже тысячи наших соотечественников. Приказы правительства там не исполняются, поскольку коменданты отдельных лагерей не желают лишаться лучшей рабочей силы, без которой выполнение производственного плана стало бы невозможным.

(Молотов улыбается, кивая головой.)

АНДЕРС: Люди эти совершенно не понимают всего значения нашего общего дела, которое таким образом несет большие потери.

СТАЛИН: Этих людей следует отдавать под суд.

АНДЕРС: Так точно.

СИКОРСКИЙ: Не наше дело предоставлять советскому правительству точные списки наших людей, полные списки есть у комендантов лагерей. У меня с собой список, где значится около 4 000 офицеров, вывезенных насильно и находящихся в данный момент в тюрьмах и лагерях, и даже этот список неполон, потому что содержит лишь те фамилии, которые названы по памяти. Я поручил проверить, нет ли их в Польше, с которой у нас постоянная связь. Оказалось, что там нет ни одного из них; так же, как и в лагерях военнопленных в Германии. Эти люди находятся здесь. Ни один из них не вернулся.

СТАЛИН: Это невозможно. Они убежали.

АНДЕРС: Куда они могли убежать?

СТАЛИН: Ну, в Маньчжурию.

АНДЕРС: Невозможно, чтобы все смогли убежать, тем более что с момента отправки их из лагерей военнопленных в исправительно-трудовые лагеря и тюрьмы полностью прекратилась их переписка с семьями. Я совершенно точно знаю от тех, кто вернулся с Колымы, что там находится много наших офицеров, известны даже их фамилии. Я знаю, что эшелоны с поляками, готовыми к освобождению и отправке, в последнюю минуту оказались задержанными. У меня есть информация, что наши люди находятся даже на Новой Земле. Большую часть офицеров, перечисленных в этом списке, я знаю лично. Среди них — мои офицеры штаба и командиры частей. Люди эти погибают в страшных условиях.

СТАЛИН: Наверняка их уже освободили, просто они еще не прибыли.

СИКОРСКИЙ: Россия велика, и трудности тоже велики. Может быть, местные власти не исполнили приказов. Те, что прибыли, освобожденные, рассказывают, что оставшиеся влачат жалкое существование. Если бы кто-нибудь из них оказался за границами России, то непременно дал бы мне знать.

СТАЛИН: Знайте, что у советского правительства нет никаких причин задерживать хотя бы одного поляка; я выпустил даже агентов Сосновского, которые устраивали нападения на нас и убивали наших людей.

АНДЕРС: Однако у меня есть информация от верных людей с названиями тюрем и номерами камер, в которых содержатся поляки. Я знаю много лагерей, в которых задерживается большое количество поляков, и они принуждены продолжать работать.

МОЛОТОВ: Мы задержали только тех, которые после начала войны совершили преступления, организовывали диверсии, устанавливали рации и т. д. Этих вы наверняка не будете отстаивать.

КОТ: Конечно нет, но я уже неоднократно просил, чтобы нам предоставили списки этих людей, поскольку очень часто такие обвинения выдвигаются против тех, кого я знаю как горячих патриотов и которые абсолютно невиновны.

(Молотов кивает головой.)

СИКОРСКИЙ: Не будем касаться времен войны. Сейчас хорошо было бы, чтобы господин президент сделал официальное заявление по этому вопросу с целью принципиальной перемены отношения к полякам в советской России. Это же не туристы, но люди, силой вывезенные из своих родных городов, из своих домов. Они тут оказались не по своей воле, их сослали, они прошли через чудовищные страдания.

СТАЛИН: Население Советского Союза хорошо относится к полякам. Ошибки совершают только служащие.

АНДЕРС: Речь идет не только о служащих, которые плохо исполняли приказы, но и о том, чтобы русский народ понял, что формирование польской армии не представляет

для него никакой опасности. Нам особенно важны хорошие отношения с населением.

СИКОРСКИЙ: Я видел в Куйбышеве эшелон с нашими людьми, он произвел на меня ужасное впечатление. Им следует немедленно помочь. Я делю поляков, находящихся в СССР, на две категории: способных работать — и они должны получить работу в возможно хороших условиях...

СТАЛИН: В таких же условиях, как и советские граждане...

СИКОРСКИЙ: Об этом и речи не идет, не в таких же, но хотя бы в сносных условиях. Ведь это в наших общих интересах — как можно полнее использовать их в военных целях. Господин президент, конечно же, понимает, что неправильно использовать специалиста по строительству танков на лесоповале или отправлять выдающегося химика на работу в сельском хозяйстве. Вторая категория наших граждан — это неспособные к труду, старики, женщины и дети, которые должны быть собраны в местностях с соответствующим климатом и условиями, чтобы посольство могло ими заняться. Из трудовых лагерей все должны быть выпущены немедленно, а оставлены лишь те, что живут в ссылке в сносных условиях. Нескоординированные переброски людей туда и обратно лишь возбуждают плохие настроения, потому что происходят в очень тяжелых условиях, и в результате окажется, что мы своим договором с вами причинили этим людям одно зло. Люди умирают, не вынеся плохих условий. Эти жертвы серьезно отягчат наши будущие отношения. Людям этим надо помочь, и не стоит торговаться из-за нескольких миллионов рублей, ведь во время войны это — ничтожная сумма. Финансовая помощь польскому правительству должна быть оказана в большом масштабе. И совершенно необходимо, чтобы представители польского посольства были допущены во все места скопления поляков и имели не только формальные, но и реальные права. Так, например, наш представитель в Архангельске не в состоянии помочь людям, и его работа ограничивается лишь отправкой эшелонов. Он даже не может раздать польскому населению теплой одежды. Мне также важно, чтобы представительство польского посольства начало работать во Владивостоке, поскольку американские поляки собрали много вещей для поляков в России, но согласны переслать их лишь представителям польского посольства.

СТАЛИН: Согласен на представителей также и во Владивостоке.

МОЛОТОВ: Я думаю, вряд ли в лагерях еще остаются ваши люди.

АНДЕРС: Однако я со всей ответственностью заявляю, что это так, повторяю, задерживают самых сильных, потому что нуждаются в рабочей силе. И таким образом вредят нашему общему делу.

СТАЛИН: Это будет сделано. Исполнительные органы получат специальные указания, однако надо понять, что мы ведем войну.

СИКОРСКИЙ: И хорошо ее ведете.

СТАЛИН: Ну, нет, средне. Транспорт наш был страшно перегружен. Мы вывозили раненых, эвакуировали население, мы переместили 70 крупных заводов. Поляки должны понять огромные трудности, какие у нас были. Но дела пойдут лучше.

СИКОРСКИЙ: Польское население следует разместить в местностях с более приемлемым климатом.

СТАЛИН: Об этом следует подумать. В Фергане и Узбекистане хлеб привозной, потому что там мы разводим хлопок, есть даже постановление, запрещающее там выращивать зерновые. С этой точки зрения это не очень удобные территории. Пожалуй, южные районы Семипалатинской области больше бы подошли. Впрочем, мы можем посмотреть, как это выглядит на карте. (Все встают и подходят к карте, Сталин показывает на карте.) Значит, Ташкент, Алма-Ата и весь Южный Казахстан.

КОТ: Для тех, кто сейчас находится на Дальнем Востоке, может быть, удобнее были бы территории около Барнаула и Новосибирска.

СТАЛИН: Там холодно, но хлеба много.

КОТ: Но куда посылать тех, кто в Архангельской области и в Коми?

СТАЛИН: Тоже в Южный Казахстан. (Садятся к столу.)

СИКОРСКИЙ: Что касается займа, то я считаю, что 100 миллионов рублей устроили бы нас на достаточно долгое время, и вам не пришлось бы слышать упреки, что вы чините препятствия по пустякам.

МОЛОТОВ: Но ведь мы уже дали 65 миллионов.

КОТ: Но это на армию.

СИКОРСКИЙ: Гитлер научил всех, как без золота, одной только работой можно добиваться великих целей. Господин комиссар, не подражайте западным министрам финансов, которые сначала спорили из-за каждого миллиона.

СТАЛИН (соглашаясь): Хорошо.

СИКОРСКИЙ: Это все, что я хотел сказать о польском гражданском населении. Теперь затрону военные дела. Должен ли я сразу говорить о проблеме в целом, или будем обсуждать отдельные вопросы по очереди?

СТАЛИН: Как хотите, господин генерал.

СИКОРСКИЙ: Мы, поляки, понимаем войну не как символ, а как настоящую борьбу.

(Сталин кивает, соглашаясь.)

АНДЕРС: Мы хотим воевать на континенте за независимость Польши.

СИКОРСКИЙ: В Польше мы имеем сильную военную организацию, строго законспирированную, потому что там расстреливают за каждое слово. (Сталин кивает. Генерал Сикорский информирует о методах борьбы польского народа с немцами.) Наши войска сражаются всюду. В Великобритании мы имеем корпус, который нуждается в пополнении. У нас есть военный флот, который действует великолепно. У нас 17 авиационных эскадрилий, которые получают новейшие английские самолеты и храбро воюют. 20 % потерь немецкой авиации над Англией — это заслуга польских пилотов.

СТАЛИН: Я знаю, что поляки отважны.

СИКОРСКИЙ: Когда ими хорошо руководят. Благодаря Богу, ну и господину президенту, здесь находится генерал Андерс, мой лучший солдат, его восемь звездочек, означающих ранения, свидетельствуют о его отваге. Вы посадили его в тюрьму за то, что он хотел соединиться со мной. Это лояльный военачальник, не политик, который и

своим подчиненным не позволит проводить никакой политики.

СТАЛИН: Лучшая политика — это хорошо воевать. (Обращается к генералу Андерсу.) Сколько вы сидели в тюрьме?

АНДЕРС: 20 месяцев.

СТАЛИН: А как с Вами обходились?

АНДЕРС: Во Львове исключительно плохо. В Москве немного лучше. Но господин президент сам понимает, что значит «лучше» в тюрьме, если просидеть 20 месяцев.

СТАЛИН: Ну, ничего не поделаешь, такие были условия.

СИКОРСКИЙ: У меня одна бригада в Тобруке, она будет переведена в Сирию и реорганизована в дивизию моторизованной пехоты с двумя батальонами танков. Если будет такая необходимость, можно будет перебросить ее сюда, на восток. У нас есть несколько военных кораблей. Когда я вручил награды морякам нашей подводной лодки на Мальте, потопившей итальянский крейсер и еще одно транспортное судно, экипаж так воодушевился, что потом лодка вошла в греческий порт и, несмотря на поврежденный перископ, потопила еще один крейсер и одно греческое транспортное судно. Вернулись без всяких потерь. Так будет биться польский солдат всюду, если им хорошо командовать. Страна наша оккупирована, и единственный резерв нашей молодежи мы имеем здесь. Я хочу послать для пополнения в Шотландию и Египет всего 25 000, из остальных следует сформировать около 7 дивизий. Это безмерно важно для Отчизны, которая смотрит на армию как на символ сопротивления и независимости. Мы хотим драться, поэтому войска в Шотландии будут использованы как авангард для открытия второго фронта или же переброшены сюда, на восток. В этом случае я лично принял бы командование. Нынешние трудности с питанием, снаряжением и обучением весьма тревожат меня, боюсь, что части, формируемые в подобных условиях, будут ни на что не годны. Вместо того чтобы посвятить свои силы и жизнь общему делу, люди влачат жалкое существование или бесцельно гибнут. Война будет долгая. Великобритания и Соединенные Штаты излишне разоружились, а их военной промышленности, особенно американской, потребуется много времени, чтобы достичь необходимого уровня. Однако уже сейчас Рузвельт и Черчилль уверяют меня, что смогут вооружить наши дивизии одновременно с вашими, причем это никак не повлияет на поставки для вас, при одном, впрочем, условии: если формирование нашей армии будет происходить на территории, куда можно без особого труда доставлять английское оружие и продовольствие. Нынешнее состояние вооружения наших дивизий абсолютно неудовлетворительно. Они не готовы к бою, поскольку не получили всего необходимого снаряжения. Генерал Андерс объяснит вам подробно.

(Андерс подробно характеризует состояние полученного вооружения и общие проблемы снабжения польской армии, подчеркивая непреодолимые трудности, с которыми приходится сталкиваться ежедневно.)

СТАЛИН (спрашивает о некоторых деталях артиллерийского вооружения): Россия начала войну с дивизиями по 15 000 человек, которые, однако, на практике оказались не слишком маневренными, вследствие чего мы перешли на тип облегченной дивизии в составе около 11 000 человек.

СИКОРСКИЙ: Условия, в которых сейчас формируется польская армия, совершенно никуда не годятся. Солдаты мерзнут в летних палатках, страдают от нехватки питания и прямо-таки приговорены к медленной гибели. Поэтому я предлагаю вывод всей армии и всего людского резерва, способного к несению военной службы, например, в Иран, где климат, а также несомненно обеспеченная нам американо-английская помощь, возможно, дадут людям за короткое время прийти в себя, и мы сформируем сильную армию. Армия эта затем вернется сюда на фронт, чтобы занять на нем свое место. Это согласовано с Черчиллем. Со своей стороны, я готов официально заявить, что армия вернется на русский фронт и что она может быть усилена несколькими британскими дивизиями.

АНДЕРС (продолжает сообщение о нынешнем положении формируемой армии и доказывает, что при таком питании, медицинском обслуживании и размещении в условиях тяжелого климата организация частей, способных вести боевые действия, совершенно невозможна): Это жалкое существование, при котором все усилия людей направлены только на то, чтобы просто выжить. Ведь речь идет прежде всего о том, чтобы польская армия как можно скорее была готова к бою и могла бы сражаться за Польшу вместе с союзниками, что в нынешних условиях абсолютно невозможно. Поэтому совершенно необходим перевод армии в условия такого климата, питания и снабжения, которые позволили бы двинуться всему делу вперед. Ввиду трудностей, перед лицом которых стоит Россия, следует принять во внимание возможность англо-американских поставок. Наиболее подходящая территория — это Иран. Весь личный состав армии и все мужчины, способные нести воинскую службу, должны быть переведены туда. Когда мы примем участие в боях, наша армия не должна быть лишь символом, но служить цели, во имя которой мы воюем во всем мире, цель эта — борьба за Польшу.

СИКОРСКИЙ: Я хотел бы, чтобы советское правительство с доверием отнеслось к моим словам. Если я говорю «да» — то это означает «да», если говорю «нет» — то это значит «нет», а если я не говорю ничего, то или не могу, или не хочу сказать правду.

СТАЛИН (тоном раздраженным и явно недовольным): Я человек опытный и старый. Я знаю, что если вы выйдете в Иран, то сюда уже не вернетесь. Вижу, у Англии полно работы, и она нуждается в польских солдатах.

СИКОРСКИЙ: Мы с Великобританией связаны военным союзом, она свои обязанности выполняет честно. Кроме того, в Великобритании мы имеем настоящую самостоятельность. Я могу перебросить сюда корпус из Шотландии, и Англия наверняка не будет мне чинить никаких препятствий. Точно так же я могу перевести сюда части из Тобрука.

КОТ: Поляки особенно хорошо воюют, когда они близки к своей Родине.

СТАЛИН: Правда, Иран не так уж далеко, но англичане могут заставить вас воевать с немцами на территории Турции, а завтра в войну может вступить Япония.

АНДЕРС: Мы хотим воевать за Польшу. Мы верим, что даже самые сильные авиация и военный флот не решат исхода войны. Его решат сражения на континенте. Мы все без исключения любим свою Отчизну и хотим войти в нее первыми, хотим как можно скорее отправиться в бой, но в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, армия наша никогда не достигнет необходимой боеспособности.

СИКОРСКИЙ: Англия сегодня и Англия раньше — это небо и земля. У англичан сейчас достаточно войск для обороны своих островов, так что у них нет никаких причин задерживать наш корпус.

(Молотов предлагает вызвать генерала Панфилова и отдает соответствующие распоряжения секретарю.)

АНДЕРС (объясняет трудности формирования и условий жизни в Колтубанке, Татищеве и Тоцком, нерегулярность поставок продовольствия, фуража, снаряжения, боеприпасов и т. д.): Это лишь жалкое существование и зря потерянное время. Формирование армии в этих условиях абсолютно невозможно.

СТАЛИН (раздраженный): Если поляки не хотят воевать, пусть уходят. Мы их держать не станем. Если хотят, пусть уходят.

СИКОРСКИЙ: Если бы могли сформировать армию, мы бы уже сражались, но сколько же времени потеряно не по нашей вине. В нынешних районах размещения мы все еще не имеем никаких условий для обучения солдат. (Минута молчания.) В таком случае прошу как-то иначе решить этот вопрос.

СТАЛИН: Если поляки не хотят воевать, пусть прямо скажут: да или нет. Мне 62 года, и я знаю: где армия формируется, там она и остается.

СИКОРСКИЙ (более резким тоном): В таком случае, прошу указать мне другое решение, потому что здесь нет условий для организации нашей армии, а я не хочу, чтобы люди гибли понапрасну. Я не ставлю ультиматумов, но когда впереди — суровая зима, ветра и морозы, от которых гибнут люди, то я не могу смотреть на это и молчать.

АНДЕРС: Морозы уже доходили до 33°. Люди живут в палатках, большей частью без печек, нам их доставляют слишком мало. Утром просыпаются с отмороженными носами и ушами. Это не формирование армейских частей, а жалкое существование.

СИКОРСКИЙ: Необученных солдат нельзя бросать в бои с немцами. Это была бы непростительная компрометация армии. Польская армия должна быть хорошо вооружена и воевать как целостное соединение.

АНДЕРС: Мы затем и формируемся, чтобы сражаться, причем я имею в виду именно бои на континенте. По моим расчетам, я могу иметь 150 000 солдат, то есть 8 дивизий. А тем временем у меня всего две дивизии, этим все и ограничивается. Мы не получаем необходимого продовольствия, а обещания не выполняются.

СТАЛИН (генералу Сикорскому): Как вам угодно.

СИКОРСКИЙ: Я не хочу так ставить вопрос. Я все еще жду новых предложений, и согласен на любое приемлемое решение.

СТАЛИН (с оттенком иронии): Я вижу, что англичане нуждаются в хорошей армии.

СИКОРСКИЙ: Оценка эта не точна. В Англии нас ценят, но не эксплуатируют. Я хорошо знаю Черчилля и знаю, что он хочет сделать все, чтобы помочь России.

АНДЕРС: У меня 60 % резервистов, эти люди после двух лет должны прийти в себя и пройти переподготовку. Добровольцы тоже пребывают в тяжелом состоянии и должны пройти обучение, а для этого необходимо время и соответствующие условия.

СТАЛИН (раздраженный): Это значит, что мы дикари и ничего уже не можем исправить. Выходит, что русский может только душить поляка, но сделать для него ничего не способен. Но обойдемся и без вас. Можем всех отдать. Сами справимся. Освободим Польшу и тогда отдадим вам ее. Но что на это люди скажут? Весь мир насмешим тем, что не можем договориться об этом.

СИКОРСКИЙ: Я не получил ответа — где я должен создавать армию, чтобы она могла принять участие в войне, а не гибнуть в страшных климатических условиях. Прошу конкретных предложений. Еще раз категорически заявляю, что мы хотим биться за Польшу плечом к плечу с вами.

СТАЛИН: Если вы пойдете в Иран, вам придется воевать в Турции против немцев; если завтра в войну вступит Япония, тогда против Японии. Как прикажут англичане. Может быть, в Сингапуре.

АНДЕРС: Мы хотим воевать на континенте против немцев за Польшу. Наши люди давно не видели своей Отчизны, а никто не любит свою Родину так, как поляки. Отсюда нам ближе всего до Польши.

СИКОРСКИЙ: Патриотизм поляков не нуждается в доказательствах. Я вынужден признать, что до сих пор не вижу никаких альтернативных предложений.

СТАЛИН: Если вы так уж хотите, один корпус, 2—3 дивизии могут уйти. А если хотите, могу дать место и средства на формирование 7 дивизий. И все-таки я вижу, что англичане нуждаются в польских солдатах. Ведь и Гарриман, и Черчилль согласились на эвакуацию польской армии.

СИКОРСКИЙ: Не так плохи дела англичан, чтобы польская армия, которая здесь формируется, могла бы решить их судьбу. Они медлительны, но уже сегодня представляют собой большую силу. Это я сам потребовал от Черчилля выступления по вопросу эвакуации нашей армии. Однако я засвидетельствую свою добрую волю: я готов оставить армию в России, если вы выделите удобный район для концентрации польских сил и гарантируете снабжение и размещение, создав условия, необходимые для обучения армии.

МОЛОТОВ: Панфилов готов. Вы не имеете ничего против присутствия генерала Панфилова? (Все выражают согласие. Через минуту входит генерал Панфилов, заместитель начальника генштаба).

(Далее идет разговор между Сталиным, генералом Андерсом и генералом Панфиловым об условиях создания польской армии.)

АНДЕРС: Я категорически утверждаю, что мы не получаем полагающегося нам продо-

вольствия и фуража для лошадей. Дивизии не получили ни всех обещанных продуктов питания, ни столь необходимого снаряжения, как печки для палаток. С тех пор как мне обещали прислать трактора, прошло уже несколько месяцев, а они все еще не пришли. Все наши просьбы остаются без ответа, а обещания советских военных властей не выполняются. У меня в частях сыпной тиф, а я не могу допроситься санитарного поезда. Солдаты уже несколько месяцев не получают мыла, строительных инструментов, досок, гвоздей, совершенно не видят овощей. Многих дополнительных продуктов питания нам вообще не доставляют. Транспортных средств катастрофически не хватает, а те, что есть, в очень плохом состоянии. Пару недель назад количество пайков вдруг уменьшили с 44 000 до 30 000 и, несмотря на то, что президент Сталин обещал нашему послу вернуть прежнее количество пайков — 44 000, до сих пор это не сделано. На 1 декабря весь лагерь в Тоцком вообще не получил продовольствия. (Перечисляет ряд других недостатков в снабжении.) Это неправда, будто мы не сообщали об этом. Я постоянно обращался к полковнику Волковыскому, через которого осуществляется связь, и сам посылал телеграммы и официальные обращения. (Панфилов молчит.) Я также неоднократно лично ездил по всем этим делам.

СТАЛИН (очень резко Панфилову): Кто в этом виноват?

ПАНФИЛОВ: Были соответствующие инструкции, приказ отдал генерал Хрулев.

СТАЛИН: Когда я распорядился увеличить количество пайков?

ПАНФИЛОВ: Две с половиной недели назад.

СТАЛИН: Так почему же приказ до сих пор не выполнен? Они что, должны питаться вашими инструкциями?

(Эту часть разговора Сталин ведет в очень резком тоне. Генерал Панфилов стоит навытяжку, краснеет и бледнеет.)

СИКОРСКИЙ: Только большие трудности, с которыми мы постоянно сталкиваемся здесь, и плохие условия принудили меня так поставить вопрос.

СТАЛИН: Мы можем обеспечить польской армии те условия, в которых находится Красная Армия.

СИКОРСКИЙ: В тех условиях, которые были до сих пор, не удастся организовать даже корпус.

СТАЛИН: Я понимаю, что условия плохие. Наши части формируются в лучших условиях. Ну что ж, если в Иране вам обещают обеспечить лучшие условия... Что касается нас, то мы можем дать вам лишь то, что имеет наша армия. А питание советского солдата лучше, чем немецкого.

АНДЕРС: Если я получу полное питание, какое полагается солдату, этого будет достаточно, но его должны доставлять без этих постоянных перерывов, как было до сих пор. Я должен иметь возможность сам распоряжаться, создавать запасы, а не жить одним днем, когда, если транспорт запоздает, солдаты остаются голодными.

СИКОРСКИЙ: Я еще раз заявляю о нашем желании воевать вместе с вами против нашего общего врага — Германии.

СТАЛИН: А мне казалось, что англичане нуждаются в вашей армии.

СИКОРСКИЙ: Нет, это я, видя, какие тут перед нами встают трудности, добивался у англичан и американцев помощи в переводе наших солдат в лучшие условия.

АНДЕРС (сообщает точные данные о количестве польских солдат, находящихся на юге России, называя соответствующие районы; затем идет дискуссия о местах формирования, речь идет об Узбекистане, Туркмении, Закавказье): Я рассчитывал на 150 000 человек, но среди них много евреев, которые в армии служить не хотят.

СТАЛИН: Евреи — плохие солдаты.

СИКОРСКИЙ: Многие из тех евреев, которые выразили желание служить, это спекулянты или осужденные за контрабанду, из них никогда не выйдет хороших солдат. Такие не нужны в польской армии.

АНДЕРС: 250 евреев дезертировали из Бузулука из-за слухов (которые оказались ложными), будто бомбили Куйбышев. Более 60 дезертировали из 5-й дивизии накануне объявленного дня раздачи оружия.

СТАЛИН: Да, евреи — никудышные вояки.

(Начинается дискуссия между Сталиным, генералом Андерсом и генералом Панфиловым о вооружении и его недостатках.)

СИКОРСКИЙ: Когда мы получим новые места размещения и узнаем о других подробностях формирования армии?

(Сталин громко советуется с генералом Панфиловым и называет ориентировочно — Узбекистан, Туркмения, Закавказье.)

СИКОРСКИЙ: После формирования и переподготовки все следует собрать в одно целое, чтобы ударить всей армией, потому что только это надлежащим образом подействует на моральный дух польского народа.

СТАЛИН: На это уйдет много времени.

АНДЕРС: Нет. Если все будет сделано как следует, формирование после получения оружия не будет долгим.

(Сталин касается вопроса формирования армии без корпусов).

СИКОРСКИЙ: Может, это и лучше. Мы согласны на это, надо только как следует вооружить и обеспечить дивизии.

СТАЛИН: Организация без корпусов куда лучше, потому что командующий армией при существовании корпусов перекладывает всю ответственность на командующих корпусами, и в конце получается, что никто ни за что не отвечает. Лучше, чтобы в вашей армии просто было 7 дивизий, так, как сейчас в нашей.

СИКОРСКИЙ: Я прослежу, чтобы военные поставки к вам из-за границы увеличились. При желании это можно сделать.

СТАЛИН: Мы дадим часть, англичане должны прислать остальное. Однако морские транспорты не всегда приходят в срок. Они могут опаздывать, следует принимать это во внимание.

СИКОРСКИЙ: Я должен эвакуировать отсюда 25 000, потому что они нужны для авиации, флота и танковых частей. Кроме этого, мы можем сформировать 7 дивизий. Ведь здесь находится наш единственный резерв живой силы. Достаточно ли у вас самолетов?

СТАЛИН: Самолетов никогда не бывает достаточно. Количественно мы находимся

на том же уровне, что и немцы, качественно даже превосходим их. Зато с танками дела обстоят куда хуже.

СИКОРСКИЙ: В Ливии уничтожена часть немецкой авиации.

СТАЛИН: Вот уже два месяца мы не чувствуем перевеса немецкой авиации. Летчики у них сейчас молодые, неопытные. Самолеты не слишком скоростные. А сколько в вашей эскадрилье самолетов?

СИКОРСКИЙ: 27, из них 18 на первой, а 9 на второй линии.

СТАЛИН: Это наш авиаполк.

СИКОРСКИЙ: У нас будет возможность перебросить из Англии несколько авиационных эскадрилий для нашей армии. Там люди горят желанием попасть сюда.

(Сталин хвалит английских летчиков, находящихся в России.)

СИКОРСКИЙ: У наших летчиков острый глаз и быстрая ориентация.

СТАЛИН: Лучшие и храбрейшие летчики — это славяне. Они действуют стремительно, потому что это молодая раса, которая не растратила своих сил.

СИКОРСКИЙ: Эта война омолодит англосаксов. Британцы — это не французы, с которыми практически все кончено.

СТАЛИН: Я с этим не согласен.

СИКОРСКИЙ: Простой народ, может быть, еще чего-то стоит, но верхи большей частью ничего из себя не представляют.

(Продолжительная беседа на тему Петена, Вейгана и других).

СТАЛИН: Немцы сильны, но славяне их раздавят.

СИКОРСКИЙ: Я хотел бы теперь поехать посмотреть армию и посетить места, где сконцентрировано гражданское население, а потом вернуться в Москву, чтобы еще раз увидеться с господином президентом.

СТАЛИН: Пожалуйста, я в вашем распоряжении.

СИКОРСКИЙ: Завтра я выступаю по радио от имени народов, оккупированных Германией. Текст моей речи вам должен был передать комиссар Вышинский.

СТАЛИН: Да, я читал, будет очень хорошо, если это выступление прозвучит по радио.

СИКОРСКИЙ: Я считаю, что мир должен это услышать. Выступление будут транслировать также Би-би-си и Америка.

СТАЛИН: Я велел перевести его на сорок языков.

СИКОРСКИЙ: Прошу объявить заранее мое выступление. Я предлагаю подписать совместное политическое заявление. Правда, я на этом не настаиваю, но проект оставляю господину президенту (вручает проект заявления).

СТАЛИН: В принципе я согласен. Я прочитаю, и завтра мы это вместе обсудим.

СИКОРСКИЙ: Итак, я считаю вопрос об армии согласованным. В совместной комиссии, которая должна собраться как можно скорее, чтобы закончить это дело, меня заменит генерал Андерс. Для поездки по лагерям господин президент, я полагаю, назначит своих доверенных лиц.

СТАЛИН: Да. (Называет Вышинского и генерала Панфилова, спросив, подходят ли они генералу Сикорскому.)

(Сикорский отвечает утвердительно и уходит вместе с послом Котом. Генерала Андерса Сталин задерживает.)

(Беседа Сталина с генералом Андерсом длится несколько минут. Сталин спрашивает о сотрудничестве с генералом Панфиловым, на что генерал Андрес отвечает, что работали они при полном взаимопонимании, но генерал Панфилов мог сделать не так уж много.)

АНДЕРС: Теперь, когда господин президент обещал убрать все преграды, я верю, что формирование армии пойдет как следует.

СТАЛИН: Мне очень жаль, что я до сих пор не встречался с вами.

АНДЕРС: Это не моя вина. господин президент не вызывал меня.

СТАЛИН: Мне очень хотелось бы еще встретиться с вами.

АНДЕРС: Господин президент, я готов в любую минуту прибыть по вашему приказу.

(Переговоры продолжались около двух с половиной часов. Составлено под диктовку генерала Андерса по запискам посла Кота.)

Я привожу все документы без каких-либо поправок или изменений. Не опускаю слов, сказанных как мною, так и другими, которые, возможно, были неуместны. К таким словам я причисляю замечание о Франции, брошенное мимоходом генералом Сикорским. Генерал Сикорский бывал резок в разговоре и не раз сам позже жалел о сказанном. Мы все знали о постоянной симпатии генерала Сикорского к Франции и французам, его обвиняли даже в ослеплении по отношению к этой стране и ее народу, так что, возможно, он сказал это, чтобы отвести от себя подобный упрек, неточно сформулировав свою мысль в пылу дискуссии. Но реплика Сталина убедительно свидетельствует, как необыкновенно гибки советские политики, умеющие мгновенно сориентироваться и воспользоваться любой возможностью в пропагандистских целях. Сталин лестно говорит о Франции и французах в период, когда ведет переговоры с генералом де Голлем. Но тот же Сталин и советская пропаганда зимой 1939—1940 годов вторили гитлеровцам, называя французов прогнившей и выродившейся нацией.

На следующий день в советском штабе состоялось совещание, посвященное проблемам чисто военным: создание армии, ее вооружение, переброска в Южный Казахстан в условия, более подходящие для организации и обучения. В совещании принимали участие с советской стороны — генералы Панфилов и Жуков, майор Сосинский, с польской стороны — я, генерал Богуш-Шишко и полковник Окулицкий.

Генерал Сикорский выступил по московскому радио.

Вечером того же дня Сталин дал обед в Кремле для генерала Сикорского и сопровождающих его членов польской делегации. Во время обеда произошел важный разговор между генералом Сикорским и Сталиным. Привожу текст, записанный на следующий день, исправленный и дополненный генералом Сикорским — от руки, карандашом.

СИКОРСКИЙ: Когда я вчера предложил перевести всю польскую армию для формирования в Персию, я предполагал, что вы

не хотите иметь действительно сильную польскую армию. Признаю, что в этом я ошибался. Мне важно было создать такие условия, в которых армия может быть сформирована как можно скорее.

СТАЛИН: Это меня оскорбило, вы не верили в нашу добрую волю.

СИКОРСКИЙ: Но я также был обижен тем, что вы не хотите отпустить из Красной Армии и трудовых батальонов всех польских граждан, мобилизованных вами на оккупированных территориях в 1939 году.

СТАЛИН: Но ведь мы их отпускаем.

АНДЕРС: Только начали, и то лишь одних поляков. В то же время нас официально уведомили, что белорусов, украинцев и евреев освобождать не будут, а ведь они были и фактически не переставали быть польскими гражданами, поскольку вы расторгли все договоры с Германией.

СТАЛИН: Зачем вам белорусы, украинцы и евреи? Вам нужны поляки, это самые лучшие солдаты.

СИКОРСКИЙ: Дело не в количестве, в конце концов их можно заменить поляками — советскими гражданами, но я не могу в принципе принять подобную ситуацию, намекающую на нестабильность польских границ. Те, кто в 1939 году были польскими гражданами, ими и остались. Нельзя силой ставить перед свершившимися фактами. Этого никто на Западе не признает.

СТАЛИН: Они приняли участие в голосовании и стали советскими гражданами.

АНДЕРС: Они сделали это не по своей воле, а что касается белорусов, то они чувствовали себя поляками и были хорошими солдатами во время войны 1939 года.

СИКОРСКИЙ: Вы вчера сказали, что мир бы смеялся, если бы вся польская армия ушла из России. А я на это отвечу, что мир бы смеялся, если бы я принял участие в дискуссии на тему границ 1939 года и признания ситуации, насильственно созданной во время войны.

СТАЛИН: Мы, конечно же, не станем ссориться из-за границ.

СИКОРСКИЙ: Разве вы сами не говорили, что Львов, например,— это польский город.

СТАЛИН: Да, но из-за Львова вам придется ссориться с украинцами.

АНДЕРС: Многие украинцы были и остались германофилами, поэтому у нас было много неприятностей из-за них, а потом и у вас тоже.

СТАЛИН: Да, но это были ваши украинцы, не наши. Мы их, общими силами, уничтожим.

СИКОРСКИЙ: Я говорю не об украинцах, а о территории.

СТАЛИН: Мы с вами должны сами установить общую границу еще до мирной конференции, как только польская армия вступит в бои. А сейчас не будем говорить об этом. Не беспокойтесь, мы вас не обидим.

СИКОРСКИЙ: Границы 1939 года не могут быть подвергнуты никаким сомнениям. Я, с вашего позволения, еще вернусь к этому вопросу.

СТАЛИН: Пожалуйста. С удовольствием.

Показательно было то, что, когда генерал Сикорский убедительно говорил о нерушимости границ Речи Посполитой, Сталин пытался вбить клин национальной розни между польскими и непольскими жителями восточных районов Польши. Но генерал Сикорский не поддержал разговора на эту тему, продолжая отстаивать идею целостности и нерушимости границ. Возбуждение розни между поляками и украинцами было, как известно, с XIX века излюбленным методом Вены, а позже Берлина. Но и советская политика и, кажется, даже сильнее, чем былая царская политика, сводилась к вбиванию клиньев между отдельными нациями не только на территории Советского Союза, но и во всех соседних странах, а прежде всего, конечно, между украинцами и поляками.

В конце обеда были подняты многочисленные тосты. Начал комиссар Молотов тостом в честь генерала Сикорского. Сталин выступил с речью, как мне тогда казалось, весьма дружелюбной по отношению к Польше. Он подчеркнул, что Польша должна быть великой и сильной. Затем заявил:

— В былые времена вы дважды покоряли Москву. Русские несколько раз были в Варшаве. Мы постоянно сражались друг с другом. Пора кончать драку между русскими и поляками.

Он говорил об общих усилиях и борьбе с Германией до победного конца. Закончил пожеланием совместной победы над фашистским агрессором. После обеда велась светская беседа в дружеской атмосфере.

Сталин рассказывал о своем пребывании в Польше перед первой мировой войной; он отправился туда с поручением к Ленину, жившему около Закопане. На одной станции, уже за границей, он пошел в привокзальный ресторан и заказал обед. Поезд должен был скоро отойти, поэтому он с нетерпением наблюдал, как подали обед его соседям — с той и с другой стороны. Потом заметил, что обслужили тех, кто пришел после него. Перед самым отходом официант поставил перед ним тарелку горячего супа. Оскорбленный явной насмешкой, Сталин, тогда молодой и вспыльчивый, перевернул тарелку с супом на скатерть и вышел из ресторана. Когда он потом рассказал Ленину о выходке официанта, тот сразу же спросил:

— На каком языке ты заказал обед?

— Конечно, по-русски,— ответил Сталин.

— В таком случае не удивляйся,— объяснил ему Ленин,— что к тебе так отнеслись. Поляки вытерпели столько обид от России, что пользуются всяким удобным случаем, чтобы отомстить.

В другой раз Сталин пробирался к Ленину через границу нелегально. К несчастью, люди, которые должны были помочь ему при переходе границы, подвели. Он оказался один в чужом приграничном городе, обращая на себя всеобщее внимание своим характерным внешним видом. Несколько евреев предложили ему свои услуги.

— Но я,— рассказывал Сталин,— не доверял этим евреям. Я видел по их физиономиям, что за деньги они готовы отдать меня в руки русских жандармов. Наконец я нашел поляка с честным лицом и к нему обратился за помощью.

И, обращаясь к сидящему рядом полковнику Окулицкому, Сталин добавил:

— Вы мне его напоминаете. Вы на него очень похожи.

Этот поляк, совершенно посторонний человек, бескорыстно приютил его, накормил, а потом помог перейти границу.

Затем нас пригласили в кинозал, где во время показа военного фильма Сталин вел добродушную, иногда даже сердечную беседу с генералом Сикорским и со мной.

Позже меня часто спрашивали, какое впечатление производит Сталин, как он выглядит и как ведет себя. Сталин невысокого роста, коренастый, крепкий, широкоплечий, производит впечатление сильного мужчины. Бросается в глаза его большая голова, густые черные брови, черные, с проседью, усы, коротко остриженные волосы. Но больше всего врезаются в память глаза — черные, без блеска, ледяные. Даже когда он смеется, глаза его не смеются. Кроме того, весьма заметен (чего не видно на фотографиях) очень большой восточный иос. Движения очень сдержанные, как бы кошачьи. Говорит только по-русски, с довольно сильным кавказским акцентом, спокойно, обдуманно. Видно, что каждое его слово рассчитано. Властен, и это чувствуют все вокруг. В то время, когда я его видел, он одевался всегда в серый костюм: куртка полувоенного фасона с отложным воротником, застегнутая на все пуговицы (пуговицы костяные), брюки, заправленные в мягкие сапоги русского образца — голенища гармошкой. Этот костюм выделял его из окружения, все носили либо военную форму, либо типичные для России темно-синие гражданские костюмы. Он всегда был очень вежлив. Естественно, это выгодно отличало его от заикающегося Молотова с вечно злым лицом.

Кроме Сталина и Молотова, который исполнял роль хозяина приема, были еще комиссары: Берия, адмирал Кузнецов, Микоян, Каганович, а также, если не ошибаюсь, Маленков, Щербаков, Жданов, Жуков и заместитель начальника генштаба Василевский. Большинству из них не было и пятидесяти, хотя на своих постах они находились уже много лет. Каждый по отдельности был необыкновенно самоуверен и полон энергии, но в присутствии Сталина все, не исключая и Молотова, совершенно съеживались. Чувствовалось, что они ловят каждый его жест, каждое слово и готовы выполнить любой приказ во что бы то ни стало.

После фильма мы перешли в другое здание, там было подписано совместное заявление, названное впоследствии декларацией Сталин — Сикорский от 4 декабря 1941 года.

Правительство Советского Союза и Правительство Польской Республики, исполненные духом дружеского согласия и боевого сотрудничества, заявляют:

1. Немецко-гитлеровский империализм является злейшим врагом человечества — с ним невозможен никакой компромисс.

Оба Государства, совместно с Великобританией и другими Союзниками при поддержке Соединенных Штатов Америки, будут вести войну до полной победы и окончательного уничтожения немецких захватчиков.

2. Осуществляя Договор, заключенный 30 июля 1941 года, оба Правительства окажут друг другу во время войны полную военную помощь, а войска Польской Республики, расположенные на территории Советского Союза, будут вести войну с немецкими разбойниками рука об руку с советскими войсками.

В мирное время основой их взаимоотношений будут доброе соседское сотрудничество, дружба и обоюдное честное выполнение принятых на себя обязательств.

3. После победоносной войны и соответственного наказания гитлеровских преступников задачей Союзных Государств будет обеспечение прочного и справедливого мира. Это может быть достигнуто только новой организацией международных отношений, основанной на объединении демократических стран в прочный союз. При создании такой организации решающим моментом должно быть уважение к международному праву, поддержанному коллективной вооруженной силой всех Союзных Государств. Только при этом условии может быть восстановлена Европа, разрушенная германскими варварами, и может быть создана гарантия, что катастрофа, вызванная гитлеровцами, никогда не повторится.

На прощание Сталин напомнил генералу Сикорскому о своем приглашении, ожидая его возвращения в Москву, а также обещал во время этого второго визита поездку на фронт под Москвой.

Во время нашего пребывания в Москве не меньше десяти — пятнадцати раз в день, особенно вечером и ночью, разные женщины звонили по телефону, якобы ошибаясь номером, старались завязать разговор и предлагали прийти в номер. Это известный здешний метод. Я предупредил генерала Сикорского, что мы должны быть очень осторожны, разговаривая в комнате, поскольку я знал, что всюду вмонтированы подслушивающие устройства. Лучший способ помешать подслушиванию — постукивать ложечкой о стакан в то время, как разговор ведется вполголоса.

Генерал Сикорский в армии

5 декабря мы вернулись в Куйбышев. Генерал Сикорский простыл и пролежал несколько дней. Только 10 декабря мы могли начать осмотр военных лагерей. Ехали мы на поезде, отданном в распоряжение генерала Сикорского; он занимал салон первого класса, оставшийся еще от царских времен. Из представителей советских властей нас сопровождали, в частности, заместитель народного комиссара Вышинский, генерал Жуков и заместитель начальника генштаба генерал Панфилов. Путь наш лежал через Бузулук, Тоцкое и Татищево; потом с аэродрома в Саратове генерал Сикорский должен был улететь в Тегеран.

В Бузулуке гостю был устроен торжественный прием, а после поездки по военным

частям все собрались в штабе армии на ужин.

Во время ужина было сказано много речей. Абсолютно верноподданническим выступлением по отношению к России и советским властям отличился командир чешского батальона полковник Свобода. Присутствовали также британский майор Газалет и несколько офицеров высокого ранга из американских войск. В Тоцком и Татищеве генерал Сикорский участвовал в богослужениях, принимал парады войск, частично уже одетых в присланные из Англии мундиры, произносил длинные речи, посещал палатки и беседовал с солдатами.

Выехав из Татищева, мы ночевали в Саратове. На другой день утром генерал Сикорский беседовал с генералом Жуковым о проблемах организации разведки в Польше. Я не присутствовал при начале этой беседы. Поскольку генерал Сикорский не знал русского, а генерал Жуков — польского, произошло какое-то недоразумение, по поводу которого советские власти впоследствии давали объяснения. Из Саратова мы вылетели в Тегеран. На аэродроме генерала Сикорского торжественно провожал саратовский гарнизон, а также советские государственные деятели во главе с Вышинским, Панфиловым и Жуковым.

В Тегеране генерал Сикорский имел беседу с персидским шахом, который якобы предлагал ему уступить немецкое вооружение, находящееся под контролем союзников. Генерал Сикорский выступил на пресс-конференции перед журналистами, поделился своими впечатлениями от пребывания в России и заявил, что поляков выпустили из тюрем и лагерей, причем не упомянул об огромном количестве пропавших без вести офицеров. Советская пропаганда использовала это интервью и раструбила о нем по всему миру, что, к сожалению, надолго ввело в заблуждение мировое общественное мнение.

Генерал Сикорский покинул Россию, весьма оптимистично настроенный относительно польско-советских отношений. Он видел неприятные симптомы, был раздражен рядом поступков советских властей, но в то же время признавал силу советского руководства, а в особенности Сталина. Тем более что во время его пребывания в СССР немцы были разбиты под Москвой и под Ростовом.

Генерал Сикорский, имея несомненно большой талант политика и великолепно зная Запад, где пользовался глубоким уважением крупнейших политических деятелей, никогда не имел возможности непосредственно и основательно познакомиться с Россией, с теми переменами, которые произошли в Советском Союзе. Он не знал русского языка, ему было совершенно чуждо безмерное советское коварство. Естественно, что люди типа Кота, Ксаверия Прушинского и т. п. нарисовали ему картину, совершенно не соответствующую действительности. Из-за этого, несмотря на мою дружбу с генералом Сикорским, уже с первой встречи у нас обнаружились серьезные расхождения в оценке советской политики и положения польской армии в Советском Союзе. В окружении генерала Сикорского всегда находились люди, которые неустанно возбуждали в нем недоверие ко мне; это привело к принципиальным столкновениям, отношения сгладились лишь незадолго до трагической смерти генерала Сикорского.

Договор и реальность

Положение польской армии в России было ужасно. Светлым лучом, который на мгновение осветил тяжкое существование наших солдат, было вступление США в войну 8 декабря 1941 года. Вспомнили об обращении президента Рузвельта к президенту Речи Посполитой от 5 июля 1941 года, в котором он воздавал почести борющейся Польше, называя ее вдохновляющим примером не только для народа Соединенных Штатов, но и для всех миролюбивых людей всего мира. В конце января 1942 года американское радио передало послание президента Рузвельта к польскому народу, известное под названием «Президент знает». Послание это распространялось на листовках, а люди в лохмотьях, измученные и голодные, преклоняя колени на снегу, благодарили Бога, полные веры и надежды на сильных союзников.

Я все больше убеждался, что советские власти не слишком заинтересованы в создании польской армии, и доказательством были трудности, которые множились на каждом шагу. Мы постоянно получали со всех сторон известия, что тысячи людей задерживали в тюрьмах и лагерях, а постановление об амнистии не выполнялось. Я считал, что следует спасать тех, кто находится в северной и восточной части России, и перемещать солдат и гражданское население на юг. Уже тогда я видел единственное спасение в выходе из-за железного кордона через Персию. Другого мнения был профессор Кот, который мешал реализации этого плана и который несет немалую ответственность за задержку этих перемещений.

Возвратившись из Куйбышева и Бузулука, я старался провести в жизнь договор, заключенный в Кремле. Передо мной встали серьезные трудности. Переход частей на юг откладывался. Морозы доходили до 52° при сильном ветре и буранах...

Наконец, в начале 1942 года пришло решение перевести польскую армию на юг. Сформированные с большим трудом штабы — как зачатки будущих военных соединений — выехали в назначенные районы с целью мобилизации людей. Штаб армии разместился в Янги-Юле (что значит Новая Дорога), недалеко от Ташкента, и действительно, оттуда мы начали... новую дорогу по странам Ближнего Востока. Дивизии были разбросаны на огромном пространстве. Люди стали прибывать со всех сторон толпами. У нас были английские мундиры и белье; они оказались бесценным вкладом, поскольку все приходили в лохмотьях и чуть живые. Ширились эпидемии, а поскольку вшей в России чудовищно много, то прежде всего — сыпной тиф. Наши врачи и сестры проявили огромную самоотверженность, спасая людей от смерти в страшных условиях, при отсутствии лекарств, помещений, белья и необходимого питания. Смертность была большая, особенно среди детей.

Советские власти все более затрудняли прибытие желающих в армию. Целые эшелоны высаживали в степи без еды, палаток, теплой одежды. Следует постоянно помнить о том, что в России невозможно было купить продукты, и если у кого не было карточек, то он просто умирал с голоду. Иногда можно было обменять на еду одежду или белье, но после двух лет плена почти никто не имел вещей, пригодных для обмена.

В это время особенно явным стало вмешательство советских властей в нашу внутреннюю жизнь. Многие, выйдя из лагеря, не возвращались и пропадали бесследно, как это вообще и происходит в советской России. Случалось, что НКВД хватал людей прямо в наших лагерях. Мы активно протестовали, но, несмотря на официальные обещания, что подобное больше не повторится, все это продолжалось до тех пор, пока армия пребывала в границах СССР.

Еще в Бузулуке мы совершенно случайно наткнулись на подслушивающие устройства в зданиях, где размещалось командование армии. Оказалось, что даже в моем кабинете было несколько таких аппаратов в стенах и в потолке. Провода вели наружу в маленький домик, охраняемый советскими солдатами. Вследствие моего протеста приехала комиссия из Москвы, которая после долгих исследований объяснила, что это старое подслушивающее оборудование, которое осталось с тех пор, как в Бузулуке были размещены различные гражданские организации. Это была явная ложь хотя бы потому, что аппаратура была совершенно новая. Мы удивлялись тому, что советские власти задерживали переезд штаба в Янги-Юль. Они утверждали, что помещения еще не готовы. Наученные горьким опытом, приехав, мы основательно обследовали здание, и наши инженеры нашли целую прослушивающую систему, установленную практически по всем комнатам. Провода шли на чердак и дальше, через поле, в здание советской почты. Мы перерезали провода, причем я запретил уведомлять об этом советскую сторону. Уже на другой день я заметил тревогу среди офицеров НКВД. Они хотели прислать рабочих для ремонта чердака, который, по их мнению, был еще не закончен. Мы ответили, что ремонт на чердаке закончили наши солдаты. Мы застигли нескольких советских агентов при попытке ночью пробраться на этот чердак.

Еще перед тем, как армия была переведена из Бузулука в Янги-Юль, посланный туда подполковник Рудницкий доложил, что советские власти категорически против приема в армию представителей национальных меньшинств Польши. Мобилизационные комиссии получили соответствующие инструкции. Эта позиция подтверждалась письменным указанием генерала Панфилова от 24 июня 1942 года. Я энергично выступил по этому вопросу. Было ясно, что большевики постановили считать советскими гражданами всех граждан Польши за исключением чистокровных поляков. Мы не могли согласиться на это, поскольку договор от 30 июля 1941 года абсолютно ясно указывал на необходимость освобождения всех польских граждан.

Несмотря на эти трудности, люди прибывали постоянно. Обещания Сталина снабдить оружием две дивизии выполнены не были. Оружие было только у 5-й дивизии, и то гораздо меньше, чем положено, то есть только та часть оружия, которую мы получили осенью 1941 года; больше мы так ничего и не получили.

Тем временем советские власти стали требовать, чтобы на фронт были посланы отдельные дивизии. Приехал генерал Жуков, сначала прощупал мои настроения, а потом выступил с недвусмысленным предложением послать на фронт в первую очередь 5-ю дивизию. Он подчеркнул, что это будет иметь огромное политическое значение, если польский солдат начнет воевать плечом к плечу с советским солдатом. Я признал его правоту, но лишь при том условии, что пойдет вся армия и что солдаты перед этим будут хорошо обучены, обмундированы и вооружены. Я не соглашался посылать отдельные дивизии, аргументируя это тем, что никто в мире, а тем более в Польше, их и не заметит. Вдобавок солдаты были физически истощены, а продовольственные пайки так малы, что не позволяли проводить нормальные строевые занятия. Я не мог представить как аргумент — а впрочем, большевики и об этом знали — то, что наши солдатские пайки еще и спасали от голодной смерти множество детей и женщин, скопившихся вокруг лагеря. Я заявил, что, если генерал Сикорский не согласится с моим мнением и отдаст приказ послать дивизию на фронт, я сам, по причинам морального характера, приму над ней командование.

4 февраля 1942 года я дал телеграмму генералу Сикорскому, запрашивая его решение. Кое-какие опасения у меня были, поскольку я знал, что генерал Сикорский еще раньше, через британского посла сэра Стаффорда Криппса, высказывал мысль, чтобы две дивизии, хотя бы и невооруженные, пошли на Кавказ в целях защиты нефтяных месторождений. С истинным облегчением прочитал я ответ генерала Сикорского от 7 февраля, что он совершенно разделяет мое мнение, которое, впрочем, согласно с духом договора между СССР и Польшей, ибо в договоре этом сказано, что польская армия будет использована на фронте не вразброс, но как единое целое. Генерал Жуков и генерал Панфилов приняли ответ генерала Сикорского с большим неудовольствием.

Мелкие неприятности

В это время возникла проблема подполковника Берлинга. Я получил телеграмму от генерала Боруты-Спеховича из городка Джалалабад, нового места стоянки 5-й пехотной дивизии. Генерал просил немедленно забрать из дивизии и наказать подполковника Берлинга за неправильное поведение по отношению к командующему дивизией. Дело было неясное главным образом потому, что в свое время как раз генерал Борута усиленно требовал, чтобы подполковника Берлинга назначили к нему в дивизию начальником штаба. Я тогда без особой охоты согласился на это из-за отношения подполковника Берлинга к советским

властям. Я уже упоминал о том, что он еще в период советско-германской дружбы хотел поступить на службу в Красную Армию. Наше тяжелое политическое положение в советской России не позволило нам принять самое верное решение — немедленно удалить его из армии. В рапорте подполковник Берлинг объяснил, что недоразумение между ним и генералом Борутой имело личный характер. Я посадил его под домашний арест, а потом перевел на должность начальника базы в Красноводске, откуда он, впрочем, позднее дезертировал в августе 1942 года, украв доверенные ему документы.

Подполковник Берлинг знал о тревоге, постоянно мучившей меня, о моих усилиях, направленных на то, чтобы найти 11 000 пропавших офицеров. Совершенно неожиданно он предложил мне, что займется этим делом, если ему присвоят генеральский чин. Я отверг его предложение. Я инстинктивно чувствовал, что этот его шаг запланирован советскими властями, что ни о каких поисках пропавших офицеров и речи нет, а важно только, чтобы Берлинг получил чин генерала от законных польских властей. Его дезертирство еще более утвердило меня в этом мнении. Через два года Сталин произвел Берлинга в генералы Красной Армии.

Нехватка оружия и продовольствия; переговоры со Сталиным

Примерно 10 марта 1942 года генерал Хрулев, который заведовал интендантством Красной Армии, уведомил меня, что с 20 марта количество пайков, выдаваемое польской армии, будет уменьшено до 26 000. Это грозило неминуемой катастрофой, потому что в рядах армии было тогда около 70 000. Как я уже говорил, солдаты отрывали от себя последние крохи, чтобы спасти от голодной смерти детей и женщин. Советский паек, который мы тогда получали, по калорийности был в три раза меньше английского. Единственным моим резервом был небольшой продовольственный запас, присланный из Великобритании. Но это был НЗ. Перед польской армией замаячил призрак голода. Я обязан был категорически и немедленно протестовать против этого неслыханного распоряжения. Я обратился непосредственно к Сталину. В ответ пришла телеграмма следующего содержания:

«Я получил обе Ваши телеграммы о положении с продовольствием в Вашей армии и о распоряжении генерала Хрулева. Проверив все материалы, я пришел к выводу, что проблема снабжения Красной Армии продовольствием осложнилась в связи с нападением Японии на Англию и Соединенные Штаты. Война на Дальнем Востоке привела к тому, что Япония не соглашается дать разрешение перевозить зерно для СССР на американских судах, а наш собственный тоннаж ограничен. Мы рассчитывали получить из Америки более 1 000 000 тонн пшеницы, а получили 100 000 тонн. Вследствие этого возникла необходимость пересмотреть план снабжения армии в пользу воюющих дивизий за счет дивизий резервных. Несмотря на это, с большими трудностями мне удалось отвоевать сохранение нынешнего уровня снабжения для польской армии в СССР до 20 марта. После этого срока придется уменьшить число пайков для польской армии по меньшей мере до 30 000. Если Вы считаете это необходимым, то можете приехать в Москву. Я с удовольствием выслушаю Вас. Сталин».

Я слишком хорошо знал советскую чиновную иерархию и прекрасно помнил, что Сталин всегда строит из себя «bon papa»[1]. Если он просит приехать, значит, за этим что-то кроется. В Советском Союзе все «планируется».

Сразу же после получения телеграммы я вылетел в Москву в сопровождении начальника штаба полковника Окулицкого. 18 марта 1942 года я имел беседу со Сталиным в присутствии Молотова и секретаря. Содержание этого разговора, который я считаю исключительно важным, привожу дословно, по протоколу полковника Окулицкого, просмотренному мною. Как обычно, советского текста мы не получили.

СТАЛИН: Вы приехали ко мне, чтобы узнать, почему уменьшилось количество пайков для польской армии? Отвечу совершенно откровенно. Видите ли, в октябре, когда здесь были Гарриман и Бивербрук, мы с Америкой договорились, что она будет поставлять нам 200 000 тонн зерна в месяц, к нынешнему дню мы должны были получить из этого источника 1 000 000 тонн пшеницы, а до конца июля 1942 года — 1 800 000 тонн. На этом был основан наш план снабжения армии продовольствием. Зерно должно было доставляться на американских судах, потому что наш собственный тоннаж ограничен. В результате зерна у нас — кот наплакал. Я никого не виню, но до сих пор мы получили всего 60 000 тонн. Японцы пропускают наши суда, но американские, плывущие без конвоя, топят. Уже четыре затопили. Война с Японией смешала все карты. Американцы не могут доставить нам зерно. Поэтому мы принуждены были расформировать тыловые и территориальные части, что вы можете проверить на месте, чтобы обеспечить продовольствием фронт. Мы также значительно уменьшили численность кавалерии. Подвоз фуража затруднен. Из этого и возникло распоряжение генерала Хрулева о том, что до 20 марта вы будете получать продовольствие на весь личный состав, а после 20 марта — только 40 000 пайков. Мне не хотелось бы, чтобы говорили, что советские люди не выполняют своих обещаний, но пока не изменятся условия, ваша армия должна быть ограничена до трех дивизий и резервного полка.

АНДЕРС: Я все это понимаю и приехал потому, что убежден, что из этого положения должен быть какой-то выход. После телеграммы генерала Хрулева и до того, как я получил депешу господина президента, я никому ничего не говорил. После депеши господина президента я уведомил генерала Сикорского: в ответ он сообщил мне, что нам отправлены 2 000 000 пайков. Сегодня армия состоит из 75 000 — 78 000 людей, я же не могу позволить, чтобы «лиш-

[1] Добрый папаша (*франц.*).

ние» умерли с голоду. Я вижу такой выход: дайте нам продовольствие на весь личный состав, пока мы не получим продуктов из Англии. В связи с этим делом я хочу лететь в Лондон. Генерал Сикорский согласен с этим и желает, чтобы я отправился туда как можно скорее. В данный момент он летит в Вашингтон, скорее всего там он будет обсуждать проблему снабжения нашей армии в СССР. Я хочу сделать хоть что-нибудь для Польши, я ищу оптимальное решение. Я считаю, что следует избежать рассеивания наших вооруженных сил, и поэтому стремлюсь к тому, чтобы на территории СССР была создана как можно более сильная польская армия.

СТАЛИН: Годятся ли люди, прибывающие в армию, для военной службы? Вы ими довольны?

АНДЕРС: Да. В основном это люди совершенно пригодные в моральном отношении — все хотят драться с немцами; физически очень истощены, но быстро приходят в себя. В данный момент нас замучила эпидемия тифа. Я рассчитываю на пополнение из стройбатов и из русской армии. Это молодые люди.

СТАЛИН: А вы знаете, что в Польше бушует тиф? У нас его быть не должно. Мыла достаточно, так что мы должны быстро ликвидировать тиф. Сколько дивизий вы уже организовали?

АНДЕРС: Шесть, но лишь две имеют полный личный состав, однако остальные будут готовы, как только прибудут люди, это вопрос времени, потому что командный состав сформирован.

СТАЛИН: Жаль! В данной ситуации вы можете иметь только три дивизии — корпус. Если бы вы могли получить из Америки продовольствие, тогда армию можно было бы увеличить.

АНДЕРС: Генерал Сикорский как раз вылетел в Америку. Я уверен, он сделает все, что в его силах, чтобы получить эту помощь.

СТАЛИН: Доставка продовольствия возможна только через Англию. Американцы посылают суда без конвоя, и японцы топят их. Английские суда идут с конвоем и приходят точно в срок, без каких-либо потерь. По этому вопросу я обратился к Рузвельту, но он не ответил на мое предложение. Если англичане не доставят продовольствие на собственных транспортных средствах, американцы могут подвести.

АНДЕРС: Продовольствие, о котором я упоминал, 2 000 000 пайков, обещанных генералом Сикорским, скорей всего придет через Иран. Я только не знаю точно когда. Я уверен, что придут и следующие партии продовольствия.

СТАЛИН: В таком случае я дам продовольствие на 40 000.

АНДЕРС: А что делать с остальными?

СТАЛИН: А может, остальные пойдут работать в колхозы?

АНДЕРС: Это невозможно. Все польские граждане, годные к военной службе, должны вступить в армию. Они прекрасно знают о договоре господина президента с генералом Сикорским и о вашем обещании. Чтобы не ослабить боевой дух армии, этого нельзя допустить. Тем более что в колхозах нет продуктов и колхозники сами голодают.

СТАЛИН: Сейчас польская армия получает тем продовольствием кормит гражданское население. Я не вижу в этом ничего плохого. Я понимаю, что людям надо помочь.

АНДЕРС: Признаю, что это было. Польское гражданское население находится в таком состоянии, что мы вынуждены помогать им даже ценой уменьшения солдатского пайка. Инициативу проявили сами солдаты.

СТАЛИН: Нельзя допускать уменьшение солдатских пайков, тем более что вы получаете живую силу в состоянии физического истощения.

АНДЕРС: Я уже запретил это приказом.

СТАЛИН: Ну что ж, ничего не поделаешь, иначе нельзя. Вы получите 44 000 пайков, этого вам хватит на три дивизии и резервный полк. Времени на организацию и переподготовку у вас будет достаточно. Мы не настаиваем, чтобы вы пошли на фронт. Я понимаю, что для вас будет лучше пойти на фронт, когда мы подойдем ближе к границам Польши. Вы имеете право на такую честь — первыми вступить на польскую землю.

АНДЕРС: В таком случае, если нет другой возможности, остальных следует перебазировать в Персию.

СТАЛИН: Согласен. У нас останется 44 000 ваших солдат, остальные будут эвакуированы. По-другому нельзя. Будут говорить и говорят уже, что мы вас обманули. Я знаю, что это не вы, военные, но, например, ваш Кот так говорит посторонним, и другие тоже распускают о нас много неприятных слухов. Если бы не война с Японией, не было бы того, о чем мы сейчас говорим. Мы, советские люди, привыкли твердо держать свое слово и выполнять, что обещали.

ОКУЛИЦКИЙ: А нельзя ли, чтобы вы дали продовольствие на весь личный состав нашей армии до тех пор, пока нам его не дадут англичане? Ведь это ненадолго.

СТАЛИН: Это невозможно, у нас нет продовольствия. Фронтовые пайки мы уменьшить не можем. Немцы морят голодом нашу страну. Сейчас мы заняли районы, которые долгое время были под оккупацией, и не можем рассчитывать на местные запасы. Наоборот, нам приходится кормить гражданское население, которое немцы ограбили, каждая 1 000 тонн продовольствия имеет для нас огромное значение, и поэтому мы не можем дать вам больше. Сегодня я говорю: 44 000 пайков.

АНДЕРС: Для меня это весьма огорчительное решение.

СТАЛИН: Иначе быть не может. Белоруссию, где сейчас проходит фронт, немцы обглодали до костей. Армии надо отдать все. Армия, которая воюет, не может голодать. Больше 44 000 пайков мы дать не можем.

АНДЕРС: Что делать, чтобы как можно скорее перевести в Персию людей, для которых нет продовольствия? Этот вопрос нельзя решить за несколько дней. А ведь до момента отъезда их надо кормить.

СТАЛИН: Сколько у вас сейчас людей?

АНДЕРС: По данным на 8 марта — около 66 000, ежедневно прибывает 1 000—1 500 человек, так что сейчас должно быть около 80 000. Число это постоянно увеличивается и будет увеличиваться. В данный момент проблема быстрой эвакуации в Персию

имеет принципиальное значение. Следует организовать базу в Красноводске, на это у меня до сих пор нет согласия. И может быть, в Ашхабаде.

СТАЛИН: Сколько продовольствия могут вам дать англичане для эвакуированных?

АНДЕРС: Для начала 27 000 пайков на 7 дней, с тем что продовольствие это надо будет перевезти из Пахлеви в Красноводск.

СТАЛИН (приказывает соединить его с генералом Хрулевым): Где вы размещены? Нет ли там малярии?

АНДЕРС: Мы находимся на территории Узбекистана, в южной части Казахстана и северной части Киргизской республики. В данный момент имеется эпидемия сыпного тифа. Малярия, брюшной тиф и дизентерия обычно появляются позже. Применяются профилактические средства.

СТАЛИН: Как с вооружением?

(Андерс вручает документы, которые Сталин внимательно читает. Звонит генерал Хрулев).

СТАЛИН (спрашивает по телефону): Сколько пайков получает польская армия? (Возвращается к столу после ответа генерала Хрулева.) Мы продлили до конца марта выдачу пайков на весь личный состав вашей армии. (Садится за стол.) Какая дивизия вооружена?

АНДЕРС: Была вооружена 5-я дивизия, сейчас оружие распределено между всеми частями для учений.

(Молотов спрашивает у генерала Андерса номера дивизий.)

СТАЛИН: Мы изменили состав наших дивизий. Увеличили их и усилили вооружение. Вместо 16 орудий даем 20. И 12 гаубиц. Увеличили число солдат в ротах. Всего в дивизии — 12 700 человек. Какие орудия вы получили?

ОКУЛИЦКИЙ (подает список вооружения, указывает на перечисленные в нем орудия и говорит): Образца 1939 года.

СТАЛИН: Очень хорошее орудие, дальнобойность — 14 км, может быть использовано как противотанковое. Большая начальная скорость. (Просматривает список вооружения.) А вторая дивизия оружия не получила?

АНДЕРС: Нет. Несмотря на ваше обещание и несмотря на мои постоянные напоминания, со времени визита генерала Сикорского мы ничего не получили.

СТАЛИН: Вы правы, мы вам обещали. Следует немедленно дать оружие второй дивизии. Мы производим очень много винтовок — 330 000 в месяц. И этого все же не хватает. (Еще раз просматривает список.) Третья дивизия уже сформирована?

АНДЕРС: Да. Четыре дивизии почти готовы. Организация командного состава закончена. Личный состав этих дивизий быстро пополняется.

СТАЛИН: У вас есть номера этих дивизий?

АНДЕРС: Да. С пятой по десятую.

МОЛОТОВ: Сколько у вас выйдет дивизий из 44 000?

АНДЕРС: Этого я не знаю. Зависит от количества солдат в составе дивизии. Если следовать вашему примеру, о котором рассказал господин президент, то три дивизии, и кое-что останется на резервный полк и отдельные части.

СТАЛИН: Должно хватить на три дивизии и резервный полк. У вас есть авиационные части?

АНДЕРС: Да. Летчики у нас сгруппированы в одном месте и уже давно готовы к эвакуации.

СТАЛИН: Вы хотите их эвакуировать?

АНДЕРС: Согласно договору с генералом Сикорским как летчики, так и моряки должны быть эвакуированы, кроме того — 25 000 человек.

СТАЛИН: Куда будут отправлены летчики?

АНДЕРС: В Англию, там у них будут хорошие условия для переподготовки.

СТАЛИН: Южным или северным путем?

АНДЕРС: Южным, через Персию. Они уже давно готовы к эвакуации, но, несмотря на мои постоянные старания, она никак не может начаться.

СТАЛИН: Разве мы мешаем переброске этих летчиков в Англию?

АНДЕРС: Не знаю, по каким причинам нам до сих пор не разрешают начать эвакуацию. Это зависит только от вас. Они уже давно могли бы выехать.

СТАЛИН: Почему же? Вы обращались по этому вопросу к Панфилову?

АНДЕРС: Да. И не однажды. Я даже не раз слышал обещания, но в результате ничего не сделано. Только что мне отказали в просьбе по поводу базы в Красноводске.

СТАЛИН: Летчики будут эвакуированы. Наркоминдел должен этим заняться немедленно (делает пометку в записной книжке).

МОЛОТОВ: Будет сделано.

АНДЕРС: Для быстрого выполнения всех формальностей надо назначить уполномоченного представителя у нас на месте, потому что иначе решение проблемы будет оттягиваться и мы ничего не добьемся.

СТАЛИН: Правильно, представитель будет послан. Я думаю, генерал Жуков подойдет лучше всего. Где Жуков?

МОЛОТОВ: Он на месте, в Москве.

СТАЛИН: Он же должен был быть на юге.

АНДЕРС: Он был у меня все время, но несколько дней тому назад вернулся в Москву. Он сотрудничает с нами с самого начала и наверняка сделает все, чтобы помочь нам.

СТАЛИН: Какие у вас еще просьбы?

АНДЕРС: Самое важное и самое срочное — это организовать эвакуацию. Значит, Красноводск. Чтобы сразу же отослать тех, для кого нет продовольствия.

СТАЛИН: Хорошо, это будет сделано. Еще что?

АНДЕРС: Второе дело — весьма срочное. Надо послать в Тегеран шоферов и необходимый персонал для получения автомашин и находящегося там оборудования.

СТАЛИН (записывает): Еще что?

АНДЕРС: Технические подробности эвакуации я согласую с генералом Жуковым. В связи с создавшимся положением я должен как можно скорее вылететь в Лондон, прошу устроить мне самолет до Каира и, если можно, послать со мной кого-нибудь из ваших людей в качестве представителя, может быть, кого-нибудь из уполномоченных по вопросам формирования польской армии.

СТАЛИН (записывает): Зачем вам нужен русский? В Лондоне скажут, что мы приставили к вам опекуна из ЧК. Они там косо смотрят на такие вещи, и у вас может

быть больше неприятностей, чем толку.

АНДЕРС: Я этого не боюсь, надо обсудить все проблемы эвакуации, снабжения и т. п. с английским командованием.

СТАЛИН (прерывая): Ну, хорошо. Но чем вам там поможет русский?

АНДЕРС: Там — ничем, но на обратном пути может оказать большую помощь в Тегеране, если у него будут соответствующие полномочия.

СТАЛИН (записывает): Так, эвакуация через Красноводск может оказаться недостаточной, тогда можно будет перебрасывать из Ашхабада на Мешхед сухопутным маршрутом (идет к карте, потом ищет атлас на книжных полках, требует карту). Наши войска вам в этом помогут, они знают местные условия. (Совершенно неожиданно.) Сомневаюсь, чтобы англичане дали вам какое-либо вооружение.

АНДЕРС: Уже дают (показывает реестр первого транспорта оружия из Англии).

СТАЛИН (берет реестр, изучает, потом что-то записывает).

МОЛОТОВ: Это идет через Иран?

АНДЕРС: Да. Этот транспорт уже в пути и должен прийти в ближайшее время. В Иране для меня приготовлены медикаменты для организации госпиталей. Кроме того, на территории Ирана находится большое количество оружия иранской армии, его можно было бы легко и быстро передать нашим войскам, если бы вы дали на это согласие.

СТАЛИН (записывает): Я этому не препятствую, но там были в основном винтовки, и часть мы уже взяли. (Спрашивает Молотова.)

МОЛОТОВ: Да — 100 000 винтовок.

АНДЕРС: По моим данным, там было от 250 000 до 300 000 винтовок, а кроме того, автоматическое оружие, противовоздушная артиллерия и малокалиберные противотанковые орудия (вынимает записную книжку и хочет сообщить количество).

СТАЛИН: Этого мы не брали, это можно отдать вам.

АНДЕРС: Ко всему этому оружию нужны немецкие снаряды, кроме того, у вас наверняка много трофейного немецкого оружия. Наши солдаты великолепно знают это оружие, его можно использовать для обучения, пока мы не получим английское оружие.

СТАЛИН (записывает): Это, безусловно, возможно. (Минутное молчание, и вдруг совершенно неожиданно.) Много поляков служат в штабах у немцев переводчиками.

АНДЕРС: В любом обществе и в любом народе есть отбросы. У вас такие тоже есть. (Сталин кивает.) Однако из подобных фактов нельзя делать обобщающих выводов. Мы знаем, как с ними следует поступать. (Сталин кивает.)

(Приносят карту, Сталин изучает ее, все собираются вокруг карты.)

СТАЛИН: Вдоль побережья Каспийского моря есть дорога (показывает на карте), которой можно с успехом воспользоваться.

АНДЕРС: Я об этой дороге ничего не знаю, знаю только дорогу на Мешхед. (Карта возвращается на место.) В первых числах апреля, как только вернется генерал Сикорский, я хотел бы быть в Лондоне. Дело весьма срочное.

СТАЛИН: Дать вам самолет до Каира? (Записывает.) Хорошо. Это все?

АНДЕРС: Я прошу отдать польской армии поляков из стройбатальонов и из советской армии, согласно вашим, господин президент, обещаниям.

СТАЛИН: Мы их можем отдать, но ведь их надо кормить, а у вас нет продовольствия.

АНДЕРС: Там здоровые молодые люди, из которых выйдут прекрасные солдаты. Самых сильных я оставлю у себя в числе 44 000, а остальных эвакуирую.

СТАЛИН (записывает): Хорошо, отдадим.

АНДЕРС: Кроме того, еще много наших людей находятся в тюрьмах и в исправительно-трудовых лагерях. Постоянно приходят люди, освобожденные совсем недавно. До сих пор нет офицеров, вывезенных из Козельска, Старобельска и Осташкова. Они должны быть у вас, никаких других возможностей я не вижу. Мы собрали о них дополнительную информацию (вручает два списка, Молотов принимает их). Куда они могли деться? Есть следы их пребывания на Колыме.

СТАЛИН: Я уже отдал приказ освободить их. Говорят даже, их видали на Земле Франца-Иосифа, а там ведь нет никого. Я не знаю, где они. Зачем мне задерживать их? Может быть, они были в лагерях на территории, которую заняли немцы, и они разбежались.

ОКУЛИЦКИЙ: Невозможно, мы бы знали об этом.

СТАЛИН: Мы задержали только тех поляков, которые были шпионами на службе у немцев. Мы выпустили даже таких, которые потом перешли к немцам, например Козловского.

АНДЕРС: Козловского военно-полевой трибунал приговорил к смертной казни, я утвердил приговор, и он будет приведен в исполнение, может быть, даже нашими людьми на Родине.

СТАЛИН: Где Бек?

АНДЕРС: Интернирован в Румынии.

СТАЛИН: Ну, его немцы не обидят, это их друг. А где Смиглы?

АНДЕРС: По сообщениям из Польши, находится в Варшаве, кажется, тяжело болен, грудная жаба.

СТАЛИН: Наверное, скрывается?

АНДЕРС: Конечно.

СТАЛИН: Ну Смиглы-Рыдз — неплохой военачальник, в 1920-м он неплохо бился на Украине.

АНДЕРС: Да, но в этой войне как главнокомандующий он уже через несколько дней выпустил поводья из рук.

СТАЛИН: Причина вашего поражения в том, что у вас не было хорошей разведки.

АНДЕРС: Это неправда, разведка у нас была хорошая, информация точная, только ею плохо пользовались. Я, стоя перед самой войной на границе с Восточной Пруссией, точно знал, кто находится против меня. Точно так же было прекрасно известно о концентрации немецких сил в Словакии.

СТАЛИН: Ну да, для вас разведка на территории Германии не должна представлять особой трудности. Там зедь много поляков.

АНДЕРС: Это правда, мне, например, поставляли информацию мазуры из Восточной Пруссии.

СТАЛИН: Мазуры еще держатся? Это хорошо.

АНДЕРС: Да, держатся с большим мужеством и наверняка выстоят до конца. И еще одно. Генерал Сикорский поручил мне довести до сведения господина президента, что сожжение в Познани огромных складов с теплой одеждой, собранной со всего рейха, на пороге зимы серьезно послужило нашему делу.

СТАЛИН: Это неплохо.

АНДЕРС: Генерал Сикорский должен был 15 марта вылететь в Вашингтон, он требует от Черчилля и Рузвельта серьезных акций на западном фронте. Он считает, что создание одной танковой дивизии в 1942 году полезнее, чем пяти — в 1943-м. Все с нашей стороны свидетельствует о дружественном отношении к СССР.

СТАЛИН: Гитлер — это яростный враг всего славянства. Он боится славян. (Совершенно неожиданно и невпопад.) Наш летчик Леваневский, Герой Советского Союза, великолепный характер, упрямо, несмотря на возражения и сомнения, стремился к цели. Когда он погиб, мы послали его матери денег. Мы хотели поставить ему памятник там, где он родился.

ОКУЛИЦКИЙ: Брат его, наш очень хороший летчик, тоже погиб.

СТАЛИН: Да, я знаю об этом.

АНДЕРС: Раньше кавалерия была важнейшим родом войск, особенно гусары, которые сегодня отдали свои крылья летчикам, а доспехи — танкистам, но дух старой кавалерии остался. Славяне же особенно талантливы в авиации. Ваши летчики великолепны, а наши занимают первое место в Англии.

СТАЛИН: Да, вы правы. Кавалерия всюду славилась своим великим воинским духом. У вас еще что-нибудь?

ОКУЛИЦКИЙ: Времени на проведение эвакуации осталось очень мало. Лучше всего вести эвакуацию через базу в Красноводске. Однако надо немедленно отдать все распоряжения, иначе дело затянется, а продовольствие кончается 31 марта.

СТАЛИН: Правильно, следует поспешить с этим, я отдам соответствующие приказы.

АНДЕРС: Технические проблемы, чтобы не отнимать времени у господина президента, я обговорю с генералом Панфиловым, если господин президент уполномочит его решать эти вопросы.

СТАЛИН: Хорошо, этими делами займется Панфилов.

АНДЕРС: Господин президент позволит мне подвести итоги нашей беседы? (Сталин кивает.) Итак, мы можем рассчитывать, что вся та часть армии, которой не хватает продовольствия, будет эвакуирована на территорию Персии.

СТАЛИН: Да.

АНДЕРС: В связи с эвакуацией и ограничением численности армии до 44 000 мобилизация не будет приостановлена, и поляки из стройбатальонов и русской армии будут освобождены и направлены в польскую армию.

СТАЛИН: Да.

АНДЕРС: Мы можем рассчитывать на оружие, находящееся на территории Персии. Против этого вы ничего не имеете, и я могу передать это генералу Сикорскому и англичанам?

СТАЛИН: Да, не имеем ничего против.

АНДЕРС: По вопросу моего визита в Лондон я могу рассчитывать на советский самолет до Каира и обратно?

СТАЛИН: Да, самолет я дам, но никого с вами не пошлю, потому что у вас есть люди, которые никому не верят, и они скажут, что ЧК посылает своего контролера.

АНДЕРС: Мнение глупых людей, которые есть всюду, меня не интересует, важна конкретная работа, я считаю, что ваш представитель может оказать мне большую помощь в Тегеране.

СТАЛИН: Это не просто глупые люди так говорят у вас, новый председатель Национального Совета Грабский написал против нас очень неприятную статью.

ОКУЛИЦКИЙ: Сегодня наши мечты о том, чтобы создать как можно более сильную армию и прямым путем — воюя — идти к свободной Отчизне, развеялись.

СТАЛИН: Ничего не поделаешь, по-другому нельзя. Если бы не японцы, вам удалось бы это сделать, мы свое слово держим. Обстоятельства изменились не по нашей воле.

АНДЕРС: Мы хотим, чтобы удар наш был силен. Только тогда мы достигнем своей цели — поднимем боевой дух не только среди наших солдат, но прежде всего в Польше. Быть может, нам удастся сформировать часть армии в Иране, а потом она вместе с теми частями, что остаются в СССР, пойдет на фронт.

СТАЛИН (кивая): Тогда вы получите продовольствие, как все наши фронтовые части.

АНДЕРС: Мы хотим первыми войти на территорию Польши, мы знаем, что таков наш долг перед Родиной и что там с нетерпением ждут нас наши братья. В данный момент после вашего решения, господин президент, главным делом является эвакуация, которая должна начаться как можно скорее.

СТАЛИН: Правильно. Я прикажу проверить состояние железнодорожного и морского транспорта и обстановку в этом районе и отдам соответствующие распоряжения. Когда вы улетаете?

АНДЕРС: Завтра мне вряд ли удастся. Я буду совещаться с генералом Панфиловым. А послезавтра я хотел бы вылететь.

СТАЛИН: Это, кажется, все. (Встает, подает на прощание руку.) Желаю удачи. (Молотов прощается весьма любезно.)

Разговор закончился около 19 часов.

...Я размышлял над тем, почему Сталин относительно легко согласился с моими выводами. Это было столь необычное исключительное решение в истории Советского Союза, что я мог объяснить его лишь трудностями, которые в ту пору переживали Советы перед ожидавшимся немецким наступлением. Правда, Сталин, прощаясь, предупредил, что он должен собрать Совет народных комиссаров, чтобы тот утвердил его постановления, но мне кажется, это был обычный блеф, потому что через двадцать минут после моего приезда в гостиницу я получил известие, что все формальности соблюдены. Возможно, заседание Совета произошло еще до моей встречи со Сталиным.

Первая эвакуация

Советские власти необычайно энергично приступили к реализации решений, согласованных со Сталиным. Из Москвы я немедленно послал телеграмму в штаб с сообщением о принятых решениях, а советские власти распорядились организовать транспорт для эвакуируемых. Благодаря моим неустанным просьбам было дано согласие присоединить к отъезжающим часть женщин и детей, так что общее число эвакуированных составило 40 000. Эшелоны должны были идти по железной дороге до Красноводска, а там — морем до Пахлеви.

Во время моего пребывания в Москве я встретился с только что прибывшим новым британским послом сэром Арчибальдом Кларком Керром. Я уведомил его о беседе со Сталиным и распоряжении о частичной эвакуации. Сказал и о моей поездке в Лондон.

Возвращаясь в Янги-Юль, я задержался в Куйбышеве, где ознакомил профессора Кота с решениями, принятыми в Москве. Он был совершенно ошеломлен. Когда он расспрашивал меня и неустанно допытывался о подробностях беседы, я сказал ему, что Сталин обратил мое внимание на то, что некоторые наши люди ведут в России антисоветские разговоры, что я ответил, что дураков везде хватает — не только у нас, но и в Советском Союзе, и что услышал в ответ: «Да, но разговоры вел не обыкновенный дурак, а посол Кот». (Это замечание Сталина в протоколе опущено.)

— Я оказался в очень неприятном положении,— сказал я профессору Коту,— когда услышал это от Сталина.

Реакция профессора Кота была совершенно неожиданной.

— Как же так, Сталин такое сказал, а вы, господин генерал, не встали на мою защиту? Кто же это мог передать Сталину? Ведь не норвежец и не швед, они порядочные люди. А, знаю! Наверняка чех Фирлингер. А ведь меня предупреждали, что это свинья и коммунист.

Вернувшись в Янги-Юль, я отдал необходимые распоряжения. И тут мне пришлось дать бой советским властям, которые прежде всего хотели отослать ранее сформированные отборные части. Все еще надеясь на дальнейшее поступление людей, которые, несмотря на трудности, все время, хотя и небольшими группами, добирались до нас, я считал более правильным эвакуировать вновь сформированные дивизии, состоящие из людей крайне истощенных, только что вышедших из тюрем и лагерей. Я предпочитал остаться в советской России с тем, что уже являлось силой, способной дать отпор.

Я послал в Пахлеви группу офицеров во главе с главным медиком генералом Шарецким и полковником Окулицким с тем, чтобы они организовали все необходимое для приема людей.

Я связался с командованием наших частей на Ближнем Востоке для организации помощи по договоренности с британскими властями; с первой группой офицеров выехал подполковник Халлс, британский офицер-связной при польской армии в СССР.

26 марта 1942 года я совершенно неожиданно получил следующую телеграмму от профессора Кота:

«Известие об эвакуации гражданских лиц вместе с армией уже разошлось и вызовет массовый исход гражданского населения с севера, а также неорганизованные передвижения на юге. Прошу господина генерала дать соответствующие распоряжения, чтобы эвакуация происходила в обстановке строгой секретности и не допустить распространения информации о ней. Кот».

С большим трудом мне удалось убедить советские власти в необходимости присоединения к эвакуирующимся частям гражданского населения, женщин и детей. Я знал, что для них это единственное спасение от голодной смерти. Солдат недоедал, отрывая крохи от своего полуголодного пайка, делился куском с соотечественниками, которые толпами стремились под спасительное крыло армии, видя там единственную возможность выжить. Сотни и тысячи умирали в лагерях для перемещенных лиц и в карантинах. Я отдал приказ принимать в военные эшелоны каждого поляка, который заявит о своем желании эвакуироваться. Я приказал вывезти сирот и детей, потерявших родителей. Как я уже упоминал, советские власти проводили эвакуацию в страшной спешке. Многие поляки не успевали явиться на эвакуационные пункты. Посол Кот хотел помешать распространению информации об эвакуации. Это было какое-то чудовищное недоразумение, происходящее от полного непонимания советской действительности.

На следующий день я получил телеграмму из Лондона, подписанную за генерала Сикорского, который в это время находился в Америке, начальником генерального штаба генералом Климецким:

«Британские власти встревожены известием о том, что к эвакуируемым частям армии присоединяются семьи, которые планом эвакуации не предусмотрены. Имея в виду продовольственные трудности в Иране, следует дальнейшую эвакуацию семей немедленно приостановить вплоть до возможного согласия британских властей, чтобы не задерживать или не ограничивать эвакуации армии. Сколько гражданских лиц уже эвакуировано и сколько вы, господин генерал, еще хотите эвакуировать?».

Эшелоны отходили с точностью до минуты. Эвакуация должна была завершиться в течение недели. Кто не выедет в этот срок, тот бесповоротно теряет всякую надежду вырваться из советской России. И я должен ждать возможного согласия британских властей! В тот же день получаю еще две телеграммы того же содержания от генерала Климецкого и посла Кота с категорическим требованием остановить эвакуацию семей и обещанием когда-нибудь, в будущем, когда будет закончена эвакуация армии, вернуться к этому вопросу. У меня нет времени объяснять и убеждать. Либо я спасаю гражданское население, либо оставляю людей на произвол судьбы. Если даже в Иране часть их умрет от голода, то здесь все до одного обречены на гибель. Я принимаю на себя всю ответственность и не отменяю своих приказов и распоряжений.

В Лондон

Через два дня я вылетел на советском самолете в Тегеран, откуда, установив контакт с британскими властями и обсудив проблемы эвакуации с польским командованием, отправился дальше, в Каир. Англичане проявили далеко идущую доброжелательность и готовность помочь.

Самолет наш после прибытия в Каир вызвал сенсацию. Был это, кажется, первый самолет с красной звездой, приземлившийся на египетской земле. Каир произвел на меня незабываемое впечатление. Прелестный город весной, в солнечную погоду, нормальная мирная жизнь, ну и иету НКВД. Собственно, только здесь я по-настоящему почувствовал себя свободным, и, может быть, поэтому я до сих пор так сильно люблю Каир.

После однодневной остановки в Лиссабоне, где я встретил старых знакомых, в том числе посла графа Юзефа Потоцкого с женой, многих людей из польской колонии, мы полетели в Ирландию, а оттуда в Лондон.

В день приезда я был на обеде, который дал в мою честь генерал Сикорский. Вслед за телеграммой, которую я отправил еще из России, я сообщил ему о последних событиях. Генерал Сикорский принял меня сердечно.

Я впервые встретился с Черчиллем, который задал мне ряд вопросов, касающихся советской России; интересовался он также состоянием польской армии. Я высказал свое мнение о том, что следует всю польскую армию вывести из России и сконцентрировать на Ближнем Востоке.

Когда я впоследствии рассказывал подполковнику Халлсу о встрече с Черчиллем, он спросил, угостил ли меня премьер-министр сигарой. Я ответил, что угощал, но я поблагодарил и отказался, поскольку курю исключительно сигареты.

— Какая жалость, что вы, господин генерал, все-таки не взяли сигару, раз в жизни я выкурил бы сигару самого Черчилля...

Я познакомился также с Майским и Богомоловым. Я даже был принужден посвятить им довольно много времени, хотя и знал заранее, что скажет каждый из них. Кажется, это были единственные скучные встречи в Лондоне, лишенные искренности и свободы, не приносящие ничего нового...

Перед самым отъездом из Лондона я в течение нескольких часов беседовал с генералом Сикорским. Вследствие выдвигаемых с 1942 года претензий на польские территории его вера в добрую волю Кремля сильно поколебалась.

Я доказывал необходимость немедленного вывода людей из советской России, причем следовало употребить все возможности дипломатического нажима сейчас, пока Россия слаба, а Германия угрожает ей ежеминутно.

Генерал Сикорский предложил мне либо остаться в Лондоне, либо принять командование на Ближнем Востоке. Я объяснил, что это невозможно, что в условиях, которые в данный момент существуют в советской России, я должен закончить то, что начал. Я лично знал всех членов советского правительства, многих выдающихся военачальников и офицеров НКВД, а главное, я ориентировался в советской психологии. Наконец, наши люди, оставшиеся в России, привыкли видеть во мне руководителя и справедливо могли бы упрекнуть меня в том, что я бросил их в трудную минуту. Независимо от того, что будет, я должен вернуться к моим солдатам.

Генерал Сикорский согласился с моими доводами и уполномочил меня предпринять все действия для выведения как можно большего числа людей из России, а для того, чтобы подчеркнуть связь между нашей армией и войсками, которые уже были на Ближнем Востоке, назначил меня одновременно инспектором на Ближнем Востоке.

Обсуждая тяжелое военно-политическое положение, я выразил убеждение, что будущее наступление в Европе должно пойти через Балканы, что было бы, по моему мнению, благоприятнее всего для Польши, потому что в момент разгрома немцев на территорию Польши вошли бы силы западных государств и польская армия. Поэтому я считал, что следует всю польскую армию сконцентрировать и подготовить к боевым действиям на Ближнем Востоке. Я предлагал генералу Сикорскому перебросить из Шотландии войска и авиацию и самому встать во главе армии. Мне казалось, что генерал Сикорский склоняется к тому, чтобы признать весомость моих аргументов, но он не дал определенного ответа, сказав, что пока его пребывание в Лондоне необходимо.

Я просил генерала Сикорского опровергать где только можно лживую советскую пропаганду о так называемом втором фронте. Первый фронт, по моему мнению, был в 1939 году в Польше. Этот же фронт переместился потом в 1940 году в Данию и Норвегию, а затем — в Голландию, Бельгию и Францию. На этом же фронте шла битва за Англию, к нему принадлежали Югославия и Греция. Для союзников и для нас именно советский фронт был вторым фронтом, возникшим исключительно вследствие недоразумений между бывшими союзниками — Германией и Россией. Советская пропаганда умышленно, предвидя далеко идущие политические замыслы, уверяла общественное мнение в том, что только германо-советская война создала первый фронт в советской России. Это неточное название широко распространилось, и даже генерал Сикорский в Москве заявил Сталину, что он сторонник скорейшего создания второго фронта. Генерал Сикорский согласился с моими аргументами, но в то же время заявил, что политическая ситуация требует активных действий в создании фронта на западе европейского континента, а название — вопрос второстепенный.

В результате после долгой искренней беседы мы расстались с генералом Сикорским в дружеских отношениях.

В России все тяжелее

Я застал трудную ситуацию. НКВД все больше вмешивалось в наши дела. Нам мешали на каждом шагу. Оружия не доставляли, продовольствия выделяли все меньше. Вдобавок началась малярия. Люди были ослаблены, недоедали, так что болезнь легко убивала их. Советские власти все сильнее сдерживали перемещение людей с севера на юг. Приходили известия, что тысячи поляков задерживаются в лагерях и тюрьмах. О пропавших офицерах до сих пор ничего не было известно. Зато все упорнее ходили слухи о том, что их всех расстреляли, а также о том, что их утопили в Белом море.

Я все больше приходил к осознанию того, что если поляки останутся в советской России, то все они погибнут. 8 июня я послал телеграмму генералу Сикорскому, в которой сообщал об этом. 12 июня я получил ошеломляющий ответ: «В высших политических целях армия должна остаться в СССР».

Я понимал, что если даже сейчас, когда Россия находится в трудных условиях, немцы постоянно наступают, Союзу грозит разгром, если даже сейчас советские власти так неприязненно относятся к нам, полякам, что же будет, когда военное счастье отвернется от немцев? Политические руководители, все Политбюро, все советское правительство — это те же люди, которые заключили пакт с Германией и устами Молотова выражали радость, что Польша, «ублюдок версальской системы», навсегда прекратила свое существование. Это были те же люди, которые причинили невиданные ранее в истории страдания миллионам поляков и уничтожили многие сотни тысяч человеческих жизней. Впрочем, точно так же они поступали со своим народом. Мы подсчитали, основываясь на сообщениях людей, освобожденных из лагерей, что общее число заключенных в лагерях и тюрьмах колеблется от 17 до 20 миллионов. Обычно никого никогда не освобождали за исключением уголовников, которых отправляли на фронт. В некоторых лагерях смертность достигала 80 % в течение года...

Мы полностью зависели от советских властей. Профессор Кот, вообще враждебно относившийся к военным, мешал нам во всем и, думаю, неправильно информировал генерала Сикорского. В тот момент, когда начались аресты польских представителей и сотни тысяч людей были отданы на произвол советских властей, он совершенно потерял голову и заявил, что болен и что ему придется уехать. Не дожидаясь прибытия нового посла, Тадеуша Ромера, в июле 1942 года он покинул Куйбышев и отправился с ближайшими сотрудниками в Тегеран. Временно его место занял советник Генрик Сокольницкий. Он не мог сделать почти ничего, тем более что обращения посла Кота к Вышинскому не дали никаких результатов.

Я продолжал настаивать, чтобы нашей армии разрешили выйти в Иран.

Для СССР необычайным событием было разрешение на приезд в польскую армию епископа Гавлины. Конечно, это произошло только из-за военно-политической ситуации СССР. Кремлю было важно показать США и Великобритании, что в Советском Союзе существует свобода религии. Однако изумление охватило не только тех советских граждан, которые видели епископа, служащего молебен в литургическом одеянии, но даже многих военных и энкаведешников. Правда, во время молебна чиновники НКВД и «сексоты», то есть рядовые тайные агенты, крутились всюду и отгоняли местное население, но люди приходили толпами и, видя наших солдат с непокрытыми головами, и сами потихоньку снимали шапки. Для наших солдат это было потрясение: еще недавно им запрещали молиться, а теперь приставленные к польской армии генералы и полковники НКВД слушают молебен с непокрытыми головами.

Епископ Гавлина до конца оставался вместе с армией в СССР, а после эвакуации из Ирана сопровождал нас в Ирак. Там он уже свободно мог говорить о судьбах поляков в советской России и без недомолвок обвинять Советский Союз в тоталитаризме, гнете и несправедливости. Он поднимал в людях дух, укреплял веру в Бога и Его справедливость. Поэтому так сильно нападала на него потом советская пропаганда, особенно за книгу, которую он написал после своего возвращения из советской России.

Так получилось, что последние месяцы своего пребывания в СССР армия провела в Узбекистане. Я собственными глазами видел следы чудовищно кровавой ликвидации восстания туркмен и узбеков, восстание это подавлял Буденный. До сих пор лежат в развалинах городки и деревни. Люди вспоминают о сотнях тысяч убитых и миллионах вывезенных в концлагеря. Лишь небольшим группам молодежи удалось прорваться в Афганистан. Во время моего пребывания там я ясно чувствовал враждебное отношение гражданского населения к режиму. Видимо, это и было причиной еженощных арестов и высылки людей на север. Когда я побывал в Самарканде и вспомнил, что здесь останавливался Чингисхан, здесь проходили его войска, то невольно пришло на мысль сравнение: в Москве сидит новый Чингисхан, куда более жестокий, и влияние его простирается далее границ бывших владений старого завоевателя.

Во время своего пребывания в Янги-Юле я получил от Сталина двух лошадей и постоянно ездил на них. Это была единственная возможность ускользнуть от опеки НКВД. Я часто проезжал мимо концлагерей, где видел тысячи людей в лохмотьях и в тех же условиях, в каких недавно были наши солдаты. Охрана НКВД, видя меня в фуражке и сапогах, была уверена, что это офицер НКВД высокого ранга объезжает территорию. Им и в голову не могло прийти, что кто-нибудь другой в советской России мог так свободно верхом разъезжать в этой округе. В одну из своих дальних поездок я наткнулся на лагерь, где все заключенные были в военной форме. Присмотревшись, я понял, что это советские офицеры. Как обычно, после арес-

та они уже не имели знаков различия, но следы нашивок остались на воротниках. Я видел генералов и полковников, и не было ни одного младше майора. Вернувшись с прогулки, я спросил полковника НКВД Волковыского, что это значит. Он ответил, что это гитлеровцы и трусы; а было их около полутора тысяч. На другой день сам полковник уведомил меня, что был звонок из Москвы с просьбой не совершать прогулок в том районе.

В Янги-Юле многие солдаты волей-неволей общались с местным населением. Это было нелегко, потому что количество энкаведешников значительно увеличилось, а местные знали, что им грозит за близкое знакомство с польскими солдатами. Однако купания в реке и чудесные ночи делали свое дело. К тому же в Янги-Юле было много женщин, они работали на мармеладной фабрике, существовавшей с 1910 года. С рабочими власти обходились ужасно. Многие просили еду у солдат. Оказалось, что теоретически им полагался ежедневный паек — 600 граммов хлеба, а больше ничего, впрочем, как и во всей России. Но очень часто хлеб не привозили, и тогда два—три дня люди буквально голодали. Спасали свою жизнь тем, что варили суп из листьев, в лучшем случае ели краденые фрукты. Когда хлеб наконец привозили, то никогда не отдавали паек за пропущенные дни. Просто говорили: «Както ведь выжили, обойдетесь». Таким образом поступали с рабочими везде в СССР.

Окончательная эвакуация

В Куйбышеве 7 июля 1942 года я беседовал с сэром Арчибальдом Кларком. Он заявил мне, что был удивлен предложением перевести польскую армию на Ближний Восток, поскольку ранее он не имел на то никаких указаний от своего правительства, но в результате воспринял это с удовлетворением. Во время нашей беседы ему пришла телеграмма от британского правительства с поручением обратиться к советскому правительству за разрешением на эвакуацию семей военных вместе с детьми, а также по поводу продолжения мобилизации в польскую армию. Я настаивал на том, что для эвакуации гражданских лиц следует употребить все средства нажима на советские власти, потому что солдаты, оставив свои семьи на голодную смерть, не будут спокойны душой и не смогут воевать как следует. Я просил не ослаблять давление на советские власти по польскому вопросу, на что посол ответил, что англичане до сих пор не были достаточно настойчивы, потому что польское правительство не просило их об этом и британские власти поняли это так, что польское правительство предпочитает вести переговоры непосредственно с Советским Союзом. Беседа закончилась обещанием в ближайшее время информировать британское правительство по всем польским проблемам в целом.

После возвращения из Куйбышева в ташкентском аэропорту в ночь с 7 на 8 июля подполковник НКВД Тишков сообщил мне, что советское правительство согласно на вывод польской армии из СССР в Иран. Постановление звучало так:

«Москва. № 2651/1224. Вручить немедленно. Срочно. Правительственное. Янги-Юль. Командующему польской армией в СССР дивизионному генералу В. А. Андерсу. Правительство СССР согласно удовлетворить просьбу командующего польской армией в СССР дивизионного генерала Андерса об эвакуации польских частей из СССР на территорию Ближнего Востока и не имеет намерения ставить каких-либо преград в немедленном осуществлении эвакуации. Полномочный представитель Совета Народных Комиссаров СССР по делам польской армии в СССР, майор государственной безопасности Жуков».

Итак, после долгих упорных стараний я получил согласие властей СССР на эвакуацию 70 000 поляков из советской России. Я не позволил исключить из этого числа тех украинцев, белорусов и евреев, которые уже состояли в рядах армии. Власти СССР делали все, чтобы затруднить выезд, особенно евреям, которые хотели эвакуироваться как члены семей военных. Советское коварство особенно полно проявилось именно в этом деле. Евреям сообщили, что польские власти не согласны на их выезд, одновременно армия получила строжайший приказ не впускать евреев в эшелоны. 3 августа я встретился с представителями евреев и объяснил им ситуацию. Я уведомил их, что советское правительство дало согласие на выезд только тех евреев, которые являются членами семей солдат и офицеров, находящихся на действительной службе в польской армии. Впрочем, и это позволение дано было только после моих настойчивых обращений. На выезд других граждан еврейской национальности советское правительство согласия не дало, без всяких исключений. Я касаюсь этого вопроса потому, что большевики, а вслед за ними и некоторые еврейские круги воспользовались этим случаем, чтобы заклеймить «польский антисемитизм». Я сохранил ряд писем от раввинов, общественных деятелей и еврейских граждан, выражающих мне благодарность за спасение им жизни — эвакуацию из советской России. Более 4000 евреев вместе с польской армией покинули Советский Союз.

Советские власти довольно энергично взялись за проведение эвакуации. Она была поручена генералу Жукову — ему предоставили неограниченные полномочия. Несколько поездов было выслано на юг, и назначен необычайно короткий срок эвакуации — две недели. Зная порядки, царящие на советских железных дорогах, я выразил сомнение в реальности этого срока. Я получил ответ, что делом этим занимается НКВД, так что сроки будут выдержаны, каких бы жертв это ни стоило, а опыт первой (мартовской) эвакуации заставлял верить в подобные утверждения.

После долгих переговоров мне удалось получить согласие — и я оставил моего тогдашнего начальника штаба генерала Богуш-Шишко во главе эвакуационной комиссии. Оставляя генерала Богуш-Шишко в СССР на более долгий срок, я имел в виду не только свертывание и упорядочение наших дел, но и досылку людей, которые пока что находились в госпиталях или

выехали на поиски своих семей. Важно было позаботиться и о людях, все еще прибывавших в нашу армию, несмотря на меры НКВД. И наконец, я допускал, что меняющаяся политическая и военная ситуация может сыграть нам на руку, поскольку немцы шли на Сталинград и на Кавказ. Казалось, что давление союзников в этот момент может дать определенные результаты.

Устроив все эти дела, я вернулся в Янги-Юль и приступил к организации эвакуации. Я объехал все части и расположения войск, чтобы морально поддержать людей и на месте обсудить с офицерами, как вывозить гражданское население. Это была очень трудная проблема, если принять во внимание позицию советских властей, которые мешали нам как могли. Физически люди были ослаблены, много больных. Если бы не запас продуктов из Великобритании, многие не дотянули бы до момента эвакуации. Особенно тяжело было в резервных частях в Гузаре, а также в 7-й дивизии в Кермине. Трудно было в Шахризабе, в 6-й дивизии, где сильнее всего косила людей малярия. Я был во всех госпиталях: даже тяжело больные умоляли вывезти их из Советского Союза.

Эшелоны отправлялись в путь. Я усилил наши базы в Красноводске, где командовал, к сожалению, подполковник Берлинг, а также в Ашхабаде.

С Черчиллем в Москве

12 августа я получил телеграмму, вызывавшую меня в Москву для встречи высокого гостя. Я догадался, что это должен быть Черчилль; я слышал по радио, что его ждут в Москве. Я вылетел немедленно. Черчилль уже находился в Москве и вел переговоры. 13 августа 1942 года меня уведомили, что прилетает Уэйвелл и начальник имперского штаба сэр Ален Брук. Я отправился на аэродром, где вместе с тогдашним начальником генштаба Красной Армии маршалом Шапошниковым и многими другими советскими генералами ожидал прибытия гостей. Самолет опоздал, так что я около часа разговаривал с маршалом Шапошниковым, который был офицером генерального штаба еще в предыдущей войне. Сначала он был осторожен в высказываниях, когда я начал разговор о польско-советских отношениях, а особенно о положении поляков в советской России, но охотно обсуждал военные действия, не скрывая тяжелого положения под Сталинградом и на Кавказе.

Обоих британских генералов поселили в гостинице «Националь», где жил и я. 14 августа мне представилась возможность обсудить наши дела и проблемы, нежелание советских властей отдать нам всех наших людей, а также коснуться всех тех вопросов, которые появятся после нашего перебазирования на Ближний Восток. Мне кажется, генералов волновало положение советской России.

15 августа я встретился с французским полномочным министром Гарро.

В тот же день я получил приглашение на вечер к премьер-министру Черчиллю. Строго храня тайну и даже не сообщая, куда везут, меня доставили на виллу Сталина под Москвой. Она была окружена рядами колючей проволоки, ее охраняли двойные посты НКВД. Черчилль запаздывал в связи с совещанием у Сталина, последнего за время его визита, поэтому, не дожидаясь сэра Уинстона, мы пообедали в обществе британского посла сэра Арчибальда Кларка Керра, заместителя министра иностранных дел Кадогана и начальника военного кабинета премьер-министра. Только в три часа ночи приехал Черчилль, весьма довольный ходом переговоров. В разговоре со мной Черчилль расспрашивал о военном положении, особенно интересуясь боями под Сталинградом и на Кавказе. Польские проблемы мне удалось затронуть лишь бегло. Время было позднее, а улетал Черчилль рано утром, поэтому он спросил меня, не могу ли я полететь с ним в Каир. Это было невозможно, так как я должен был отдать в штабе все необходимые распоряжения в связи с эвакуацией. Поэтому мы договорились, что, организовав эвакуацию, я немедленно вылечу в Тегеран, а оттуда в Каир для беседы с британским премьер-министром.

Вернувшись в гостиницу, я успел лишь умыться и переодеться; в 4.30 я выехал на аэродром, чтобы попрощаться с отбывающим премьер-министром. Черчилля провожали с великой пышностью и торжественностью. Во главе советских государственных деятелей выступал Молотов. Промаршировала рота почетного караула московского гарнизона. Прощаясь, британский премьер еще раз напомнил, что ожидает моего приезда в Каир.

17 августа в 6 часов утра я вылетел в Янги-Юль, где обсудил все оставшиеся вопросы, связанные с эвакуацией, с генералом Богуш-Шишко, а также с генералом Жуковым и с местными советскими властями.

Из России на Ближний Восток

19 августа на советском самолете я вылетел из Ташкента в Тегеран. Генералы и советские власти достойно попрощались со мной. Вообще, после освобождения из тюрьмы на каждом шагу старательно подчеркивалось, что я занимаю особый пост. Быть может, советские власти хотели завоевать мое доверие, поскольку знали, что я прекрасно разбираюсь в России и пользуюсь авторитетом среди поляков. Это выразил генерал Жуков, который перед самым отлетом спросил меня один на один, каково мое мнение о советской России и в самом ли деле я не вижу в Советском Союзе никаких хороших черт. Я ответил, что вижу великолепную организацию НКВД и силу, с какой взяты в клещи разные народы советской России. Я добавил, что это не совпадает с тем, что мы на Западе называем свободой человека. Генерал Жуков указал на большие успехи в области промышленности и в освоении огромных пространств Сибири, которые до тех пор были безлюдной пустыней. Я признал, что успехи велики, но слишком дорого обхо-

дятся — ценой больших человеческих жертв. Я попрощался с ним сердечно, потому что, хотя это и был человек, абсолютно преданный советскому режиму, он отличался порядочностью и его энергии я обязан хорошим проведением обеих эвакуаций; именно благодаря ему мне удалось освободить из тюрем и лагерей многие тысячи людей, которые скорей всего никогда бы не увидели свободы.

Мы долетели до Ашхабада, где самолет заправили горючим, а я успел послать последние распоряжения начальнику базы. Мы долго набирали высоту, чтобы пролететь над горными хребтами, возносящимися на иранской границе.

Я покидаю советскую Россию, а в ушах у меня звенит песня, известная всем, кто прошел через страшные российские лагеря. Этой песней грохочут все мегафоны и будут греметь каждый день ранним утром для 20 миллионов невольников, когда их, голодных и измученных, гонят на работу — во славу и величие Советского Союза.

Широка страна моя родная,
много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
где так вольно дышит человек!

Мы оставляем в России тайну

Большинство польских офицеров, которые попали в плен к Красной Армии, вошедшей в Польшу в сентябре 1939 года, были вывезены в Россию и размещены в трех лагерях: в Козельске на восток от Смоленска, в Старобельске недалеко от Харькова, в Осташкове под Калинином. В начале 1940 года в этих лагерях находились — в Козельске около 5000 человек, в том числе около 4500 офицеров; в Старобельске около 3920 человек, почти исключительно офицеры (около 100 человек — гражданские лица, подхорунжие и хорунжие); в Осташкове около 6570 человек, в том числе 380 офицеров, а кроме того, унтер-офицеры, солдаты-пограничники, священники, судебные чиновники.

Из вышеупомянутых 15000 пленных нашлось (после подписания польско-советского договора от 30 июля) только 400 человек, вывезенных в Грязовец.

В «Историческом походе» советского комиссара корпуса Кожевникова, напечатанном в газете «Красная звезда» от 17 сентября 1940 года, читаем:

«В период с 27 по 28 сентября части одной кавалерийской дивизии при содействии танковой дивизии окружили и ликвидировали группу генерала Андерса севернее местности Райгородок. Группа эта, насчитывающая в тот момент 3000 сабель и 12 орудий, намеревалась выскользнуть и сбежать в Венгрию. Результатом боя было взятие в плен более тысячи солдат и большого количества трофеев, в том числе 11 орудий. Лишь небольшой горстке поляков удалось пробиться в район Перемышля, где их задержали наши части. При этом были взяты в плен генерал Андерс и генерал Плисовский, 3 полковника и более 50 других офицеров».

Я же во время создания польской армии в СССР нашел в единственном тогда лагере польских пленных офицеров (в Грязовце) только 3 офицеров из частей, которыми командовал в Польше. От них я узнал, что много офицеров, моих подчиненных, находилось до весны 1940 года в Старобельске.

Удивленный таким малым числом офицеров, которые явились в формирующуюся польскую армию, я обратился к советским властям. И получил успокаивающий ответ, что все найдутся.

От офицеров из Грязовца я узнал, что лагеря в Козельске, Старобельске и Осташкове были ликвидированы весной 1940 года, а пленных из этих лагерей вывозили группами в неизвестном направлении. С этого же времени прервалась их переписка с семьями. Только около 400 офицеров из этих трех лагерей передали в лагерь в Павлищевом Бору, а затем, в июне 1940 года, перевезли в Грязовец.

Время шло, никто из пропавших не появлялся, первоначальное удивление сменилось тревогой. Тем энергичнее я лично требовал информации у советских властей на всех уровнях, вплоть до самого высокого. То же самое делал профессор Кот. Польское правительство отправило ряд нот советскому правительству с просьбой прояснить судьбу пропавших. Эти требования подкреплялись списками имен, составленными по показаниям сослуживцев пропавших. Все эти усилия не дали никаких результатов. Советские власти оставили наши вопросы без каких-либо конкретных ответов — что же произошло с пропавшими польскими пленными?

Я стал расследовать эту тайну на свой страх и риск. Разослал людей на поиски по всей России. Среди тех, кто выполнял это необычайно трудное задание, следует назвать ротмистра Юзефа Чапского, который сам был пленником в Старобельске. Увы, и его старательные поиски не дали результатов. Ротмистр Чапский позже написал об этом книгу под названием «Старобельские воспоминания».

Ничего не дали попытки узнать что-нибудь о судьбе пропавших от поляков, которые со всех концов России прибывали в формирующуюся армию.

Меня все более грызла тревога. Со стороны советских властей — молчание или уклончивые формальные ответы. А тем временем появились страшные слухи о судьбе пропавших. Что их вывезли на северные острова за Полярным кругом, что их утопили в Белом море и т. п.

Фактом было то, что ни об одном из 15000 пропавших пленных не было с весны 1940 года никаких известий и никого из них, буквально — ни одного, не удалось отыскать.

Только весной 1943 года открылась миру страшная тайна, мир услышал слово, от которого до сих пор веет ужасом: Катынь.

Считаю людей и... свожу счеты с совестью

Я покидаю советскую Россию и понимаю, что для всех нас начинается новая эпоха в жизни.

Для нас всех? А сколько нас? Почти 115000 уже покинуло и покидает в данный момент Советский Союз. Они будут свободными людьми и пойдут в бой за свободу. А остальные из полутора миллионов вывезенных и заключенных? Мы подсчитали, по докладам и показаниям, что более половины из них уже нет в живых, а кости их рассеяны по всем так называемым советским республикам. Для тех, кто выжил, раз свершилось чудо и блеснула надежда на свободу летом 1941 года, а после нашего отъезда снова упадет железный занавес. А ведь еще сотни тысяч остались в России.

Был ли иной выход? Может быть, можно было и следовало поступить иначе? У меня не было и нет никаких сомнений. Достаточно взглянуть на эти 115000 — старых, молодых, детей, здоровых и больных, умирающих от истощения. Если спросить их, не найдется ни одного, на самом деле — ни одного! — кто не ответил бы: Бог спас нас из дома неволи. Нет ни одного, не проклинающего палачей и мучителей, потому что эти люди узнали советский режим снизу, в ежедневной реальности. Они узнали всю фальшь и лицемерие Советов, где в течение 25 лет людей убеждают при помощи правительственных сообщений, прессы и радио (тоже правительственных, потому что других не существует), что эксплуатация трудящихся масс во всем мире, а особенно в Америке и Великобритании, напоминает худшие времена крепостного права и что в этих странах «прогнившего капиталистического Запада» царит такая нищета, что жизнь в Советском Союзе — настоящий рай по сравнению с нею. Но они сами познали этот «рай» на собственной шкуре, прошли советские тюрьмы и лагеря, своими глазами видели нищету рабочего и крестьянина, убедились в чудовищном порабощении и убожестве жизни простого человека. Сколько раз мне приходилось слышать: «Ах, если бы коммунисты с Запада вздумали приехать хоть на два-три месяца, но не в Кремль, а так, чтобы в самом деле увидеть советскую жизнь, они излечились бы навсегда от своих иллюзий, как коммунисты, которые приехали из Австрии и Испании; только те уже никогда ничего не скажут, потому что почти все погибли в лагерях и тюрьмах».

Следует еще раз вспомнить и серьезно осознать, что в германо-советском союзе, а затем после оккупации Польши, двумя этими объединившимися тоталитарными режимами, польский вопрос был решен — Польша была приговорена к полному уничтожению, уничтожению не только государства, но и важнейших, наиболее жизнеспособных сил польского народа. С этой целью как немцы, так и русские арестовали и выслали более полутора миллионов поляков. К концу 1941 года половины из них уже не было в живых, а многие сотни тысяч других не выдержали бы следующей зимы. Советская Россия вывезла из Польши как пленных десятки тысяч офицеров и сотни тысяч рядовых. Подавляющее большинство рядовых были заключены в лагерях. Офицеров поместили в отдельных лагерях, из которых самые большие находились в Козельске, Старобельске и Осташкове. Приговорив их к смерти, после многих проверок выбрали из них пару десятков, отделили в относительно хороших условиях, и началась политическая обработка и подготовка агентов, преданных Москве. Несмотря на все усилия, количество «переподготовленных» так и не превысило двадцати до того момента, когда Германия напала на своего союзника.

Нападение Германии на Россию привело к подписанию польско-советского договора, который в других условиях был бы невозможен. Одним из важнейших пунктов этого договора было формирование польской армии в СССР. Весьма невыгодная для Советского Союза, а в то время даже более чем невыгодная, военно-политическая ситуация принудила Советский Союз поручить организацию армии самим полякам. Однако для верности армию разместили в глубине страны, в районе Бузулука, над Волгой. Русские не учли жизненной силы, выдержки поляков, они были поражены твердыми принципами «лагерников», их верой в возрождение независимой Польши, их глубокой религиозностью. Они быстро поняли, что не добились своего, что эта армия не станет коммунистической армией. Поэтому они задерживали приток добровольцев, не давали оружия, лишали армию продовольствия. Однако им важны были хорошие отношения с союзниками, прежде всего — помощь союзников. Не имея возможности поступить так, как они поступили в Катыни, хотели решить проблему польской армии высылкой на фронт по очереди отдельных дивизий, даже не вооруженных, чтобы они там и исчезли. Но замысел этот не достиг своей цели из-за моего решительного сопротивления. Не оставалось ничего другого, как дать согласие на переход только что сформированных польских частей в Иран. Такое согласие было дано лишь потому, что вследствие трудного положения Советов в то время они не могли себе позволить разделить и уничтожить эту группу, особенно перед лицом твердой и неуступчивой позиции польского солдата. Немедленно после выхода нашей армии Кремль приступил к созданию новой польской армии, но уже под русским и коммунистическим руководством. Происходило это под эгидой так называемого Союза Польских Патриотов. Для соблюдения приличий и для введения в заблуждение поляков во всем мире советской радиостанции, вещавшей на польском языке, дали имя национального героя Польши Костюшко.

Дальнейший ход событий ясно показал, что выход из России был возможен только в 1942 году, а уже через несколько месяцев старания наши не принесли бы никаких результатов и польские солдаты вернулись бы в лагеря.

Послесловие

ВЛАДИСЛАВ АНДЕРС, видный военный и государственный деятель Польши, родился 11 августа 1892 г. в Блонье близ Варшавы в семье земельного агента. В 1911 г. поступил в Рижский политехнический институт, из которого в 1914 г. был призван на военную службу. Участвовал в боях в составе кавалерийского корпуса хана Нахичеванского. В феврале 1917 г. окончил Петербургскую военную академию. После свержения царя вступил в 1-й полк кречовецких уланов, в ноябре 1917 г. становится начальником штаба 7-й дивизии польских стрелков в составе польского армейского корпуса, действовавшего в Белоруссии. В 1919 г. назначается начальником штаба польской восточной армии, участвует в 1920 г. в боях с Красной Армией. В 1922—1924 гг.— учеба в парижской школе верховного командования. В конце 20-х — 30-х гг.— командир кавалерийской бригады в Ровно, Кременце, Бродах, Барановичах. К моменту нападения гитлеровской Германии на Польшу Андерс — командир кавалерийской бригады в Лидзбарке в ранге генерала дивизии. Период с сентября 1939 по август 1942 г. подробно описан в его книге, и нет нужды на нем останавливаться.

После вывода армии Андерса в Иран и Ирак она длительное время проходила обучение, доформировывалась, снаряжалась (вооружение, которое предоставило ей советское правительство, было оставлено в СССР), прикрывала ближневосточный театр военных действий. В 1944—1945 гг. возглавляемые генералом польские части сражались с немцами в Италии в составе 8-й английской армии. В мае 1944 г. ими был взят штурмом монастырь Монте-Кассино, во время сражения погибли 3779 поляков. Армия Андерса сыграла главную роль в освобождении адриатического побережья Италии и закончила войну в Болонье. В 1945 г. генерал был назначен исполняющим обязанности верховного командующего польскими вооруженными силами.

После победы над гитлеризмом Андерс, не признававший правительство национального единства в Варшаве, не вернулся в свою страну. Он возглавил Польский корпус, в который вошли те солдаты и офицеры, которые решили не ехать домой. 26 сентября 1946 г. правительство ПНР лишило генерала польского гражданства. В 1954 г. Польский Национальный Совет в Лондоне избрал Андерса членом Совета трех, руководящего органа польского зарубежья. Фактически он стал его лидером.

Воспоминания Владислава Андерса «Без последней главы» [1] — не выдающийся памятник литературы, но документ, позволяющий ощутить драматизм эпохи. Трагедия Польши, разделенной между двумя тоталитарными режимами, ее народа, сотен тысяч мирных граждан, сосланных в Сибирь и Казахстан, заключенных в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа, расстрелянных в Катыни, Харькове и Медном офицеров — в центре повествования. Видимо, будет нелишне напомнить о некоторых событиях 1939—1942 гг., чтобы мемуары польского генерала воспринимались в контексте истории тех лет.

В основании всей пирамиды лежит сговор И. В. Сталина и А. Гитлера относительно будущего Речи Посполитой. Намерение фюрера «третьего рейха» захватить Польшу превратилось в твердую решимость после того, как в октябре 1938 г. Варшава отвергла предложение Берлина о подготовке к совместному походу против СССР. 24 октября И. Риббентроп вручил польскому послу ноту с требованием присоединить Данциг к Германии и предоставить экстерриториальную зону для строительства автострады и железной дороги. 21 марта 1939 г. Польше были предъявлены новые, фактически ультимативные требования. 11 апреля Гитлер подписал директиву о готовности начиная с 1 сентября к проведению операции «Вейс» — захвату Польши. Эта акция рассматривалась как предпосылка к войне с Англией и Францией. Гитлер исходил из того, что «содействия России, если она вообще окажется на него способной, Польша никак не сможет принять, так как это означало бы ее уничтожение большевизмом» [2].

Сталин, ликвидировав всех способных в будущем занять отличную от него позицию, переключил свое внимание на внешнюю политику. Видимо, идея собирания потерянных в ходе революции и гражданской войны территорий бывшей Российской империи импонировала одержимому гигантоманией «отцу народов». К тому же представлялось заманчивым стравить западные демократии и державы «оси», а самому ждать, когда в истощивших друг друга государствах вспыхнет пролетарская революция. Антизападные настроения получили отражение в речи Сталина на XVIII съезде ВКП(б), в смещении М. М. Литвинова. Как доносил в Берлин 5 июня посол Германии в СССР Ф. Шуленбург, новый нарком иностранных дел В. М. Молотов не только не отклонил в беседе с ним предложение о германо-советском урегулировании, но «почти что призвал нас к политическому диалогу. Наше предложение о проведении только экономических переговоров не удовлетворило его» [3].

Конкретное предложение заключить соглашение, которое приняло бы во внимание «жизненные политические интересы сторон», было внесено немцами в конце июля. Советское руководство встретило его с интересом и сразу поставило вопрос о территориях, населенных украинцами, то есть тех, что по Рижскому договору 1921 г. входили в состав Польши. 29 июля статс-секретарь германского МИД уполномочил Шуленбурга передать Молотову: «При лю-

---

[1] В журнале опубликована с небольшими сокращениями первая часть книги. Во второй части речь идет о периоде после выхода армии в Иран. (*Прим. ред.*)

[2] В. И. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. Т. I. М., 1973, с. 362.

[3] СССР — Германия 1939—1941. Составитель Ю. Фельштинский. Нью-Йорк, 1989, с. 15—16.

бом развитии польского вопроса, мирным ли путем, как мы хотим этого, или любым другим путем, то есть с применением нами силы, мы будем готовы гарантировать все советские интересы и достигнуть понимания с московским правительством» [4].

12 августа поверенный в делах СССР в Германии Г. А. Астахов сообщил советнику германского МИД К. Шнурре о готовности Молотова обсудить в Москве поставленные немецкой стороной вопросы, включая польскую и другие проблемы. Таким образом обе стороны проявили готовность укрепить свои отношения за счет Польши, даже в ходе войны с ней. Результатом последующих переговоров был советско-германский договор «о ненападении» и секретный протокол к нему, подписанные в ночь с 23 на 24 августа Молотовым и Риббентропом в присутствии Сталина.

В то время как в традиционных договорах о ненападении соблюдение нейтралитета обязательно, если одна из сторон является объектом нападения, в пакте Риббентропа—Молотова — даже в случае, когда она сама совершила акт агрессии. Более того, договор запрещал помощь как жертве разбоя, так и любому государству, вступившемуся за нее. Фактически это было соглашение не о нейтралитете, но о сотрудничестве. В нем предусматривались консультации, информация друг друга, решение вопросов «в порядке дружественного обмена мнениями» и т. д. Взаимному сотрудничеству был посвящен и секретный протокол, разграничивший сферы обоюдных интересов СССР и Германии в Восточной Европе. Предвидя, а точнее планируя, «территориально-политическое переустройство областей», входивших в состав Прибалтийских государств и Польши, стороны заранее договорились, какие территории составят сферу интересов рейха, какие — СССР. В дальнейшем предполагалось выяснить, «является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого польского государства и каковы будут границы этого государства». Сталин после подписания договора заявил Риббентропу: «Советское правительство относится к новому пакту очень серьезно. Министр знает, что на его слово можно положиться, что Советский Союз своих партнеров не предает». Выступая по поводу поспешной ратификации этого документа, Молотов 30 августа говорил уже о дружбе между СССР и Германией.

1 сентября гитлеровцы напали на Польшу, два дня спустя Англия и Франция объявили войну агрессору. 3 сентября Риббентроп через своего посла передал Молотову, что для разгрома польской армии потребуется несколько недель; в результате будут оккупированы области, входящие в сферу германских интересов, и потребуется сокрушить те воинские соединения, которые уйдут на территорию, составляющую сферу интересов СССР. Шуленбургу поручалось выяснить, не может ли Советский Союз ввести свою армию в эти районы.

5 сентября советский нарком ответил: «Мы согласны с вами, что в подходящее время нам будет совершенно необходимо начать конкретные действия. Мы считаем, однако, что это время еще не наступило» [5]. На следующий день в Москве принимается решение о подготовке к широкомасштабной военной операции — «освободительному походу» в Западную Белоруссию и Западную Украину. 7—13 сентября отдаются приказы о призыве в армию резервистов, передислоцировании многих соединений в направлении к западной границе, формировании новых дивизий и корпусов. В составе Киевского особого округа (КОВО) и Белорусского ОВО создаются мощные группировки войск, переименованные впоследствии в армии.

9 сентября Молотов информирует Шуленбурга, что советские военные действия начнутся в течение ближайших нескольких дней. 13 числа части выдвигаются на передовые рубежи, 16-го — на исходные позиции. В тот же день командующие группировок получают боевые приказы — перейти на рассвете 17 сентября госграницу и «нанести мощный и молниеносный удар по польским войскам, решительно наступая в направлении» таких-то городов [6]. Цель операции, как ее определил нарком,— окружить и разгромить польские войска. В листовках же, адресованных населению, говорилось о стремлении спасти единокровных братьев украинцев и белоруссов от национального и социального порабощения.

В 3 часа ночи 17 сентября В. П. Потемкин передал польскому послу в Москве ноту, которую Сталин с готовностью откорректировал в соответствии с пожеланиями Шуленбурга. В ней говорилось: «Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. Варшава как столица Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и правительство перестали существовать». Однако заявление не соответствовало действительности. Капитуляция Варшавы была подписана 28 сентября, группировка «Полесье» держалась до 5 октября. Польский президент, правительство и главное командование находились в это время в стране и даже пытались осуществить перегруппировку войск. Как следует из обзора штаба КОВО, на восточный берег Вислы и Сан отводились польские армии, которые действовали на Западе; в район Брест-Литовска — те части, что были на северо-востоке с задачей обеспечить связь с Румынией; армии генерала Кутцеба, находившейся в окружении, ставилась задача прорваться на юго-восток. Для того чтобы обезопасить армию от возможного охвата с северо-востока, командованию 9-го корпуса поручалось создать заградительную линию Пинск—Брест-Литовск. Одновременно в Ровно, Ковель, Луцк, Дубно были посланы выс-

[4] Там же, с. 25—26.

[5] Там же, с. 80—81.

[6] Центральный государственный архив Советской Армии (ЦГАСА).

шие офицеры с заданием формировать новые части. «Но переход войсками Украинского фронта границы сорвал эти меры»,— констатировалось в обзоре [7].

Введя без объявления войны Красную Армию на территорию, входившую в Польшу, санкционируя боевые действия против ее армии, сталинское правительство тем самым нарушило договор о мире с этой страной, подписанный 18 марта 1921 г. в Риге; протокол от 9 февраля 1929 г. о досрочном введении в силу пакта Бриана-Келлога, запрещающего использование войны как инструмента национальной политики; конвенцию об определении агрессии 1933 г.; пакт о ненападении, подписанный СССР и Польшей 25 июля 1932 г., и протокол 1934 г., продлевавший действие этого пакта до 1945 г. Тем самым оно совершило преступление против мира.

Для польской армии вступление на территорию восточных воеводств советских войск было полной неожиданностью. Выполняя приказ своего главнокомандующего, она оказывала сопротивление лишь при попытках разоружить части или при прорывах к венгерской и румынской границам, которые по приказу К. Е. Ворошилова были наглухо закрыты. К 20 сентября силы вермахта и Красной Армии сблизились настолько, что появилась опасность инцидентов между ними. Дальнейшее движение было приостановлено, а с 22 сентября начался планомерный отвод германских войск на демаркационную линию, установленную секретным протоколом от 23 августа.

В связи с отводом германских войск 23 сентября Ворошилов отдал приказ, который принял лично командующий КОВО. Потребовав держать дистанцию в 25 км с немецкими частями, нарком в то же время предписал: «При обращении германских представителей к командованию Красной Армии об оказании помощи в деле уничтожения польских частей и банд, стоящих на пути движения мелких частей германских войск, командование Красной Армии, начальники колонн в случае необходимости выделяют необходимые силы, обеспечивающие уничтожение препятствий, стоящих на их пути движения» [8]. И хотя при отводе немецких подразделений от г. Львова произошло несколько стычек с советскими частями, инциденты были тут же улажены путем переговоров с германским военным атташе Е. Кёстрингом. Как писал начальник штаба КОВО, «тесная связь была установлена и между частями, командиры которых сговаривались во всех подробностях в товарищеском духе» [9].

23 сентября во Львов прибыла группа немецких офицеров, сообщивших о концентрации трех пехотных и четырех кавалерийских польских дивизий западнее г. Грубешова. Германское командование решило атаковать их танками во фланг в направлении на север и предлагало Красной Армии принять участие «в совместном уничтожении данной группировки»...

Можно ли удивляться после всего сказанного, что Андерс и подавляющее большинство взятых в плен польских офицеров считали, что их стране был нанесен удар ножом в спину в самый тяжелый для нее момент схватки с германским фашизмом?

Отношение генерала к сталинскому режиму во многом определялось и преступным обращением с польскими военнопленными. Об этом я писала в майском номере журнала «Международная жизнь» за 1990 г. Напомню лишь самое существенное. Красная Армия взяла в плен более 200 тыс. человек, но до 4 октября, когда последовал приказ о роспуске уроженцев Западных областей Белоруссии и Украины, НКВД были переданы 126 тыс. человек. Из них 42 тыс. были распущены как жители вошедших в состав СССР областей и 42 тысячи переданы Германии при обмене военнопленных. Однако более 15 тыс. офицеров и полицейских и около 30 тыс. рядовых и младших командиров так и остались в советском плену. Последние были заняты на строительстве шоссе Новоград-Волынский — Львов и предприятиях Наркомата черной металлургии в Донбассе и Кривом Роге. Офицеры и полицейские содержались в Козельском, Старобельском и Осташковском спецлагерях.

Сталин, самолюбие которого было ущемлено поражением 1920 г., питал особую ненависть к командному составу польской армии. Ликвидировав совместно с Гитлером польское государство, он спешил разделаться с теми, кто в будущем мог вступить в борьбу за возрождение независимой Речи Посполитой. Неизменной была и решимость тоталитарной системы ликвидировать в зародыше всякое инакомыслие.

Сегодня мы еще не можем назвать, какого числа было принято решение о расстреле польских офицеров и полицейских, однако документы свидетельствуют, что шаги в этом направлении предпринимались с первых дней пребывания поляков в плену. В соответствии с директивой Л. Берия от 8 октября 1939 г. особые отделения лагерей должны были вербовать среди пленных осведомителей и провокаторов, собиравших компромат против своих товарищей. В спецлагеря в конце октября были направлены из центрального аппарата НКВД бригады с задачей подготовить следственные дела на весь «контингент» для представления их Особому Совещанию. В феврале 1940 г. по указанию Берия его заместитель Меркулов отдал приказ передать областным управлениям НКВД (УНКВД) офицеров КОП, разведчиков, судейско-прокурорских работников, помещиков, активистов буржуазных партий с немедленным переводом их в тюрьмы. В марте проводилась интенсивная подготовка к операции по полной «разгрузке» Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей. В ходе операции с 1 апреля по 20 мая были переданы УНКВД по Смоленской, Харьковской и Осташковской областям 15 131 офицер и полицейский, 395 человек отправлены в Юхновский лагерь (Павлищев Бор). Последние остались живы; тела офицеров из Козельского лагеря были найдены в 1943 г. в Ка-

[7] ЦГАСА.
[8] ЦГАСА.
[9] ЦГАСА.

тынском лесу близ Смоленска; массовые захоронения поляков из Старобельска — в этом году в 6-м квартале лесопарковой зоны Харькова, из Осташковского — близ села Медное в 30 км от Калинина. Все документы свидетельствуют о том, что это преступление было делом рук НКВД.

Вслед за расправой над офицерами начиная с 20-х чисел мая проводится еще одна операция, объектом которой стали 8 тысяч рядовых и младших командиров польской армии, трудившихся на предприятиях Наркомчермета и настаивавших, вплоть до забастовок, на освобождении их из плена. Все эти люди были отранспортированы в Северный железнодорожный лагерь и размещены в неприспособленных к суровой зиме помещениях — землянках, бараках с проломанными крышами, неотапливаемых времянках и т. д. Спали на полу или поделанных из кругляка нарах, без тюфяков, так как «соломы не хватало даже для лошадей». Питание было столь скудным, а работа на лесоповале — по грудь в снегу, на строительстве железной дороги — такой тяжелой, что подавляющее большинство польских военнослужащих обессилело, все поголовно были больны цингой, многие обморожены. Можно представить, в каком состоянии они прибыли в армию Андерса.

Военнопленных из Львовского лагеря после начала войны пешком эвакуировали в Старобельск. Там их, так же как и офицеров и полицейских, интернированных летом 1940 г. в Литве и Латвии и вывезенных в июне 1941 г. в Грязовец, перевели на урезанный вдвое паек. Это не могло не отразиться на физическом состоянии людей.

Крайне истощены и изнурены были и те сотни тысяч поляков, которые принудительно депортировались начиная с февраля 1940 г. в Сибирь и Казахстан без возможности захватить с собой свое имущество. Оказавшись в суровых условиях без теплой одежды, продуктов, жилья, без средств к существованию, они голодали, болели, тысячами умирали или оказывались на грани смерти. Естественно, не могло быть и речи о том, чтобы послать этих людей через месяц-другой на фронт, не восстановив хотя бы в минимальной степени здоровье будущих бойцов.

Некоторых читателей может покоробить стремление генерала уклониться от участия в боевых действиях на советско-германском фронте. Были ли напрасными страхи Андерса по поводу того, что решение послать на фронт только что сформированную 5-ю дивизию преследовало цель ослабить польскую армию? У нас пока недостаточно документов, чтобы ответить на этот вопрос. Но что эти опасения после всего пережитого были вполне естественными, сомневаться не приходится. Сокращение же пайков людям, обессиленным и ослабленным голодом и болезнями, угрожало самой их жизни и жизни их родных, питавшихся за счет армии Андерса. В этих условиях решение, принятое польским правительством о выводе своих дивизий в Иран и Ирак, вполне объяснимо.

Дальнейшее сотрудничество правительств Сикорского и Сталина было прервано после обнаружения катынских могил в апреле 1943 г. по инициативе советской стороны. Обвинив лондонских поляков «в клевете», «вождь народов» и в дальнейшем отклонял все попытки нормализовать советско-польские отношения. Вопреки широковещательным заявлениям о стремлении видеть Польшу сильным, независимым государством он делал все, чтобы насадить там режим, подконтрольный ему и его приспешникам. В долговременной перспективе это не могло не оказать негативного влияния на отношения между советским и польским народами, отнюдь не безоблачными на протяжении нескольких столетий. Публикация мемуаров Андерса в Советском Союзе, раскрытие правды о Катыни — все это должно заложить камни в фундамент новых, истинно добрососедских и равноправных отношений между нашими странами.

Н. ЛЕБЕДЕВА

К нашим иллюстрациям

К северу от французских парков

По преимуществу — публикации. Но и выставки тоже. И вот навстречу нам (ну сколько же можно было быть отрезанными!) стал выдвигаться, во многом сдвигая наши о нем представления, подлинный мир европейской живописи XX века. Догадываясь, сколь он прекрасен, мы не представляли себе, насколько он неделим. Итальянские футуристы, немецкие экспрессионисты, «измы», сосредоточившиеся, по нашему понятию, едва ли не исключительно во Франции, фигуры Малевича, Татлина—и скольких еще!— драгоценными цитатами укладываются, наконец, в контекст. Острова, разбросанные в великом архипелаге, по мере исчезновения белых пятен стягиваются в единый материк.

К этой истине нас вновь приобщила состоявшаяся недавно в двух крупнейших музеях страны— ленинградском Эрмитаже и Третьяковской галерее в Москве— выставка «Расцвет модернизма в скандинавской живописи 1910—1920 гг.». На ней были представлены картины из государственных музеев и галерей, а также частных коллекций и отдельных собраний (а как это звучит: Собрание Союза Ревнителей Искусства города Эсбьерга!) пяти северных стран — Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Древо скандинавской живописи начала столетия, сиротливо осененное именами норвежца Эдварда Мунка и шведа Андерса Цорна (так полагали мы в силу нашего неведения или скорее *невидения*),— на наших глазах не только оделось пышною кроной — это целая плеяда имен, за которыми стоят школы, кружки, направления,— но и переплелось ветвями с другими своими собратьями. Наряду с радостью узнавания, в чем повинна, наверное, «офранцуженность» восприятия, мы с любопытством разбираем незнакомые почерки, всматриваемся в иную самобытность.

Трудно ломать устоявшиеся представления. Не потому ли замечательный каталог выставки (он замечателен не только иллюстрациями, но и текстом, продуманностью и интеллигентностью подачи материала) открывается статьей под мягко провоцирующим названием «К северу от французских парков». Приглашение познакомиться с представителями скандинавского модернизма вылилось у автора, искусствоведа Сержа Фошеро, в своего рода манифест подлинно свободного мышления в искусстве.

Предоставим же ему слово:

«История искусств так часто стремится поддержать веру в то, что искусство всегда создается только отдельными личностями, так разумно оказавшимися в определенный момент в Риме или во Флоренции, в Париже или в Нью-Йорке, что такое толкование все чаще кажется слишком простым и часто повторяющимся, чтобы быть совершенно истинным. Конечно, талант не распределяется демократическим образом; некоторые индивидуумы обладают большими способностями, чем другие, и таланту легче развиваться в благотворной среде процветающего города, чем в отдаленном местечке, без какого-либо общения с себе подобными. Конечно, со стороны одни места кажутся более благоприятными для формирования таланта, чем другие (например, ателье Густава Моро или Анри Матисса). Но история национальной живописи — это вопрос удобства, и такая история уже отслужила свое, потому что изобразительное искусство, а в еще большей степени музыка, не подчиняются языкам. Можно только ради удобства или по еще более спорным причинам, признанным или непризнанным, объединять художников в группы по цвету их паспорта. Для Нью-Йорка и Москвы, для Милана и Сан-Паулу, для Барселоны и Осло история современной живописи — одна.

...По мере того как понятие авангарда

завоевывало в нашем веке все больший успех, каждый последующий авангард брал верх и торопил гибель предыдущего. Поиски «влияний» приобретали все большее и большее значение в искусствоведении, особенно в университетской среде. В наши дни обсуждение вопросов первенства приобретает необыкновенный размах: специалисты спорят и нападают друг на друга, стремясь доказать, что такой-то художник сделал то-то или то-то раньше, чем кто-либо другой, и решить, кто впервые применил тот или иной прием в искусстве. Разумеется, нельзя не признавать значения времени, определенной хронологии или достоинств первого изобретателя, однако, не путают ли некоторые толкователи искусство с состязанием в беге? То, что художник немного раньше или немного позже своего соседа создал произведение, не являющееся ни копией, ни подражанием, имеет ли это такое большое значение, если это произведение представляет собой прекрасное и подлинное выражение чувства и эпохи?

Нередко случается, что художник, подчиняясь собственной фантазии, духу времени и даже вышеупомянутым «влияниям», постоянно меняет направление своего творчества — здесь можно назвать Пера Крога или Нильса Дарделя, а также Пикассо или Дерена. Однако эти художники остаются самими собой, будь они фовистами, кубистами или наивистами, независимо от того, работают ли они во Франции, Скандинавии, России или Мексике: истинный художник может усвоить новые сюжеты, технику и даже манеру письма. Усвоить в данном случае означает сделать их своими, изменить их, сделать частью своего языка и своей личности (только посредственности применяют уже готовые рецепты, в том же виде, в котором они находят их у других). Крог, Дардель, Вильгельм Лундстрём — прежде всего художники, а не норвежцы, датчане или шведы, и если можно найти в них некоторое сходство с другими художниками из Финляндии, Франции или России, то оно является следствием не столько какого-либо влияния, сколько того, что дух эпохи неподвластен ничему и почти одновременно проявляется в разных личностях и в разных географических пунктах. Не отрицая важности исторических и экономических факторов в наступлении новой эры в искусстве, мы хотим еще раз сказать, что цвет паспорта художника может быть интересен для рынка, но не для самого искусства».

В завершение Серж Фошеро призывает нас: «Давайте забудем, насколько это возможно, официальную историю искусства, моду и рынок. Давайте затеряемся вдалеке от французских парков (я хорошо взвесил свои слова) с их королевскими аллеями, круглыми площадями и статуями, имя которым Матисс или Брак, Малевич или Мондриан, давайте откроем для себя радость исполненных неожиданностей прогулок среди неровной лесной поросли, где до сих пор иногда дует свежий ветер».

НОРА КИЯМОВА

■

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1990 год (№ 1—12)

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Агнон Шмуэль Иосеф — В сердцевине морей (Роман. Перевод с иврита и комментарии Исраэля Шамира. Вступление Л. Аннинского), № 11.

Амаду Жоржи — Исчезновение святой (Роман. Перевод с португальского А. Богдановского), № 1, 2.

Анджеевский Ежи — Врата рая (Повесть. Перевод с польского К. Старосельской), № 1.

Беллоу Сол — Герцог (Роман. Перевод с английского В. Харитонова), № 11, 12.

Бен-Нер Ицхак — Кино. Рассказ. (Перевод с иврита Н. Сергеевой), № 2.

Бландиана Ана — Эссе (Вступление и перевод с румынского Анастасии Старостиной), № 6.

Гавел Вацлав — Протест (Одноактная пьеса. Перевод с чешского Т. Николаевой. Послесловие С. Никольского), № 7.

Гейм Стефан — Книга царя Давида (Роман. Перевод с немецкого Б. Хлебникова), № 4, 5.

Гур Барбара — Подсмотреть. Рассказ. (Перевод с иврита Н. Сергеевой), № 2.

Дзекановский Чеслав — Frutti di mare (Фрагменты книги. Перевод с польского В. Бурякова. Вступление Сергея Станкевича. Послесловие Веслова Садковского), № 8.

Дюрас Маргерит — Любовник (Повесть. Перевод с французского Н. Хотинской), № 6.

Дюрренматт Фридрих — Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями (Новелла в 24 предложениях. Перевод с немецкого Н. Федоровой), № 1.

ИЗ КНИГИ АНЕКДОТОВ КЛИФТОНА ФЕИДИМЕНА (Перевод с английского Т. Красавченко), № 2.

Камю Альбер — Осадное положение (Представление в трех частях. Перевод с французского И. Кузнецовой), № 10.

Карваш Петер — Об умении слушать (Рассказ. Перевод со словацкого Ю. Пресняковой), № 6.

Карр Джеймс — Месяц в деревне (Повесть. Перевод с английского А. Николаевской), № 3.

Кундера Милан — Шутка (Роман. Перевод с чешского Н. Шульгиной. Вступление И. Бернштейн), № 9, 10.

Ласдан Джеймс — Прыжок (Рассказ. Перевод с английского А. Волкова), № 6.

Ле Карре Джон — Русский отдел (Роман. Перевод с английского И. Гуровой и Е. Рождественской), № 5—7.

Ленц Зигфрид — Вот такой конец войны (Рассказ. Перевод с немецкого Н. Бунина), № 5.

Лоуренс Дэвид Герберт — Любовник леди Чаттерли (Роман. Перевод с английского И. Багрова и М. Литвиновой), № 9—11.

Малерба Луиджи — Башковитые курицы (Перевод с итальянского Л. Вершинина), № 4.

Миллер Генри — Тропик Рака (Роман. Перевод с английского Г. Егорова. Предисловие Нормана Мейлера), № 7, 8.

Моравиа Альберто — Сказки (Перевод с итальянского Ф. Двин), № 4.

Мэтьюз Эйдан — Рельсы (Рассказ. Перевод с английского Ольги Варшавер), № 6.

Портер Кэтрин Энн — Падающая башня (Повесть. Перевод с английского Л. Беспаловой. Вступление А. Зверева), № 3.

Радичков Йордан — Образ и подобие (Хроника. Перевод с болгарского Н. Глен), № 3.

РАССКАЗЫ ИЗРАИЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (Перевод с иврита Н. Сергеевой), № 2.

РАССКАЗЫ МОЛОДЫХ АНГЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (Перевод с английского Т. Тульчинской, Ольги Варшавер, А. Волкова, Е. Селецкой), № 6.

Ридли Филип — Левиафан (Рассказ. Перевод с английского Т. Тульчинской), № 6.

Села Камило Хосе — Мой сосед Жоан Миро и др. миниатюры (Перевод с испанского Н. Трауберг), № 8.

Смит Джоан — Медовый месяц (Рассказ. Перевод с английского Е. Селецкой), № 6.

Стоппард Том — Розенкранц и Гильденстерн мертвы (Пьеса в трех действиях. Перевод с английского Иосифа Бродского. Послесловие Юрия Фридштейна), № 4.

Тамуз Биньямин — Зумейра. Рассказ (Перевод с иврита Н. Сергеевой), № 2.

Татарка Доминик — Демон согласия (Памфлет. Перевод со словацкого Н. Николаевой. Вступление Вацлава Гавела), № 4.

Фолкнер Уильям — Когда я умирала (Повесть. Перевод с английского В. Голышева), № 8.

Фриш Макс — Швейцария без армии? Пустопорожний разговор (Вступление и перевод с немецкого Е. Кацевой), № 4.

Фухс Рикард — Человек-тостер. Сумасшедший автомобилист (Рассказы. Перевод со шведского Н. Френкель), № 7.

Хуовинен Вейкко — Любитель телефонных разговоров. Ох, уж эти спутники. Полиция здоровья (Рассказы. Перевод с финского Ю. Воронина), № 6.

Шульц Бруно — Коричные лавки (Вступление и перевод с польского Асара Эппеля), № 12.

СТИХИ

Аквилина Джузе — Конь жизни. Предощущение. Детство (Перевод с мальтийского Е. Витковского), № 3.
Бене Стивен Винсент — Тело Джона Брауна (Фрагменты поэмы. Перевод с английского Ивана Елагина. Вступление С. Джимбинова), № 6.
Бирман Вольф — Петеру Хухелю и др. стихи (Вступление и перевод с немецкого Виктора Топорова), № 9.
Бриффа Рузар — Летний полдень (Перевод с мальтийского Е. Витковского), № 3.
Бьянкарди Николь — Портрет (Перевод с мальтийского Е. Витковского), № 3.
Димитрова Блага — Почерк и др. стихи (Перевод с болгарского Юнны Мориц. Вступление Владимира Огнева), № 5.
Камиллери Франс — К Средиземному морю. Крепость Мдина. Европа (Перевод с мальтийского Е. Витковского), № 3.
Карм Дун — Развалины. Виет Ирда. Мальтийский флаг (Перевод с мальтийского Е. Витковского), № 3.
Ле Форт Гертруд фон — Из «Гимнов к Церкви» (Вступление и перевод с немецкого С. Аверинцева), № 6.

МАЛЬТИЙСКИЕ СОНЕТЫ (Вступление и перевод с мальтийского Е. Витковского), № 3.

Мускат-Аццопарди Джузе — Залив Марсашлокк. Рынок так рынок! (Перевод с мальтийского Е. Витковского), № 3.
Оло Артюр — Из книги «Противостояния» (Стихи. Вступление и перевод с французского Натальи Стрижевской). К читателям «ИЛ». Блеск и нищета поэзии (Перевод И. Истратовой), № 7.
Писани Джордж — Без надежды. Мальтийской речи. Без соблюдения приличий (Перевод с мальтийского Е. Витковского), № 3.
Серачино-Инглетт Эрин — Из «Сонетов войны» (Перевод с мальтийского Е. Витковского), № 3.
Скацел Ян — Стопятидесятый сонет о весне и др. стихи (Перевод с чешского А. Кушнера, А. Пурина). Маленькие рецензии(Перевод с чешского В. Каменской. Вступление О. Малевича), № 11.
Снодграсс Уильям Дьюит — Стихи разных лет (Перевод с английского Владимира Корнилова. Вступление А. Зверева), № 1.
Уилбер Ричард — Из старых и новых стихов (Переводы с английского Иосифа Бродского и Андрея Сергеева. Послесловие Ричарда Уилбера), № 10.
Унгаро Винчент — Non omnis moriar. Мальтийскому сонету (Перевод с мальтийского Е. Витковского), № 3.
Херберт Збигнев — Стихи из двух книг (Вступление и перевод с польского Владимира Британишского), № 8.

ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА

Борхес Хорхе Луис — The thing I am и др. стихи (Перевод с испанского и послесловие Бориса Дубина), № 12.
Бялик Хаим-Нахман — Последний и др. стихи (Перевод с иврита Вл. Жаботинского, Валерия Брюсова, Вяч. Иванова, Федора Сологуба, Ю. Балтрушайтиса, И. Бунина, С. Липкина). Город Резни (Поэма. Перевод с идиш Льва Беринского). Вступление С. Аверинцева, эссе М. Горького и Владислава Ходасевича, № 4.
Лоуренс Дэвид Герберт — Из книги «Последние стихи» (Перевод с английского и послесловие Александра Грибанова), № 1.
Мачадо Антонио — Сны и др. стихи (Перевод с испанского Н. Ванханен, Б. Дубина, В. Андреева. Вступление Б. Дубина), № 3.
Рильке Райнер Мария — О фонтанах (Вглубь одного стихотворения. Перевод с немецкого К. Богатырева, М. Л. Гаспарова, Г . Ратгауза, И. Белавина, Вл. Летучего. Вступление А. Карельского), № 7.
Элиот Томас Стернз — Из книги «Старый Опоссум. Практическое котоведение» (Перевод с английского и послесловие Андрея Сергеева), № 2.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Бусон — Весна и др. стихи (Вступление, перевод с японского и комментарии Т. Соколовой-Делюсиной), № 11.
Рембо Артюр — Новонайденные переводы Федора Сологуба (С французского. Вступление и публикация Всеволода Багно), № 9.
Ясенов Христо — Из цикла «Рыцарский замок» и др. стихи (К 100-летию со дня рождения. Вступление Владимира Соколова. Перевод с болгарского Владимира Соколова, Натальи Ванханен, Марианны Роговской), № 2.

ПУБЛИЦИСТИКА

Андерс Владислав — Без последней главы (Перевод с польского Т. Уманской. Послесловие Н. Лебедевой), № 11, 12.
Арендт Ханна — Временный союз черни и элиты (Перевод с английского Г. Дашевского), № 4.
Брук-Шеперд Гордон — Судьба советских перебежчиков (Перевод с английского Иосифа Косинского и Людмилы Скорописцевой. Послесловие Виктора Перельмана), № 6—8.

ВЕРА И МОРАЛЬ, № 5, 9.

Довлатов Сергей — Переводные картинки (В джунглях американского издательского бизнеса), № 9.
Зотов Владимир — Китай: «Дух Лэй Фэна» против «буржуазной либерализации», № 8.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ (Материалы Вайнгартенского симпозиума). Участвуют: Герхард Фюрст, Чингиз Айтматов, Фридрих Хитцер, Николай Анастасьев, Абдужамил Нурпеисов, Мартин Вальзер, Алесь Адамович, Адольф Хампель, Бригитт Швайгер, Ион Друцэ, Евг. Сидоров, Карл-Йозеф Кушель, Александр Мень, Даниил Гранин, Дитер Латман, Альгимантас Бучис, Петер Ренц, Олег Чухонцев, Кристина Баше, Вольфганг Казак, Ханс Кюнг, № 11.

Каграманов Ю. — Похмелье, № 4.
Камю Альбер — Человек бунтующий (Главы из книги. Перевод с французского Ю. Стефанова. Послесловие А. Руткевича), № 5, 6.
Кюнг Ханс — Религия на переломе эпох (Перевод с немецкого Е. Драновой), № 11.
Льюис К. С.— Христианское поведение (Перевод с английского И. Череватой. Вступление Н. Трауберг), № 5.
Морита Акио (При участии Эдвина Рейнгольда и Митико Симомура) — Сделано в Японии: Акио Морита и «Сони» (Фрагменты книги. Перевод с английского Б. Никольского), № 3.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ХРИСТОМ И ПЕРЕД СОВЕСТЬЮ...» Дискуссия на тему «Христианство и марксизм» (Участвуют: Ф. Хитцер, А. Мень, К. Фюссель, Н. Анастасьев, Д. Зёлле, Ч. Айтматов), № 2.

Перро Жиль — Красная капелла (Документальный роман. Перевод с французского В. Жуковой. Послесловие Александра Игнатова), № 1, 2.

Розен Мозес — Уроки Библии (Авторизованный перевод с румынского Льва Беринского и Александра Бродского. Предисловие Льва Беринского), № 9.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ В ЭМИГРАЦИИ: НЬЮ-ЙОРК, ПАРИЖ..., № 9

Савицкий Дмитрий — «Что нас толкает в путь?», № 9.

ТЕМА ДЛЯ ДИСКУССИИ: АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ. Переписка Генриха Бёлля с Андреем Сахаровым (Публикация и послесловие Е. Г. Боннэр), № 5.

ТЕМА ДЛЯ ДИСКУССИИ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХУДОЖНИКА, № 4.

Фулгам Роберт — Все самое важное для жизни я узнал в детском саду (Перевод с английского А. Волкова), № 10.

ЭМИГРАЦИЯ: «КАПЛЯ КРОВИ, ВЗЯТАЯ НА АНАЛИЗ»? Беседа в редакции с авторами и издателями журналов русского зарубежья. Участники: А. Глезер, Ю. Карабчиевский, А. Латынина, Г. Померанц, М. Розанова, Б. Сарнов, Л. Тимофеев. Ведущий — Н. Анастасьев, № 7.

Яноух Франтишек — Нет, я не сожалею... (Малая мозаика периода «нормализации»). (Перевод с чешского Ады Кольман. Вступительное слово А. Сахарова и Е. Боннэр), № 3, 4.

КРИТИКА

Вайль П., Генис А. — По течению реки (О романе Генри Миллера «Тропик Рака»), № 8.

Гачев Георгий — Образы Индии (Эллинский и германский), № 2.

Долинин А. — Причуды гения, № 7.

Зверев А. — «Владеть собственной душой» (К публикации романа Сола Беллоу «Герцог»), № 12.

Зверев А. — Попытка объясниться (Размышления над письмами в «ИЛ»), № 4.

ИЗ БЕСЕД В РЕДАКЦИИ, № 1.

Индж Томас — Фолкнеровский фольклор: литературные сплетни, анекдоты и откровенная ложь (Перевод с английского Г. Лапиной), № 7.

«КАК МНОГО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ С ОБЕИХ СТОРОН...» Писатели ФРГ о России и русской литературе (Участвуют: Вольфганг Кёппен, Ханс Магнус Энценсбергер, Мартин Вальзер, Дитер Веллерсхоф, Гюнтер Грасс, Эрнст Юнгер, Зигфрид Ленц, Вальтер Йенс. Вступление, составление и перевод с немецкого Юрия Архипова), № 8.

КЛАССИКА И МЫ, № 6.

Михайлов Михайло — Великий катализатор: Ницше и русский неоидеализм, № 4.

Мотрошилова Нелли — Невыносимое слово «жертва»... № 6.

Недошивин Вячеслав — Джордж Оруэлл — беглец из лагеря победителей, № 3.

Ницше Фридрих — Из наследия (Вступительная статья и составление Ю. Н. Давыдова), № 4.

ОДИССЕЯ РУССКОГО «УЛИССА» (Участвуют: Н. А. Анастасьев, Е. Ю. Гениева, Я. Н. Засурский, А. М. Зверев, В. В. Иванов, Н. А. Кисашвили, Нил Корнуэл, Эмили Толл, Д. М. Урнов, В. А. Чаликова, Исраэль Шамир), № 1.

ПИСАТЕЛЬ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА, № 7.

Поляк Г. — Генри Миллер и русские на Западе (О русской версии романа), № 8.

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ. Достоевский глазами Ницше, № 4.

Флетчер Джек — Вьетнам и Афганистан: жизнь и литература (Перевод с английского И. Дорониной), № 3.

ХУДОЖНИК И ВЛАСТЬ. Участвуют: Чингиз Айтматов, Жоржи Амаду, Криста Вольф, Ананта Мурти, Кэндзабуро Оэ, Йордан Радичков, Роберто Фернандес Ретамар, А. Адамович, Т. Мотылева, Р. Рождественский, Л. Аннинский, А. Битов, Г. Гачев, Д. Гранин, В. Иванов, В. Корнилов, В. Маканин; Грэм Грин «Добродетель нелояльности» (Переводы с португальского Г. Вержховской, с немецкого И. Золотарева, с японского А. Виноградовой, с испанского А. Золотовой, с английского М. Салганик, Т. Ланиной, с болгарского Н. Глен), № 5.

Шестов Лев — «Юлий Цезарь» Шекспира, № 6.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Рабинович Вадим — Сокрушение надежды (Приотворяя «Врата рая» Ежи Анджеевского), № 1.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Кацева Е. — Петер Вайс в Советском Союзе, № 11.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Огнев Владимир — Бегство от революции, № 10.

Пас Октавио — О Пастернаке. К 100-летию со дня рождения Бориса Пастернака (Вступление и перевод с испанского Н. Богомоловой), № 1.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Аверинцев С. — Писать стихи после Освенцима, № 9.

БОРХЕС И КОРТАСАР: ЭПИЗОД ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ XX ВЕКА (Вступление, составление и перевод с испанского И. Петровского), № 3.

Борхес Хорхе Луис — Страшный сон (Лекция. Перевод с испанского И. Петровского), № 3.

ВНЕ ЖАНРА, № 6, 9.

Гаспаров М. — Клио, муза истории, № 9.

Гаспаров М. — Человек солнечный и лунный, № 9.

Из «Краткой Нобелевской энциклопедии», № 9.

Из стихов Нелли Закс (Перевод с немецкого С. Аверинцева), № 9.

Из стихов У. Б. Йейтса (Перевод с английского М. Гаспарова), № 9.

Клепикова Елена — Плагиат: преступление без наказания, № 9.

Кортасар Хулио — Страшные сны (Новелла. Перевод с испанского И. Петровского), № 3.

Моммзен Т. — Катон Младший (Перевод с немецкого И. Масюкова под редакцией М. Гаспарова), № 9.

Самвелян Н. — Сэр Уинстон Черчилль и его время, № 9.

Соловьев Владимир — Был ли Фрейд великим писателем?, № 6.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Лакёр Уолтер — Монолог в Москве. Из книги «Долгий путь к свободе» (Перевод с английского Ольги Варшавер), № 2.

Нумано Мицуёси — Из книги «За одну остановку до вечности» (Перевод с японского Г. Чхартишвили), № 2.

К сведению читателей и подписчиков, № 7.

План публикаций на 1991 г., № 6.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Веринг Косс ван — Ханс-Георг Раух (Перевод с нидерландского И. Ланина), № 10.
Дьяков Л. — Антонио Гауди, № 3.
Киямова Г. — Роса и радуга, № 2.
Киямова Нора — К северу от французских парков, № 12.
Масленникова Г. — Человек моды, человек театра, № 4.
Херсонская Е. — Джорджо Моранди (1890—1964). К 100-летию со дня рождения Джорджо Моранди, № 6.
Хэуликэ Дан — Сорин Думитреску (Перевод с румынского И. Павловской), № 7.

Почта «ИЛ», № 2.

Советская литература за рубежом, № 3, 9.

Курьер «ИЛ», № 1, 3, 5, 7, 8, 9.

Авторы этого номера, № 1—12.

Авторы этого номера

БРУНО ШУЛЬЦ (BRUNO SCHULZ; 1892—1942) — польский прозаик. Автор книг «Коричные лавки» («Sklepy cynamonowe», 1934), «Санатория под клепсидрой» («Sanatorium pod klepsydra», 1937). Перевел на польский язык роман Ф. Кафки «Процесс».
Публикуемый перевод сделан по книге «Бруно Шульц. Проза» (Bruno Schulz. Proza. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1964).

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС (JORGE LUIS BORGES; 1899—1986) — аргентинский поэт, прозаик, переводчик. Автор тринадцати поэтических сборников, книг рассказов «Вымышленные истории» («Ficciones», 1944), «Алеф» («El Aleph», 1949), «Сообщение Броуди» («El Informe de Brodie», 1970), «Книга песка» («El libro de arena», 1975), «25 августа 1983 года» («Veinticinco Agosto 1983», 1983), сборников эссе. По-русски произведения Борхеса публиковались в книгах «Из современной аргентинской поэзии» (М., 1982), «Проза разных лет» (М., 1984 и 1989), «Поэты Аргентины» (М., 1987) и др., на страницах «ИЛ» (1984, № 3; 1988, № 10; 1990, № 3); в Библиотеке «ИЛ» вышел сборник его рассказов «Юг» (М., 1984). Вошедшие в подборку стихи взяты из книг «Творец» («El hacedor», 1960); «Другой, все тот же» («El otro, el mismo», 1964), «Золото тигров» («El oro de los tigres», 1972), «Глубинная роза» («La rosa profundo», 1975), «Железная монета» («La moneda de hierro», Madrid, Alianza Editorial, 1976), «История ночи» («Historia de la noche», Buenos Aires, Emecé Editores, 1977).

ЗВЕРЕВ АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ (род. в 1939 г.) — советский литературный критик, доктор филологических наук. Автор книг «Джек Лондон», 1975, «Модернизм в литературе США», 1979, «Американский роман 20—30-х годов», 1982, «Грустный солнечный мир Сарояна», 1982, «Мир Марка Твена», 1985, «Дворец на острие иглы», 1989, и многих статей в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Переводчики:

ЭППЕЛЬ АСАР ИСАЕВИЧ (род. в 1935 г.) — советский литератор и переводчик с польского. В «Иностранной литературе» в его переводе напечатаны поэмы К. И. Галчинского «Ниобея» (1971, № 7), С. Гроховяка «Totentanz in Polen» (1985, № 11), рассказы Ю. Тувима (1975, № 1). Пишет для детей, для театра и кино.

ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1946 г.) — советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались стихи испанских, португальских и латиноамериканских поэтов (А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Ф. Пессоа, Х. Л. Борхеса, М. Мартинеса, французских (Т. Готье, Г. Аполлинера) и др.

УМАНСКАЯ ТАМАРА МИХАЙЛОВНА — советский переводчик с польского. В ее переводе в периодике, в том числе в «ИЛ», печатались рассказы и литературно-критические статьи польских авторов.

Исаак Грюневальд. Толли Зельман, 1919

1 р. 80 к.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1990, № 12, 1—256